НОВЫЙ ЖУРНАЛ

VII

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакціей
М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

VII

НЬЮ-ІОРК
1944

Copyright 1943 by the New Review
(«Новый Журнал»)
All Rights reserved.

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.
166

ОГЛАВЛЕНІЕ

М. А. Чехов. — Жизнь и встрѣчи 5

М. А. Алданов. — Истоки 44

Н. С. Калашников. — Скакун 138

О. М. Жигалова. — Любовь к Ильюхѣ 150

В. В. Набоков-Сирин. — Парижская поэма 159

СТИХИ:

Елены Антоновой, Надежды Веббер, К. Иждиной, С. Л. Кучерова, Г. П. Струве 164

РОССІЯ И ВОЙНА:

А. Ф. Керенскій. — О границах и о прочем 169

Н. С. Тимашев. — Послѣ Москвы и Тегерана 186

ВОПРОСЫ ДНЯ:

Ю. П. Денике. — Революція без термидора 202

В. С. Войтинскій. — Послѣ побѣды 220

П. А. Сорокин. — Причины войны и условія мира 238

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

Б. И. Николаевскій. — «За вашу и нашу вольность» 252

М. В. Вишняк. — Владислав Ходасевич 274

В. Ф. Ходасевич. — Письма к М. В. Вишняку 288

С. И. Либерман. — Народный Комиссар Красин 307

Н. К. Авьерино. — Из моего прошлаго 322

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. М. Чернов. — А. П. Чехов 342

В. А. Александрова. — Обзор совѣтских журналов за 1943 год 355

М. К. — Россія и ея западные союзники 364

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ:

Д. Н. Федотова-Уайта, Я. А. Бромберга, М. М. Карповича, М. В. Вишняка, Д. Ю. Далина, Н. С. Тимашева, М. О. Цетлина, А. А. Гольденвейзера, В. Н. Коварской. 369

Обложка работы худ. **А. Н. Прегель.**

Настоящая книга уже печаталась, когда скончались С. О. Португейс (Степан Иванович) и П. А. Гарви. Статьи о них будут помѣщены в слѣдующей книгѣ «Новаго Журнала».

ЖИЗНЬ И ВСТРѢЧИ

1.

Первый человѣк, котораго я «встрѣтил» в жизни, человѣк глубоко поразившій меня, был мой отец. Я трепетал перед ним, изумлялся ему, боялся, но не мог полюбить никогда. Для меня он был страшен во всѣх своих проявленіях. Сила его взгляда и голоса, его рост и атлетическая фигура — пугали меня. Физическія, душевныя и умственныя силы его казались мнѣ безграничными. Он не знал ни страха, ни препятствій и все покорялось ему. Эрудиція его была поистинѣ удивительна. По образованію естественник и математик, он великолѣпно оріентировался и в других областях науки, включая и медицину. Слежнѣйшими философскими концепціями он жонглировал, как мячами. Владѣл многими языками и уже будучи стариком в два-три мѣсяца изучил финскій язык. Но он был слишком большой оригинал и это помѣшало ему использовать свои знанія и громадную жизненную энергію сколько нибудь систематически.

Вращаясь в правительственных сферах и имѣя большое общественное вліяніе он временами опускался на «дно», дружа с бродягами, ворами и хулиганами.

Он органически не мог выносить ничего обыкновеннаго, привычнаго, трафаретнаго. Карманных часов он имѣл 14 или 15. Стѣнные часы его были сдѣланы им самим из дерева и украшены прутьями, пробками и мхом. Вмѣсто гирь висѣли бутылки с водой. Пишущая машинка была заброшена на чердак.

— Чорт знает какая безсмыслица, — негодовал он, — извольте на точку или на запятую затрачивать то же усиліе, что и на букву!

Телефон был тоже уничтожен — он звонил не тогда, когда хотѣлось отцу. Но зато над кроватью его висѣл пожарный звонок, извѣщавшій его о пожарах, как днем, так и ночью.

Отец много писал. Перья употреблялись гусиныя или даже куриныя от собственных кур. Куры разводились только дорогих, рѣдких и нѣжных пород. Онѣ умирали от климата, от погоды, от недоѣданія и переѣданія. Убивала их несомнѣнно и система их образа жизни, изобрѣтенная отцом. В курятникѣ были продѣланы отверстія двоякаго рода: одни для входа, другія для выхода. Куры не знали этого и отец гонялся за ними с угрозами. Пѣтухам предлагалось ухаживать за курами по выбору отца. Это вело к осложненіям. К тому же вели и раціональныя кормушки, сдѣланныя по его рисункам. В комнаты доносился громовый голос отца, крики кур и хлопанье крыльев.

— Навѣрное кормежка? — спрашивала мать, подходя к окну. И если видѣла за рѣшеткой курятника, как на площади Св. Марка, птиц, вьющихся в воздухѣ, она говорила:

— Да, кормит.

Входил отец, внося с собой острый запах курятника.

— Что ты их мучаешь, право. Дал бы поѣсть им, как всѣ птицы ѣдят, — говорила мать.

— Куриное хозяйство, это наука, — отвѣчал отец разсѣянно. — Нельзя: «как ѣдят», а надо: «как надо» чтоб ѣли, голубчик ты мой.

— Да, вѣдь, мрут они у тебя.

— Мрет извѣстный процент.

— У тебя сколько ни мрут — все процент.

— Математика!

Отец уже думал, чѣм бы заняться.

— Ну-с, — провозглашал он, — а теперь инкубатор!

Цыплята выводились искусственным способом. Когда наступало время «заряжать» инкубатор, населеніе дома приходило в движеніе. Отец садился против свѣчи и, прищурив глаз, смотрѣл сквозь скорлупу яиц, стараясь установить: оплодотво-

рены они или нѣт. Мать, брат, няня, прислуга и я, под его окриками, дѣлали множество дѣл одновременно: кипятили воду, носили ее в кабинет, гдѣ помѣщался инкубатор, слѣдили за градусником, помѣчали числа и породы на яйцах, размѣщали яйца на сѣткѣ инкубатора, регулировали керосиновую лампу и все хаотично, хлопотливо и с волненіем. Яйца переворачивались дважды в день, причем отец неизмѣнно об'яснял мнѣ:

— В природѣ это самое дѣлается инстинктом насѣдки.

Однако к этому инстинкту присоединялось и разумное вмѣшательство отца: он часто вынимал яйца из инкубатора и при помощи свѣчи слѣдил, как день за днем развивалось и начинало биться маленькое сердце в яйцѣ. Много жизней погибло от этого. Но так как инкубатор был самодѣльный и, слѣдовательно, по размѣрам своим соотвѣтствовал фантазіи отца, то через три недѣли все же вылуплялось множество цыплят. Тут мать и я должны были изображать курицу-насѣдку. Отец учил нас ударять пальцами по столу перед носами цыплят и произносить тонкими голосами: «тю-тю-тю». Сам же он сооружал в это время из тряпок (платья матери при этом страдали всегда), приспособленіе, которое, спускаясь на спинки цыплят, должно было изображать для них пушистый животик насѣдки. Отец знал, конечно, что насѣдка теряет свое опереніе на брюшкѣ, но изобрѣтать «пушистость» было интереснѣе и в этом случаѣ природа не принималась во вниманіе.

В отцѣ жил дух протеста против общественных устоев его времени, но и этот протест был не организован в нем и носил характер бунтарства. Он подавал, напримѣр, демонстративно на улицѣ руку городовому, чтобы вызвать негодованіе сильных міра сего, а к высокопоставленным лицам ѣздил в костюмѣ, совершенно для этого не подобающем.

Жизнь с отцом была тяжелой и напряженной. Мука моя усиливалась еще и оттого, что он привлекал меня ко всѣм своим изобрѣтеніям в качествѣ ближайшаго сотрудника.

— Все в игрушки играешь! Э-эх, ты, маленькій! Бросай все, иди линолеум дѣлать! Живо!

На дворѣ стояла бочка, наполненная старыми газетами.

Онѣ были залиты водою и клеем. Большой палкой я должен был мѣшать содержимое бочки, пока газеты не превращались в липкую массу. Мучаясь от боли в спинѣ и в руках, плача от безсильной злобы на отца за прерванную игру, я нѣсколько дней подряд дѣлал «линолеум», боясь возразить отцу или попросить отдыха. «Линолеум» был размазан на полу большого кабинéта отца, покрыт красной краской и через недѣлю снова содран. Он лопнул и покоробился, уподобив пол кабинета фотографіи лунной поверхности.

В перерывах между изобрѣтеніями отца я жадно играл, спѣшил и волновался. У меня надолго осталось стремленіе как можно скорѣе додѣлать то, что доставляло мнѣ удовольствіе.

В играх моих я имѣл добраго, славнаго друга. Он дѣйствовал на меня успокаивающе, пріучая меня к систематическим дѣйствіям даже во время игры. И сам он играл со мной в шахматы, в теннис и участвовал в бѣготнѣ и в шалостях на дворѣ. Это был наш жилец, скромный, веселый, бородатый мужчина. Работа у него была ночная. Возвращался он утром усталый, слегка похудѣвшій, но бодрый и радостный. Я ждал его возвращеній с нетерпѣніем. Издали завидѣв его фигуру, его размашистую, мягкую походку, плохонькую широкополую шляпу и драное, залатанное пальто, я бѣжал к нему навстрѣчу и повисал у него на рукѣ. Его русское лицо было чѣм то похоже на лицо А. П. Чехова. И это особенно привлекало меня к нему. Звали его Степан Степаныч Данилов.

И все же, несмотря на благотворное вліяніе моего друга, мучительное «не успѣю!» быстро развило во мнѣ привычку к хаотическому образу жизни. Моя страстная натура помогла этому. Я бросался от одного дѣла к другому, от одной цѣли к другой без разбора, не спрашивая возможно или невозможно осуществленіе моего желанія. Игры мои были страстны и преувеличены. Начиная строить домик из карт, я не удовлетворялся его размѣрами и переходил к постройкѣ из книг. Но и этого было мало. В комнатѣ появлялись полѣнья, доски, листы желѣза и когда уже не оставалось мѣста для постройки, я изыскивал способ разрушить свое грандіозное зданіе так, чтобы достиг-

нуть наибольшаго эффекта. Полѣнья, доски и желѣзо с грохотом рушились, приводя в отчаяніе мою мать и старую няню. Я же испытывал восторг от «величія» совершающагося. Ходули я строил себѣ такой высоты, что если бы мнѣ случилось упасть с них, то, вѣроятно, я не отдѣлался бы только ушибами. Игра в пожарных принимала грандіозные и опасные размѣры. В войну играли всѣ мальчики той дачной мѣстности, гдѣ мы жили. Драки были настоящія с пораненіями и увѣчьями. Однажды, с энтузіазмом вѣрности служа своему «генералу», я вмѣстѣ с отрядом бѣжал на врага. Я видѣл только спины своих соратников и довѣряя их мужеству и военному генію, бѣжал сзади всѣх. Но вдруг они остановились и я увидѣл их лица и направленныя на меня «ружья». Что случилось? Враг напал сзади? Я обернулся. Никого. И тут я вдруг понял: измѣна! Отряд, во главѣ с генералом, измѣнил. И кому-же? Мнѣ, вѣрному рядовому. Мнѣ одному! Измѣнил и присоединился к врагу. Когда произошел заговор, я не знаю, но было страшно, оскорбительно и стыдно. Я бросился к матери и рыдал безутѣшно, не умѣя об'яснить, что случилось со мной, с моей душой. В минуту измѣны я что то узнал, что оставило слѣд навсегда в моей жизни.

Послѣ ужаса «военной измѣны», я спрятался внутренне, ушел в себя, стал еще болѣе труслив и незамѣтно для себя, в видѣ самозащиты, научился улыбаться тѣм, кого боялся. Уже и тогда я смутно чувствовал стыд и недостойность такого средства защиты, но другого не было еще в моем распоряженіи.

Был у меня и еще друг, помимо Степана Степаныча. Тоже бородатый, тоже скромный и радостный, но был он бродяга и пьяница горькій. Малоросс, от природы философ, он всегда чего то искал, куда то стремился, всѣх любил, бесѣдовал с птицами, понимал небеса, был чист душою и честен. Бродяга — не жулик. По фамиліи: Ларченко, по имени отчеству: Василь Осичь. Он пил для экстаза. Мѣста жительства не имѣл и спал, гдѣ придется. Чаще всего у нас на дворѣ, в банѣ или в оранжереѣ. Когда приходила нужда и было не на что выпить,

он высматривал, не стоит ли гдѣ мать у окна, и когда замѣчал ее, срѣзал вѣточку с дерева, снимал шапку и ждал платы за труд: дескать, видите, за садом хожу! Получив пятачок, он выражал свою благодарность по своему, одним жестом, без слов: взмахнув рукой вверх, он с чувством хватался за шею и затѣм, подбросив бороду снизу, ковырнув рукой в воздухѣ около уха и завернувшись большим пальцем в затылок — дѣлал паузу. Потом, снова чеснув в бородѣ, хватал шапку под мышку и походкой с припрыгом, несся в кабак. Я изучил его жест в совершенствѣ и примѣнив его в роли на сценѣ, привел в восторг публику.

Скоро, шатаясь, Ларченко снова являлся. Он был в экстазѣ. На головѣ нес лоток, с лотка свисали цвѣты и сыпались мелкіе камушки. Весь его вид говорил: «поглядите, я — человѣк, я — торговец, торгую цвѣтами!»

— Цвѣтики, цвѣточки! — кричал он на всякіе голоса, то блаженно, то с нѣжностью, то с ухарским счастьем.

Проходя мимо окон, он оборачивал голову вмѣстѣ с тяжелым лотком и хохотал, сіяя любовью и к нам, и ко всему бѣлому свѣту. Ноги его сами собой начинали налаживать пляску, угрожая лотку. Мы отходили от окон, чтобы спасти цвѣты от погибели. Он удалялся, но еще было слышно:

— А вот они, цвѣтики, вот полевые! Ах и цвѣтики, эх, распрекрасные!

Но бывало экстаз заводил его и в область науки. Он погружался в канаву и длинной веревкой измѣрял ее, что то ворча и шепча, путаясь в собственных, сложных до крайности жестах.

— Что ты дѣлаешь, Вася? — спрашивал я.

Он с восторгом глядѣл на меня своими хохлацкими, лучистыми глазами и, задыхаясь от чувств, выговаривал:

— Землемѣр я... простите!...

И — жест.

Встрѣчаясь с отцом он молчал, украдкой косясь на него. Отец тоже косился. Оба с хохлацкими душами, они и без слов

понимали друг друга. Так могли они по долгу простаивать вмѣстѣ, не то договариваясь, не то совѣщаясь о чем-то.

И договорились однажды.

— Ну так вот, — сказал сурово отец, — так и будет!

Ларченко снял шапку.

— Довольно бродяжить. Вот тебѣ комната в домѣ, вот тебѣ ключь. Помѣсячно — жалованье. Ты — дворник. И ни капли! Ни-ни! Если замѣчу — каюк!

Трудно сказать, кто больше был рад — Василь Осичь или я. Теперь я буду видѣть его каждый день, когда захочу!

Сад был выметен, вѣтки с деревьев сострижены, цвѣты пересажены, предметы на дворѣ передвинуты, лопата до блеска начищена и когда все было сдѣлано, снова был выметен сад. Ключ то и дѣло переходил из кармана в карман, отряхались штаны для изящества, прутиком выбивалась лохматая шапка, а взгляд Василь Осича все искал новаго дѣла.

Он стал серьезен, солиден и с достоинством кивал головой проходившим по улицѣ бродягам-пріятелям. А тѣ подмигивали ему, как будто себѣ на умѣ.

Кушал он в кухнѣ с прислугою. Послѣ завтрака ему подавали большую кастрюлю жидкаго кофе и он долго со смаком занимался ею. Не только лицо его, но и затылок и спина выражали: «дворник фрыштыкает». Откушав, Василь Осичь деликатно отставлял пустую кастрюлю, осторожно, чтобы не загремѣть стулом и не стучать сапогами, шел к двери и, рыгнув на всю кухню, скрывался.

Я хоть и часто видѣл теперь Василь Осича, но прежней веселости не было.

Прошел мѣсяц.

Однажды ночью, когда всѣ уже спали, под окнами дома раздалось залихватское пѣніе с варіаціями и вокальными импровизаціями всякого рода.

Я узнал голос (скорѣе душу) моего друга и, вскочив с постели, высунулся в окно.

— Вася, милый, иди скорѣй спать!

— Царица Небесная, — закричал Вася, увидѣв меня, —

Я есть служащій человѣк! Мнѣ таперь сам чорт по колѣна! Чеховскій дворник я!

— Завтра, Вася, иди к себѣ, — умолял я его, — услышит отец — пропадешь!

— Ах ты сукин сын, комаринскій мужик!
Ты не хочешь своей барынѣ служить!...

Вася размахнулся и, бросив шапку на землю, пустился отплясывать комаринскую.

— Четыре отдѣленія в головѣ человѣческой! — кричал он. — В одном Умственность, в другом Дурственность, в третьем Невозможность, а в четвертом...

Окно отца растворилось.

Я никогда не узнал, что было в четвертом отдѣленіи. На утро Василь Осичь был изгнан отцом.

Через нѣсколько лѣт я случайно узнал, что умер Ларченко одиноко, гдѣ то в казенной больницѣ.

Часто видѣл я своего отца за письменным столом. Нарѣзав длинныя полоски бумаги, он исписывал их мелким, красивым почерком. Я видѣл, как он правил корректуры, и видѣл его статьи напечатанными в газетах и журналах. Это волновало меня и я рѣшил стать писателем. Я нарѣзал себѣ бумаги, сѣл за стол, обмакнул перо в чернильницу и начал: «Он ходил по комнатѣ...». Тут я остановился и сам заходил по комнатѣ. Прождав немного и перебрав в умѣ нѣсколько фраз, которыя могли бы служить продолженіем первой, я отложил перо и собрал бумагу, приготовленную для большого сочиненія. Но, прочитав, однажды, у Достоевского жизнеописаніе одного из его героев, гдѣ он описывает дѣтство, юность и зрѣлый возраст дѣйствующаго лица, я почувствовал, что мнѣ открылся секрет писательства. Я вынул бумагу и начал писать о том, как одна старушка жила в дѣтствѣ, как она училась, как ее выгнали из гимназіи, как она влюбилась, как разлюбила и еще цѣлый ряд подробностей ея жизни и как, наконец, она стала старушкой. Сочиненіе вышло длинным и было написано таким

же мелким почерком, как у отца. Я просил мать и няню прослушать его. Они терпѣливо прослушали все до конца. Няня заплакала, а мать сказала, что все это хорошо, но, пожалуй, не очень интересно. Почему же у Достоевского интересно, а у меня — нѣт? Почему? Вѣдь он тоже описывает дѣтство и всю жизнь своего героя. Я не мог рѣшить этого вопроса и отказался от мысли стать писателем.

По нѣсколько раз в год отец уѣзжал из дома. Впрочем, он никогда не у ѣ з ж а л, он внезапно и с ч е з а л и через нѣсколько дней мать получала краткую телеграмму: «Я в Крыму», «Я на Кавказѣ». Он никогда не брал с собою вещей. Через плечо перекинут небольшой баул от фотографического аппарата, в баулѣ немного бѣлья и в руках палка. — Так, изчезал отец из дома. Печальны были его возвращенія. Он страдал тяжелыми, изнуряющими его физически и нравственно, запоями. Его изчезновенія были по большей части мучительной борьбой с приближавшимися припадками. Колоссальная воля отца задерживала наступленіе болѣзни, но болѣзнь всегда побѣждала его. Сгорая от стыда и мучаясь за мать, он с болью в голосѣ говорил:

— Мать, пошли, милая, за пивом.

В первые дни своей болѣзни отец ходил по ночным притонам, раздавая деньги ворам и хулиганам. Популярность его в их кругу была велика. Они любили и уважали его. И не только за его деньги, но за тѣ бесѣды, которыя он вел с ними. Часто матери и мнѣ приходилось слышать от проходивших мимо дачи мѣстных воров:

— Желаем здравствовать! Вас не тронем, не безпокойтесь!

Воры народ деликатный. Но были типы и другого рода. Запомнилась мнѣ фигура «Печника». Тощій, высокій, в бабьей кофтѣ, в штанах чуть пониже колѣн (низ давно отрепался), и без шапки. Густые, лохматые волосы дѣлали его голову несоразмѣрно большой. На исхудалой шеѣ она казалась мнѣ пробкой в бутылкѣ шампанскаго. Кудри волос закрывали половину лица и кольцами падали по обѣ стороны распухшаго, сизаго носа. Он громко и часто чихал, приводя меня в восторг

тѣм особенным крикомъ, который онъ изобрѣлъ для своего, и безъ того выразительнаго, чиханья. Привѣтствовавъ насъ, онъ встряхивалъ кудрями и шелъ дальше, неизвѣстно куда. «Печникомъ» онъ назывался потому, что изъ дыряваго кармана его всегда торчала лопаточка для смѣшиванія извести и глины.

Появился какъ то и пьяный чухна. Подня̀въ кверху грязный палецъ, онъ сказалъ моей матери:

— Мамаса, я люповникъ васей папасы! — и шатаясь, изчезъ за угломъ.

Обойдя въ первые дни всѣ притоны, отецъ уже оставался безвыходно дома во все время своей болѣзни. Пилъ онъ пиво и молоко, днемъ и ночью, не ѣлъ ничего и временами впадалъ въ забытье на нѣсколько часовъ.

Во время болѣзни отца вся моя жизнь принимала иной характеръ. Онъ не отпускалъ меня отъ себя даже ночью, несмотря на просьбы и протесты матери. Я страдалъ за мать, но не могъ отказаться отъ ночей, въ которыя такъ много новыхъ, чудесныхъ и страшныхъ переживаній возбуждалъ во мнѣ отецъ. Онъ раскрывалъ передо мной иные міры, уводя меня далеко отъ этого міра и отъ самого себя. Часто ночь начиналась игрою въ шахматы. Не смотря на большое количество выпитаго, отецъ никогда не терялъ способности мыслить и игралъ умно и смѣло. Онъ заставлялъ и меня пить вмѣстѣ съ нимъ. В его большомъ кабинетѣ съ притушенной, часто коптѣвшей, керосиновой лампой, среди множества книгъ, я погружался въ таинственную атмосферу. Шахматная игра кончалась и отецъ начиналъ рисовать каррикатуры. Онъ изображалъ самого себя, въ здоровомъ и больномъ видѣ, мою мать, няню, меня и наших знакомыхъ. В нѣсколькихъ штрихахъ, онъ давалъ и внѣшнее сходство, и внутренній обликъ. Любовь к каррикатурамъ осталась во мнѣ навсегда.

Когда рисованіе надоѣдало отцу, онъ начиналъ показывать мнѣ физическіе и химическіе фокусы. Подъ его «магическимъ» вліяніемъ, то тутъ, то тамъ, на полу, на столахъ, на полкахъ съ книгами вспыхивали разноцвѣтные огни, закипали сами собой жидкости въ стеклянныхъ сосудахъ, образовывались красивые кристаллы въ колбахъ, изъ банокъ поднимались густые пары и, разсѣиваясь,

изчезали под потолком, в бутылочках происходили небольшіе взрывы, горѣли куски проволоки и все это я приписывал необыкновенной и непонятной мнѣ силѣ отца.

Фокусы смѣнялись разсказами о знаменитых авантюристах. Их отважныя продѣлки всегда удавались: они были свободны от страха смерти и рисковали своими жизнями так же, как и чужими.

Наступала вторая половина ночи. Отец садился на диван и начинал разсказывать о звѣздном мірѣ. Его отяжелѣвшее, большое тѣло, смятая и сдвинувшаяся одежда, освѣщенные маленькой лампой, бросали непривычныя тѣни и казались мнѣ фантастичными, нереальными. Внезапный взмах его руки вычерчивал орбиту планеты и она неслась в пространствѣ, слѣдуя жесту отца. Недвижный пояс знаков Зодіака, охватившій весь звѣздный мір, был мнѣ виден в остановившемся, далеко устремленном взглядѣ отца. Взгляд этот был страшен и холоден. Язык отца слегка заплетался. Борясь с ним, он внезапно выкрикивал одно — два слова и спина моя холодѣла. Но я не мог и не хотѣл выходить из этой душной атмосферы ночи, в которую вовлек меня отец. И хотя душа моя с жадностью вбирала в себя космическія картины, так искусно изображаемыя отцом, все же мрачны и бездушны казались мнѣ эти туманности, метеоры, кометы дико носившіяся в міровых пространствах. Человѣческое существо всегда выступало в разсказах отца, как ничтожное, случайно возникшее явленіе. К а к а я - т о комбинація к а к и х - т о сил к о г д а - т о и г д ѣ - т о столкнувшихся — зародила сознаніе! Значит — чудо? Но отец говорил — чуда нѣт. Случай! Но кто же его дѣлает? Кто им «завѣдует»? Мое, еще не испорченное матерьялистическими спекуляціями сознаніе не могло понять случая и на помощь приходило воображеніе. «Случай» рисовался мнѣ, как умный. хитрый. очень большой, все видящій, все могущій, все вперед разсчитавшій НѢКТО. Но был он так одинок, этот НѢКТО, так жалко было его, что слезы душили меня. Обо всѣх он заботится, все для всѣх дѣлает, создал мір, а его знать не хотят.

Начинало свѣтать. Отец вставал, падающей походкой шел

к окнам, раздвигал шторы, тушил лампу и снова опускался на диван.

— А ну-ка, произведи! — говорил он. Я подходил к ящику с пивом, откупоривал бутылку и мы оба выпивали по стакану.

Теперь отец говорил о сознаніи. Возникшее из НИЧТО, оно, милліонами лѣт, подвергаясь «случайностям», достигло, наконец, воего апогея в прекрасной, жаркой, солнечной Греціи. Человѣк, такой ничтожный, затерявшійся в космических вихрях, в новом видѣ представал предо мной. Фигуры первых философов Фалеса и Анаксагора, с их ученіями, смѣнялись другими, столь же чудесными. Вот гигант Аристотель, вот его учитель Платон, вот различія их образа мыслей. Все картинно ярко, понятно и связно. Шаг за шагом вел меня отец по широким и узким, прямым и кривым путям развитія человѣческой мысли. Хотя и усталый, с отяжелѣвшей головой, я все же напряженно старался слушать отца и с уваженіем вглядывался в фигуры мыслителей, являвшихся моему воображенію. Минуя христіанство, отец вел меня дальше, в Средніе Вѣка. Греція оставалась далеко позади. Новые образы представали предо мной. И хотя мы шли дальше и дальше, но один образ не хотѣл покинуть нас. Старый грек шел неотступно за нами. Он мѣшал мнѣ слѣдить за разсказом отца. Я пытался не раз отогнать его. Он изчезал на минуту и тут же снова являлся. Чѣм ближе подходили мы к нашему времени, тѣм курьезнѣе выглядѣл грек-старичек. Вот уже и Кант. В мастерском разсказѣ отца даже этот мыслитель становился понятен мнѣ.

Откуда брал отец эти дивные примѣры, сравненія, образы, так облегчавшіе мнѣ пониманіе философских концепцій? Но старик-грек положительно мѣшал мнѣ. Он не вязался ни с атмосферой ранняго утра, ни с моим упорным желаніем оставаться серьезным. Против воли я вспоминал о веселом Степан Степанычѣ. Захотѣлось, чтобы и он взглянул на грека. Нѣт, буду слушать отца. Может быть завтра удастся уговорить Ларченко сѣсть в бочку? Но все это завтра. Степан Степаныч навѣрное пройдется Александром Македонским. За сараем, я знаю, есть для Васи подходящій фонарь. Но все это послѣ.

Иногда мнѣ казалось, что отец не только разсказывал, но изображал и Шопенгауэра, и Ницше, и Гартмана. Уж очень ярко я видѣл их. Но не только их, но их м ы с л и, казалось, играл он. Как он дѣлал это? Можно, пожалуй, у няни для Васи достать простыню. Я что то прослушал в разсказѣ отца. Да и сам он уже невнятно произносил слова. Было почти совсѣм свѣтло. Хотѣлось во двор, в сад, на свѣжій воздух, но глаза слипались и смѣшил грек. Подходила мать, брала меня за руку и вела в спальню. Уходя я видѣл желтое лицо отца, с опухшими, закрытыми вѣками. В забытьи он стонал тихим, жалким, совсѣм не своим голосом.

Ночи, вродѣ тѣх, что я описал, смѣнялись тяжелыми днями. Мученіе матеря, ея и моя безпомощность перед несчастьем отца, иногда его грубыя пьяныя выходки, держали весь дом в напряженіи. Он пил не переставая нѣсколько недѣль. Но вдруг наступал день, когда отец, всегда неожиданно для самого себя, отставлял недопитый стакан и говорил: «кончено»! Болѣзнь проходила внезапно и отец начинал работать без устали. Он быстро возвращал всѣ пропитыя и розданныя деньги. Его литературные, беллетристическіе и научные труды цѣнились и хорошо оплачивались издателями. Судьба подшутила: он был автором книг на тему: «Алкоголизм и борьба с ним».

Извѣстный в то время профессор О., пріятель отца, лечившій алкоголиков гипнозом, много раз предлагал отцу свои услуги.

— Оставьте, голубчик, — отвѣчал отец, — ничего у вас не выйдет.

Но О. настаивал и отец согласился на опыт гипноза. О. и отец сѣли друг против друга и О. быстро задремал под взглядом отца.

С годами запои отца становились все чаще и продолжительнѣе и он спился быстро и окончательно послѣ того, как потерял своего единственнаго друга, котораго нѣжно любил и перед которым преклонялся. Другом этим был брат его Антон Павлович Чехов. Их переписка, полная юмора, взаимной

любви и глубоких мыслей была, послѣ смерти отца и А. П. Чехова, подобрана мною в хронологическом порядкѣ. Письма обоих братьев я хранил в сейфѣ московскаго банка. Послѣ моего от'ѣзда из Россіи, Совѣтское правительство (без моего разрѣшенія) обнародовало часть этой переписки. Извѣстіе о смерти А. П. Чехова не только вызвало приступ болѣзни отца, но и измѣнило его характер. Он стал как то безцѣльно метаться, меньше работал, стал жить один, но постоянно звал к себѣ мать и меня. Терпѣл ненужныя, мелкія неудобства, писал в нетрезвом состояніи безсмысленныя письма к важным государственным лицам, посылал в газеты извѣщенія о своей смерти, писал о себѣ некрологи, путешествовал тоже безцѣльно, тосковал и скоро вернулся в семью. Но вернулся он больным и приговоренным врачами к смерти. У него начал развиваться рак горла. Страха близкой смерти он не обнаружил, от операціи отказался, стал пить не переставая, лег в постель и начал читать одну книгу за другой, тоже без разбора, хотя у него была великолѣпная библіотека. Он сам предсказал день своей смерти. И предсказаніе его оправдалось. Умер он в тяжких мученіях.

Смерть отца произвела на меня странное впечатлѣніе. Н е т а к должен был умереть, казалось мнѣ, такой сильный, всегда неожиданный и страшный человѣк. Я видѣл, как он задыхался, как кошмарныя видѣнія терзали его душу и в минуты, когда к нему возвращалось сознаніе, ужасался его непросвѣтленному гнѣву, даже злобѣ, на долгія свои страданія. Я все ждал от него, в эти ужасные дни и ночи, какой то новой правды, не высказанной их до сих пор. Когда послѣдняя судорога пробѣжала по его лицу, когда он перестал дышать и метаться, и лежал с открытым ртом и открытыми, никуда не смотрящими, глазами, я все еще ждал. Но «аккорд» остался неразрѣшенным. Я отошел от его постели, лег и сам перестал двигаться. Это мое состояніе длилось до тѣх пор, пока я не нарисовал его лицо в момент его смерти. Рисунок производил непріятное впечатлѣніе и домашніе забросили его куда то. Но мнѣ стало легче и я начал быстро забывать отца.

Полное «разрѣшеніе аккорда» я осознал в себѣ только послѣ того, как сыграл на сценѣ три различныя смерти.

Іоанн Грозный, умирая, увидѣл шутов и скоморохов, с диким визгом, свистом и кривляньями, не то провожавших его из этой жизни, не то встрѣчавших на порогѣ будущей. Его растерзанная и грѣшная душа все же увидѣла искаженный облик потустороннего.

Эрик 14, за мгновеніе до смерти, тоже взглянул в тот мір, куда вела его судьба. То, что он увидѣл, было свѣтом, по сравненію с его темной безысходной жизнью. Он весь раскрылся и его пораженная, хотя еще не понимающая душа, страстно устремилась навстрѣчу невѣдомому и он умер.

Гамлет принял смерть, как знающій: он п е р е ш е л спокойно, с ясным сознаніем, как бы осторожно сложив с себя свое тѣло.

Всѣ три смерти были для меня не только уходом о т с ю д а, но и различным вступленіем т у д а. Я постарался передать это публикѣ, как в игрѣ, так и в нюансах постановок.

Так, изобразив три смерти на сценѣ, я пережил то, чего не хватало мнѣ в смерти отца.

2.

Воспоминанія мои об А. П. Чеховѣ, к сожалѣнію, крайне скудны.

Я помню, напримѣр, себя сидящим на колѣнях А. П. (мнѣ было тогда, вѣроятно, 6-7 лѣт). А. П. нагибается ко мнѣ и ласково спрашивает о чем то, а я смущаюсь и прячу от него лицо.

Вспоминаю, как отец мой в первый раз привез меня в Ялту и вошел со мной в кабинет А. П.

— Это кто же? — спросил он, протягивая мнѣ руку, — Антон? (другой сын моего отца).

— Нѣт, это Мишка.

— Ну, здравствуй, Миша.

В это время А. П. подали пакет с книгами, только что

принесенный с почты. Это было роскошное изданіе «Каштанки».

— Читал ты «Каштанку?» — спросил А. П.

— Нѣт, — отвѣтил я.

— Ну, так вот тебѣ, — он подал мнѣ книгу, — пойди и прочти. А «Бѣлолобаго» читал?

— Нѣт.

— Тоже прочти. Дай-ка мнѣ книжку, я тебѣ надпишу.

Еще запечатлѣлась в моей памяти прогулка с А. П. по ялтинской улицѣ. Он, худой, сгорбленный тихо шел, опираясь на палку. Уличные мальчишки прыгали вокруг него крича:

— Антошка — чахотка! Антошка — чахотка!

А он, ласково улыбаясь, глядѣл в землю.

Как то вышел он к вечернему чаю в столовую, гдѣ сидѣли его мать Евгенія Яковлевна, моя мать и я. Он, очевидно долго писал перед этим — взгляд его был нѣсколько разсѣян и счастливая улыбка временами играла на его губах. Ему подали чай и он, своим тихим, теплым баском, сказал:

— Ложка собакой пахнет.

Мать его встревожилась и стала увѣрять, что ложки, да и вся посуда моются в кухнѣ хорошо.

— Что ты это, Антоша, какая собака, откуда!

Я закатился смѣхом и видѣл, как А. П. как бы изподтишка, улыбаясь глазами, поглядывал на меня.

Сиживал я у него в кабинетѣ молча, часами, когда он писал. Я сгорал от любопытства узнать, что стоит у него в углу в длинном, закрытом футлярѣ. Разглядывал множество маленьких вещичек, лежавших на его письменном столѣ, и хотѣл, чтобы он дал мнѣ их. И он, дѣйствительно, вдруг переставал писать и давал мнѣ одну из вещичек, давно облюбованных мною.

— Спасибо, — говорил я басом от смущенія и тотчас же намѣчал другую вещичку. Скоро у меня набралось много «подарков» А. П.

Собирал он мѣдныя копѣйки в большую фарфоровую вазу. Сколько накопилось — мнѣ узнать не удалось: ваза стояла высоко на каминѣ.

Пріѣзжал раз Орленев. Он шумно, размашисто ходил по кабинету, громко разсказывал эффектныя исторіи, иногда останавливаясь в картинной позѣ против А. П. Мнѣ казалось, что молча слушавшій А. П. утомлялся, слѣдя за безпокойной фигурой Орленева. Но недружелюбнаго выраженія я не замѣтил ни разу на его лицѣ.

Забрался я однажды в спальню А. П., когда его не было дома. Над его кроватью висѣла большая картина, написанная масляными красками братом его, художником Николаем. Картина изображала бѣдную швею, с измученным, усталым лицом, опустившую руки на колѣни. То, что она шила, упало на пол. На столѣ горѣла маленькая, тусклая керосиновая лампа. Худая рубашонка сползла с плеча швеи. В грустном, почти плачущем лицѣ ея я узнал мою мать. Я вышел из спальни и на меня нашла задумчивость. Когда я подрос, мнѣ разсказали, что А. П. и моя мать любили друг друга. Почему они не женились, осталось для меня неизвѣстным.

О моем отцѣ А. П. говорил: «Александр гораздо талантливѣе меня, но он погибнет от пьянства».

3.

С самых юных лѣт я был в состояніи непрестанной влюбленности. При первой же встрѣчѣ с дѣвочкой, какова бы ни была ея наружность, я твердо рѣшал жениться на ней. Я знал: я люблю глубоко, на всю жизнь. Дѣвочки курносыя, с веснушками, с косичками, всѣ, каких посылала мнѣ судьба, бѣгали от моих об'ясненій в любви и от предложеній немедленно вступить в брак. С перваго же взгляда на мою будущую жену я непремѣнно находил в ней черту, приводившую меня в восторг. Если она была худа — я женился на ней за ея худобу. Если она была толста и молчалива — я любил ее за ея надутыя губки. Если платьице ея было в цвѣточках — я предлагал ей руку и сердце, но если цвѣточков не было — я дѣлал то же. Если дѣвочки временно изчезали с моего горизонта — я был влюблен вперед, на будущее. По большей части браки мои раз-

страивались по двум причинам: или я намѣчал сразу нѣсколько невѣст, или до такой степени ни на шаг не отходил от своей будущей жены, что она не выдерживала лишенія свободы и пряталась от меня.

Влюбленность дѣлала меня застѣнчивым и мрачным. Я краснѣл, становился особенно неловким и думал:

— Вот разлюбит! Вот уже разлюбила!

Когда собиралось много дѣтей и затѣвались игры, я заранѣе обижался на всѣх, зная, что что нибудь будет не так.

Играли, однажды, в «слова». Бросали друг другу платок, говоря первый слог слова. Тот, кто ловил платок, должен был слово докончить. Я бросил платок «ей», той, кого любил.

— «Жо..!» — крикнул я и в ужасѣ схватился за голову. Потом застонал и поник на стулѣ. Всѣ испугались и затихли, Дѣвица постарше, руководившая нашей игрой, помолчала, подумала и сказала:

— Ну что же такого, ну: «Жоравль».

Ей повѣрили, успокоились и продолжали игру. Уши мои горѣли, лицо стало неподвижным, нижняя губа сдвинулась и не могла попасть на мѣсто. Я знал, что я некрасив, но все же т е п е р ь. я любил ее больше, чѣм прежде. Послѣ того, что произошло, ч т о она слышала от меня сейчас — мы уже близкіе люди. Уж раз э т о слово сказано — больше стѣснятьсяся не надо. Теперь мы свои, мы — как муж и жена. Может быть встать и сказать всѣм, что мы любим и никогда уже теперь не разстанемся?...

Я взглянул на нее.

Она с визгом тянулась к платку и не вставая со стула, прыгала на мѣстѣ. Платком завладѣл длиннолицый мальчишка в противных зеленых чулках. Он дразнил ее с глупым смѣхом.

Как она может?! В такую минуту! Таращит глаза на него! Может, дать ему по затылку? И зачѣм я сошелся с тобой! Домой хочу. Надо как нибудь сдѣлать, чтобы не жить поскорѣй.

Любовь моя кончилась.

Но вот я встрѣтил однажды взаимность и счастливая

любовь моя затянулась на много, много дней. Это была несчастная дѣвочка. Она боялась родителей, дома своего не любила и часто убѣгала поплакать. Я цѣловал ее с утра до вечера и скоро сдѣлал ей предложеніе. Она вздохнула и уткнувшись лбом мнѣ в плечо — согласилась. Я расплакался. Я не знал, как надо жениться и что придется дѣлать послѣ свадьбы. Сказав ей: «я сейчас»... — я бросился к матери и разсказал ей о своем несчастьи. Мать пошла к моей бѣдной невѣстѣ и сказала ей... я не знаю, что она ей сказала, но я видѣл, как дѣвочка в слезах шла домой.

— Жених, жених идет, — кричали мнѣ товарищи на улицах. Я безропотно сносил всѣ насмѣшки, зная свою вину.

Лѣт 10 спустя, я узнал, что несчастная дѣвочка вышла замуж и стала счастливой матерью.

4.

Моя мать и старая няня были первыми зрителями моих «домашних спектаклей». Я собирал со всего дома одежду: отцовскіе пиджаки, нянины юбки и кофты, шляпы мужскія и женскія, зонтики, галоши — все, что попадалось под руку и начинал импровизировать без предварительнаго плана, без цѣли. Я брал первую попавшуюся под руки часть одежды, надѣвал на себя и надѣвши — чувствовал: к т о я т а к о й. Импровизаціи были юмористическими или серьезными в зависимости от костюмов.

Но что-бы я ни изображал, реакція няни была все та же: она закатывалась долгим, свистящим смѣхом, переходившим в слезы.

— Наш-то, наш-то! — приговаривала она, утирая глаза подолом юбки.

Няня никогда, до конца дней своих, не усвоила мысли о том, что я вырос. Точно так же реагировала она и на мою игру, когда видѣла меня на сцѣнѣ МХТ.

Иногда, разсердившись, она пугала меня, как маленького:

— Вот, ужо, погоди я уѣду от тебя, — говорила она.

— Когда, няня?

— А вот, числа 34-го и поѣду!

Видя меня за книгой, за письменным столом она осторожно входила, останавливалась в дверях и дѣлала знаки, знакомые и понятные мнѣ с дѣтских лѣт.

— Милый, поди сдѣлай... — говорила она, — уж время тебѣ.

Когда я женился, она сразу же взяла на подозрѣніе мою красавицу жену и, многозначительно кивая матери головой, шопотом говорила:

— Уж больно красива! Не обошла бы нашего то. Ну, да я дознаюсь!

Когда постепенно круг моих зрителей расширился, я стал разучивать сценки из Диккенса, Горбунова и даже играл с пріятелями водевильчики. С текстом я не считался. Ухватив тему в общих чертах, я сам сочинял слова. Я чувствовал себя счастливым только, когда импровизировал. Попробовав однажды слѣдовать написанному тексту, я растерялся, расплакался и в отчаяніи убѣжал «за кулисы» (простыня на веревкѣ отдѣляла зрительный зал от сцены). Публика утѣшала меня, но я рѣшил «бросить сцену навсегда». Почему я должен переносить такія мученія, если я могу стать хирургом или пожарным? Но хирург продолжал играть, если и не на «настоящей сценѣ» (за простыней на балконѣ), то на улицах, перед дачами сосѣдей, во время перемѣн в гимназіи и, наконец, в одиночествѣ, для самого себя.

Мѣстный клуб устраивал любительскіе спектакли. Я был приглашен принять участіе в одном из них. Появившись в первый раз перед большой публикой в качествѣ «смѣшного» старичка-дядюшки я, неожиданно для себя, очутился на серединѣ сцены. Сконфузившись и не имѣя мужества ни сѣсть, ни отойти в сторону, я стал говорить: «хэ-хэ-хэ» (вѣдь роль была комическая) и переминаться с ноги на ногу. Отец прислал за кулисы сказать мнѣ: «не качайся, болван». Но Степан Степаныч с восторгом принимал всѣ мои выступленія.

Клубные спектакли рѣшили мою судьбу. Я перестал учить-

ся и сосредоточил свой интерес на любительских спектаклях. До этого я учился хорошо. Недѣльный отчет мой блистал пятерками. Я был силен во французском языкѣ и занимался с моими одноклассниками, отставшими по этому предмету. Но с нѣкоторых пор учитель стал приглядываться ко мнѣ. Однажды, перед всѣм классом, вызвав меня к доскѣ он потребовал, чтобы я написал: «vous êtes». Я написал: «wu zet». Меня отдали в театральную школу Суворина и карьера моя окончательно опредѣлилась.

Не могу сказать, чтобы я учился театральному искусству в школѣ. Нѣт, я наблюдал моих прекрасных преподавателей М. Г. Савину, В. П. Далматова, Б. С. Глаголина, Н. Н. Арбатова, В. В. Сладкопѣвцева и др. Я не много запомнил из того, что слышал от них в качествѣ теоретических наставленій. Но я помню и х с а м и х. Я учился не у них, но и м с а м и м. Их педагогическая техника не была на той же высотѣ, как актерская. Один из преподавателей, напримѣр, учил нас изображать гнѣв в четыре пріема: 1 — топнуть ногой, 2 — поднять руки кверху, 3 — крикнуть с закрытым ртом, 4 — дважды быстро скрестить кулаки над головой. Другой показывал пріем «сложнаго паденія», в то время, когда вы, играя сыщика или полицейскаго, схватываете бандита и вмѣстѣ с ним, в борьбѣ, падаете на землю. Третій просто выкрикивал горячо и с душой: «лѣпите, дѣтки, лѣпите!» Учитель грима (морской офицер), стирал с наших лиц неудававшіеся ему гримы своим носовым платком. Он смачивал его водой или просто поплевывал на него, приговаривая:

— Эх, тут бы надо растушовочкой!...

Но зато как убѣдительны и прекрасны были наши преподаватели, играя на сценѣ. Когда я увидѣл Глаголина в роли Хлестакова, мнѣ стало ясно, что он играет эту роль н е т а к к а к в с ѣ, хотя до него я не видѣл Хлестаковых на сцене. Без всяких сравненій, непосредственно из самой игры Глаголина я понял оригинальность его творчества. Арбатов своими постановками научил меня цѣнить четкость сценической формы. Да и вся его частная жизнь, его квартира, его искусные

макеты, библіотека, мебель, все было проникнуто изящным чувством формы. Я понял, что актер, если он не желает воспитывать в себѣ любовь к сценической формѣ, в рѣчи, в движеніях, даже в психологіи образов, обрекает себя на диллетантизм, принимая его за свободу.

Незабываемыми учителями были для меня и актеры Александринского театра: Варламов, Давыдов, Стрѣльская и вся плеяда русских театральных геніев того времени. Я поражался тѣм «чудесам», которыя они творили на сценѣ. Когда фигура Варламова или Давыдова появлялась на сценѣ, я, как и всякій зритель, вдруг, каким то непостижимом образом, угадывал вперед в с ю ж и з н ь, в с ю с у д ь б у героя. Еще не было произнесено ни одного слова со сцены, но зритель уже встрѣчал Варламова, Давыдова, Далматова, Стрѣльскую смѣхом, слезами, негодованіем, восторгом, состраданіем, гнѣвом! Силой своего дарованія они дѣлали зрителя прозорливцем. И все, что видѣл и слышал зритель потом, слѣдя за их игрой в теченіи вечера, все вызывало в душѣ его чувство: «да, да, я так и предвидѣл, так это и должно было быть!» И никогда не изображали эти чародѣи о б р а з о в данной роли т о л ь к о. В их исполненіи это всегда был п р о - о б р а з т а к и х людей, т а к и х душ, т а к и х переживаній человѣческих. Их «несчастный» герой заставлял содрогаться зрителя от того, ч т о раскрывалось перед ним, как человѣческое страданіе в о о б щ е. Оно, как обертон в музыкѣ, витало около них. А их юмор? Ни Варламов, ни Стрѣльская ни Давыдов не смѣшили публику т е к с т о м а в т о р а, как это дѣлают современные актеры, принимая смѣх зрителя на свой счет. Они заставляли смѣяться тому душевному состоянію, в которое приводили себя, в то время, как текст автора они произносили легко и свободно. Их д у ш и становились смѣшными, независимо от текста.

Вот уже больше 30-ти лѣт прошло с тѣх пор, как я видѣл этих чародѣев на сценѣ, но я не забыл и не могу забыть сотен и сотен деталей в их игрѣ. Вот Стрѣльская обмахнула пыль с портрета умершаго сына и зал зарыдал от боли. Для меня

это — чудо. Далматов в комической роли, дымя сигарой, говорит: «Байрон, Шекспир, Гете, Вольтер»... и вы видите, что Шекспира-то, именно Шекспира — он не читал! Что то случилось еле замѣтное, нѣт, совсѣм незамѣтное с его сигарой, с дымком и по ним вы знаете: н е ч и т а л ! Развѣ это не чудо? Варламов — Пищик в «Вишневом садѣ». Он узнает, что дом продан. Короткая пауза, 5-6 секунд. Варламов взглянул на стул рядом с ним, на окно, на портьеру, на пустое пространство стѣны — и все измѣнилось: на сценѣ, в зрительном залѣ, в сердцѣ зрителя, в атмосферѣ спектакля. Ясно: к о н ч и л а с ь ж и з н ь в э т о м д о м ѣ!...

О, они знали, что значит а к т е р и как надо играть. Они знали, но другим передать не могли. Все дѣлалось «Божьею милостью» у этих гигантов. И в их время они были правы. И м не нужно было ни школы, ни режиссера. Но времена измѣнились, «Божія милость» оставила нас, а мы все еще не хотим ни школы, ни режиссера. Время скажет свое. Придет новое поколѣніе и на новых началах построит театр. Ум, знаніе, работа и техника поведут театр вперед. И тогда «Божія милость» снова сойдет на актера, хотя и по иному. Будущее поколѣніе, пережив вторую міровую войну и всѣ послѣдствія ея, поймет, что современный театр выглядит так же старомодно, как выглядѣл бы сегодня военный курьер, посланный на лошадях с эштафетой из Каира в Алжир. Только испорченность современной публики, недомысліе критиков и наивность актеров позволяют закрывать глаза на правду современного театра.

Арбатов создал в нашей школѣ цикл исторических спектаклей. Николай II пожелал познакомиться с этой работой и цѣлый ряд представленій был организован в Царском Селѣ. Задолго до поѣздки во дворец в нашу школу был прислан придворный генерал, обучавшій нас правилам поведенія в присутствіи Государя. Правил было много и они казались нам трудными. Но мы добросовѣстно репетировали их, выбирая «государей» из нашей среды. В Царском Селѣ на вокзалѣ нас встрѣтили красныя кареты с двуглавыми орлами, и лакеи в

расшитых золотом ливреях. На панелях толпились любопытные. Мы оробѣли, с'ежились и сбились в кучку. Во дворцовой залѣ круглые столы были накрыты для обѣда. Гиганты лакеи, обнося блюда, с нескрываемой насмѣшкой посматривали на нашу притихшую компанію. Мы ждали обыска и заранѣе подчистили свои карманы, вынув оттуда всю ненужную мелочь. Послѣ обѣда нам разрѣшили курить. Пепел мы стряхивали в массивныя серебряныя кольца от салфеток. Штатскіе в черных сюртуках (чины тайной полиціи) непрестанно проходили через залу. Атмосфера становилась неуютной. Но вот один из наших шепнул: «а обѣд-то, братцы, дрянь»... и всѣм стало легче. Обыска не было и нас послали гримироваться и одѣваться. Два очаровательных мальчика, Великіе Князья Игорь и Олег, прибѣжали к нам, мѣшали одѣваться, пробовали гримировальныя краски, задавали вопросы и сильно разрядили напряженную атмосферу.

Государь сидѣл в первом ряду, с интересом слѣдил за игрой и когда смѣялся — толкал свою сосѣдку даму локтем. Выйдя к нам послѣ спектакля он, видимо, очень стѣснялся и не знал, о чем говорить. Нам запрещено было задавать вопросы членам царской фамиліи или переспрашивать их. Но на первый же вопрос, слишком тихо заданный Государем, испуганный и неразслышавшій актер выскочил вперед и с еврейским акцентом прокричал Государю: «Вы что-то сказали! Что вы сказали?» Государь повернулся к рыженькой, оробѣвшей актрисѣ и прежде, чѣм успѣл задать ей вопрос, она ухнула вниз в реверансѣ и сѣла на клавиши открытаго рояля. В наклоненном положеніи ее отбросило вперед. Государь смущенно улыбнулся и обратился ко мнѣ с вопросом:

— Как вы приклеиваете нос на сценѣ?

— А вот как, Ваше Величество! — сказал я, сняв липкую мастику с носа и размазав ее по ладони руки.

Государь спросил меня, не хочу ли я на Императорскую сцену. Но я растерялся и ничего не отвѣтил. Могло показаться, что я не хочу. Он опять виновато улыбнулся и протянул мнѣ руку. Я крѣпко пожал ее и приклеился липкой мастикой к его

бѣлой перчаткѣ. С легким, но ясно прозвучавшим в тишинѣ «цокающим» звуком, Государь высвободил свою руку. Нашим поведеніем остались недовольны и Государя мы больше не видали.

Спектаклям в Царском Селѣ предшествовало курьезное событіе, обратившее на себя вниманіе Арбатова. За день до поѣздки нѣсколько школьников увидѣли одинаковый сон: участник спектакля «Н», пріѣхав во дворец, сдѣлал покушеніе на жизнь царя. Помнится и сам Арбатов видѣл такой же сон и «Н» во дворец не взяли. Об этом эпизодѣ мнѣ пришлось вспомнить много лѣт спустя, когда послѣ Октябрьской революціи я снова встрѣтил бывшаго своего товарища «Н». Он оказался активным коммунистом. Тогда же он сказал мнѣ, что с юных лѣт принимал участіе в подпольной работѣ. Разсказал он и о своей дѣятельности в первые дни революціи. Разсказ его произвел на меня тяжелое впечатлѣніе. Один эпизод, впрочем, смягчил это впечатлѣніе. С группой вооруженных пьяных солдат он ворвался в квартиру старика генерала с заданіем «ликвидировать» его. Генерал, «защищая честь мундира», дрожащей рукой навел на «Н» револьвер. Жалость шевельнулась в сердцѣ «Н». Властью ему данной, окриком и ругательствами он выгнал за дверь разнуздавшихся солдат, спрятал старика и потом... не нашел его.

5.

Мое первое профессіональное выступленіе ознаменовалось для меня горьким переживаніем.

По окончаніи театральной школы Глаголин принял меня в Малый Театр и дал роль Царя Федора Іоанновича. Послѣ второго представленія на сценѣ появился капельдинер с лавровым вѣнком. Вѣнок предназначался мнѣ. Не подозрѣвая этого, я все дальше отходил от капельдинера. Но он преслѣдовал меня, загоняя в боковую кулису. Я понял, наконец, что вѣнок принадлежит мнѣ, когда на лентѣ прочел свое имя. Вѣнок был значительно больше меня и взяв его в руки, я

скрылся от взоров публики. В это мгновеніе я почувствовал боль в рукѣ. Царица Ирина давила и щипала мнѣ руку.

— Сам, сам поднес себѣ вѣнок! — услышал е ея шопот. — Хорош! Такой вѣнок! Ну, подожди-ж ты!

Она кланялась публикѣ и влекла меня на авансцену. Из за своей засады я пытался об'яснить ей, что ничего не знал о вѣнкѣ. Но она все кланялась и улыбалась, пока не опустили занавѣс. Тут Царица Ирина пришла в ярость. Слова, которыя я услышал из ея уст, были знакомы мнѣ и раньше. Но я никогда еще не слыхал их от женщины. Она, как вихрь, унеслась в уборную, но актеры еще долго стояли молча вокруг меня. Я ушел со сцены послѣдним.

Глаголин давал мнѣ все новыя и новыя роли самаго разнообразнаго характера. Даже женскую роль сыграл я в водевилѣ, поставленном Глаголиным. Он сам играл «Орлеанскую Дѣву» и оставил в моей душѣ неизгладимое впечатлѣніе. Я был очарован его смѣлой и прекрасной игрой.

В первый раз я увидѣл русскую провинцію, когда труппа Малаго Театра совершала гастрольную поѣздку. Русская публика всегда любила театр, но такого обожанія актеров и преклоненія перед театром, как в русской провинціи, я не видѣл никогда и нигдѣ. Зритель, приходя на спектакль, становился другим человѣком. Жил он, этот провинціальный зритель, в Миргородѣ или в том богоспасаемом городѣ, гдѣ франтил Почтмейстер и разводил гусей с гусенятами Ляпкин-Тяпкин. Что окружало его изо-дня в день? Посмотрите на вывѣски провинціальных магазинов. Вот молочное заведеніе. Баба в платочкѣ доит корову. Силой таланта художника она глубоко вписана в самую корову, а огненно-красный пѣтух на заднем планѣ превосходит по величинѣ и корову и бабу, вписанную в нее. Клюв пѣтуха широко раскрыт — он поет. Тѣло не участвует в пѣніи. Оно как-бы покоится на нашестѣ. Ноги схвачены художником в момент стремительного бѣга. Вот парикмахерская. Дама, с лицом рыженькой лошадки, упирается головой в верхній край вывѣски. Прическа не помѣстилась. То же случалось и со стоящим около нея парикмахером. Он,

как сѣкирой, замахнулся на нее страшной гребенкой. Двѣ трети вывѣски заняты его и ея ногами. Несомнѣнно, художник начал писать свою композицію снизу, с ног и, не расчитав разстоянія, почти обезглавил своих героев.

Жители Миргорода не видѣли, как безвкусны их костюмы, как смѣшны шляпки их дам, но приходя в театр они вдруг начинали понимать тонкости переживаній человѣческой души, с трепетом слѣдили за сложными судьбами героев и героинь, шли увѣренно в душевные изгибы сарказма, юмора и тоски, куда вели их Гоголь, Чехов, Тургенев. Зародившееся во мнѣ тогда смутное чувство той роли, которую может играть театр в человѣческой культурной жизни, окрѣпло и получило ясныя формы, когда заграницей я увидѣл, какое ничтожное значеніе имѣет театр в жизни общества, на какой низкой ступени развитія стоит он и вся актерская масса.

Сейчас театр (и даже русскій) болен. Иногда хочется сказать — безнадежно. Но это несправедливо, конечно. Театр оживет и выйдет на новую дорогу. Правда, болѣзнь его не слишком почтенная: натурализм, вульгарный и плоскій. Но он постиг уже высшей точки своего развитія и теперь можно надѣяться на оздоровленіе. В самом дѣлѣ, как может развиваться натурализм дальше, послѣ того, как публика видѣла на сценѣ: муж сознательно сводит с ума жену; человѣка давит поѣздом; вампир (во фракѣ) высасывает кровь дѣвушки; «герлс» долго и искусно раздѣваются на сценѣ или носят декольте, прикрытое только тонким газом? Нервы зрителя притупляются, требуют новаго, болѣе сильнаго раздраженія, а его уже нѣт в сокровищницах натурализма. Надо мѣнять направленіе. Надо лѣчиться. Характерной чертой натурализма является его безыдейность, его н е - м у д р о с т ь. Мудрость приходит от страданій, говорит Рудольф Штейнер. Если это так, то развѣ в наши дни не выковывается мудрость для будущаго? Я сомнѣваюсь, чтобы матери, отцы, братья, сестры, жены, невѣсты, дни и ночи представляющіе себѣ к а к погиб их любимый на фронтѣ, д о л г о л и он страдал, ч т о хотѣл сказать он им, умирая — я сомнѣваюсь, чтобы эти люди снова

захотѣли смотрѣть человѣка, раздавленнаго поѣздом или слышать плоскую «современную» шутку со сцены. Да и тѣ, кто вернутся живыми, захотят ли о н и этого? Вѣрно ли мы представляем себѣ их возвращеніе? Мы знали их д о войны, но узнаем ли п о с л ѣ! Тѣ, кто вернутся другими — захотят перестроить и прежнюю жизнь, и прежнее міровоззрѣніе. О н и с в о и м и г л а з а м и в и д ѣ л и э т о м і р о в о з з р ѣ н і е, к о г д а о т в л е ч е н н ы я и д е и м а т е р ь я л и з м а к о н к р е т н ы м и т а н к а м и н а д в и г а л и с ь н а н и х.

В том многом, что, вернувшись, они скажут нам, будет и слово, обращенное к натурализму в искусствѣ. И э т о г о слова натурализм не выдержит.

Будем надѣяться.

Поѣздка Малаго Театра по провинціи проходила больше, чѣм весело. Дисциплина отсутствовала, но я не замѣчал этого. Я еще не был знаком с театром стиля МХТ. «Мѣсто актера в буфетѣ», думал я и не стѣснял себя в удовольствіях.

Когда театр в'ѣхал в черту осѣдлости, благодарная еврейская публика стала заполнять зрительный зал. В одной из пьес я играл еврея ростовщика, вродѣ Шейлока, и мои товарищи подшутили надо мной. Послѣ одного из спектаклей, разгримировываясь я почувствовал себя окруженным странной атмосферой. Товарищи мои были как будто чѣм то озабочены, перешептывались и украдкой поглядывали на меня. Их безпокойство передалось и мнѣ. Послѣ долгих колебаній, сомнѣній и подготовленій, мнѣ сообщили, что еврейское населеніе города собралось недалеко от театра и поджидает меня, чтобы избить за тот отрицательный тип еврея, который я изображал в сегодняшнем спектаклѣ. Ужас охватил меня. Прежде, чѣм сообразить, что я дѣлаю, я сбросил свое пальто и шляпу, и схватив чье-то чужое, очень большое пальто и такую же большую соломенную шляпу с полями — выбѣжал из театра. Евреи, попадавшіеся мнѣ на улицах — шарахались в стороны от меня, а я от них. Я бѣжал зигзагами, как аттакованный стрѣлок, направляясь на запасные пути желѣзной дороги, гдѣ

стоял наш вагон. Товарищи, невидимо для меня, бѣжали за мной, наслаждаясь достигнутым эффектом.

Вскорѣ они получили и другое удовольствіе, но уже без всякой заслуги с их стороны. В другой пьесѣ я играл китайца, появлявшагося в послѣдней сценѣ. Среди актеров стал распространяться слух, что сосѣднее с театром зданіе горит. Я вышел на улицу и увидѣв пламя, подобрал полы длиннаго китайскаго халата и как был в гримѣ и с косой — пустился бѣжать по направленію к вокзалу. За мной гнался театральный портной.

— Господин Чехов, — кричал он, — хоть брючки отдайте!

Сбросив китайскіе шаровары и снова подобрав халат, я быстро достиг желѣзнодорожной станціи.

Послѣ этих двух эпизодов, товарищи рѣшили устроить состязаніе в бѣгах. На меня, как на бѣгуна-фаворита, ставились «большія деньги». Бѣга состоялись, но пальма первенства досталась не мнѣ и товарищи мои долго и жестоко издѣвались надо мной.

6.

Параллельно с актерской, веселой и праздной жизнью, я вел другую, ни в чем не похожую на первую. Среди персонажей, окружавших меня в этой жизни, выдѣлялись три почтенных старца. (Впрочем, один из них был сравнительно моложе других). Они были моими наставниками. Один из них старательно убѣждал меня в том, что жизнь есть безпощадная борьба за существованіе и что мораль и религія — только иллюзіи, хотя может быть и прекрасныя. Что я сам, в конечном счетѣ, есть только м о е т ѣ л о со всѣм тѣм, что я унаслѣдовал от моих родителей. Этим наставником был Чарльз Дарвин. Другой тратил свое краснорѣчіе на то, чтобы об'яснить мнѣ что если, по упрямству моего характера, я непремѣнно хочу видѣть и цѣнить д у ш у в человѣкѣ, то я должен дѣлать это, по крайней мѣрѣ, соотвѣтственно научным методам, т. е. видѣть вещи об'ективно, такими, каковы они есть на самом дѣлѣ, независимо от моих симпатій и антипатій. И он показывал мнѣ

Подсознательное человѣческой души со всей нечистотой и сексуальными ея импульсами. Это был Зигмунд Фрейд. Третій наставник старался сдѣлать для меня мірок, гдѣ царили наслѣдственность, борьба и сексуальные импульсы, насколько возможно, привлекательным. Он опьянял меня очарованіем тоски и пессимизма и учил меня любоваться безцѣльностью человѣческаго существованія. Эту заботу о моей внутренней жизни взял на себя Артур Шопенгауэр. В благодарность за это его портретами была увѣшана вся моя комната. Все таки он был самый добрый и милый из них. Правда, он ругался (как извозчик!) но только с Фихте и Гегелем, но нас, своих почитателей, он, повидимому, очень любил. Я не то, чтобы не вѣрил моим наставникам, но как то уж слишком они пригнетали меня к землѣ. Иногда хотѣлось выкинуть какую-нибудь штуку против них, но штуки такой я не находил и продолжал учтиво сгибаться под тяжестью их логики. Проводя ночи с отцом, я пристрастился к вину. Когда в головѣ моей шумѣло и жизнь начинала казаться легкой — я особенно любил моих трех наставников. Пріятно волновало чувство презрѣнія к окружающим (вѣдь я знал, что дѣлалось в их Подсознаніи!), и к самому себѣ. Моего любимца Шопенгауэра мнѣ давно уже хотѣлось отблагодарить за его заботы обо мнѣ, но я еще не знал, как это сдѣлать. Почитывал я и Канта (уж очень Шопенгауэр настаивал на этом), слѣдил за развитіем психологіи и особенно интересовался направленіем, отрицавшим человѣческое «Я», как самостоятельную сущность. Все шло хорошо и в соотвѣтствіи с научными методами. Играл же я, по прежнему, с наслажденіем и без усилій держал отдѣльно оба моих міра.

Однажды ночью, когда я сидѣл один в своем кабинетѣ и пил, с улицы раздался звонок. Я отворил дверь. На порогѣ стоял А. К. Глазунов. Я не был с ним знаком раньше и его приход поразил меня. Его сопровождала очаровательная Сонечка К., его и моя ученица. Ей захотѣлось познакомить своих преподавателей. Но почему она выбрала момент, когда оба они были в нетрезвом состояніи — сказать не берусь. Глазунов сѣл на край дивана, сложил руки на колѣнях и молча стал

смотрѣть себѣ под ноги. Помню, как блаженно и тихо смѣялась Сонечка, глядя на нас обоих. Выпив со мной нѣсколько стаканов пива, гость мой, посидѣв еще минут 20, также молча встал и только уходя, в дверях, прошептал:

— Прощайте...

Это была моя единственная встрѣча с Глазуновым.

Моя мать инстинктивно чувствовала, что я жил в нездоровой душевной атмосферѣ. Она видѣла, как возрастал мой цинизм, презрѣніе к людям, и страдала за меня. Я же видѣл ея страданіе и она укором стояла предо мною всегда, когда я вел «бесѣды» со своими наставниками и пил. Мнѣ хотѣлось загладить свою вину перед матерью, измѣнить образ жизни, но воли на это не хватало. Иногда мнѣ стало казаться, что мать находится в какой-то, невѣдомой мнѣ, опасности и что опасность надо предотвратить. Отец был тогда еще жив и я с недоброжелательством приглядывался к нему, боясь, как бы он не оскорбил мать грубым словом или поступком в нетрезвом видѣ. Отец это чувствовал и между нами постепенно установились враждебныя отношенія. Ночи стали для меня временем интенсивной и напряженной жизни. Иногда меня душили слезы и хотѣлось выйти из под гнета и Канта, и Шопенгауэра, и Фрейда, но они были сильнѣе меня и быстро подавляли мои бунтарства.

В часы тоски я часто блуждал по ночным опустѣвшим улицам Петербурга. Бѣлыя ночи дѣйствовали на меня, как чары. Казалось, мучившей меня реальности — не существует вовсе и ночь никогда не кончится и что я буду идти по берегу Невы не останавливаясь, пока не выйду совсѣм из предѣлов жизни и там будет покой, и там я встрѣчу мать и мы не вернемся больше туда, гдѣ так мучительно настоящее и так страшно будущее. Изрѣдка встрѣчались фигуры с поднятыми воротниками и надвинутыми на лица шапками. В их походках, в безцѣльности шага я видѣл ту же нереальность и завидывал им, у ж е вышедшим из жизни. Завидывал и любил их.

Однажды, во время таких скитаній, я забрел в ночной «подвал». Компанія кутящих сидѣла за разбросанными в без-

порядкѣ столами. Было душно, шумно и жарко. Изрѣдка раздавался пронзительный свист и из центра группы чья то рука выбрасывала одну тарелку за другой. Тарелки летѣли по всѣм направленіям и кутящіе ловко ловили их. Я стал приглядываться к компаніи. Это были интеллигентные, хорошо одѣтые люди, с умными, но блѣдными и утомленными лицами. В их глазах и жестах видѣлась тщеславная гордость, но и раболѣпство пред кѣм то, сидѣвшим в центрѣ группы. Видно было, что эти люди не столько веселились, сколько, поддѣлываясь под какой то стиль, старались угодить тому, кто был скрыт в серединѣ. Свист и снова тарелки летѣли в воздух. Тот, кто кидал их, дѣлал это умѣло, красиво и ловко. В центрѣ сидѣл человѣк, с пьяным, опухшим лицом, с запекшейся около уха кровью. Волосы его прилипли ко лбу. Налитые кровью глаза сверкали злобой и презрѣніем. Свист исходил от него. Бросая тарелки, он, казалось, хотѣл попасть в голову или в лицо хотя бы одного из своей раболѣпной свиты. В центральной фигурѣ я узнал А. И. Куприна. Он — «кутил». Я не знаю, что переживал Куприн, что заставляло его лицо искажаться болью и злобой, но я знал, что это было что то глубокое и настоящее в нем. Вся же компанія толпившихся около него людей была пошлой и скверной каррикатурой на «тоскующую душу русскаго писателя». Они наслаждались тщеславной близостью к Куприну, покупая ее цѣной лжи и гаерства.

Должно быть я слишком внимательно глядѣл на эту компанію, слишком полно воспринял окружавшую их атмосферу, но мнѣ стало невыносимо тяжело и страшно. Захотѣлось домой, к матери. Я вышел из подвала. Начинало свѣтать. Надо измѣнить жизнь, сломать ее сразу. Куприн, прекрасный, проницательный писатель, я любил его. Антон Чехов, с мягкой, смѣющейся и плачущей душой — неужели они не правы, а правы тѣ, другіе, говорящіе о психикѣ человѣка, как о механизмѣ, о душѣ человѣка, как о грязной ямѣ! Я ненавидѣл в эту минуту всѣх своих «наставников». А Толстой, мудрый старец, а Владимир Соловьев, христіанин с безупречной логикой! Как мог я забыть о них и вычеркнуть их из своей памяти так

надолго? И когда это случилось? Скорѣй бы домой, скорѣй бы достать с полки Толстого и читать, читать, читать его! Наступили дни страстнаго моральнаго под'ема. Я читал много и жадно. Толстой и Соловьев вернулись в мою душу и завладѣли ею. Прошел день, два, три и я почувствовал желаніе молиться, читать житія Святых, слѣдить за каждым своим шагом, боясь аморальнаго поступка и как это бывало со мною всегда, страстность моей натуры бросила меня из одной крайности в другую. Я вдруг устал от внутренняго напряженія и потерял под ногами почву.

7.

Когда МХТ пріѣхал на гастроли в Петербург, меня, как родственника О. Л. Книппер-Чеховой, одѣли «получше» и отправили к ней с визитом. Она приняла меня ласково и сдѣлала вид, что не замѣтила, когда я зацѣпился ногой за ковер и ударился локтем о маленькій, изящный столик. Разговора я поддержать не умѣл и с тоской глядѣл на ея правый, всегда лукаво-прищуренный глаз.

— Почему ты не хочешь перейти к нам в театр? — спросила она.

— Я не смѣю мечтать об этом!

— Я поговорю о тебѣ со Станиславским. Хочешь? Приходи завтра.

Ночь я провел без сна. Безпрерывно играя, без темы, без цѣли, импровизируя слова и образы, я переживал самыя разнообразныя чувства. В эту чудную ночь мнѣ открылось, что душа актера, как и всякого художника, если она свободна и счастлива — знает в с е о человѣческом существѣ, со всѣми его «подсознательными» глубинами. Автор дает актеру только канву. По ней актер с а м вышивает свободно свои узоры и дѣлает это всегда по своему, и всегда правдиво. Он срывается только тогда, когда интеллект нарушает своим вмѣшательством прирожденную творческой душѣ свободу. Возникает неправда. «Можно выдумывать все, что угодно, но нельзя выдумывать

психологіи»... сказал Толстой. (Из переписки Горькаго и Чехова).

Отправляясь к Станиславскому я был одѣт еще лучше, чѣм наканунѣ. Узкій воротничок вызывал шум в ушах. Брюки были подтянуты высоко (как будто меня послали ходить по лужам). В Михайловском Театрѣ я впервые увидѣл Станиславскаго.

— Нам очень пріятно имѣть у себя племянника Антона Павловича, — сказал он, протягивая руку.

Я почувствовал себя виноватым и опустил глаза.

— Прочтите мнѣ что нибудь из «Царя Федора».

Я прочел.

— Что можете прочесть еще?

— Монолог Мармеладова.

Все это было до крайности плохо.

— Ну, что-же, — сказал Станиславскій, прослушав меня, — поздравляю вас, вы приняты в Художественный Театр.

Прошло нѣсколько секунд прежде, чѣм я понял смысл его слов.

— Теперь пройдите к Владиміру Ивановичу Немировичу-Данченко и он вам скажет об условіях.

Надо ли говорить о радости моей и моих домашних.

Вскорѣ я переѣхал в Москву.

Станиславскій сам слѣдил за моим актерским развитіем и удѣлял мнѣ не мало времени, занимаясь со мной «Системой». Он часто приглашал к себѣ на завтрак и увлекаясь упражненіями на «чувство правды» не замѣчал, что я не успѣваю ѣсть. Когда я все же, улучшив момент, брал со стола вилку, он вдруг говорил:

— А вот, попробуйте ѣсть, как будто с вами только что случилось несчастье. Ну, что вы чувствуете? Вот вы простите, а я вам не вѣрю. Человѣк в несчастьи не будет так ѣсть. Зачѣм вы так напряжены? Ослабьте мышцы и представьте себѣ, что ваш ребенок умер. Ну, теперь ѣшьте! Вот, опять не вѣрю!

Он ревниво оберегал наши занятія и даже женѣ своей, М. П. Лилиной, не разрѣшал присутствовать на них.

— Маруся, уйди, пожалуйста, ты все равно ничего не понимаешь, — говорил он ей.

Станиславскій сразу же дал мнѣ нѣсколько ролей в текущем репертуарѣ и сам репетировал их со мной. Когда, режиссируя, он показывал, как надо играть ту или иную сцену, он был неподражаем! Повторить его показ сразу было невозможно. Нѣсколько дней должно было пройти для того, чтобы душа могла усвоить всю тонкость, глубину или юмор показаннаго им.

Он был требователен не только к другим, но и к себѣ самому. Иногда во время репетиціи он доводил себя до отчаянія, добиваясь нужнаго ему результата по своей же «Системѣ». Иногда (рѣдко, впрочем), он даже прерывал репетицію и ѣхал с кѣм нибудь из актеров кататься на извозчикѣ.

— Зачѣм мнѣ нужно все это! — говорил он, всхлипывая, как младенец. — Я купец, у меня есть фабрика... зачѣм же я должен так мучиться!

Жизнь в МХТ не была так весела, как в Малом Театрѣ. Строгая дисциплина, серьезность подхода к работѣ и постоянный наблюдающій «глаз» Станиславскаго, пріучили меня относиться к театру по иному. Но шутки не были исключены из нашей жизни. Готовилась постановка «Мнимаго Больного» Мольера. В интермедіи мои товарищи и я изображали смѣшных докторов. Станиславскій дал нам свободу в изобрѣтеніи комических «трюков». Актеры устроили тотализатор и с перваго же спектакля началась игра. Ставка была 20 копѣек. Выигрывал тот, кто больше других смѣшил публику. В цѣлом рядѣ спектаклей я оказался побѣдителем. Скоро азарт захватил и «стариков». Один из моих товарищей шел со мной почти наравнѣ и его одного я боялся. Но вот он потерял терпѣніе, «дал шпоры» и погубил все дѣло. Собрав в с ѣ свои и чужіе трюки, на одном из спектаклей он примѣнил их в с ѣ с р а з у! Эффект был неожиданный: ни публика, ни актеры, ни сам Станиславскій, находившійся в это время на сценѣ, не поняли ни одного его слова. Он дергался, чихал, заикался, кашлял, дѣлал множество жестов, подмѣченных у меня и изобрѣтенных

им самим и все это — одновременно! Публика встрѣтила его выступленіе молчаніем, но зато мы, актеры, истерически хохотали. С этого дня Станиславскій лишил нас свободы в интермедіи. Тотализатор прекратился.

Зависти и интриг в МХТ не было. Станиславскій и Немирович-Данченко пріучили нас любить театр больше, чѣм собственную карьеру и выгоду. Но жажда играть была одинаково велика у всѣх. Пьес в театрѣ шло сравнительно мало и актеры не могли изжить вполнѣ своей страсти к игрѣ. Т. К. Дейкарханова разсказывала мнѣ, что даже Москвин, столько переигравшій на своем вѣку, не был удовлетворен до конца и играл для себя. Он «хоронил» актеров и актрис МХТ, соглашавшихся на это. «Покойник» или «покойница» клались на стол, а Москвин служил панихиду, обливаясь слезами. Или он брал, сдѣланный по его просьбѣ из картона маленькій дѣтскій гробик, садился на извозчика и ѣздил по улицам Москвы без шапки, крестясь и плача. Народ останавливался и тоже крестился.

Однажды Москвин заболѣл в день представленія «Царя Федора» и вечерній спектакль был в опасности. Станиславскій предупредил меня, что может быть мнѣ придется экспромтом замѣнить Москвина. Узнав об этом, Москвин пріѣхал в театр и больной, с температурой, провел весь спектакль. В другой раз Москвин настоял на том, чтобы роль «Опискина» в «Селѣ Степанчиковѣ» была передана ему уже послѣ того, как я получил ее офиціально. Но все это дѣлалось не из зависти или интриганства, но из нормальнаго, здороваго желанія и даже потребности играть. Москвина я слишком любил, чтобы имѣть что нибудь против него персонально, но случай с «Опискиным» огорчил меня очень. Я уже успѣл влюбиться в роль и видѣл «Фому Фомича» в своем воображеніи с такой ясностью, что угасить его, забыть и разлюбить, было дѣлом не легким. Станиславскій утѣшал меня по отечески. Однако вполнѣ я успокоился только, когда увидѣл Москвина в этой роли. Это было так прекрасно, неожиданно и оригинально, я так был захвачен

и потрясен этим новым москвинским шедевром, что почти совершенно забыл своего «Фому Фомича».

В полутемном зрительном залѣ театра я впервые увидѣл М. В. Добужинскаго. На сценѣ — его декорація к «Николаю Ставрогину». Сам он сидит со Станиславским за режиссерским столом. Оба они сидят молча, только изрѣдка перекидываясь двумя-тремя словами. Издали, из темноты, я наблюдаю их, Маленькая лампочка освѣщает профиль Добужинскаго. Чѣм больше я смотрю на него, тѣм больше начинаю любоваться им. Что декорації его выразительны, полны смысла и проникнуты настроеніем — становится ясным с перваго взгляда. Я любуюсь и ими. Но есть в них и что-то еще, чего я не могу разгадать. Я перевожу взгляд с декорацій на самого Добужинскаго, с Добужинскаго на декорації и мнѣ начинает казаться, что как бы нити тянутся от режиссерскаго столика к сценѣ. Есть что-то п о х о ж е е в лицѣ Добужинскаго и в его декораціях на сценѣ. Но что же это? Временами то один, то другой из сидящих за столиком что то чертит на бумагѣ под лампочкой и потом снова — два неподвижные профиля. Когда чертит Станиславскій, он весь пригибается к столу и медленно, с нажимом водит карандашом по бумагѣ. Не так Добужинскій. Почти не отдѣляясь от спинки кресла, он скорѣй п р о л е т а е т над бумагой своим карандашиком, что-то бросая на нее, откуда-то сбоку и сверху. Тронув поверхность бумаги, рука легко отлетает и падает мягко на стол. И вдруг я понял! Декорації в их композиціи, в деталях и в цѣлом, в формах, в красках, пропорціях — с т р а ш н о к р а с и в ы! Вот разгадка! Также красивы, как он сам! Отсюда и сходство и нити! И он и они — красивы и внѣшне и внутренне. И тут я влюбился!

С тѣх пор я часто слѣдил за ним из темноты, любовался походкой, фигурой, движеніями и, как всегда, его профилем. Но я никогда не говорил с ним, не подходил к нему — мой роман развивался в одиночествѣ, в полутемном зрительном залѣ.

В год моего поступленія в МХТ организовалась 1-ая Студія. В ней Станиславскій с помощью Сулержицкаго, вел курс занятій по «Системѣ». Е. Б. Вахтангов (годом или двумя раньше меня пришедшій в театр) помогал им в преподаваніи. Я был прикомандирован к Вахтангову, но он встрѣтил меня нелюбезно.

— С этим актером Малаго Театра я заниматься не желаю, — сказал он.

Я огорчился, но не надолго, Вахтангов стал заниматься и со мной. Я цѣнил его, как актера и педагога, но всегда считал, что его настоящее дарованіе и сила проявлялись в его режиссерских работах и идеях. Он всѣм существом чувствовал разницу между психологіей р е ж и с с е р а (показывающаго) и а к т е р а (дѣлающаго). Он мог переключаться по желанію из п о к а з ы в а ю щ а г о в д ѣ л а ю щ а г о и наоборот. Как показывающій он пріобрѣтал увѣренность, легкость и ловкость. Его чувство отвѣтственности становилось свободным от эгоистическаго страха перед публикой и перед возможной неудачей. Однажды, играя со мной на билліардѣ, Вахтангов продемонстрировал мнѣ свою способность переключаться в «режиссерскую психологію». Мы оба играли неважно и рѣдко клали шары в лузу. Но вот, Вахтангов сказал:

— Теперь я буду п о к а з ы в а т ь тебѣ, как нужно играть на билліардѣ! — и он с легкостью положил подряд три или четыре шара.

Я многому научился от Вахтангова. Он был м ы с л я щ и м художником и это качество в нем привлекало меня. С ним можно было г о в о р и т ь об искусствѣ. У него были идеалы и проблемы (отличительная черта русскаго художника). Он шаг за шагом осуществлял их в своих постановках и быстро рос и развивался.

— Знаешь, — сказал он как-то, разсматривая мою «философскую» библіотеку, — я могу теперь «взять» любую театральную идею так же легко, как беру с полки вот эту книгу.

Мы скоро подружились с ним.

Он просил меня однажды придти на закрытую генеральную репетицію «Дибука» в Габимѣ. В зрительном залѣ никого кромѣ нас не было. Во время репетиціи я нѣсколько раз выражал ему свои восторги, говоря, что понимаю происходящее, несмотря на незнаніе языка. Он оставался равнодушным к моим похвалам и молча ждал окончанія репетиціи. Когда послѣдній занавѣс опустился, он вызвал актеров, так, как они были, в гримах и костюмах, в зрительный зал и при всѣх спросил меня, в с е ли я понял из того, что происходило на сценѣ? Я сказал, что только немногія мѣста остались мнѣ непонятными за незнаніем древне-еврейскаго языка. Он просил меня сказать, какія именно сцены остались для меня непонятными. Я перечислил их и Вахтангов, обратившись к актерам, сказал:

— То, что Чехов не понял в спектаклѣ, зависѣло не от языка, но оттого, что вы плохо играли. Хорошая игра должна быть понятна всѣм, независимо от языка. Мы будем репетировать снова всѣ сцены, названныя Чеховым.

Он репетировал до глубокой ночи и достиг поразительных результатов. Я сам был изумлен, как много может сдѣлать одна игра, если актер перестает надѣяться на с м ы с л о в о е содержаніе текста, даннаго автором и ищет средств выразительности в с в о е й а к т е р с к о й д у ш ѣ.

(Продолженіе слѣдует).

Мих. Чехов.

ИСТОКИ*)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I.

Рядом с кабинетом профессора Муравьева в его квартирѣ на Милліонной была большая, неустроенная, почти пустая комната. В ней он уже нѣсколько лѣт собирался устроить собственную лабораторію. В комнатѣ стоял огромный, чуть не во всю стѣну, стекляный шкаф, купленный по случаю для помѣщенія приборов и посуды. Больше ничего не было. В шкафу лежали толстые прейс-куранты различных нѣмецких, французских, англійских фирм, прекрасно отпечатанные, с рисунками, на глянцевитой бумагѣ. Иногда Павел Васильевич их просматривал, любуясь новыми спектрометрами, спектроскоскопами, лампами, гальванометрами. Нѣкоторых из этих приборов не было в его университетском физическом кабинетѣ. Война с Турціей только что кончилась, смѣты всѣх гражданских вѣдомств были сильно урѣзаны, и министерство уже почти два года отпускало деньги скупо. Профессор Муравьев с наслажденіем представлял себѣ, как будут из заграницы приходить ящики с надписями «Vorsicht» или «Fragile», как он будет вынимать из кожаных, с шелковой прокладкой, футляров и разставлять на рабочих столиках новѣйшіе, самаго лучшаго образца, приборы, — не казенные, университетскіе, а собственные: от этого, все равно как от с в о и х книг, удовольствіе увеличивалось во много раз. «Как это люди могут отрицать р а д о с т ь частной собственности? Совсѣм не

*) См. 6-ую книгу «Новаго Журнала».

одно и то же — университетскіе или мои», — думал Муравьев. — «Столы выпишу из Англіи: они, кажется, лучше и нѣмецких, и французских».

Павел Васильевич не очень давно побывал в Кембриджѣ на открытіи Кэвендишевской лабораторіи. Ее показывал многочисленным гостям хозяин: сам Максвелл. Он очаровал Муравьева своей любезностью, простотой, скромностью, тѣм, что за ним всюду по пятам ходила прекрасная породистая собака, тѣм, что он со страстным увлеченіем слѣдил за спортивными матчами, тѣм, что писал шуточные стихи и, читая их вслух за бутылкой пива, веселился как ребенок. Одно из его стихотвореній, начинавшееся словами: "So we who sat, oppressed with science, — As British asses, wise and grave," Павел Васильевич даже записал на память (он и сам грѣшил шуточными стихами). Во время Кембриджскаго с'ѣзда знаменитые ученые, Лайелль и Леверрье, получили почетную докторскую степень. Муравьев был не слишком честолюбив и совершенно не был завистлив, но у него с того времени остались пріятныя мысли, изрѣдка всплывавшія в сознаніи: «а пожалуй, со временем и я?...» Дни, проведенные им в Англіи, англійское гостепріимство, в своем родѣ почти не уступавшее русскому, живописные колледжи, их старинный уклад жизни, обряды, столь непривычные петербургскому профессору, какая-то о р г а н и ч н о с т ь этих "British asses," были одним из наиболѣе отрадных воспоминаній Павла Васильевича. Послѣ поѣздки в Кембридж еще усилилось его бытовое и политическое англофильство. — «Да, что бы вы там ни утверждали, страна замѣчательная и среда высококультурная», — говорил он по возвращеніи в Петербург; ему было немного совѣстно, что он употреблял такія книжныя слова: почему в жизни трудно говорить совершенно просто? — «Знаем, знаем их высококультурность. Они и в Индіи ее показали», — отвѣчал иронически профессор-англофоб.

В устройствѣ собственной лабораторіи (в которой можно было бы работать в любое время дня и ночи, в воскресенья и

в праздники, не отвлекаясь по пустякам) не было ничего невозможнаго. Наслѣдственное имѣніе Муравьева приносило от десяти до пятнадцати тысяч рублей в год, хотя значительная часть земли была сдана крестьянам по низкой цѣнѣ, вызывавшей возмущеніе у помѣщиков всего уѣзда, и хотя управлял имѣніем сомнительный приказчик (Павел Васильевич никогда его не называл управляющим: в этом словѣ был непріятный оттѣнок чего-то м а г н а т с к а г о). Немало денег, правда, уходило на уплату процентов по закладной. Тѣм не менѣе, вмѣстѣ с жалованьем, дохода у профессора было больше, чѣм у его друзей. Между тѣм жил он хуже, чѣм многіе из них. Это всѣми приписывалось безалаберности Павла Васильевича и шальному характеру его старшей дочери. Изрѣдка случалось, что в домѣ вовсе не оказывалось денег. Тогда Муравьев обращался к ростовщикам и о размѣрѣ процента не торговался, — так ему было совѣстно за этих людей и непріятно с ними разговаривать. Платил он им впрочем не очень дорого: ростовщики хорошо знали, что его имѣнію цѣна полмилліона, что сам профессор честнѣйшій человѣк и долг уплатит без малѣйшей задержки. Обычно в таких случаях Павел Васильевич начинал безпокоиться за нѣсколько дней до срока векселя: как бы не вышло недоразумѣнія, как бы не забыл кредитор, как бы не напутал банк, как бы вексель не был протестован.

В прошлом году дохода было больше обычнаго: во время войны цѣны на хлѣб установились высокія, осенью военное вѣдомство реквизировало лошадей и скот по хорошей цѣнѣ. Прошлогодній заем именно и предназначался для лабораторіи. Однако в тот самый день, как процентщик принес деньги, Елизавета Павловна попросила у отца двѣсти рублей. Муравьев был по природѣ щедр и почти никогда ни в чем дѣтям не отказывал; дал и на этот раз, но не без тревоги: дочь просила денег с хорошо ему извѣстным таинственным видом, — он знал, что в таких случаях лучше ни о чем не спрашивать. «Все равно путнаго отвѣта не будет, зачѣм же заставлять дѣвочку изворачиваться? Вѣрно опять отправляют в народ какого-

нибудь мальчика», — успокоил себя профессор. Затѣм Павел Васильевич сгоряча пожертвовал довольно крупныя суммы в пользу болгар, пострадавших от турецких звѣрств, и в фонд помощи румынским героям. Больше обычнаго стоила в год войны поѣздка на воды заграницу, так как из Эмса он с дочерьми з а г л я н у л в Париж, и как раз происходила распродажа у Ворта, гдѣ самыя модныя платья можно было пріобрѣсти по баснословно низкой цѣнѣ. Триста рублей было послано в имѣнье крестьянину, у котораго на мельницѣ оторвало кисть лѣвой руки. Смѣта лабораторіи все сокращалась. Осенью же, по возвращеніи из заграницы, был куплен сѣрый в яблоках рысак с пролеткой. Это оказалось полной неожиданностью для профессора. Рысака продавал какой-то Степан Петрович, неизвѣстно почему бывавшій в их домѣ, и так вышло, что Елизавета Павловна уже с ним обо всем сговорилась.

На этот раз Муравьев серьезно разсердился. Он совершенно не понимал, зачѣм им рысак. Павел Васильевич многаго не понимал в своей жизни. Не понимал, почему он, профессор университета, живет не на Васильевском Островѣ, не на Петербургской Сторонѣ, а на улицѣ богачей и аристократов. Не понимал, зачѣм ему нужна большая квартира с огромными, высокими холодными комнатами, лишь наполовину обставленная мебелью за нѣсколько лѣт, требовавшая пяти человѣк прислуги и неимовѣрнаго количества дров. При квартирѣ были конюшня и сарай. Лошадей профессор в городѣ не держал, но в сараѣ еще при жизни жены появилась корова: младшая дѣвочка Маша была слабаго здоровья и ей требовалось парное молоко. С тѣх пор корова у них и оставалась для тѣх двух стаканов молока, которые ежедневно приносила дѣвочкѣ няня, жившая в их домѣ двадцать лѣт, из них десять без всякаго дѣла. Молоко Маша тайком выливала в ведро рукомойника.

— ...Милая Лиза, — сказал профессор, — я тебѣ повторяю, что рысак нам и ненужен, и не по средствам. Это, наконец, смѣшно! Вздор ты говоришь, будто я буду на нем ѣздить в университет! Профессора на рысаках не ѣздят, меня освистали

бы студенты. И, наконец, что же это такое? Ты все-таки могла бы предварительно меня спросить!

— Папа, вы забыли! Я вас спрашивала и вы кивнули головой. Вы, должно быть, тогда думали об электромагнитной теоріи свѣта, — говорила с мягким и виноватым видом Елизавета Павловна. — Конечно, это моя вина: я должна была спросить вас еще раз, в другое время. Но что же теперь дѣлать? Степан Петрович положился на нас, он обѣщал этими деньгами завтра заплатить очень важный долг. Не можем же мы его подвести!

— Никогда, моя милая, я тебѣ головой не кивал, и я очень сомнѣваюсь, чтобы Степан Петрович платил долги, ежели кто ему и дает взаймы. Кромѣ того, цѣна совершенно безобразная. Уж если держать лошадей, то я написал бы, чтобы нам прислали из деревни.

— Что вы говорите, папа! Как же вы сравниваете ваших деревенских лошадей с этим рысаком, который на бѣгах призы брал! Мы его покупаем за полцѣны!

— Да помилуй, зачѣм нам призовой рысак? — спросил профессор и остановился, высоко подняв брови. — Послушай, Лиза... Я помню, молодого князя Кропоткина увезли из тюремной больницы на каком-то рысакѣ!

— Не на каком-то, а на «Варварѣ». Он войдет в исторію революціи.

— Мнѣ совершенно все равно, войдет ли этот «Варвар» в исторію революціи или нѣт, но я не имѣю ни малѣйшаго желанія, чтобы в исторію революціи входил м о й рысак. И если ты...

Елизавета Павловна вдруг расхохоталась.

— Папа, вы мнѣ подали мысль!

— Милая, я не шучу, а говорю с тобой очень серьезно. Я не желаю имѣть никакого отношенія к подобным дѣлам. Совершенно не вхожу в вопрос о том, хороши ли они или нѣт, но у меня есть свое дѣло в жизни, я не принадлежу ни к их, ни к вашему лагерю, и я не намѣрен идти на старости лѣт в тюрьму из за того, что какому-то юношѣ, может быть и

очень милому, нужно устроить побѣг из тюрьмы. И тебѣ тоже запрещаю... Говорю это раз навсегда!

Елизавета Павловна, имѣвшая впрочем свое мнѣніе насчет того, может ли отец запрещать ей что бы то ни было, дала ему честное слово, что рысак ни для какого побѣга не предназначается, что ей просто хочется ѣздить на острова, что она в этого сѣраго в яблоках рысака прямо влюбилась.

— Конечно, папа, вы можете запретить и не дать денег, но помимо того, что нам будет стыдно смотрѣть в глаза Степану Петровичу...

— Мнѣ не будет стыдно смотрѣть в глаза этому лопоухому проходимцу!

— Не понимаю, почему он вдруг стал проходимцем, вы сами постоянно зовете его обѣдать... Помимо этого, вы меня, папа, лишите большого удовольствія. Это, разумѣется, в вашей власти.

Елизавета Павловна приняла жалобный тон, вообще совершенно ей несвойственный, — хитрость была, впрочем, старая, классическая. Как раз наканунѣ она говорила Чернякову, что ея отец «соткан из противорѣчій»:

— ...Вы находите, что он сама доброта, — сказала она. — Это и вѣрно, и невѣрно. Папа дѣйствительно очень добр, но только в своих поступках. Думает он очень зло. Я и от злых людей не часто слышала такія мысли, какія папа иногда выскажет так вдруг, совершенно для меня неожиданно. То же самое и с его разсѣянностью. Да, он в самом дѣлѣ разсѣян, когда занят своими электромагнитными теоріями... Так, кстати, я говорю: электромагнитныя теоріи?... А в другое время он замѣчает всякую мелочь и моего, и Машина гуалета. Вот вы этого совершенно не видите, и большинство мужчин не видит. Говорят, он непрактичен как малое дитя, а к нему в житейских дѣлах обращаются за совѣтом самые практичные люди и обыкновенно недовольными не остаются. Вы думаете, что он слабохарактерен, а он упрям, как... (Елизавета Павловна все же не рѣшилась сказать: «как осел»). Не знаю, как упрям! Единственное, что в нем «постоянная величина», это его совер-

шенная порядочность. И, замѣтьте, она у него двойная: и природная, и головная. Он джентльмен по убѣжденію.

— Ну, а вы, Елизавета Павловна, — спросил Черняков, слушавшій ее, как обычно, с любопытством, восхищеніем и с ужасом. Она разсмѣялась.

— Я? Я во всем прямая противоположность папа! Если б покойная мама не была воплощенной добродѣтелью, то надо было бы сдѣлать ужасные выводы!

К дѣлу о рысакѣ Елизавета Павловна подошла правильно, и Павел Васильевич смягчился. Он знал, что его дочь на честное слово не солжет. Ея завѣреніе, будто он кивнул головой, было конечно неправдой, но это было завѣреніе — п р о с т о. «Честное слово» было другое дѣло, его ритуал свято соблюдался в семьѣ, и обѣ дочери Муравьева, часто обманывавшія отца (особенно старшая), никогда на честное слово его не обманывали. Он успокоился и пошел на уступки. Сѣрый рысак был куплен. Уже готовая смѣта лабораторіи была спрятана (и безвозвратно затеряна) под прейскурантами. Один экстренный расход повлек за собой другіе. Послѣ покупки рысака естественно пришлось нанять кучера. В добавленіе к пролеткѣ поздней осенью по случаю купили сани. К саням понадобилась новая полость, так как старая была грязна и порвана, — Елизавета Павловна говорила, что ей-то все равно, но перед кучером стыдно. Вначалѣ она дѣйствительно каждое утро ѣздила на острова с разными молодыми людьми и была в восторгѣ от новаго развлеченья. Черняков с тревогой говорил, что она носится на рысакѣ с бѣшеной скоростью, — «как какая-нибудь Жанна д-Арк» (он собственно хотѣл сказать: «как сумасшедшая», но это было почти то же самое). Потом ей новое удовольствіе надоѣло; в мартѣ и сани, и пролетку очень трясло. Елизавета Павловна перестала кататься и приказала кучеру выѣзжать по утрам, чтобы лошадь не застоялась. Гнѣв Павла Васильевича скоро прошел, и он даже написал шуточные стихи по случаю покупки рысака.

По понедѣльникам, от часа до двух, Муравьев читал спе-

ціальный предмет студентам старшаго курса. Это были избранныя главы физики. Под конец Павел Васильевич оставил то, что в послѣдніе мѣсяцы занимало его мысли больше всего на свѣтѣ: электромагнитную теорію свѣта. Он вышел из дому в прекрасном настроеніи. Была вторая половина апрѣля, самое любимое его время в Петербургѣ, стояла прекрасная солнечная погода, и на улицах вдоль тротуаров еще стекали послѣдніе потоки мутной воды, которым он по опыту приписывал непонятную живительную силу.

В маленькой уютной аудиторіи слушателей было человѣк десять. Кромѣ студентов, на первой скамейкѣ, прямо против кафедры, сидѣл приват-доцент физики из другого учебнаго заведенія. Павел Васильевич давно знал, что товарищи по наукѣ, особенно не сверстники, а младшіе, очень высоко его ставят и признают одним из первых физиков Россіи. Однако всякій новый знак вниманія бывал ему пріятен. Этот же знак вниманія относился и к нему, и отчасти к Максвеллю. Недавно созданная электромагнитная теорія свѣта была еще мало извѣстна в Петербургѣ. У Муравьева в физикѣ, больше, пожалуй, чѣм в политикѣ, были дружественное и враждебное направленіе, близкіе и чуждые люди. Максвелл был одним из самых близких. Теперь преклоненіе перед его геніем дополнялось сердечным сочувствіем: из Англіи шли глухіе слухи, будто Максвелл очень болен, хоть скрывает это от жены и ото всѣх.

Среди студентов Муравьев пользовался немалой популярностью, как выдающійся ученый, независимый человѣк передовых взглядов и очень снисходительный экзаменатор. Павел Васильевич дорожил своей популярностью, но немного сожалѣл о том, что популярен он отчасти в п и к у нѣкоторым другим профессорам. Не совсѣм была ему пріятна и его репутація «блестящаго лектора» (всегда употребляли именно это существительное с этим прилагательным): самые большіе ученые, как Максвелл, Гельмгольц, Пастер, «блестящими лекторами» не были. Вступительная лекція Павла Васильевича первокурсникам в началѣ учебнаго года составляла маленькое

университетское событіе: на нее собирались студенты разных факультетов, и задолго до ея начала одна из самых больших аудиторій бывала совершенно полна; студенты сидѣли даже на ступеньках кафедры или стояли по стѣнам; его встрѣчали и провожали долгими рукоплесканіями. Павел Васильевич не очень любил свой общій курс начинающим, в особенности именно вступительную лекцію: не любил из за торжественной обстановки (на второй лекціи студентов бывало вдвое меньше), из за неизбѣжной доли актерской игры, из за «милостивых государей», из за анекдотов, которые полагалось вставлять и которые (как и всѣ выигрышныя мѣста первой лекціи) повторялись из года в год: Муравьев не чувствовал себя способным ежегодно подыскивать новые анекдоты, имѣющіе хотя бы малое отношеніе к физикѣ, и всякій раз с ужасом думал: что, если в аудиторіи есть прошлогодніе слушатели с хорошей памятью? Нѣкоторые блестящіе лекторы под конец вступительной лекціи, говоря о величіи науки, пускали в ход дрожь в голосѣ (как тенора — тремоло или фермато в концѣ аріи). Или же им вспоминался один древній миф; большей частью вывозил Прометей со своим огнем. Ни на дрожь в голосѣ, ни на Прометея Павел Васильевич просто не мог пойти. Бывали впрочем и такіе профессора, которые с первой же минуты первой лекціи, без Прометея, без величія науки, даже без обращенія к студентам, начинали тыкать палочкой в какой-нибудь препарат или большой тростью в висѣвшую на доскѣ діаграмму. По наблюденіям Муравьева, это и были самые выдающіеся ученые.

Спеціальный курс был гораздо интереснѣе, чѣм общій, и по предмету, и по обстановкѣ. Тут не было ни шуток, ни анекдотов, ни милостивых государей. Он был знаком со всѣми слушателями, знал, кто подает надежды, кто не подает (хотя может стать прекрасным профессором). Студенты с почтительной интимностью называли его по имени-отчеству. На этот раз Павел Васильевич, улыбаясь, раскланялся с аудиторіей, удивленно-радостно помахал рукой приват-доценту, затѣм воз-

можно болѣе четко выписал очиненным мѣлом на доскѣ (он терпѣть не мог доску и мѣл) уравненія Максвелля, почувствовав, что студенты и подавлены, и горды этими предназначавшимися для них страшными интегралами. Но профессор почувствовал и то, что даже самые способные из них ничего не поймут и понять не могут. Так оно и было, — Павел Васильевич это видѣл по их лицам. В одном мѣстѣ он сдѣлал ошибку, выписывая новую формулу, и никто его не поправил (обычно, когда он вмѣсто «синус» по разсѣянности писал «косинус», с разных концов аудиторіи раздавались радостные возгласы: «синус, синус»...).

Послѣ окончанія лекціи приват-доцент подошел к кафедрѣ и снизу вверх протянул Муравьеву обѣ руки. Павел Васильевич протянул ему тоже обѣ руки сверху вниз и выслушал комплименты. Но хотя приват-доцент говорил о «кристально-четкой формулировкѣ», о том, что мысль Максвелля была ему ясна как день, Муравьев чувствовал, что и приват-доцент тоже ничего не понял. «Что-ж дѣлать? Над этим годами надо размышлять», — подумал он. Затѣм он в корридорѣ дал какое-то раз'ясненіе одному из способнѣйших студентов, который не то из самолюбія скрывал непониманіе, не то просто хотѣл на виду у товарищей пройтись с профессором Муравьевым, в ученой бесѣдѣ с ним.

Павел Васильевич зашел в профессорскую и там посидѣл полчаса. С громадным большинством профессоров у него тоже были очень хорошія отношенія; он рѣдко ссорился с людьми, хотя, когда его выводили из себя, говорил, случалось, очень рѣзко. В этот день разговор опять зашел о Сан-Стефанском мирѣ, не интересовавшем по существу почти никого, и о дѣлѣ Вѣры Засулич, напротив всѣх еще волновавшем. Была и свѣжая университетская новость, составлявшая злобу — именно злобу — дня. Профессор-юрист, превосходный разсказчик и causeur, слушавшій себя с заразительным наслажденіем, остановился, к общему удовольствію (кто-то, впрочем, осторожно отошел), на личности министра народнаго просвѣщенія. В характеристикѣ министра профессор слѣдовал литературному

методу Светонія, который для начала почтительно отмѣчал достоинства своего цезаря, а затѣм разсказывал о нем самыя ужасныя невѣроятныя исторіи. Поговорили и об отставкѣ великаго князя Николая Николаевича: одни предполагали, что он покинул должность главнокомандующаго добровольно, другіе утверждали, что великій князь поссорился с царем. Поговорили также о княжнѣ Долгорукой (поспѣшно отошел еще кто-то).

Затѣм общій разговор разбился. Старый математик, давно взятый товарищами на свободную, необходимую и симпатичную роль «человѣка не от міра сего», обычно достающуюся в университетах математикам, разсказал очень недурной (и вполнѣ от міра сего) анекдот об отсутствовавшем ботаникѣ. Всѣ весело смѣялись, смѣялся и Павел Васильевич. Почему-то он впрочем подумал, что приблизительно такіе же разговоры ведутся вездѣ в Петербургѣ: «Так же спорят об отставкѣ Николая Николаевича и о княжнѣ Долгорукой, если не ремесленники Васильевскаго Острова, то т и т у л я р н ы е с о в ѣ т н и к и, над которыми вот уже полвѣка смѣются в стихах и в прозѣ наши сатирики... Есть вѣдь такое ремесло — с а т и р и к и, — и довольно странное ремесло. Сатирики, впрочем, тоже водочку пьют и тоже д у ю т с я в п р е ф е р а н с и ш к у... Впрочем нѣт, они играют в преферанс: одно дѣло, когда люди дуются в преферансишку, и совершенно другое, когда они просто играют в преферанс... А если говорить правду, то в Кембриджѣ разговоры и шутки были еще элементарнѣе, потому что англичане, как люди, элементарнѣе нас. Быть может, Платоновская академія была разсадником афинских сплетен. Никакое человѣческое общеніе без сплетен и шуточек обойтись не может и не обходится, и слава Богу, иначе мы погибли бы от скуки», — благодушно думал Павел Васильевич. Профессор философіи, человѣк бездарный, спеціалист по Прометееву огню, попросил Павла Васильевича напомнить ему, в котором часу послѣзавтра обѣд. — «Какой обѣд?» — чуть было не спросил озадаченный Павел Васильевич, но во время вспомнил, что дѣйствительно пригласил к себѣ этого профессора: они до того и не бывали друг у друга, но зимой у фило-

софа умерла жена и Муравьев счел нужным выразить сочувствіе приглашеніем. «Не забыть сейчас же сказать Лизѣ», — подумал он, выходя из профессорской комнаты. «Теперь и обо мнѣ немножко посплетничают».

II.

Извозчик, котораго издали подозвал профессор, оказался лихачем. Отказываться уже было неудобно. Павел Васильевич был рад, когда они от'ѣхали от университета: ему казалось, что проходившіе студенты смотрят на него недоброжелательно. По неписанному, молчаливому соглашенію, в университетѣ быть богатым человѣком не полагалось. Профессора, имѣвшіе бобровыя шубы, приходили на лекціи в енотовых. На лихачах и на собственных рысаках пріѣзжали в университет почти исключительно студенты-франты, сыновья родителей-сановников, — но это было умышленным вызовом демократическому студенчеству.

Копыта лошади застучали по мосту. «Что это как будто было нынче непріятное, однако не очень непріятное?» — спросил себя Павел Васильевич, прислушиваясь к отчетливому ровному стуку. Он был в таком хорошем расположеніи духа, что не испугался непріятных мыслей. «Ну, что такое? Студенты не поняли лекціи, — пустяки: поработают, пошевелят мозгами, нѣкоторые и поймут. Разговор в профессорской? Сплетни? Что-ж тут огорчаться? Это в чьих-то фальшивых стихах над чьим-то популярным гробом говорится: «Безпощадная пошлость ни тѣни — Положить не успѣла на нем»... Всегда над всѣми успѣвает... Кажется, и нѣмецкіе похожіе стишки есть: "Und hinter ihm im... im... в каком-то «айне» — Lag was uns alle baendigt, das Gemeine..." Конца перваго стиха Павел Васильевич не мог вспомнить: «Какая может быть рифма к "Gemeine?"... Что же еще? Пожалуйте», — говорил он непріятным, но не очень непріятным мыслям — и вспомнил: его чуть задѣла благодушно-снисходительная улыбка, с которой профессор юридическаго факультета упомянул о доктор-

ской диссертаціи Чернякова. «Ну, пока меня это совершенно не касается!».

Михаил Яковлевич все чаще бывал у них в домѣ. Когда пріѣзжал обѣдать, непремѣнно привозил торт или букет для старшей дочери Павла Васильевича, а младшей тут же шутливо говорил: «Вы, Машенька, еще н е б у к е т о с п о с о б н ы» (он любил такія слова). Иногда Черняков брал ложу в театр и приглашал всю семью Муравьевых, при чем ложа бывала прекрасная, а на барьерѣ стояла двухфунтовая коробка конфет из дорогой кондитерской, с двумя липкими ананасными треугольниками на бумажках поверх двух этажей шоколада с орѣховыми просвѣтами. Павел Васильевич понимал, что Черняков по всѣм правилам ухаживает за Лизой, и с тревогой ожидал просьбы о разговорѣ наединѣ. В свое время Михаил Яковлевич шутливым, но значительным тоном и даже с легким волненіем сказал ему, что в извѣстном возрастѣ надо искать счастья в женитьбѣ. В послѣднее время приглашенія в ложу участились.

Профессор Муравьев по вечерам выходил рѣдко и в театрах бывал неохотно. Он был не музыкален, сожалѣл об этом и даже нѣсколько этого стыдился, в отличіе от многих людей в образованном кругу, которые с вызовом называли музыку непріятным шумом. В оперѣ он, не слѣдя за оркестром, слушал только основную мелодію (особенно если она была ему знакома) и скоро начинал думать о другом. Но на оперные спектакли Черняков, тоже невоспріимчивый к музыкѣ человѣк, брал ложу рѣдко. В балетѣ Павел Васильевич скучал и про себя думал, что если это — искусство, то, быть может, нѣт основаній исключать из искусства гвардейскіе парады на Царицыном Лугу: там тоже разноцвѣтно одѣтые люди продѣлывают под музыку очень стройныя, красивыя, размѣренныя движенія. Впрочем, профессор Муравьев охотно признавал свою некомпетентность и в тѣ рѣдкія минуты, когда вообще думал об искусствѣ, приходил к выводу, что это дѣло темное, очень темное, не поддающееся научному опредѣленію. Чаще всего Черняков приглашал их в Александринскій театр. Павел Ва-

сильевич высоко цѣнил Островскаго. Однако в послѣднее время ему немного надоѣли и Островскій, и особенно его подражатели: надоѣли пьесы о жестоких богатых купцах и о бѣдных приказчиках с золотым сердцем, пьесы, гдѣ непремѣнно кто-нибудь кому-нибудь рано или поздно падает в ноги, гдѣ мужчины называются Сысой Псоичами, а женщины Домнами Евстигнѣевнами, гдѣ проѣзжіе на ярманках разговаривают о шампанеѣ, называют друг друга фаля или брательник, а-то каются, бьют себя в грудь и кричат, что они собственной душеньки рѣшители, — пьесы, гдѣ, наконец, чтобы обнаружить красоту народной души или, наоборот, чтобы показать темноту народнаго быта, появляется какая-нибудь мудрая странница Маремьяна или роковая баба Ненила. Профессор Муравьев видал в жизни немало купцов, и никто из них не назывался Сысой Псоичем. Так, конечно, выходило смѣшнѣе, но Павел Васильевич не желал, чтобы его заставляли смѣяться столь простыми способами. Роковых баб он никогда не встрѣчал, и ни один мужик при нем не называл себя собственной душеньки рѣшителем. Конечно, актеры играли хорошо; точно так же, как в пору Щепкина. В прежнія времена такіе спектакли приводили Павла Васильевича в восторг и казались ему чрезвычайно важными в общественном отношеніи. Теперь они ему нравились гораздо меньше. Все же он в ложѣ дѣлал вид, будто чувствует большое художественное наслажденіе, и даже в антрактах укоризненно качал головой, когда Лиза капризно говорила: «А все-таки он стал повторяться!» На что, если пьеса была Островскаго, Михаил Яковлевич отвѣчал: «Ну, никак с вами не согласен: как бытописатель темнаго царства, он неподражаем».

Павел Васильевич знал и цѣнил доброту, честность, трудолюбіе Чернякова. Михаил Яковлевич был недурен собой, отличался цвѣтущим здоровьем, имѣл веселый характер. Он с успѣхом защитил диссертацію. В кругу Муравьева выраженіе «хорошая партія» не было принято. Почти всѣ профессора, общественные дѣятели, адвокаты, среди которых проходила его жизнь, очень заботились для своих дѣтей о том, что пони-

малось под этим выраженіем, но тщательно это скрывали. Черняков был приличной партіей. Он был другого факультета, и это тоже было хорошо: очень часто, слишком часто, приват-доценты, лаборанты, оставленные при университетѣ молодые люди женились на дочерях с в о и х профессоров; случалось, они получали со временем кафедру как бы в видѣ поздняго приданаго, — что не мѣшало им весело смѣяться над сходным обычаем в средѣ провинціальнаго духовенства. Профессор Муравьев думал об этом морщась и никогда не приглашал в свой дом собственных ассистентов. Чернякова он тоже не очень звал, — во всяком случаѣ не чаще, чѣм звал десятки других людей.

Павел Васильевич сам не знал, желает ли он выдать замуж дочь. Временами ему хотѣлось сложить с себя моральную отвѣтственность за нее, отдать ее какому-нибудь умному порядочному, твердому человѣку, который отвлек бы ее от молодых людей в красных рубашках и отучил бы ее от рѣзкостей. Несмотря на свои радикальныя убѣжденія, Елизавета Павловна бывала грубовата с горничной, с кухаркой, а в разговорах с мужчинами щеголяла грубым тоном, точно разговаривать вѣжливо могли только отсталые ограниченные люди. Она любила слушать и даже разсказывать неприличные анекдоты, — этого профессор совершенно не выносил и из за таких разсказов иногда устраивал дочери настоящія сцены. Елизавета Павловна читала только самыя модныя книги, издѣвалась над игрой Рубинштейна, в разговорах о музыкѣ защищала р е а л и з м. Однако, в отличіе от младшей дочери, она не обладала музыкальным слухом и, хотя училась с дѣтства у лучших преподавателей, играла очень плохо. Со всѣм этим она была очаровательна. Муравьев чувствовал, что без нея ему будет очень скучно. Он тяготился тѣм, что у него в домѣ безпрестанно толкутся какіе-то чужіе люди (как он говорил, «постояннаго и перемѣннаго состава»), что к нему приходят обѣдать и ужинать как в ресторан, что у него иногда недѣлями и мѣсяцами живут дѣвицы, которых он едва знал по фамиліи; но жизнь без всего этого была бы для него не настоящей

жизнью. «Это атавизм: наслѣдіе предков-помѣщиков», — думал Павел Васильевич. Обѣ его дочери, особенно старшая, обожали такую жизнь.

«Что-ж, если она согласна выйти за Чернякова, я препятствовать, разумѣется, не буду. Он все-таки очень хорошій человѣк. В первое время им вѣрно придется туго, при барских привычках Лизы. Но он знает ея привычки. Я буду помогать... Можно было бы перезаложить землю и дать им сразу тысяч двадцать? Впрочем, Лиза тотчас все спустила бы... И он сам намекал, что никакого приданаго не принял бы, что он совершенно независим... Конечно, он очень честный, порядочный человѣк, об этом и спора быть не может», — думал Павел Васильевич, глядя на панораму Невы, всегда его чаровавшую и почему-то успокаивавшую. «Вот, говорят, Петербург безобразен, «город казарменнаго стиля». А я ни на какой Кэмбридж, ни на какой Париж этого казарменнаго стиля не промѣняю»... Муравьев родился в Москвѣ, но страстно любил именно Петербург, который полагалось ругать.

Он поднялся по лѣстницѣ и с удовлетвореніем признал, что никакой усталости не чувствует. «Очень помогают Эмскія воды, катарр стал значительно слабѣе». Павел Васильевич не был мнителен и рѣдко думал о смерти, однако каждая смерть, хотя бы мало знакомаго человѣка, ударяла его по нервам. Инстинктивно он ускорил шаги, проходя мимо зеркал на первой площадкѣ. Этой весной у него вырвали два зуба в верхней челюсти, правда сбоку, за углом рта. Дантист предлагал устроить м о с т и к таким же радостным тоном, каким продавщицы у Ворта выхваливали платья Елизаветѣ Павловнѣ. На площадкѣ Павел Васильевич теперь почти всегда испытывал безотчетное непріятное чувство, быть может потому, что остановился здѣсь перед зеркалом, вернувшись домой послѣ операціи. «Жаль, что нѣт под'емнаго снаряда, как в Зимнем Дворцѣ. Но скоро они будут вездѣ. Все-таки жизнь пока идет вперед. Когда настанет время умирать, я скажу как та англійская дама на смертном одрѣ: «Все было так, так интересно!» Он дернул шнурок. Звонок у них был странный: старый, надтреснутый и

вмѣстѣ необыкновенно шумный, очень долго и назойливо шипѣвшій. «Давно пора купить новый. И слѣдовало бы завести ключи. Зачѣм без нужды заставлять прислугу бѣгать через пять комнат?»

Не приходилось спрашивать горничную, дома ли барышни (Павлу Васильевичу всегда было неловко называть барышнями дочерей): еслиб онѣ были дома, он об этом знал бы еще на первой площадкѣ. Рядом с его кабинетом была гостиная; обычно несшійся из нея шум, хохот, споры, пѣніе мѣшали ему работать. Дочери оберегали его покой: когда в двѣнадцатом часу профессор уходил спать, онѣ тотчас уводили своих гостей в самую дальнюю комнату квартиры. Но это относилось только к сну отца: предполагалось, что работать шум ему не мѣшает.

Профессор прошел в свой кабинет. Мебель в их квартирѣ была большей частью дѣдовская, вывезенная из имѣнія и не очень хорошая. Павел Васильевич знал, что в свѣтских романах старые помѣщичьи дома с колоннами и их старинная мебель всегда изумительны по красотѣ. Но в своем старом деревенском домѣ он ничего красиваго не находил, хотя очень любил его. Дом был построен не «по эскизу графа Растрелли». Послѣ многих передѣлок и пристроек от плана провинціальнаго архитектора почти ничего не осталось. Большая часть мебели была работы крѣпостных мастеров, у которых хорошій вкус мог быть лишь счастливой случайностью. От дѣда остались купленныя заграницей картины, и одна из них была по преданію написана Тинторетто; но знатоки давно признали преданіе ни на чем не основанным. Дѣдовской мебели не хватило для огромной квартиры; часть была оставлена в имѣніи. Многое профессор пріобрѣл в столицѣ. У него не хватало времени и энергіи, чтобы ходить по лавкам, и большей частью он покупал все в первом магазинѣ; из запоздалых совѣтов неизмѣнно оказывалось, что можно было купить лучше и дешевле, — надо было только поѣхать куда-то версты за четыре или побѣгать по рынкам, гдѣ за гроши можно купить настоящія сокровища искусства. Иногда Павел Васильевич думал, что

еслиб как-нибудь пшеницы родилось по двѣсти пудов на десятину, то слѣдовало бы поѣхать, напримѣр, в Париж и там купить новую хорошую и удобную обстановку для всей квартиры. И тут же сам себѣ отвѣчал, что в каждом человѣкѣ сидит Манилов, что новая мебель скоро тоже побилась бы, поистерлась и что ему опротивѣла бы жизнь еслибы в его квартирѣ торчали какіе-нибудь, хотя бы самые настоящіе Louis XVI-ы, с пастушками и с цвѣточками.

Муравьевы обѣдали обычно около пяти часов — когда не в шесть, не в восемь и не в десять. Послѣ возвращенія из университета Павел Васильевич только пил чай, затѣм отдыхал часа полтора на старом диванѣ, твердом и неудобном — но без пастушек. Над диваном висѣл — из уваженія к преданію — Тинторетто. Больше не было картин, ни других произведеній искусства. Всѣ стѣны были выстланы книгами, стоявшими или лежавшими на полках разной вышины и разнаго цвѣта. Книги валялись на столах, на креслах, на стульях. Павел Васильевич не был библіофилом: он ч и т а л свои книги. Дѣлал на них и помѣтки, загибал углы страниц, библіофилам же, смотрѣвшим на него с презрѣніем, говорил, что не человѣк для книги, а книга для человѣка. Старинных изданій он не любил и без колебанія предпочел бы хорошее новое изданіе Шекспира, с біографіей и примѣчаніями, несравненному и отвратительному Фоліо 1623 года.

В кабинетѣ, как во всей квартирѣ, было холодно. Павел Васильевич прикоснулся к печкѣ, она была едва тепла. Горничная принесла поднос с чаем. Булочки были вчерашнія. Профессор хотѣл послать горничную в булочную, — не послал и только приказал затопить печь, не жалѣя дров.

Напившись чаю, Муравьев взял газету, которую просмотрѣл утром, отправляясь в университет. «Слава Богу, что хоть больше нѣт «театра военных дѣйствій» — на рѣдкость глупое выраженіе»... Павел Васильевич сначала, как всѣ, увлекался мыслью об освобожденіи славян, но скоро война смертельно ему надоѣла и опротивѣла. Он прочел передовую статью, затѣм другую, близкую по заношенному содержанію к

передовой, и подивился умѣнію авторов подобных статей в тысячный раз повторять одно и то же с таким видом, точно они высказывали в высшей степени новыя и интересныя мысли. «Вот и это тоже называется умственной работой»...

Направленію газеты он вполнѣ сочувствовал и часто заставлял себя думать о тѣх вопросах, о которых говорилось в статьях. «Да, какой же мой подход?» — и на этот раз провѣрил себя он. — «Есть огромная, прекрасная, богатѣйшая страна Россія, населенная многими народами, среди которых преобладает один, великорусскій, необычайно одаренный по природѣ, прекрасный по своим нравственным качествам, прошедшій и проходящій через очень тяжелую жизненную школу. Почему-то, по христіанским ли чувствам, по привычкѣ ли или по безпомощности, он вѣками терпѣл, кормил и поил тѣх, кто драл с него шкуру, даже если это были настоящіе звѣри, вродѣ Бирона, Ивана Васильевича и им подобных. Только лѣт двадцать тому назад что-то начало проясняться в судьбѣ русскаго народа. Во первых, лучшія свободныя времена как будто настают для всей Европы, несмотря на временные отходы с большой исторической дороги, — правда довольно гипотетической. Во вторых, Россіей, едва ли не впервые в ея исторіи, правит неглупый, довольно образованный, не злой, даже просто добрый, человѣк, грѣшный лишь, как столь многіе из нас, безпечностью, легкомысліем, слабостью характера. А так как нѣт ни основаній, ни возможности одному человѣку править восемьюдесятью пятью милліонами людей, то лучшій, единственный выход заключается в том, чтобы царь дал Россіи конституцію. И газета совершенно права в своих глухих намеках на необходимость «довѣрія к общественным начинаніям»... Что же дѣлать, если им не дают говорить иначе, как на этом дурацком языкѣ? Народ газет не читает, а царь, быть может, даже не поймет, что «довѣріе к общественным начинаніям» это и есть конституція? Я думаю, однако, он скоро ее даст. Всѣ европейскія страны имѣют конституцію, и наша очередь не может не прійти, все равно как еслиб у других были желѣзныя дороги, а у нас их не было. Наша молодежь однако

все больше склоняется к тому, чтобы з а с т а в и т ь царя ускорить это дѣло. Но, во первых, она никаких к тому способов не имѣет; во вторых, неизвѣстно, что дал бы Россіи террор, еслиб он усилился и был доведен до логическаго конца; а в третьих, молодежь обманывает и других, и, особенно, себя. Моей Лизѣ ровно ничего в политикѣ не нужно. Ея же сверстникам мужчинам — не всѣм, конечно, — хочется самим имѣть власть, которой им никакая конституція не даст, и они, разумѣется, пойдут гораздо дальше. Ну, а мы, старшіе, должны же и мы добиваться того, что считаем нужным Россіи? Как же именно? Что я, профессор Муравьев, могу сдѣлать для ускоренія дѣла конституціи? Я не пойду со студентами устраивать демонстрацію на площади! И не только потому не пойду, что они почти дѣти, и что они хотят не совсѣм того же, что я, и даже совсѣм не того. У меня, как я и сказал Лизѣ, есть свое дѣло в жизни. Я полезнѣе обществу, Россіи, народу, занимаясь только этим», — сказал себѣ Павел Васильевич тоже в десятый, если не в сотый, раз.

Это разсужденіе казалось ему логически-безупречным, но нагоняло на него тоску. Муравьев не любил пессимистов и называл их нытиками. Тоскливыя мысли посѣщали его рѣдко — и тогда обычно влекли за собой «циклы», — Павел Васильевич часто употреблял это выраженіе. Так и теперь, без всякой связи с демонстраціями, он вдруг вспомнил о сверлильной машинѣ дантиста, о необходимости мостика, и уж совсѣм нелѣпо у него всплыл цикл самых общих, старых и ненужных мыслей, создавшійся давно и раз навсегда. «Конечно, для физика жизнь есть гипотетическое колебаніе гипотетических частиц. Неизвѣстно, когда оно началось, неизвѣстно, когда оно кончится, но оно должно кончиться каким-нибудь довольно шумным явленіем. С точки зрѣнія странных обезьяноподобных существ, неизвѣстно как и зачѣм появившихся на второстепенной планетѣ Земля, в тысячу двѣсти раз меньшей, чѣм Юпитер, это шумное явленіе представится такой чудовищной катастрофой, что трудно даже вообразить, как мы могли бы, не лишившись разсудка, прожить остаток дней, когда бы

астрономія с точностью установила, что шумное явленіе произойдет, скажем, через два мѣсяца. Для мірозданія же это было бы совершенным пустяком, и еслиб дѣйствительно существовало какое-нибудь верховное существо, то оно просто, по размѣрам своего хозяйства, может быть, и не замѣтило бы маленькой непріятности с второстепенной планетой. Физик и не может разсматривать исторію иначе, как крошечную надстройку над астрономіей. Но если мы, физики, — или, по крайней мѣрѣ, я — теперь склонны считать законы природы простыми статистическими обобщеніями, то о законах исторіи едва ли вообще можно говорить. Историческій процесс есть процесс случайный. В сущности, понятіе прогресса мы, все-таки, выдумали в результатѣ только небольшого запаса небезпристрастных, часто самодовольных, наблюденій над жизнью одной второстепенной планеты в теченіе двух-трех послѣдних столѣтій: в шестнадцатом вѣкѣ люди жили приблизительно так, как двѣ тысячи лѣт тому назад, так что тогда говорить о прогрессѣ было бы уж совсѣм глупо... Да, так что же я на все это отвѣчал?» — спросил себя профессор. — «Я отвѣчал и отвѣчаю, что все это нужно, необходимо забыть и подавить в себѣ. Уж если, по сочетанію безчисленных случайностей, на планетѣ Земля появилось это странное обезьяноподобное существо с интеллектуальной способностью, значительно высшей, чѣм у других животных, то пусть оно и устраивается так, точно никакой катастрофы быть не может, и даже так, точно каждая особь будет жить вѣчно, а не тридцать или шестьдесят лѣт. Если удалось превратить свою жизнь в хорошую, интересную пьесу, без Сысой Псоичей и Домн Евстигнѣевн, то можно знать, что все выдумка, что в двѣнадцатом часу спектакль кончится, что надо будет уходить в темь, в холод, в грязь — и все-таки можно наслаждаться пьесой и переживать ее с волненіем»...

Наканунѣ вечером Муравьев работал до часа ночи, соображая, как яснѣе представить студентам (в сущности самому себѣ) основы электромагнитной теоріи свѣта. Спал он мало и, как всегда послѣ напряженной вечерней работы,

плохо. Тѣм не менѣе ему и теперь не хотѣлось спать. Павел Васильевич прилег на диван, накрылся старым, во многих мѣстах прожженным пледом, взял со стола карандаш и книгу, — все ту же: "Treatise on Electricity and Magnetism." Он читал и перечитывал ее уже года два, все больше удивляясь красотѣ и значительности ея мыслей и формул. На полях было множество простых и волнистых черточек, вопросительных и восклицательных знаков, кратких замѣчаній, в большинствѣ выражавших восторг. «Да, это им не передовая статья!» Нѣкоторые ходы сложной мысли Максвелля были неясны и самому Павлу Васильевичу. Трудность заключалась не в математическом анализѣ, а в том ф и з и ч е с к о м смыслѣ, который он находил, угадывал, предчувствовал в этих формулах. Иногда ему казалось, что сам Максвелл не вполнѣ понимает, не вполнѣ предвидит значеніе своих как будто отвлеченных разсужденій, что его формулы живут собственной жизнью и ведут неизвѣстно куда, но гораздо дальше, чѣм ведет автор. «В этом заложены силы, которыя могут перевернуть мір. Что такое эти волны? Что такое свѣт? Мы и теперь пользуемся солнечной энергіей точно так же, как ею пользовались люди три тысячи лѣт тому назад. Никакого новаго способа для ея использованія не придумано, дѣлались только слабыя попытки. Между тѣм, еслибы удалось использовать этот гигантскій, ни с чѣм не сравнимый, неисчерпаемый источник, то, быть может, уже совсѣм ни для чего не были бы нужны революціи и войны. Вѣдь говорят же теперь умные люди, что войны ведутся за рынки, за естественныя богатства, что в основѣ революціи лежит борьба классов, борьба за матеріальныя блага. Вот за это колоссальное богатство, за солнце, борьба и велась бы: это было бы нѣсколько разумнѣе и, в случаѣ успѣха, всего хватило бы для всѣх. Еслибы в распоряженіе Максвеллей давались тѣ машины, тѣ деньги, та человѣческая сила, которыя так щедро и безсмысленно отпускаются всевозможным Мольтке, Мак-Магонам, Тотлебенам, то мы давно овладѣли бы этим секретом. И конечно, в сколько-нибудь разумном обществѣ самым почитаемым, даже самым богатым человѣком должен быть Макс-

велл или, скажем, тот человѣк, который нашел бы средство излеченія рака. Но о Максвеллях огромное большинство людей никогда и не слышало, а вот какого-нибудь Мольтке знает весь мір. Значительная доля вины лежит и на нас самих: даже при тѣх ничтожных средствах, которыя нам отпускаются, мы могли бы сдѣлать больше того, что сдѣлали. Вѣроятно, ключ ко всему будущему человѣчества лежит в тѣх возможностях, которыя намѣчены в этом геніальном произведеніи и о которых не догадывается, кажется, и он сам», — думал Муравьев. Он перелистывал почти наудачу столь хорошо знакомую ему книгу, на мгновенье задержался на имени Остроградскаго, — ему было пріятно, что Максвелл ссылается на русскаго математика, и он радостно вспомнил о том, как Максвелл хвалил его собственныя работы. Скользнул по главѣ о свѣтовом давленіи, затѣм по другой и вернулся к общим мыслям об энергіи свѣта. Затѣм его мысли стали смѣшиваться и пришли в то непонятно-счастливое, точно предвосхищающее иной мір, состояніе, когда разумное уже почти переходит в нелѣпое, а нелѣпое кажется совершенно разумным.

Он проснулся часа через полтора, почти задыхаясь от волненія. На полу лежали книга и плед. Сердце у Павла Васильевича сильно стучало. «...882... Да, было 882, но сколько нолей? сколько нолей?» Он совершенно не мог вспомнить, что ему снилось и снилось ли вообще что бы то ни было. Дрожащими руками он поднял книгу, встал с дивана, подошел к письменному столу и сразу безошибочно нашел то, что ему н е снилось. Цыфры были 882. Перед ними было много нолей, — Павел Васильевич сосчитал их глазами: шесть. Счел снова: оказалось восемь. Герничная вошла в кабинет, испуганно на него взглянула и поспѣшно унесла лампу. Профессор стал считать снова, щурясь и закрывая ноли один за другим указательным пальцем лѣвой руки. Число было: 0,0000000882. «Все было вздор!...» Он взял очиненный карандаш и стал вычислять, проклиная англичан за то, что они в научных работах ведут счет на фунты и футы, когда весь мір, кромѣ них, пользуется метрами и килограммами. Павел Васильевич сломал карандаш,

сломал другой, начал писать пером... «Разумѣется, вздор!» Н е снившаяся ему идея никакого практическаго значенія не имѣла: т а к нельзя использовать солнечную энергію. «Все равно! Все равно, з д ѣ с ь ключ ко всему», — подумал он. Ему стало легче, точно слишком страшно было открытіе, котораго он н е сдѣлал.

III.

Опять зашипѣл звонок и, перекрывая его, прозвучал властный сильный стук в дверь: так всегда оповѣщала прислугу о своем возвращеніи Елизавета Павловна, тоже очень давно говорившая, что звонок непремѣнно надо перемѣнить. В ту же секунду раздались радостные голоса, тотчас заполнившіе всю квартиру. «Да, конечно, без них было бы скучно», — подумал профессор, уже совершенно спокойный и веселый. В гостиной, гдѣ стоял большой разстроенный рояль, стукнула крышка, очевидно не поднятая, а подброшенная кверху, затѣм прозвучал какой-то аккорд из «Руслана», и крышка снова захлопнулась. Послышались еще голоса, испуганно-радостный крик и общій смѣх. Через минуту широкая дверь кабинета с шумом распахнулась, в комнату быстро вошли, держась за руки, обѣ дочери Павла Васильевича; звучный баритон спросил: «Можно?» и на порогѣ появился, весело смѣясь, Черняков, в модном сюртукѣ с цвѣтком в петлицѣ. За ним слѣдовал доктор, котораго называли Петром Великим и который давно принадлежал к постоянному составу гостей.

— Папа, вы не можете себѣ представить, что случилось!

— Милости просим, господа. Садитесь, — сказал Павел Васильевич, привѣтливо здороваясь с гостями. — Что же такое случилось?... Машенька, милая, дай нам ту коробку.

Маша подала ящик с сигарами и сѣла застѣнчиво в углу подальше от лампы, точно стыдясь своей наружности. Она в самом дѣлѣ была нехороша собой. В углу она и просидѣла до обѣда, влюбленно глядя на сестру и с наслажденіем вслушиваясь в каждое ея слово.

— Папа, вы равнодушны к свалившемуся на нас несчастью!

— Да, да, Лизанька, я слушаю... Не хотите, Михаил Яковлевич? Правда, до обѣда лучше не курить... Что же такое случилось?

— Случилась неслыханная катастрофа! То есть, если хотите, не совсѣм неслыханная, потому что у нас это уже бывало... Чего впрочем у нас не бывало? Но нам всѣм все-таки надо покончить с собой. Вы знаете, что у нас сегодня обѣдают они: Черняков и Петр Великій. Кромѣ того я пригласила Владиміра Викторовича...

— Кто это Владимір Викторович?

— Как же вы не помните, папа? Владимір Викторович... Ну, вот, я сама забыла его фамилію! Сейчас вспомню. Владимір Викторович, ну тот, который добровольцем ѣздил воевать с турками, еще к генералу Черняеву. Он был у нас два года тому назад, неужто вы не помните? Красивый, высокій блондин, бритый. Его только что демобилизовали. Я его встрѣтила на Невском и позвала к нам обѣдать. Развѣ я вам не говорила? Конечно, я сказала, и вы были очень рады.

— Я очень рад, но в чем все-таки катастрофа?

— В том, что я совершенно забыла заказать обѣд, а эта дура Лукерья почему то рѣшила, что мы обѣдаем в городѣ, и ничего не приготовила! Она говорит, что у нея не было денег. Я, дѣйствительно, забыла оставить ей деньги... Впрочем, у меня и у самой не было: я тоже забыла взять у вас. Но она могла бы взять у швейцара или в булочной, или...

— Или в Англійском Банкѣ, — вставил доктор.

— Впрочем, она вообще идіотка и еслиб она не готовила так хорошо, то ее давно слѣдовало бы прогнать.

— Тѣм болѣе, что ее зовут не Жюли, а Лукерья. Нельзя называться Лукерьей, правда?

— Увѣрены ли вы, Елизавета Павловна, что ваши народническія убѣжденія, в твердости которых я, избави Бог, нисколько не сомнѣваюсь, позволяют вам употреблять слова

«идіотка» и «прогнать» в отношеніи трудящагося человѣка? — весело спросил Михаил Яковлевич.

— Ах, оставьте, пожалуйста, Черняков! Я так говорю обо всѣх.

— Обо всѣх можно, а о народѣ нельзя. Вот я пожалуюсь вашим друзьям, народным печальникам. Они вас живо приструнят.

— Ну, это мы еще посмотрим.

— Лиза очень любит Лукерью, — сказала, вспыхивая, Маша.

— Друзья мои, я не вижу никакой трагедіи, — сказал профессор, — Подождем этого Виктора Владиміровича, и я вас всѣх везу к Борелю.

— К Борелю, папа? Это идея... Хотя нѣт, к Борелю нельзя. Я не одѣта, и это было бы долго, а мы всѣ голодны, как звѣри. Кромѣ того, зачѣм тратить тридцать или сорок рублей? Дайте их лучше мнѣ, папа. А вот что мы сдѣлаем: я сейчас пошлю Василія к Елисѣеву, и он нам все привезет. Будет холодное, но это не бѣда. Папа, дайте же мнѣ денег, у меня нѣт ни гроша. И отдайте три рубля Чернякову, я у него взяла. Не плачьте, Черняков, вы не уйдете голодным. Машенька, скажи, чтобы накрывали... Впрочем, нѣт, сиди, я сама распоряжусь.

Она вскочила и выбѣжала из комнаты. Черняков поглядѣл ей вслѣд и чуть вздохнул, — совсѣм слабо вздохнул, никто не мог бы замѣтить.

Михаил Яковлевич нѣсколько измѣнился в послѣдніе три года. Он получил кафедру, пополнѣл, одѣвался теперь у Шармера, еще лучше, чѣм прежде. Рѣчь его стала еще болѣе гладкой и закругленной; в минуты волненія (или когда он хотѣл быть особенно убѣдительным) у него в голосѣ слышались уже не баритональныя, а басовыя ноты. Он так привык к профессорской рѣчи, что ему было трудно и в разговорѣ произнести фразу, в которой не были бы безукоризненно согласованы главное и придаточныя предложенія (их бывало и по три во фразѣ). Черняков был одним из самых популярных лекторов в университетѣ. По своей добротѣ и веселому характеру, он поль-

зовался общим расположеніем. Дамы уже не совсѣм шутливо говорили, что его надо бы женить. В отвѣт на это он, смѣясь, цитировал Чичикова: «Что-ж? Женитьба еще не такая вещь, чтобы того... Была бы невѣста». Михаил Яковлевич любил цитаты. На лекціях цитировал Шекспира и Гете в подлинниках, сопровождавшихся переводом, а в разговорах — Гоголя, Островскаго, Кузьму Пруткова, — их одинаково обожал (Гете и Шекспир были т а к).

О женитьбѣ он подумывал и сам. Михаил Яковлевич нравился женщинам. Нѣкоторыя легкомысленныя курсистки называли его «душкой». Говорили, будто жена одного стараго профессора хотѣла из за него отравиться; правда, она не отравилась, однако хотѣла, и слух сам по себѣ окружил его нѣкоторым ореолом. Сам он с веселым недоумѣньем думал, что оказался тут в роли не Дон-Жуана, а Іосифа Прекраснаго. Черняков по джентльменству никогда об этой исторіи никому не говорил; да и в роли Іосифа он оказался также из джентльменства: мысль о том, чтобы отбить жену у товарища, была ему противна. Михаилу Яковлевичу нравились многія барышни и ни в одну из них он не был влюблен. Но ни одна барышня не нравилась ему так, как Елизавета Павловна.

Ученая и журнальная карьера занимали в жизни Чернякова такое огромное мѣсто, что для всего другого оставалось немного. Это немногое он собирался отдать женѣ, зато цѣликом, без остатка, и чувствовал, что будет прекрасным мужем, прекрасным отцом семейства. «Была бы милая, хорошенькая дѣвушка, хорошо воспитанная, достаточно образованная, и мнѣ больше ничего не нужно». Никогда он не искал за невѣстой денег. Правда, деньги дали бы возможность устроить с а л о н, что было его мечтою. Но Михаил Яловлевич был совершенно безкорыстным человѣком. Он уже достаточно зарабатывал и разсчитывал скоро стать редактором отдѣла в одном из лучших журналов; его ежегодный заработок тогда дошел бы до четырех тысяч. «Этого достаточно для приличной жизни. С таким бюджетом можно, без салона в настоящем и тѣсном смыслѣ слова, принимать раза два в мѣсяц. И дѣло, конечно, не в том,

чтобы непремѣнно былъ первоклассный ужинъ, дорогія вина, хотя, конечно, это имѣетъ извѣстное положительное значеніе, — главное: какіе люди бываютъ. А у насъ охотно будутъ бывать самые выдающіеся люди Россіи... Нѣтъ, нѣтъ, ни за что никакого приданаго, лишь бы милая дѣвушка», — думалъ дома по вечерамъ Михаилъ Яковлевичъ.

Незадолго до своего временнаго переѣзда въ домъ Дюммлеровъ, онъ снялъ новую, довольно большую, квартиру,—съ лишней комнатой для будущаго будуара будущей жены, какъ дѣтямъ шьютъ платье съ нѣкоторымъ запасомъ на ростъ. Улица была хорошая, адресъ на визитной карточкѣ былъ такой, какой нужно: не набережныя, не Сергіевская, не Милліонная, но и не Гороховая и не Загородный проспектъ. Понемногу Михаилъ Яковлевичъ обзавелся обстановкой. Онъ покупалъ ее именно такъ, какъ совѣтовали покупать Муравьеву: б ѣ г а л по рынкамъ и все покупалъ по случаю (при чемъ случай рѣдко не бывалъ необыкновеннымъ). Михаилъ Яковлевичъ былъ одинъ изъ первыхъ въ Петербургѣ людей, оцѣнившихъ русскую старинную мебель. В кабинетѣ у него стояло пріобрѣтенное за безцѣнокъ бюро с откидной крышкой на ремнѣ, с множествомъ ящиковъ, с тайниками, — вещь совершенно о т е н т и ч н а я, какъ онъ говорилъ пріятелямъ, показывая на ходы прорытые червями (вологодская мастерская, изготовлявшая на всю Россію старинную мебель, спеціализировалась на червяхъ). На бюро были въ порядкѣ разставлены мраморные канделябры, мраморный письменный приборъ, с чернильницей, песочницей, разрѣзнымъ ножемъ, лодочками для перьевъ и карандашей. Бумаги были распредѣлены по ящикамъ, — Михаилъ Яковлевичъ только не зналъ, что положить въ тайники; въ его жизни почти ничего тайнаго не было. Освѣщался кабинетъ тяжелой Александровской люстрой въ видѣ чернаго бронзоваго блюда. В углу была фигурная изразцовая печь, а на стѣнахъ висѣли портреты Тургенева, Шеллинга и Гнейста (послѣдній портретъ былъ с надписью: "Herrn Professor Dr. Michael Tschierniakoff in aufrichtiger Schaetzung. Rudolf Gneist").

Однако, какъ ни нравилась Чернякову Елизавета Павловна, онъ понималъ, что на заказъ было бы трудно придумать менѣе

подходящую для него жену. «Конечно, с годами дурь с нея соскочит. Она просто слишком энергична и дѣятельна, я не вѣрю в серьезность ея радикальных убѣжденій. Все это нынѣшнее повѣтріе, вліяніе тѣх молодых людей, которых я выживу из дому. Но это — «с годами», а если дѣлать предложеніе, то надо бы сдѣлать его сейчас. Между тѣм ея тон, ея барскія замашки, возможные сюрпризы»...

— Так что-же вы думаете, господа, о замѣнѣ Николая Николаевича Тотлебеном? — спросил Павел Васильевич. Черняков вздохнул и высказал свое мнѣніе; оно, впрочем не отличалось от мнѣнія половины других профессоров. Доктор Петр Алексѣевич пожал плечами. Назначеніе Тотлебена совершенно его не интересовало. Разговор ненадолго остановился.

— Ну, мы как, Машенька, как живем? — спросил Черняков. — Ах да, Коля очень просил вам кланяться. — Маша вспыхнула. Она от всего краснѣла. Это (и еще ея заиканье, впрочем очень легкое) было крестом ея жизни. — Коля мой племянник, а нынѣ волей судеб и мой воспитанник, — пояснил Михаил Яковлевич Муравьеву.

— Да, конечно, сын вашей сестры. Мы встрѣчались в Эмсѣ. Вѣдь ваши тоже, как мы, каждое лѣто ѣздят на воды заграницу?

— Да, из за Юрія Павловича. Сестрѣ, слава Богу, лечиться не приходится: мы, Черняковы, здоровая порода. А вот Юрій Павлович уже три года болѣет.

— Надѣюсь, ничего серьезнаго?

— Серьезнаго, кажется, ничего, — нехотя подтвердил Михаил Яковлевич. Он наканунѣ получил от сестры письмо; Софья Яковлевна сообщала что болѣзнь ея мужа довольно опасна, и просила не говорить об этом Колѣ. Черняков, читая, подумал, что едва ли это сообщеніе очень Колю взволновало бы: он не любил отца и почти не скрывал этого от дяди. — Но нужны какія-то затяжныя изслѣдованья, Юрій Павлович лежит в лечебницѣ. Вѣроятно, они там пробудут до іюля, как это слѣдует из письма, лишь вчера мною от сестры полученнаго. Колю же они, уѣзжая, оставили на моем попеченьи.

Вслѣдствіе этого не совсѣм для меня удобнаго обстоятельства я временно переѣхал в их дом.

— Как же вы... воспитываете Колю? — спросила Маша, опять покраснѣвшая оттого, что запнулась.

— Ну, работы у меня с ним мало. Учится он прекрасно, первый в классѣ, ведет себя тоже недурно, и цѣлые дни читает. Этот мальчишка уже знает больше, чѣм я! Но зато какая самоувѣренность!

— У кого это самоувѣренность? — спросила снова вернувшаяся Елизавета Павловна. — Ах, у Коли. Это хорошо, я люблю самоувѣренность в мужчинах. Только не хвалите его при Машѣ, она и так, кажется, в него влюблена.

— Какой вздор! Ни в кого я не влюблена!

— Я тоже нѣт, сестра моя, и это очень печально.

— Нисколько не влюблена, а только мы играем вмѣстѣ в теннис. Он отлично играет.

— Коля все дѣлает отлично.

— Как это скучно, особенно в мальчикѣ, — сказала Елизавета Павловна.

— Добавьте, что он страшно р-революціонных взглядов, и намѣрен скоро приступить к изученію Карла Маркса! Это в шестнадцать лѣт! Впрочем, я за него спокоен: в революцію он и не сунется, а станет знаменитым адвокатом и затмит Спасовича. Он и теперь упражняется тайком в краснорѣчіи по самым лучшим радикальным образцам.

— Машенька у меня тоже сочувствует революціи. Впрочем, еще года полтора тому назад она обожала императрицу и каждый день за нее молилась.

— Папа, за... зачѣм?... Это не так, — вспыхивая, сказала Маша.

— Быль молодцу не укор, Машенька, — сказал Черняков. — Но если вы хотите, чтобы Коля в вас влюбился — это чистѣйшая гипотеза, — то всячески восхищайтесь им, его взглядами и его дьявольским краснорѣчіем. Он обожает, чтобы им восторгались.

— Я тоже обожаю... Петр Великій, мнѣ надо сказать вам

«пару слов», как пишет Лѣсков. Пройдем на минуту ко мнѣ.

— К вашим услугам, — радостно откликнулся доктор. Они вышли. Маша проводила сестру тѣм же влюбленным, теперь вдруг встревоженным взглядом, точно она ее ревновала к Петру Алексѣевичу.

В спальной Елизаветы Павловны был такой же безпорядок, как во всей квартирѣ за исключеніем комнаты Маши. На кровати и стульях было разбросано что-то бѣлое. Петр Алексѣевич поспѣшно отвернулся и несправедливо подумал, что Елизавета Павловна, часто смѣявшаяся над его застѣнчивостью, вѣрно привела его сюда нарочно. Он был очень влюбчив и тщательно скрывал это. Ему казалось, что люди всегда над ним смѣются: крошечный рост опредѣлил душевный склад Петра Алексѣевича и даже отчасти его жизнь. Елизавета Яковлевна достала из комода небольшой футляр с кольцом.

— Петр Великій, вы можете оказать мнѣ услугу? Но сначала дайте слово, что вы никому ничего не скажете.

— Какая таинственность! — смѣясь, сказал доктор. — И вѣрно, как всегда, ерунда... Ну, не обижайтесь, даю слово и обѣщаю исполнить, если вы меня не будете называть Петром Великим.

— Хорошо. Я принимаю... Сколько по вашему может стоить это кольцо?

— Не знаю... Почем мнѣ знать? — изумленно спросил доктор. — Я не ювелир и отроду этого барскаго добра не покупал. Я не какой-нибудь...

— Но приблизительно?

— Вѣрно, рублей сто или полтораста?

— Я тоже не знаю... Это подарок папа... Вы когда-нибудь закладывали вещи в ломбардѣ?

— Сколько раз! Но у меня и закладывать было почти нечего, я приносил по трешницѣ, а то и меньше. Вы не можете себѣ представить, как я был...

— Как вы думаете, сколько дадут в ломбардѣ за это кольцо?

— Думаю, рублей пятьдесят дадут... Неужели вы хотите

заложить? — сочувственно спросил Петр Алексѣевич. Он хотѣл было добавить: «возьмите у меня денег», но не рѣшился. Елизавета Павловна задумалась.

— Нѣт, пятидесяти мнѣ мало. Я обѣщала дать сто... Голубчик, сдѣлайте это для меня: продайте кольцо. Но тотчас, завтра утром!... Вы не хотите? Вам трудно?

— Мнѣ нисколько не трудно, — сказал доктор, привыкшій к тому, что на него возлагали самыя скучныя порученія. — Однако уж будто это необходимо? Павел Васильевич будет очень недоволен.

— Папа? Он не замѣтит... Нѣт, замѣтит, но не скоро, и я что-нибудь придумаю. По нѣкоторым причинам мнѣ теперь не хочется просить его о деньгах... Первая нѣкоторая причина: у него, кажется, сейчас их очень мало, я поэтому отказалась и от Бореля. А вторая нѣкоторая причина: я на днях взяла у него пятьдесят рублей... Нѣт, ничего не подѣлаешь: продайте кольцо. На вас папа сердиться не будет.

— Пожалуйста, не говорите: «папà» — с подчеркнутым французским акцентом иронически произнес доктор. — Вы еще начнете называть Павла Васильевича «батюшка»?... Со всѣм тѣм, я не знаю: может, в ломбардѣ дадут и сто, — добавил он, приняв рѣшеніе заложить кольцо и добавить недостающую сумму из бывших у него семидесяти рублей. Петр Алексѣевич радостно себѣ представил, как со временем вернет кольцо Елизаветѣ Павловнѣ. — Завтра утром вам и привезу.

— Какой вы милый, Петр Великій!... Но я обѣщала в двѣнадцать доставить деньги.

— Я могу вам привезти в одинадцать.

— Отлично... Или нѣт, мы утром ѣдем кататься. Петр Великій, вы ангел, но уж будьте ангелом в квадратѣ...

— Не желаю быть ангелом в квадратѣ, тѣм болѣе, что вы нарушили обязательство... Ну, что еще вам нужно?

— Мнѣ нужно... От вас это не секрет... Вы знает Н.? — спросила она, называя имя извѣстнаго радикальнаго публициста. — Конечно, знаете, вѣдь вы же меня с ним познакомили. Пожалуйста, отвезите ему завтра утром сто рублей и скажите,

что это от меня. Больше ничего не надо говорить: он знает, в чем дѣло.

— Если я попаду в тюрьму, то не иначе, как в вашем обществѣ. Я непремѣнно вас выдам.

— Спасибо. Теперь мы можем вернуться.

В кабинетѣ рѣчь шла о Мамонтовѣ, котораго Павел Васильевич помнил по Эмсу. Черняков, вздыхая, говорил, что из его пріятеля ничего не выходит.

— Вот вы спрашиваете, революціонер ли он. По совѣсти не знаю: у него семь пятниц на недѣлѣ. Он очень одаренный человѣк, но путаник. Посудите сами: был художником, страстно увлекался живописью, имѣл даже нѣкоторый успѣх. Мнѣ серьезные художники говорили, что у него большой талант... Большое дарованіе, — поправился Михаил Яковлевич. — Так вот, видите ли, ускакал зачѣм то в Америку и оказалось, что он не художник, а журналист! А так как, повторяю, он чрезвычайно способный человѣк, то и как журналист он тоже чего-то добился: писал в Америкѣ, пишет у нас, все почему-то под псевдонимами.

— «Лишній человѣк», Рудин? Немножко старо. Что может быть скучнѣе в наше время? — сказал доктор.

— Нѣт, какой там Рудин? Мамонтов отнюдь не герой романа: для этого он слишком безконтурный человѣк; романисту и ухватиться было бы не за что. Если хотите, он типичный homme à femmes. Теперь он находится в Берлинѣ по порученію какого-то журнала. Однако я подозрѣваю, что дѣло не в журналѣ, а в новой дамѣ сердца...

В передней раздался звонок.

— Это Владимір Викторович... Как бы все-таки узнать его фамилію?... Постойте, Черняков, не разсказывайте дальше: мнѣ интересно, что этот Мамонтов, — сказала Елизавета Павловна и выбѣжала в переднюю. Через минуту она вернулась в сопровожденіи высокаго, худого, гладко выбритаго человѣка с блѣдным лицом, с лѣвой рукой на перевязи. Он неловко вошел в кабинет и неловко, без подобія улыбки, что-то про-

бормотал в отвѣт на любезныя слова хозяина, поднявшагося ему навстрѣчу. Почему-то однако сразу чувствовалось, что его неловкость происходит никак не от застѣнчивости. Нѣчто очень жесткое и упорное было в его худом лицѣ с рѣзко выраженными чертами. Здороваясь с Черняковым и с доктором, он, хотя невнятно, назвал свою фамилію. Елизавета Павловна радостным жестом показала из за его спины Михаилу Яковлевичу, что теперь все в порядкѣ: она вспомнила! Фамилія гостя была как будто Валицкій или как-то так. Лицо его показалось Чернякову знакомым.

— ...Неужто прошло два года с тѣх пор, как вы у нас были? — говорил профессор, помнившій, что дѣйствительно видѣл этого человѣка; тогда он был как будто другой. — Да, знаю, вы были на войнѣ... Вижу, что воевали. Надѣюсь, ничего серьезнаго? — спросил он, показывая глазами на перевязь, и с неудовольствіем подумал, что точно такой же вопрос задал Чернякову о Дюммлерѣ.

— Нѣт, — отвѣтил кратко гость. Он неувѣренно сѣл в пододвинутое ему кресло и занял в нем самое неудобное, совершенно прямое положеніе. «Точно на козлах сидит!» — подумала Машенька, с любопытством за ним слѣдившая. Гость безпокойно оглянулся, на мгновенье задержался взглядом на ногах Елизаветы Павловны, и тотчас отвернулся. Сама Елизавета Павловна, закуривавшая папиросу, этого не видѣла, но Машенька замѣтила и обидѣлась. Другой человѣк был бы ею за это немедленно занесен в разряд непріятных, но этого она почему-то не занесла.

— Так ваши еще долго пробудут в Берлинѣ? — спросил профессор, старавшійся болѣе или менѣе равномѣрно поддерживать скучный ему разговор на обѣ стороны: молчаливый гость сидѣл справа, а Черняков и доктор слѣва.

— Сколько прикажут врачи. Может быть, моей сестрѣ и не очень хочется уѣзжать: в Берлинѣ сейчас большой с'ѣзд, у нея и там, кажется, маленькое подобіе салона.

— Очевидно, у вас, Черняков, есть семейная любовь к знаменитостям, — сказала Елизавета Павловна. Маша и доктор

засмѣялись. Михаил Яковлевич высоко поднял брови, задѣтый и удивленный.

— Вот как? Я за собой что-то не замѣчал!

— Да вы и сегодня успѣли сообщить, что должны вечером быть у Достоевскаго.

— Я не «успѣл сообщить», а просто вам сказал, что должен буду уйти скоро послѣ обѣда. У меня с Достоевским пятиминутный дѣловой разговор об его выступленіи на нашем вечерѣ, только и всего. Право, тут нечѣм было бы хвастать, даже еслиб было такой уж большой честью лично знать Достоевскаго.

— Я его видѣл в Эмсѣ, — сказал Павел Васильевич, тоже недовольный замѣчаніем дочери. — У него на водах выходили постоянныя столкновенія с нѣмцами из за очереди. Повидимому, он чрезвычайно нервный человѣк.

— Безумно нервный и раздражительный. Очень неуютный суб'ект. Он работает ночью, а спит днем! Так что свиданія назначает только по вечерам, вот и мнѣ назначил нынче в восемь. Кстати сказать, я не Бог знает какой его поклонник. Мой кумир, как вам извѣстно, Иван Сергѣевич, — сказал Черняков («почему бы это должно быть мнѣ извѣстно?» — подумал профессор). — Но, разумѣется, никто не может отрицать, что Достоевскій большой сердцевѣд, знаток человѣческой души в ея взлетах и паденіях.

— Эту фразу, Черняков, о взлетах и паденьях я уже от вас слышала. Да вѣрно и взяли вы ее из какой-нибудь рецензіи, — сказала Елизавета Павловна, с удовольствіем его задиравшая. — Ну, хорошо, не буду, не буду, тѣм болѣе, что я у вас в долгу. Папа, вы отдали ему три рубля?

— А вы знаете, Павел Васильевич, на что Елизаветѣ Павловнѣ понадобились на улицѣ эти три рубля? — спросил Черняков. — Она, видите ли, б р о с и л а их нищему! Этакій царскій жест! Если я щеголяю знакомством с Достоевским, то вы героиня Достоевскаго... Ага, получили?...

— Они всегда пикируются. А вы, Владимір Викторович,

как относитесь к Достоевскому? — спросил Муравьев, возвращаясь на правый фланг.

— Мое имя-отчество Иван Константинович, — ответил новый гость. Павел Васильевич, осекшись, с упреком взглянул на дочь. Она весело засмеялась.

— Как это вы забыли, папа? Конечно, Иван Константинович. Вы верно думали об электромагнитной теории света... Едва ли Иван Константинович восторгается Достоевским, который восхвалял всю эту нелепую войну...

— Об этом предоставим высказаться самому Ивану Константиновичу, — вставил доктор; он был одним из очень немногих людей в Петербурге, еще интересовавшихся балканскими делами.

— Конечно, нам всем были бы очень интересны непосредственныя впечатления человека, бывшаго на фронте, — сказал Михаил Яковлевич и, не дожидаясь ответа, продолжал. — Политика Биконсфильда теперь выяснилась с полной очевидностью. Я думаю, что...

— Не Биконсфильда, а Беконсфильда. Англичане произносят: Беконсфильд, — поправила Елизавета Павловна.

— Очень в этом сомневаюсь. Я всегда говорил и говорю: Биконсфильд... Я думаю все-же, что опасность войны с англичанами не так уж неотвратима, хотя Англия сейчас лишний раз показывает, что она наш исторический враг.

— Только этого не хватало бы: англо-русской войны! — с негодованием сказал Муравьев, опять вспомнив Кэмбридж, Максвелля, благодушных наивно-веселых английских профессоров. «Это они мои исторические враги!».

— Я и люди моего образа мыслей тоже войны не хотим, — ответил Михаил Яковлевич, чуть было не сказавшій: «я и мои послѣдователи». — Мы готовы всецело и всемерно поддержать идею соглашения с Англией, исходя из мудраго правила: лучше худой мир, чем добрая ссора. Но...

— Да почему же «худой» мир? Почему не хорошій? Что за вздор! Чего мы с Англией не подѣлили? Или, быть может,

англичане тоже, как турки, совершают звѣрства над братьями-славянами?

— Вы говорите, Павел Васильевич, так, точно турецкія звѣрства кто-то выдумал!

— Вот и об этом мнѣ тоже хотѣлось бы выслушать мнѣніе Ивана Константиновича, — сказал докторъ, которому надоѣли военные разговоры людей, не выѣзжавших из Петербурга. Он сам в прошлом году собирался было на войну, но потом смущенно разсказывал, что как-то не вышло. У Петра Алексѣевича все в жизни обычно как-то не выходило, большей частью по недостатку денег. — Что, Иван Константинович, были звѣрства?

— Должно быть, были.

— Значит, вы их не видѣли? — радостно спросил Муравьев.

— Своими глазами не видѣл... Или, вѣрнѣе, все было звѣрство, — отрывисто сказал Иван Константинович. Всѣ немного помолчали.

— Я слышал, что наши доблестные союзнички румыны отличались почище турок? — полувопросительно замѣтил доктор. — Ну, а мы сами?

— Мы меньше. Жестокость не в природѣ русскаго человѣка... Быть может, жаль, что так, — сказал Иван Константинович. Взгляд его опять остановился на ногах Елизаветы Павловны. Он снова отвернулся. Всѣ на него смотрѣли с недоумѣніем. — Во всяком случаѣ турки прекрасный народ и солдаты такіе, что смотрѣть любо. Наша армія уважала их в сто раз больше, чѣм союзников. А кромѣ того...

Он оборвал рѣчь. Все здѣсь было ему странно и непріятно. Иван Константинович, только что демобилизованный послѣ двух лѣт войны, послѣ раны и контузіи, еще не мог привыкнуть к нормальной человѣческой жизни, к тому, что он больше не страдал дизентеріей, что на нем не было вшей и грязной густой щетины (теперь посѣщеніе парикмахерской было главным его наслажденьем). Люди, разговаривавшіе с ним, не пережили ничего из пережитаго им и тѣм не менѣе смѣли с ним разгова-

ривать о войнѣ. Они просто ничего не понимали: ни тѣ, которые восторгались войной, ни тѣ, которые порицали ее. «Этот господин в сюртучкѣ с цвѣточком вѣрно славянофил и патріот. Только на войну забыл пойти, несмотря на цвѣтущее здоровье», — думал он, искоса с презрѣніем поглядывая на Чернякова. Почему-то, несмотря на свою красивую наружность, не понравилась ему теперь и эта развязная барышня, — что-то в ы з ы в а ю щ е е было в ея прюнелевых ботинках с перламутровыми пуговицами, в том, как она сидѣла, облокотившись на изголовье дивана, держа папиросу в лѣвой рукѣ. «А может, всѣ вообще мнѣ опротивѣли, и я ищу, к чему бы придраться»... Ему было досадно, что он ни с того, ни с сего принял приглашеніе на обѣд в чужой и чуждый дом. Иван Константинович почти не видал людей в Петербургѣ: все думал о том, как жить дальше, какіе выводы сдѣлать из того, что он пережил.

— Вот видите, — сказал профессор. — Вы пошли воевать добровольцем из за газетных статей о турецких звѣрствах, а теперь оказывается, что турки прекрасный народ! И это я слышу от всѣх вернувшихся с фронта офицеров. У нас даже теперь странный взрыв симпатій к туркам, что, конечно, уже крайность. А вот вы, Михаил Яковлевич, все-таки мнѣ не об'яснили, почему Англія наш «историческій враг». Мой покойный отец, помнившій Аустерлиц и пожар Москвы, прожил всю жизнь в глубоком убѣжденіи, что наш историческій враг — Франція. Ну, хорошо, я, как многіе, готов допустить что наши историческіе друзья — нѣмцы. Однако почему мы должны непремѣнно имѣть исторических врагов и в частности почему наши враги именно англичане, быть может самый культурный народ на свѣтѣ?

— Я тоже очень почитаю англичан, Павел Васильевич, но что вѣрно, то вѣрно: интересы Россіи прямо противоположны интересам Англіи, и прежде всего в том, что мы должны так или иначе закрѣпиться на проливах Мраморнаго моря, а для них это нож вострый. Вѣдь кто владѣет Дарданеллами, тот владѣет всѣм міром.

Муравьев засмѣялся.

— На это Бисмарк остроумно отвѣтил в рейхстагѣ, когда ему привели этот афоризм. Он сказал, что Дарданеллами уже нѣсколько столѣтій владѣют турки и тѣм не менѣе он никогда в Берлинѣ не испытывал такого чувства, будто живет под властью турецкаго султана. И я не думаю, чтобы это чувство испытывали вы, живя в Петербургѣ. А кромѣ того, хотя я русскій человѣк и русскій патріот, я все-же не чувствую ни малѣйшей потребности владѣть міром. Вы чувствуете?

— Но вѣдь так нельзя спорить. Вы ссылаетесь на шутку Бисмарка, шутка хорошая, но это шутка. А вот я вас конкретно спрошу. По Сан-Стефанскому договору мы от турок получаем Алашкертскую долину. Теперь, говорят, англичане на это не согласны. Я знаю из достовѣрнаго источника, — сказал Черняков, всегда ссылавшійся на достовѣрный источник особенно внушительным тоном, — что здѣсь и лежит камень преткновенія. Сент-Джемскій кабинет, скрѣпя сердце, идет на нѣкоторыя уступки нам, но Алашкертской долины он не отдает и дѣлает из нея casus belli. Что-же, сходятся интересы Россіи и Великобританіи или расходятся?

Профессор всплеснул руками.

— Помилуйте, на что нам Алашкертская долина? Да я и не знаю, гдѣ эта долина находится, и сомнѣваюсь, чтобы это знал Биконсфильд. А если он и знает, то вѣрно ему только позавчера это об'яснили эксперты. Да пропади эта долина пропадом!

Обѣ барышни засмѣялись. Улыбнулся и Михаил Яковлевич.

— По моему, —сказал доктор, — нельзя вообще что-то отдѣлять и что-то присоединять без согласія населенія тѣх земель, которыя отдѣляют и присоединяют. Признаться, я думал, что это символ вѣры всей русской интеллигенціи? И не скрою, что для меня тоже, как для Павла Васильевича, ея честь, н а ш а честь, дороже всѣх долин на свѣтѣ.

— Завѣщаніе Петра Великаго: произвести плебисцит среди башибузуков! — сказал, пожимая плечами, Черняков. Он себя чувствовал единственным государственным человѣком в обществѣ этих идеалистов.

— Если там башибузуки, то, тѣм болѣе, зачѣм нам их к себѣ присоединять? Мало у нас своих Треповых? Нѣт, нѣт, вы и тут скажите, Михаил Яковлевич, что кто владѣет Алашкертской долиной, тот владѣет міром.

— Вы однако не думаете, Павел Васильевич, что министры Сент-Джемскаго кабинета и в частности лорд Биконсфильд, первый министр Англіи, несут первое что им взбредет в голову?

— Я думаю, что у Биконсфильда главное дѣло этот их так называемый престиж: престиж Англіи и его собственный престиж. Если он не добьется от нас никакой уступки, то ему в Парламент носа показать нельзя будет. И Англіи будет тоже конфуз, по мнѣнію всѣх других Биконсфильдов, больших и малых, парламентских и газетных... Я, впрочем, не отрицаю войну вообще. Конечно, война — позор человѣчества и там все как по писанному. Однако я признаю, что в извѣстных, очень рѣдких, случаях война может быть необходима... Вы не согласны? — обратился Муравьев к Ивану Константиновичу, который, как ему показалось, отрицательно мотнул головой. Тот ничего не отвѣтил, точно не слышал. — По моему, к подобнаго рода явленіям возможен только один подход: идет ли данное явленіе по линіи общечеловѣческаго прогресса или...

— Предварительно надо выяснить, есть ли эта линія и куда именно она ведет, — вдруг сердито перебил его Иван Константинович.

— Я полагаю, что это извѣстно, — сказал Черняков. Павел Васильевич тоже удивленно поднял брови, хотя замѣчаніе страннаго гостя совпало с тѣм, что он сам думал часа три тому назад.

— Согласитесь однако, что мы идем не к средним вѣкам и не к татарскому игу. И я готов допустить, что наша война с турками за освобожденіе славян шла в согласіи с этой линіей общечеловѣческаго прогресса... Возможно, что наши балканскіе братья будут еще достаточно рѣзаться друг с дружкой. Однако закон прогресса требовал их освобожденія из под

чужой, грубой и некультурной власти. Теперь это сдѣлано, и слава Богу. Больше ни с кѣм воевать незачѣм.

— Позвольте, еще сдѣлано ли это? Об этом не мѣшает спросить Биконсфильда. Я не вполнѣ согласен с вашим подходом к вопросу, Павел Васильевич, но я готов стать и на вашу точку зрѣнія. И я рѣшаюсь утверждать, что внѣшняя политика англійскаго консервативнаго правительства по линіи общечеловѣческаго прогресса не идет. Биконсфильд защищает султанскую Турцію, всячески замалчивает и замазывает ея самыя кровавыя дѣла. Гладстон — совершенно иная статья. С Гладстоном мы могли бы сговориться в пять минут.

— Бог даст, сговоримся и с Биконсфильдом, но незачѣм выдумывать ерунду. Вы согласны, Иван Константинович, воевать еще годика два из за Алашкертской долины?

— Я не согласен, — весело сказал доктор.

— Господа, но вѣдь так же нельзя! — самыми низкими нотами голоса возразил Черняков. — Да загляните вы хоть в самый обыкновенный справочник! Я уж не говорю об естественных богатствах Алашкертской долины, но вѣдь она путь в Персію и стратегическое значеніе рѣки Шарьян-Су ясно ребенку при первом взглядѣ на карту. Неужели вы серьезно думаете, что Биконсфильд противится этой статьѣ Сан-Стефанскаго договора из самодурства и что наш государь ея добивается просто так? Да вѣдь это шутка, господа!

— Я не знаю, добивается ли ея государь теперь, но я хорошо помню, что перед войной он прямо, к большому моему удовлетворенію, сказал, что никаких территоріальных пріобрѣтеній ему от Турціи не нужно.

— Мало ли что, Павел Васильевич, говорится, когда об'являешь войну и ищещь международных симпатій! Такія заявленія ничего не стоят.

— Вот нашли вообще, на кого ссылаться: на батюшку-царя, — сказала Елизавета Павловна. Профессор с недовольным видом покосился на дочь и незамѣтно показал ей глазами на новаго гостя, человѣка почти незнакомаго. Иван Константинович посмотрѣл на нее и ничего не сказал.

— А вѣдь мы с вами, Иван Константинович, встрѣчались! — вдруг радостно сказал Черняков. — Я все себя спрашиваю, гдѣ это я вас видѣл? Вѣдь это вы играли лѣт десять тому назад у Пятницких на любительском спектаклѣ. Помните, шел «Лев Гурыч Синичкин». И вы превосходно играли, всѣ хохотали до упаду! Вы тогда еще были студентом.

— Да, был студентом, — отвѣтил Иван Константинович. На лицѣ его появилась и тотчас стерлась улыбка. Всѣ удивленно на него смотрѣли: с трудом вѣрилось, что этот мрачный человѣк игрàл в веселом любительском спектаклѣ. «Ему бы какого-нибудь Отелло играть или другую венеціанскую мавру», — подумал Черняков. Машенька все ловила взгляд Елизаветы Павловны, чтобы узнать, как надо относиться к Ивану Константиновичу. Взгляда сестры ей было бы для этого совершенно достаточно.

На порогѣ кабинета показалась горничная, сдѣлавшая знак барышням с тревожным и рѣшительным видом.

— Готово? Господа, пойдем обѣдать. Сообщаю меню: будут устрицы, горячій форшмак, холодное мясо с салатом и сладкій пирог, который принес Черняков. Больше ничего, по извѣстным вам причинам. Но чтобы вас утѣшить, подадут шампанское. Довольны?

— Премного довольны, Елизавета Павловна, хоть вы нас сегодня все обижаете, — сказал Черняков.

— Рада стараться. Так вам и надо.

— А мы вас отучим нас обижать.

— Ну, это мы еще посмотрим.

— Ваша любимая фраза: «ну, это мы еще посмотрим». Вот и посмотрите... А не опасно ѣсть устрицы в апрѣлѣ?

— Не опасно. Чорт вас не возьмет, как говорят в высшем обществѣ.

— Лиза! — с упреком сказал профессор.

— Люблю форшмачек из селедочки. Особенно если и водочки к нему пожалуете. Ну, что шампанское! Мы люди

простые... Как это вы написали, Павел Васильевич, о Степанычѣ? «Пьет пивцо и дует водку, — Семгу ѣст и жрет селедку»... Очень хорошо! — весело сказал доктор, мало ѣвшій, пьянѣвшій от второй рюмки, но очень любившій говорить об ѣдѣ и выпивкѣ.

IV.

Михаил Яковлевич дѣйствительно имѣл право сказать, что знаком с Достоевским. Их раза два-три знакомили — всякій раз наново — на вечерах, на засѣданіях, в разных общественных организаціях. В душѣ Черняков однако не был увѣрен, что Достоевскій помнит его фамилію. Впечатлѣніе от знакомства у него было не то, чтобы непріятное, а, как он и говорил, н е у ю т н о е. Впрочем, такое же впечатлѣніе от Достоевскаго выносили почти всѣ. — «То ли дѣло наш Иван Сергѣевич! Вот, можно сказать, рубаха-парень!» сказал как-то Михаил Яковлевич сестрѣ. Собственно он и Тургенева знал очень мало и не имѣл основаній называть его «нашим». Слова же «рубаха-парень» никак не подходили к этому старому барину, но как-то это так у Михаила Яковлевича сказалось. В Тургеневѣ дѣйствительно ничего неуютнаго не было. Он помнил и фамилію, и даже имя-отчество Чернякова, при рѣдких встрѣчах говорил своим высоким тонким голосом любезныя слова и слушал с таким видом, точно рѣчи Михаила Яковлевича открывали ему совершенно новый и необыкновенно интересный взгляд на Россію, на мір и на судьбы человѣчества. Так он разговаривал с революціонерами, с либералами, с консерваторами — и только при видѣ крайних ретроградов свирѣпѣл и тотчас от них уходил.

Черняков с готовностью принял возложенное на него порученіе заѣхать по дѣлу к Достоевскому. Других охотников не было, оттого ли, что Достоевскій еще совсѣм недавно пользовался репутаціей крайняго ретрограда, или потому, что в его обществѣ люди себя чувствовали не совсѣм легко. Многіе считали его сумасшедшим. Михаилу Яковлевичу давно

хотѣлось побывать у этого писателя; тѣм не менѣе под'ѣхал он к дому у Греческой церкви с легкой тревогой. «И дом какой-то непріятный»...

На звонок долго не отворяли дверей. Затѣм послышались торопливые шаги. Женскій голос сказал — неожиданно очень у ю т н о (в голосѣ с л ы ш а л а с ь улыбка): «Сейчас, сейчас, подождите минуточку» (хотя Черняков дернул шнурок один раз и довольно робко). Отворила дверь женщина с простым миловидным лицом, одѣтая так просто, что Михаил Яковлевич даже не мог разобрать, жена ли это, горничная или няня. «Скорѣе всего няня. Есть женщины от природы н я н е о б р а з н ы я »... В передней было полутемно. Тускло горѣл огарок свѣчи. Немного пахло керосином.

— Вы к Федору Михайловичу? Пожалуйте в кабинет. Он через минуточку выйдет, — сказала женщина. Несмотря на «он» и «выйдет», у Чернякова оставались нѣкоторыя сомнѣнія: может быть, все-таки няня? Он поклонился с достаточной для д а м ы учтивостью, но все-же не так, как поклонился бы, напримѣр, незнакомой женѣ профессора. — Вот сюда положите, — с пріятной улыбкой сказала женщина, показав на ветхій сундук, покрытый сѣрым сукном. «Сундук тоже нянеобразный», — подумал Михаил Яковлевич, привѣтливо улыбаясь. Он осторожно положил на сундук свое новенькое модное демисезонное пальто и шляпу, с удовлетвореніем замѣтив, что сукно совершенно чистое (огарок горѣл над сундуком).

Кабинет был освѣщен лампой и двумя очень высокими свѣчами, стоявшими на письменном столѣ непріятно-близко одна к другой, по обѣ стороны маленькой чернильницы. Михаил Яковлевич, всегда очень интересовавшійся тѣм, как живут люди, особенно люди умственнаго труда, с любопытством оглядѣлся и вздохнул. Ему рѣдко случалось видѣть столь неуютную, мрачную комнату. Правда, порядком и чистотой кабинет Достоевскаго не уступал его собственному, но все было чрезвычайно бѣдно. «За эту мебель старьевщик даст рублей десять, да и заплачено было вѣрно немногим больше», — подумал Михаил Яковлевич. Он был огорчен тѣм, что так

плохо живет знаменитый русскій писатель. «Этот письменный стол вѣрно шатается, — предѣл ужаса, — и под ножку надо подкладывать кусочки картона»... Впрочем, кусочков картона как будто не было. У стѣны стоял старенькій обитый красноватым репсом, очень потертый диван, а около него табурет с книгой, стаканом и свѣчой (тоже очень высокой). «Очевидно, на этом диванѣ он и спит. Как непріятно это зеркало в черной рамѣ»... Было еще нѣсколько жестких стульев, другой дешевенькій стол, крытый красной скатертью, с аккуратно сложенными книгами. «Вот только икона, кажется, хорошей работы», — смущенно думал Михаил Яковлевич, рѣдко видѣвшій иконы в домах, в которых он бывал. «Да, очень плохо живет. Неужто он так бѣден? А говорили, что он стал лучше зарабатывать, будто бы даже платит долги. В наш Фонд он давно не обращался. В свое время Лавров устроил, помнится, скандал из за того, что ему дали слишком много, но это вѣдь было очень давно. Не внести ли предложеніе о ссудѣ ему из наших новых: безсрочных и безпроцентных?» Михаил Яковлевич знал, что Достоевскому, почти без возраженій, дадут и пятьсот, и тысячу рублей, при чем у радикальных членов Комитета будет особенно корректный вид, подчеркивающій, что они не возражают против денежной помощи ретрограду. Такой же вид бывал у консервативных членов Комитета, когда просил о ссудѣ нуждающійся радикал. Фонд, несмотря на нападки на него, работал очень хорошо. Черняков понимал, что тут никто не будет задавать коварных вопросов: не пьет ли проситель, и сколько именно он зарабатывает, и нѣт ли у него богатых родных, и не могла ли бы работать его жена? — все-таки Достоевскій. «В случаѣ надобности я дам поручительство», — рѣшил Михаил Яковлевич. Он занимал в Комитетѣ очень хорошее положеніе; не только никогда не брал ссуд, но аккуратно вносил и членскій взнос, и даже отчисленіе от заработка, именовавшееся Дружининской копѣйкой (этой копѣйки не платил почти никто). «Сам же ему сюда и привез бы деньги», — подумал Черняков, представляя себѣ, как, в отвѣт на смущенныя растроганныя выраженія благодарности, будет ласково и обод-

рительно говорить: «Ну, что вы, что вы, Федор Михайлович! Это честь для нашего Фонда. И не вы нас, а мы вас должны благодарить, за художественное наслажденіе, которое вы нам доставляете»...

Впрочем, все это лишь проскользнуло в воображеніи Михаила Яковлевича: так он был занят наблюденьями. Черняков сначала постоял в ожиданіи хозяина, затѣм сѣл рядом с письменным столом, у непріятно-близко одна к другой горѣвших высоких свѣчей. «Точно онѣ над гробом горят... Вообще и дом, и кабинет такіе, как будто здѣсь было когда-то совершено убійство. А может, мнѣ так кажется именно потому, что тут живет Достоевскій? Неужто здѣсь написаны «Преступленіе и Наказаніе», «Бѣсы», «Идіот»? Нѣт, он, кажется, нерѣдко мѣняет квартиры. Но вѣрно за этим письменным столом»... Достоевскій, очевидно, только что работал. На столѣ лежал исписанный лист бумаги. Михаил Яковлевич невольно на него взглянул, — «ну, что-ж, вѣдь это не частное письмо, да я и не читаю, а только смотрю, как о н т в о р и т»... Лист был исписан так густо, что невозможно было бы вставить еще хотя б одно слово. Казалось, что на листѣ писали и сверху вниз, и снизу вверх, и еще были отдѣльныя вставки, обведенныя чертами и кружками. В углу был пером нарисован какой-то похожій на Достоевскаго старик, тоже обведенный четыреугольником; к головѣ старика справа, слѣва, сверху, снизу подступали строчки. И еще гд-то между строчек выдѣлялись слова, каллиграфически выписанныя болѣе крупными буквами. Их можно было разобрать, Михаил Яковлевич с любопытством пригнулся к столу. «Paris», «Russie», «Rachel»... — «Странно, очень странно!» — подумал Черняков, писавшій свои научныя работы совершенно иначе: у него мысли так и отливались в безупречно правильныя предложенія, развѣ что изрѣдка приходилось замѣнять причастіем слово «который», если оно приходилось слишком близко от другого «котораго», — Михаил Яковлевич, как Флобер, читал себѣ вслух каждую страницу. Он жаловался друзьям и товарищам по наукѣ на м у к и

творчества, но иногда сам удивлялся тому, как легко и хорошо пишет. «Вот тебѣ и их вдохновенье!»

Он опять встал и нервно сдѣлал нѣсколько шагов по комнатѣ. Почему-то в этом кабинетѣ он чувствовал себя смущенным и даже как будто виноватым. «Да, что-то и порядок такой, какой бывает на кладбищѣ»... Михаил Яковлевич бросил взгляд и на книги, лежавшія на красной скатерти. Сверху лежала брошюра: отдѣльное изданіе заключительных глав «Анны Карениной», выпущенное Львом Толстым послѣ того, как Катков отказался их напечатать. «Вот граф Толстой зарабатывает пером очень недурно. Ему за «Анну Каренину» «Русскій Вѣстник» отвалил двадцать тысяч. Столько, сколько я зарабатываю в семь-восемь лѣт», — с неудовольствіем, как при всякой несправедливости, подумал Черняков. «И слава тоже не та... Должно быть, бѣдный Достоевскій завидует Толстому, как мнѣ завидовал Энгельман (это был московскій приватдоцент, кандидат на доставшуюся Чернякову кафедру экстраординарнаго профессора). Что-ж, всѣ мы люди, всѣ человѣки»... Книга, лежавшая на табуретѣ около дивана, оказалась Евангельем. Смущеніе Михаила Яковлевича еще усилилось. Он вынул из петлицы цвѣток и сунул его в карман.

V.

В комнату вошел хозяин дома, в старом пальто поверх жилета, со стаканом чаю в рукѣ. Он остановился и с недоумѣніем взглянул на посѣтителя, точно ожидал кого-то другого. Дѣйствительно, когда он три дня тому назад получил письмо с просьбой о разрѣшеніи побывать у него по дѣлу, ему почему-то показалось, что Черняков кто-то другой. Теперь он вдобавок забыл фамилію человѣка, которому назначил свиданье, и совершенно не знал, кто это такой. Он поставил стакан на стол и крѣпко пожал руку гостю. «Кажется, кто-то скучный?» Пріятных людей для него давно больше не было (развѣ два-три человѣка в мірѣ); но этот был как будто не слишком непріятный.

— Очень рад, — сказал он негромким глуховатым голосом, который тотчас привлекал вниманіе. — Прошу покорно садиться. Чаю не угодно ли?

Михаил Яковлевич поспѣшил напомнить, кто он. Он ждал, что хозяин скажет: «Помилуйте! Разумѣется, я вас отлично знаю». Однако хозяин этого не сказал, — только повторил «прошу покорно садиться», сам сѣл на стул у письменнаго стола и тотчас раздраженно спрятал в ящик свой исписанный лист, как будто догадавшись, что гость в него заглянул. Затѣм он вынул из картонной коробки очень толстую гильзу и молча стал ее набивать, чуть опустив голову и глядя исподлобья на гостя небольшими, свѣтлокарими, усталыми, недобрыми глазами, — точно он ожидал, какое еще будет скучное и непріятное дѣло.

К собственному своему удивленію, Михаил Яковлевич изложил свое дѣло сбивчиво; гдѣ-то даже прилагательное было не согласовано с существительным. Главной причиной столь ему непривычнаго смущенья был теперь именно упорный, сбоку на него направленный взгляд этих маленьких странных глаз. Черняков что-то читал об особом, будто бы с в е р л я щ е м, взглядѣ каких-то знаменитых писателей; его учитель профессор Гнейст говорил ему, что Гете орлиным взором видѣл с перваго взгляда человѣка насквозь: это Гнейст слышал от другого профессора, который слышал это от Эккермана. Черняков встрѣчался со многими извѣстными писателями и не замѣчал, чтобы они орлиным взором пронзали насквозь людей. Однако Михаил Яковлевич признавал Достоевскаго знатоком человѣческой души в ея взлетах и паденьях не только потому, что читал об этом в каком-то журналѣ. «Записки из Мертваго Дома» дѣйствительно чрезвычайно ему нравились; он не раз на них ссылался в своих университетских и публичных лекціях, как впрочем и многіе другіе профессора, особенно криминалисты. Нравилось ему и то, что у Достоевскаго все выходит так затѣйливо. «Вдруг к какой-нибудь этакой блудницѣ нагрянет в дом сразу человѣк тридцать, и князь при тридцати чужих непрошенных гостях сдѣлает блудницѣ предложеніе, а

блудница тут же бросит в камин сто тысяч рублей и велит корыстолюбцу их вытащить и взять себѣ, а когда корыстолюбец откажется, подарит ему эти сто тысяч, а он их ей из гордости вернет. Или ввалится в дом шайка радикалов, чтобы шантажировать, тоже при толпѣ гостей, хорошаго, ни в чем неповиннаго человѣка уже напечатанной ими о нем пасквильной статьей, а он, по своей добротѣ, даст шайкѣ десять тысяч, а главный шантажист сначала скажет, что мало, а потом по гордости от всего откажется, и тут же с шантажистами и с гостями начнется разговор о Христѣ и о частных интимных дѣлах, при чем всѣ у всѣх будут читать в душѣ как в открытой книгѣ, и потом изступленно с ненавистью друг на друга завопят... Мастер, мастер сочинять», — думал испуганно Михаил Яковлевич. — «Это уж у него непремѣнно: люди говорят о божественном и подслушивают у чужих дверей. Я вот о божественном мало говорю, но зато и у дверей никогда не подслушиваю... Если он потребует, чтобы я сжег сто тысяч, то я не сожгу, да у меня с собой только четвертная. И камина здѣсь, слава Богу, нѣт, у нас вездѣ больше печи... Ох, лицо у него — жуть!»...

Черняков встрѣчал этого писателя только в многолюдном обществѣ и, хотя смотрѣл на него с любопытством (на него всегда смотрѣли с любопытством всѣ люди, даже очень его не любившіе), не мог и з у ч и т ь его лицо. Вблизи, при свѣтѣ свѣчей и лампы, измученное лицо Достоевскаго было совершенно восковым. Что-то как будто очень простое и очень русское было в формѣ его головы, в негустой, сливавшейся с усами, русой бородѣ. Всѣ черты его лица были как будто самыми обыкновенными, но Михаилу Яковлевичу казалось, что ему никогда в жизни не попадалось столь необыкновенное, страшное лицо. «Именно страшное! Вѣрно, такіе бывают на каторгѣ, и ему там никто не удивлялся... А может, это у меня и самовнушеніе. Да что ты на меня уставился? Читай, читай в моей душѣ что тебѣ угодно, ничего худого не прочтешь! А вот о тебѣ самом разное говорят!» — думал с нѣкоторым раздраженіем Черняков, вспоминая то, что говорили о Достоевском мастера из литературнаго міра. Правда, Михаил Яков-

левич, человѣк порядочный, благожелательный и нелегковѣрный, не придавал большого значенія таким разсказам. В профессорских кругах тоже не было недостатка в недоброжелательных, злобных и завистливых сплетнях. «Но это все-таки совершенно другое дѣло. Конечно, Энгельман распускал слухи, будто я скатал диссертацію у Гнейста, но он не станет, напримѣр, разсказывать, что я нахожусь в связи с моей сестрой. Это уж их спеціальность, «учителей жизни», — думал Черняков, забывшій, что самые худшіе слухи о Достоевском при нем передавал именно профессор, впрочем несерьезный, второго сорта. Хозяин дома продолжал слушать, не сводя глаз с гостя (не сводил их даже тогда, когда отхлебывал чай из стакана). «Ну, читай, читай, сдѣлай милость», — думал Михаил Яковлевич, излагая дѣло, по которому он пріѣхал. Ему было поручено просить Достоевскаго выступить на благотворительном вечерѣ. Лицо хозяина прояснилось: видимо, он ждал большей непріятности.

— Рад бы душой. Слишком цѣню и честь, и цѣль вашего вечера, — сказал он тѣм же глухим голосом. — Но как раз в это время не могу: вышло мнѣ ѣхать в Москву... Вы вѣдь знаете, я никогда не откажу, если дѣло хорошее.

Михаил Яковлевич дѣйствительно знал, что это правда. Несмотря на дурную политическую репутацію Достоевскаго, его участіе, особенно в послѣдніе два-три года, почти обезпечивало полный сбор в больших залах: в Благородном Собраніи, в Кредитном Обществѣ. Для благотворительных организацій он был кладом.

— Ну, что-ж, Федор Михайлович, очень жаль, если вы никак не можете. Мы все-же рады тому, что, так сказать, в предварительном порядкѣ заручаемся вашим согласіем выступить на слѣдующем нашем вечерѣ, — сказал Черняков и приподнялся. — Простите, ради Бога, что потревожил.

— Надѣюсь, вы не разгнѣваетесь. Вѣдь это без моей вины, — сказал хозяин. Он бросил папиросу в бронзовую пепельницу-плетушку и положил руку на рукав Чернякова. Михаил Яковлевич замѣтил, что манжеты у него были бѣлоснѣжные.

Пальто, которое он носил вмѣсто халата, тоже было без единаго пятнышка, хоть очень старое и потертое. — Посидите со мной, а? Давайте, чаю выпьем.

— Мнѣ совѣстно отрывать у вас драгоцѣнное время. Вѣдь вы, говорят, Федор Михайлович, по вечерам работаете на радость всѣм вашим безчисленным почитателям, от них же первый есмь аз, — сказал Черняков. Ни с кафедры, ни в другом домѣ Михаил Яковлевич, вѣроятно, не сказал бы: «от них же первый есмь аз», но в этом кабинетѣ он почему-то чувствовал потребность говорить не совсѣм так, как обыкновенно. Он был очень доволен приглашеніем. Достоевскій принадлежал к другому лагерю и, как говорила брату Софья Яковлевна, в послѣднее время стал «профетом нѣкоторых великосвѣтских салонов». Но так как он был преимущественно романист, то это большого значенія не имѣло: романистов Михаил Яковлевич считал людьми безотвѣтственными, которые в политикѣ ничего не смыслят и потому могут говорить что им угодно. Вдобавок, Достоевскій как будто в послѣдніе годы опять мѣнял лагерь. Он сказал теплую рѣчь над могилой Некрасова, и его послѣдній роман был напечатан не в «Русском Вѣстникѣ», а в «Отечественных Записках»; редакторы серьезных журналов смотрѣли на политическіе взгляды романистов приблизительно так же, как Михаил Яковлевич.

— Я велю подать чаю, — выходя из кабинета, сказал хозяин. Он был недоволен, что оставил у себя посѣтителя: жаль было терять время. Михаил Яковлевич, теперь чувствовавшій себя свободнѣе, встал и опять прошелся по комнатѣ. — «...Да что-же ты воду даешь вмѣсто чаю!» — послышался из сосѣдней комнаты раздраженный голос хозяина. «С женой он говорит или с горничной? Нѣт, горничной он не сказал бы «ты», — с любопытством думал Михаил Яковлевич. «Ну вот: а теперь уже не чай, а пиво! Нѣт, впрочем, так хорошо, спасибо, Аня», — сказал глухой голос. Хозяин дома вернулся с двумя стаканами крѣпкаго, почти чернаго чаю.

— Вѣдь вы по вечерам работаете, Федор Михайлович? — спросил Черняков, чуть было не сказавшій «изволите работать»

(этого он не сказал бы даже министру народнаго просвѣщенія). Михаил Яковлевич хотѣл было добавить: «а я всегда пишу утром», но почувствовал, что подобное замѣчаніе было бы неприличным: так на него дѣйствовал этот небольшой сутуловатый человѣк в дешевеньком пальто вмѣсто халата. — Я вижу у вас «Анну Каренину», — полувопросительно начал он.

— Да-с, так точно, «Анну Каренину», — сердито перебил его хозяин и принялся набивать гильзу при помощи лежавшей на столѣ вставочки. — Вы курите? Не угодно ли попробовать?... Нѣт, я себѣ набью другую, я не люблю готовых, да так и вдвое дешевле, — добавил он еще сердитѣе. — А вѣдь я знаю, о чем вы думаете, — послѣ недолгаго молчанья сказал он, в упор глядя на Чернякова и чуть поднимая голос. — Вы думаете, что вѣрно Достоевскій завидует графу Льву Толстому... Да, да, вы именно это думали! — почти закричал он. — Я знаю, что вы это думаете!

— Помилуйте, Федор Михайлович, я в мыслях не имѣл!... Почему же вы должны завидовать Толстому, а не он вам? — сказал Черняков, совсѣм смутившись, что с ним случалось чрезвычайно рѣдко. Хозяин сердито фыркнул и закурил папиросу. — У него свое, у вас свое.

— Да, да, думали, думали... Я даром, что людей не узнаю, я подспудныя мысли чувствую, я вас знаю. — Михаил Яковлевич почувствовал: «я таких, как вы, знаю». — Ну, хорошо-с, вы желаете услышать, что я думаю об «Аннѣ Карениной», коли это вам неизвѣстно? Я думаю, что это чудо искусства, какого ни один другой человѣк не создаст во всем мірѣ. Да, во всем мірѣ, а не то, чтобы какой-нибудь ваш Тургенев! Или пусть ваши нѣмцы и французы попробуют!... Ну, хорошо... Но о чем же это чудо, написано, а? Кто у него там есть? Опять все тѣ же московскіе б а р и н ы, чорт бы их побрал! — Михаила Яковлевича, которому пріятно ласкал слух старо-московскій говор Достоевскаго, удивило, что он говорит «барины», а не «баре»; удивляли и нѣкоторыя другія его выраженія. «Может так надо? Какой-же однако «профет

салонов», если он бар посылает к чорту?» — Еще спасибо графу Льву Толстому, что у него главный-то герой на этот раз не князь и не граф, а просто дворянин. Конечно, родовитый, тоже из болѣе высшаго общества, хоть с весьма странной и даже, можно сказать, удивительной фамиліей. По моему, всѣ евреи — Левины, а русских Левиных никогда ни одного и не бывало. Но все-таки не князь. И на том спасибо. А то до сих пор у него всегда бывали графы и князья. Даже барона, кажется, ни единаго нѣт? Может, ему неловко стало перед нашими гражданственниками, а? Дай, думает, возьму один разок просто хорошей фамиліи дворянина, так и быть, уступлю демократіи? Впрочем, граф Лев... Он вѣдь всегда так пишет: князь Андрей, граф Спиридон. Или нѣт графа Спиридона, а?... Граф Лев и раньше шел на уступки демократіи. Помните охоту в «Войнѣ и Мирѣ»? Там двѣ собаки родовитыя, тысячныя, по деревнѣ за собаку плачены, но зайца берут не онѣ, а дешевая, совсѣм даже простого происхожденія собака. Ругай, кажется, ее зовут. Прямо, можно сказать, апофеоза демократіи!... А как эта охота написана, а? Гдѣ уж мнѣ! Это вы правильно сказали.

— Да помилуйте, Федор Михайлович, когда-же я это говорил? И не говорил, и не думал...

— Гдѣ уж мнѣ так написать охоту? Я не охотник и барскими забавами никогда не занимался. И ружья никогда в руках не держал, кромѣ как когда служил рядовым в ссылкѣ... А ужин у дядюшки, когда Наташа русскую пляшет, а? Скажите-ка, кто в вашей Европѣ так напишет, а?... Только я об этом и писать не стал бы. И неправда, будто уж я так плохо пишу. Неправда!

— Да кто же говорит? — почти безнадежно сказал Михаил Яковлевич. — По важности поднимаемых вами вопросов наше общественное мнѣніе, напротив, склонно отводить первое мѣсто в нашей литературѣ именно вам. Да еще Ивану Сергѣевичу Тургеневу, — твердо прибавил Черняков.

— Мнѣ купно с Тургеневым?... Так-с. Ну, хорошо... Только я вправду им завидую, и Толстому, и Тургеневу, и всѣм писателям, которые происходят из помѣщиков. Я условіям их жизни

и работы завидую! Они на народных хлѣбах могут работать как им угодно. Я не про то говорю, что я женины юбки закладывал, что жена, больная, кормившая ребенка, простуженная, ходила под снѣгом закладывать послѣднюю шерстяную юбку. Вы это вѣрно слышали (дѣйствительно о заложенной юбкѣ жены Достоевскаго Черняков слышал не раз). Я никогда на хорошей ногѣ не жил, и сейчас, как видите, не комфортно живу, а случалось, жил с женой на пятидесяти рублях в мѣсяц. Да вовсе и не в том даже дѣло. Я про всѣ униженія говорю, как мнѣ отказывали в каком-нибудь грошевом авансѣ или манкировали самым малым почтеньем, и о том как это сказывалось в моем сочиненіи... Тургенев может описывать со всѣми своими литературными почесываньями, как он с ней тоскливо в послѣдній, — о, нѣт, в предпослѣдній! — раз поцѣловался в лучах умирающаго пурпурно-оранжеваго заката, под тѣнью вѣерообразнаго оранжево-золотистаго рододендрона, — ищи в курсах ботаники. А кромѣ вранья о тоскливых предпослѣдних поцѣлуях и правды о рододендронах — потому что рододендроны-то он дѣйствительно видѣл и знает и помнит — Тургеневу рѣшительно нечего сказать. А я их не знаю, но мнѣ все это и пренеинтересно. Только ваши Тургеневы ни от кого не зависят, и им поэтому издатели платят вдвое больше, чѣм мнѣ. Слѣдовательно, платят за талант и за имѣніе. А Достоевскаго, понятное дѣло, можно прижать, ему жрать нечего!.. Но уж будто у меня таланта вдвое меньше, чѣм у них? О Тургеневѣ я говорить не буду, черт с ним! А Толстой, конечно, чудо... Жаль, что я его никогда не видѣл. Может, потому и говорю «чудо», что не видѣл. А все у меня есть что людям сказать. Это вы хорошо говорите: «у вас свое, у него свое», — сказал он, успокаиваясь.

— Я знаю, что ваш жизненный путь был очень, очень тяжел, Федор Михайлович, — но я знаю и то, что критика в послѣднее время о вас писала с должным и столь заслуженным признаніем.

— Будто? Критики наши меня ненавидят. Находят, что я ужасно мало реалист, да и не обрѣл их ужасно либеральную

святыню. Но я другія понятія имѣю о дѣйствительности, чѣм наши реалисты. Ихній реализм не изображает и сотой доли жизни, да они о девяноста девяти долях и не подозрѣвают. Я реалист, а не они и не ваш Тургенев!... И уж подлещаться к нашим афишованным прогрессистам не умѣю, и этого не будет, отмѣтьте: обстоятельство капитальнѣйшее. А впрочем, я давно позабыл, что критики обо мнѣ писали. Я плохо помню даже то, что сам пишу. У меня вѣдь падучая, вы вѣрно слышали? — спросил он, подозрительно глядя на Чернякова. — Эта болѣзнь отшибает память... Вот вы обидѣлись, что я вас не узнал. — Михаил Яковлевич почувствовал себя еще н е у ю т н ѣ е. Он точно испытывал желаніе застегнуть пуговицы сюртука. — И вѣрно, не узнал, но я никого не узнаю! — Он вдруг улыбнулся доброй улыбкой, никак не шедшей к его глазам. — Представьте, недавно вызвали меня в часть по какому-то там ихнему дѣлу. У нас вѣдь формальности неизбѣжимы... Не люблю полицію, ох не люблю, — вставил он, морщась. — Ну, пошел. Они меня слишком знают, ничего, вѣжливы, особенно в послѣднее время: как-то видно извѣстились о моих новых знакомцах. Спрашивают для какой-то формы то, другое. — «А как, спрашивают, господин Достоевскій, была фамилія вашей супруги до замужества?» Стою я... Как в самом дѣлѣ была ея фамилія? Хотите вѣрьте, хотите нѣт: забыл! Они смотрят на меня, выпучив глаза. Вѣрно думали: «пора тебя, старичек, свезти на седьмую версту!». Так я и не вспомнил! Пришлось вернуться домой и спросить жену. Сниткина ея фамилія. Да-с, не Болконская и не Куракина, и не Левина, а Сниткина... Вы смѣетесь?

— Извините великодушно, Федор Михайлович. Но это у вас, конечно, было просто случайное затменіе.

— Какое там затменіе! Я и сочиненія свои перезабыл. Что написал до Сибири, то помню, а больше ничего. Пишу роман и не знаю, что было в первых главах, забываю, как кого зовут! А старое... Ну вот, «Преступленіе и Наказаніе». Я слишком помню, что там убійство... Нѣт, нѣт, вы не говорите, убійство там не худо написано. — Черняков только безпомощно

развел руками. — Помните, как он там стоит и ждет, а?... У-у, как написано! — он вдруг затрясся. — Я, когда писал, то и сам мог убить! Пускай нѣмец так напишет, а? Да и сам граф Лев, он вѣдь только своих графов и знает, а зачѣм же граф Спиридон этаким неблагородным манером кокнет по головѣ старуху-процентщицу? Тѣм болѣе, что у него всѣ графы Спиридоны — люди добродѣтельные, даже когда развратники, — насмѣшливо сказал он. — Что добродѣтельный граф Лев в этом понимает?... Ну, хорошо, о чем же я говорил? Да вот, недавно я «Идіота» перечитывал. Читали? Ничего не помню, точно чужой роман читаю. И сам, ей Богу, словно думаю: неважно он написал, я бы, пожалуй, мог лучше. А вот до одной сцены дошел. У-у-у!... — опять затрясся он. — Нѣт, нѣт, это вышло — дай Бог каждому. А вы может этой сцены вовсе и не примѣтили... И дома не примѣтили вовсе, ну вот, гдѣ он ее убивает, ну, как его звать? Как же его звать? — спросил он, болѣзненно морщась.

— Рогожин? — сказал Михаил Яковлевич, к большой своей радости вспомнив имя.

— Вот вот, Рогожин, — сказал хозяин. Он взглянул на гостя ласковѣе. — Так вы помните? Ну, а вы думали, что, когда он писал, то у него может был припадок его страшной болѣзни, что писал он больной, безпамятный и одурѣлый, без гроша, боясь, что если не сдаст в срок, то не получит новаго аванса и его с женой на улицу выбросят, а?

— Я слышал и больше, чѣм понимаю. Но тѣм не менѣе вы, Федор Михайлович, добились всероссійской извѣстности и являетесь признанным украшеніем нашей литературы.

— Спасибо на добром словѣ, хоть вы мнѣ высказываете больше, чѣм я стою. Конечно, в жизни встрѣчаешь не однѣ грубыя нападки. Кто знает, может вы и правы. Вот недавно меня академиком избрали. Диплом прислали, хотите взглянуть? — Он с усмѣшкой вынул из ящика и подал Чернякову большой лист. Михаил Яковлевич, никогда не видѣвшій дипломов Академіи Наук, с любопытством начал читать: «Imperialis Academia Scientiarum Petropolitana virum clarissimum Theo-

dorum Michaelis filium Dostoiefski...» — но хозяин дома перебил его:

— Вот и в Париж зовут, на международный конгресс писателей, — сказал он и засмѣялся. — Ничего они моего, разумѣется, не читали, но вѣрно им кто-то сказал: «Достоефски». Может, Тургенев и сказал? Он-то, должно быть, будет каким предсѣдателем или будет, скажем, с Виктором Гюго под ручку ходить, этак ужасно мило разговаривая с этаким ужасно милым парижским акцентом. Так вот он, вѣрно, подумал: пусть и Достоевскаго пригласят и пусть он, бѣдненькій, меня увидит во всем моем сіяніи под оранжево-фіолетовыми лаврами. Но я не поѣду. Так и не услышу, как он пропищит свои причесанныя пошлости с этакой самой что ни есть либеральнѣйшей ироніей.

— А можно ли узнать, что вы теперь пишете, Федор Михайлович? — спросил Черняков, которому было непріятно оставлять без возраженій грубыя слова о Тургеневѣ. — Хотя, кажется, спрашивать не полагается?

— Есть в головѣ и сердцѣ большая вещь и просит выразиться. Но хватит ли сил? У меня через «Дневник писателя» и падучая усилилась. Хочется все сказать обнаженно и откровенно, ужас как хочется. Как Бог даст, как Бог даст... Однако что же вы чаю не пьете? И папиросы мои вам, вѣрно, не понравились. Крѣпкія?

— Дѣйствительно, Федор Михайлович, уж очень крѣпкія. Такія папиросы, если вы, как я предполагаю, потребляете их в большом числѣ, не могут не отразиться на вашем здоровьи.

— Ничего не подѣлаешь. Я не могу курить сигары по сто тридцать рублей сотня... У Фейта есть такія сигары! Да я и привык к своему табаку... Что же однако я вас не угощаю? — сказал он и не без труда встал, опираясь обѣими руками на стол. Он подошел к шкафчику и вытащил оттуда вазочки с пастилой, с конфетами. — Не угодно ли? Я за работой всю ночь курю, пью чай и заѣдаю разными сладкими штуками, так до утра и работаю. Чаю еще не желаете?

— Нѣт, б л а г о д а р с т в у й т е, — отвѣтил Черняков,

едва допившій и первый стакан этого невозможнаго чаю. Михаил Яковлевичу очень хотѣлось курить, но он теперь не рѣшался вынуть свой серебряный портсигар. — Так значит, вы на парижском конгрессѣ не будете?

— Не буду-с. Хотя на Виктора Гюго я желал бы взглянуть. Только взглянуть, разумѣется. Его Мизерабли — геніальная вещь. Тютчев, правда, мнѣ говорил, будто мое «Преступленіе и Наказаніе» лучше, и искренне говорил, но это неправда: гдѣ мнѣ до Гюго?... О чем мы говорили? Да, всероссійская слава... Я недавно был у гадалки-француженки... Вы, понятное дѣло, гадалкам не вѣрите? Ну, да разумѣется, нѣт! Как профессору вѣрить в гадалок, он и в Бога развѣ через силу может вѣрить, да и то перед студентами конфуз. Вѣдь вы кончили курс естественником? Нѣт? Ну, все равно... Гадалка Фильд, что живет в Басковом переулкѣ... Я и сам не то, чтобы уж очень вѣрил... Врунья вѣрно, но интересная врунья. Ах, какая умница! — сердито говорил он, набивая папиросу. — Ее мнѣ умный человѣк рекомендовал, извѣстный мнѣ с весьма и весьма хорошей точки.

— Что-же такое она вам предсказала?

— Много... И хорошее, и дурное... Кое-что уже сбылось, хоть вы не вѣрите... Она предсказала, что мнѣ предстоит міровая слава, что меня цвѣтами будут засыпать, что по мнѣ люди будут с ума сходить! Вот что она предсказала, если вы хотите знать!

— Да может быть, она просто читала ваши произведенія?

— Ничего она не читала и даже знать не знала, кто я такой. Меня иностранцы не знают. И жаль: там люди пообразованнѣе чѣм у нас, с нашей національной безтолковостью. Там даже соціалисты есть образованнѣйшіе. Лассаль, напримѣр, — с удивленіем сказал он. — А у нас все Нечаев на Нечаевѣ сидит... Или мальчишки только что из гимназіи отмѣняют Христа... Да что об этом говорить! Я о политикѣ и говорить не хочу.

— Вы, однако, и пишете на чисто-политическія темы. Вот вѣдь вы требуете присоединенія к Россіи Константинополя и

креста над святой Софіей. Я сам стою за распростаненіе нашего вліянія на Балканах. Но для этого нам Константинополь не нужен. И как бы мы ни относились к туркам, все же едва ли можно отрицать, что русское національное сознаніе не требует креста над святой Софіей, тогда как для каждаго турка крест над святой Софіей это конец его національной жизни. Тут он на стѣну полѣзет.

— Да, да, все не так, не так понимают! — сказал раздраженно хозяин дома и начал об'яснять, почему **он недоволен** Сан-Стефанским миром, почему Константинополь должен стать и станет русским. «Конечно, он хорошо говорит, вѣрнѣе не хорошо, а своеобразно и красочно, он во всем очень персонален. Но по существу его мысли болѣе или менѣе совпадают с тѣм, что говорят настоящіе ретрограды. Я на каждый его довод мог бы отвѣтить десятью, только едва ли нужно спорить», — думал Черняков.

— Разрѣшите сказать, Федор Михайлович, что мнѣ трудно с вами согласиться. По моему...

— Да это скорѣе на чудо походило бы, еслиб вы со мной согласились!... Впрочем, не сочтите в какую-нибудь дурную сторону... Я послѣ работы долго не засыпаю, все думаю... Жить мнѣ уж недолго. О царѣ думаю... О революціи тоже... Ох, будет в Россіи революція — и какая страшная! А знаете, кто будет ея первой жертвой? Буква ять! Первым дѣлом, отмѣнят букву ять... Пустячек? Конечно, пустячек: мнѣ она и не нужна совсѣм. Но это еще как взглянуть? В извѣстном смыслѣ и не пустячек и даже вовсе не пустячек. Будет, будет великое упрощеніе. Это бы еще тоже не бѣда, да только ох, глупое оно будет... Да, думаю о революціи, о революціонерах. К а к они на такое дѣло рѣшаются? Вѣдь чтоб убить человѣка, надо слишком хорошо его знать, надо в с е о нем знать, а? А тогда, может, и не убьешь? Вѣдь на такое дѣло надо уходить как когда-то отшельники в пустыню уходили, покончив всѣ счеты с міром: и с мелким, будничным, и с большими страстями. А они развѣ т а к на это идут, а? Может, один из ста, если есть их сто человѣк? А другіе врут себѣ и другим: человѣк

на это мастер. Другіе же о них еще больше врут... Может, тѣ, что идут, совсѣм даже обо всем этом не думают, а?

— Может быть... Может быть, и Николай с Дубельтом тоже не очень думали, когда вас на каторгу сослали?

— То-то и есть. Если так, то чѣм же они лучше жандармов? Тѣ тоже рискуют жизнью. Вот обо всем этом я думаю. Только о либерал... — Он запнулся: видимо, хотѣл сказать «о либералишках». — Только о либералах и об аристократишках не думаю с их пищеварительной философіей. Вы все-же меня не считайте ретроградом. Я был на процессѣ Вѣры Засулич и всей душой желал ея оправданія и рад был оправданію. Был бы судьей, оправдал бы, не задумываясь ни на минуту.

— Вот видите, Федор Михайлович. А у нас, хотя суд ее оправдал, полиція ее разыскивает и хочет арестовать. Такіе у нас порядки.

— Да что вы мнѣ это говорите, точно я полицію защищаю!... Как вы смѣете м н ѣ это говорить? — вскрикнул он. «Однако, совершенно невозможный человѣк, надо поскорѣй уйти подальше от грѣха», — тоже раздраженно подумал Михаил Яковлевич. — Я четыре года на каторгѣ был. Вы понимаете ли, что это значит! Это был а д ! Ад, говорю я! Я был на каторгѣ, а не Тургенев с либералишками и с гражданственниками! — Он опять спохватился. — Ради Бога, голубчик, извините, я никак не хотѣл манкировать вам уваженьем... Я плохо спал днем. Кажется, скоро будет припадок падучей, я вѣдь вперед чувствую... Да, думаю об этих несчастных юношах. И о бѣдном царѣ нашем тоже думаю постоянно. Он хорошій человѣк, прекрасный даже человѣк, но укушенный страстями. И то, подумайте, наслѣдье-то у него какое, кровь какая, а? А должен бы быть прекрасный, потому, что ему для с е б я желать нечего... Недавно пріѣхал ко мнѣ Арсеньев, воспитатель великих князей, и говорил мнѣ — знаете, как у них смѣшно говорят, — его величество государь император, мол, изволил выразить пожеланіе, чтобы вы познакомились с их высочествами. Его величество изволит, мол, высоко вас почитать и соизволил сказать, что вы могли бы оказать на них благотвор-

нѣйшее вліяніе. И всяких еще таких слов от имени царя наговорил. — Он вздохнул. — Четыре года просидѣл на каторгѣ, едва вернулся живым, а теперь оказывай благотворнѣйшее вліяніе. Ну, что говорить... Поѣхал я во дворец знакомиться с великими князьями, обѣдал с ними. Ничего, очень пріятные юноши. — Он опять вздохнул. Михаил Яковлевич засмѣялся.

— И что же? Вѣрно угощали вас шампанским?... Владимір, говорят, имѣет на Невском отдѣльный кабинет, гдѣ устраивает оргіи.

— Оргіи? Об оргіях я ничего не знаю... Но знаю, что я их не лучше и другіе их не лучше. Много и врут о них, особенно о царѣ.

— По моему, большому писателю, как вы, Федор Михайлович, вообще н е с л ѣ д заниматься политикой, — сказал Черняков (в другом домѣ он не сказал бы и «не слѣд»). — Ваша область иная.

— Эх, на вас все одно не угодишь! Занимаешься политикой — плохо. Не занимаешься — еще хуже... Вот мнѣ на днях какіе-то студенты прислали письмо: требуют, чтобы я подписал протест против нападенія охотнорядцев на студентов. И не поляки, а русскіе студенты с чисто-русскими фамиліями: Милюков, Самарин... Да мнѣ тогда пришлось бы цѣлый день подписывать протесты! Точно я одними охотнорядцами в мірѣ недоволен! — Он засмѣялся. «А может, тебѣ и не очень хочется ссориться с царем, если во дворец стали приглашать», — подумал Черняков. — Ну, да вы все равно мнѣ не вѣрите... Я в с ѣ м в мірѣ не так уж, чтобы слишком доволен! — сказал он и дрожащими руками стал набивать новую папиросу.

VI.

— Ну, вот, ваши французы-то, — начал он еще болѣе глухим голосом. Михаил Яковлевич уже не возражал, принимая на себя отвѣтственность и за с в о и х французов, и за с в о и х нѣмцев, и за с в о и х либералишек, и за с в о е г о

Тургенева. — Ваши французы-то а? Они как будто начинают борьбу с католичеством, а? Сами себѣ яму роют!

— Вѣдь вы, кажется, должны бы этому сочувствовать. Насколько мнѣ извѣстно, вы католицизм не очень любите?

— Да развѣ во мнѣ дѣло? Дѣло в них самих! Как же они, пусть не умом, то своим вѣковым инстинктом не чувствуют, что если не будет католичества, то будет соціализм?

— Почему? — спросил Черняков, высоко подняв брови в самом искреннем удивленіи. — Я этого не вижу. А кромѣ того, многих из тѣх во Франціи, кто ведет борьбу с чрезмѣрными клерикальными вліяніями, этим жупелом, как выражается кто-то у Островскаго, и не запугаешь. Они соціализма и хотят.

— Не могут они его душой хотѣть, потому что тогда конец франкам. А они только франки на землѣ и любят, всѣ они, и гражданственники, и либералы, и ретрограды. На чем другом, а на этом они сходятся.

— Все-таки, извините меня, это странно, Федор Михайлович, — сказал Черняков, раздражавшійся все больше. — Я дѣйствительно невѣрующій человѣк, или, скорѣе, пантеист, но я уважаю всякую искреннюю вѣру. Что-ж это вы предлагаете: религію для защиты франков?

— Как я предлагаю! Я о них, о ваших французах, говорю. Мнѣ-то все равно, а им каково без франков будет, а?

— Не скрою... Не сердитесь, Федор Михайлович, но меня удивляет одно обстоятельство. Вот вы гуманист, а вѣдь собственно вы всѣ націи не любите: французов не любите, нѣмцев не любите, поляков не любите, англичан не любите. Неужто свѣт сошелся на одних нас, русских? Французы прекрасный народ, которому человѣческая культура очень многим обязана.

— Да вовсе не о том мы говорим! И нисколько я французов не ругаю, хоть гордость у них пребезмѣрная. Только все-же они нам антитез, как и вся Европа. В Европѣ сейчас ничего нѣт кромѣ денег и их дьявольской власти. Было, многое было, великое было, да ничего не осталось. Осталась развѣ

еще общая их ненависть к Россіи. Вѣдь нас всѣ одинаково ненавидят: и нѣмцы, и французы, и англичане, и поляки. Если Бисмарк нам завтра об'явит войну, то ваши Гамбетты сейчас же к нему примажутся.

— Да почему? Из чего сіе слѣдует? Почему им нас ненавидѣть?

— Потому, что они — и тоже не умом, а тѣм же своим инстинктом — чувствуют, что Россія носительница какой-то новой идеи. А им хочется оставаться на своих исплясанных идейках, на «безсмертных принципах 1789 года». И они чувствуют — как и я, — что Россіи на эти безсмертные принципы наплевать.

— Я этого никак не думаю! Было бы очень печально, еслиб это было так. Вы знаете, право, эти безсмертные принципы 1789 года не так уж глупы, как представляется нашим ретроградам, — сказал Черняков. Если прежде он был просто раздражен, то теперь почувствовал себя оскорбленным. Со всѣми своими недостатками, Михаил Яковлевич был человѣк очень искренних убѣжденій. — Почему вы думаете, что во Франціи будет соціализм?

— Потому, что на безсмертных принципах далеко не уѣдешь. Что-ж дѣлать, народ такой грубый, что не согласен жить одними безсмертными принципами. Уж очень они измочалились.

— А Россія, конечно, дѣло другое? Чего же, по вашему, хочет Россія?

— Какая Россія? Аристократія наша, всѣ из болѣе высшаго общества, они ничего не хотят. Этим только за Віардишками волочиться, обирать народ и сигары курить по сто тридцать рублей сотня.

— А сам русскій народ? У него все благополучно? Соціализм и всякіе ужасы это будет только во Франціи?

— Вездѣ так будет! — Он не рукой, а головой показал на икону. — Его отнимите, и уж навѣрное все, все достанется Антихристу! Вы мнѣ вмѣсто Христа не смѣйте Гамбетту сажать! — вдруг, вскочив, закричал он.

Позднѣе — до конца своих дней — Черняков, вспоминая эту сцену, с трудом понимал ее. Он говорил себѣ и другим, что Достоевскій был человѣк двух плоскостей: «В одной плоскости был человѣк как человѣк, консервативный литератор, очень умный и злой собесѣдник. А в другой-уж я не знаю, кто такой он был». Михаил Яковлевич на свой лад разсказывал, что голос Достоевскаго вдруг окрѣп, что он поднял голову, что глаза у него вдруг засверкали. «Я никогда ничего такого в своей жизни не видѣл и не слышал! Добавьте это восковое страшное лицо гипнотизера и вам станет понятно, почему на литературных вечерах курсистки, и не однѣ курсистки, падали в обморок, слушая, как он читает Пушкинскаго «Пророка». Я сам это слышал позднѣе, уже незадолго до его кончины... Нѣт, я в обморок не падал, но это, доложу вам, тоже был номер!...Когда он произносил «И сердце трепетное вынул», он наклонялся и вытягивал вперед руку, точно держа в ней что-то дрожащее, точно с отвращеніем и ужасом на это глядя. Затѣм голос его начинал расти, все рос и рос, — гдѣ только у него силы брались? — и все кончалось бѣшеным изступленным криком: «Глаголом — жги! — сердца людей!». Кто это слышал, тот никогда не забудет и забыть не может. Великій актер? Какой там актер! Он и в самом дѣлѣ был этакій Іеремія!».

Так через много лѣт разсказывал Михаил Яковлевич, очень на себя досадуя, что тогда-же, на свѣжую память, не записал всего, что говорил Достоевскій (но он в ту пору еще не был так знаменит, чтобы полагалось записывать его слова: его ранг только приближался к этому). Смысл слов Достоевскаго вспоминался Чернякову не вполнѣ ясно. Ему запомнились слова, что все кончится антропофагіей, что свобода перейдет в рабство, а соціализм станет страшным, кровавым, и вмѣстѣ пошлым адом. Михаилу Яковлевичу как будто ясно помнилось, что это связывалось Достоевским с исчезновеніем христіанства в мірѣ. Однако, быть может, он предсказывал, что антропофагія неизбѣжна и в том случаѣ, если христіанство не исчез-

нет. Люди, даже самые умные, по его словам, занимались чудовищными пустяками, совершенно не видя главнаго. Они прочно устраивались в своем домѣ, обзаводились комфортом, украшали комнаты, ссорились, дрались, мирились, не замѣчая, совершенно не замѣчая того, что из их воздуха медленно уходит кислород, что им скоро нечѣм будет дышать и неизбѣжно предстоит задохнуться.

Эти мысли были совершенно чужды и непонятны Чернякову. «Какой к о н к р е т н ы й смысл онѣ могут имѣть?» — спрашивал себя Михаил Яковлевич, терявшійся, когда рѣчь заходила об Антихристѣ и о подобных предметах. Но тогда, в мрачном кабинетѣ Достоевскаго, он, к собственному изумленію, поддался чарам гипнотизера, — другого слова Михаил Яковлевич ни тогда, ни позднѣе не мог придумать.

Отдѣльныя фразы все-же нѣсколько точнѣе сохранились в памяти Чернякова, хотя, вѣроятно, и их тронуло время.

— ...Нѣт, не видят! Ничего не видят! Весь мір бродит в потемках! — почти изступленно говорил глухой, ни на какой другой не похожій, голос. — Даже не слышат подземных ударов! Даже не понимают, что близко землетрясенье! Даже краснаго цвѣта не отличают! А вѣдь и это не самое главное! Все, все погибнет, и хуже всего то, что ничего не будет жаль! Я один вижу, потому что чувствую не так, как другіе люди, вѣрно из за моей страшной болѣзни. Я и сам хватаюсь за соломинку: за наш народ. Он просвѣщен вѣками страданій. Быть может, еще в Батыево нашествіе, он в лѣсах, спасаясь от врагов, пѣл: «Господи сил, с нами будь!...»

И только конец разговора (если э т о можно было называть разговором) Черняков запомнил совершенно точно. Достоевскій вдруг перед ним остановился, — Михаил Яковлевич, давно замолчавшій, только смотрѣл на него испуганно. Гипнотизер как будто успокоился. Он тоже немного помолчал.

— На каторгу бы вас надо, — сказал он неожиданно совершенно иным голосом, уже без прежней ярости, а спокойно, ласково, почти задушевно.

— Как?

— Говорю, хорошо было бы вам пойти в каторжныя работы. Я вам давеча сказал, будто на каторгѣ был ад. Не вѣрьте мнѣ, это ложь. То есть, ад-то был, но я за истинное счастье считаю, что побывал в этом аду. Я там Христа нашел, и за это одно вѣчно буду благодарен Николаю. Все я принял в жизни и за все, за все, до послѣдняго дня буду благодарить Господа! Я на каторгѣ понял жизнь. И вам от души желаю поскорѣе попасть в каторжныя работы. Вы вернетесь и перерожденным, и счастливым, и многое понимающим человѣком.

Но как ни был Черняков взволнован, озадачен и разстроен, он не хотѣл идти для счастья в каторжныя работы и лишь молча смотрѣл на своего собесѣдника тѣм же, почти безсмысленным взглядом.

Довольно далеко от кабинета послышался плач ребенка. Хозяин дома измѣнился в лицѣ и поспѣшно вышел. Михаил Яковлевич стал приходить в себя. Минуты через двѣ из сосѣдней комнаты послышался разговор: — «Да что ты, Федя! Нельзя же так разстраиваться из за пустяка! Подождем до завтра, право?» — «Ничего не подождем!» — «Да Леша совершенно здоровый мальчик. Зачѣм ты волнуешься?» — «Сейчас же, сію минуту надо послать за доктором!» — говорил взволнованный глухой голос.

Михаил Яковлевич на цыпочках вышел в переднюю, надѣл пальто и вернулся в кабинет. На порогѣ появился хозяин. Лицо у него было совершенно бѣлое. Черняков простился и ушел так же на цыпочках, безшумно затворив за собою дверь, с облегченьем покидая этот мрачный дом. Недѣли через три Михаил Яковлевич узнал, что маленькій сын Достоевскаго умер от падучей болѣзни.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

I-II.

III.

В освѣщенном лампами, выстланном мягким ковром коридорѣ ему попалась та самая горничная, шедшая с грудой бѣлья. Николай Сергѣевич остановился и закурил папиросу. На лѣстницѣ был дневной свѣт. Вездѣ были ковры, канделябры, цвѣты, гоблены. Только что выстроенный «Кайзергоф» считался чуть ли не самой роскошной гостинницей в Европѣ, — говорили, что он лучше парижскаго «Гранд-Отеля»; он и выстроен был отчасти на зло Парижу. Теперь, перед началом Конгресса, гостинница была совершенно переполнена. В бельэтажѣ большое от'дѣленіе занимал граф Биконсфильд. В «Кайзергофѣ» жили также корреспонденты богатых газет. Мамонтову удалось достать маленькую комнату по протекціи госпожи фон-Дюммлер, которая жила здѣсь давно и имѣла в третьем этажѣ прекрасный номер из двух комнат.

На площадкѣ бель-этажа, между лѣстницей и корридором, сидѣл полицейскій. Едва ли кто-либо собирался произвести покушеніе на Дизраэли. Пришло только одно письмо с ругательствами, да и то написанное без горячности каким-то унылым антисемитом-англофобом. Биконсфильд, а заодно и министр иностранных дѣл маркиз Сольсбери, кратко назывались "Saujuden"; призывалось также Божье проклятіе на Англію. Адресовано было письмо лорду B. E. Cohnsfield-у, и, видимо, остроумной шуткой автор письма отвел душу; может быть, ради этой шутки и было написано все письмо. Полиція отлично знала, что без писем с ругательствами и угрозами никакой политическій с'ѣзд не может обойтись. Но незадолго до того на Унтер-ден-Линден Карл Нобилинг выстрѣлом дробью ранил престарѣлаго императора Вильгельма. Начальник полиціи приставил охрану ко всѣм участникам Конгресса. Перед их гостинницами и посольствами стояли часовые.

В кофейнѣ в четыре часа дня берлинскія дамы пили «Меланж» и ѣли пирожныя с битыми сливками. Всѣ столики были заняты. Мамонтов издали увидѣл Софью Яковлевну. Она сидѣла

в углу с молодой нѣмкой, которой Николай Сергѣевич не был представлен, — знал только, что это добрая знакомая Дюммлеров и что Софья Яковлевна называет ее Эллой. Он поклонился, радостно улыбаясь. Софья Яковлевна наклонила голову без всякой улыбки. «Сердится?» — спросил себя Мамонтов. Он сдѣлал вид, будто кого-то искал. «За что бы она могла сердиться?».

Николай Сергѣевич прошел во вторую кофейню «Кайзергофа», называвшуюся "Wiener Café". Здѣсь теперь за большим столом собиралась международная аристократія журнализма, якобы «для обмѣна информаціей и мыслями». На самом дѣлѣ, «мыслями» они не занимались, хотя это были люди неглупые, очень способные, а иногда (впрочем довольно рѣдко) и очень образованные. Они были по существу международными репортерами; их интересовала только «информація». Но каждый извѣстный журналист имѣл собственныя связи и тщательно скрывал от других получаемыя им свѣдѣнія. Весь смысл работы заключался именно в том, чтобы немного раньше других узнавать новости или, вѣрнѣе, слухи о предстоявших новостях. Собственно лишь газеты, издающіяся в одной и той же столицѣ, должны были бы между собой соперничать. Однако соперничали друг с другом всѣ международные репортеры. В газетном мірѣ коммерческій интерес переходил в чисто-спортивный. Кромѣ двух-трех д о б р я к о в, всѣ за этим столом скрывали все и даже заметали слѣды, для чего отчасти и был нужен «обмѣн информаціей». Это не мѣшало добрым, иногда даже дружественным, отношеніям между прославленными журналистами. Как всякіе спортсмены, они имѣли свои законы, свои обычаи, свою этику. Как всякіе спортсмены, они знали друг другу настоящую цѣну. Каждый из них позеленѣл бы от досады, еслиб узнал, что другому удалось раздобыть что-либо очень цѣнное, но он отдал бы должное мастерству соперника.

Большинство в этой группѣ журналистов составляли весело-циничные люди, давно ничему не удивлявшіеся, видѣвшіе преимущественно не-показную и непривлекательную сторону

того, что волновало мір. Им было совершенно все равно, кто одержит верх на Конгрессѣ; они всѣх государственных дѣятелей считали обманщиками и мошенниками, отличающимися друг от друга только по ловкости, силѣ и значенію. Эти люди были как у себя дома во всѣх странах Европы. У каждаго из них в прошлом значился какой-либо особенный важный подвиг, вродѣ интервью с Османом-пашей в осажденной Плевнѣ, полета на воздушном шарѣ к повстанцам, телеграфнаго сообщенія о бѣгствѣ королевы Изабеллы во Францію за два дня до бѣгства. Это были их чины и ордена.

Замкнутая группа міровых репортеров почти не общалась ни с журналистами другого, идейнаго типа, ни со средними корреспондентами второстепенных газет. Журналист, не принадлежавшій к аристократіи репортажа, мог считать для себя большой честью, если ему, по приглашенію одного из добряков, удавалось посидѣть за ея столом: это даже было вѣхой на его жизненном пути, который мог закончиться быстрым возвышеніем, но заканчивался им, разумѣется, не часто: так, каждый наполеоновскій солдат носил в своем ранцѣ маршальскій жезл, однако не каждый его получал. Все зависѣло от счастья, от способностей, от энергіи, от нахальства, от физической выносливости. Международные репортеры проводили жизнь в вагонах, в гостинницах, в трактирах, в колясках, в повозках, видѣли чуму и холеру, страдали дизентеріей на фронтах, иногда жили недѣлями в землянках, под дождем, без горячей пищи, среди крыс и насѣкомых, для того, напримѣр, чтобы первыми (т. е. раньше других журналистов) проникнуть за русскими войсками в Плевну. В «Кайзергофах» проходила только лучшая часть их жизни, да и там они поневолѣ жили скромно, так как в большинствѣ уже были больными людьми. Катаррами страдали почти всѣ. В этой роскошной кофейнѣ они, за исключеніем нѣсколькихъ отчаянных американцев и англичан, пили только минеральную воду. Семей своих (если у них были семьи) они, случалось, не видѣли мѣсяцами.

Мамонтов уже раза два сидѣл за аристократическим столом кофейни: Россія была теперь всѣм особенно интересна;

русскаго языка почти никто не знал, Николай Сергѣевич не отказывался излагать содержаніе статей в петербургских и московских газетах (в телеграммы попадало не все важное). Международные репортеры были ему и очень интересны, особенно вначалѣ, и немного противны своей очевидной увѣренностью в том, что все в мірѣ покупается и продается, — надо только назначить соотвѣтственную цѣну (именно с тѣх пор, как его самого все чаще посѣщали у д о б н ы я мысли, разныя формы цинизма в других людях стали ему чрезвычайно непріятными). «Жаль конечно, что нельзя спросить, относится ли к ним самим этот закон природы. Противнѣе всего, кажется, их убѣжденіе, что никакого другого міропониманія нѣт и быть не может, развѣ только среди глупорожденных»...

Николай Сергѣевич не подошел к большому столу, хотя его едва ли встрѣтили бы ледяные, недоумѣвающіе, презрительные взгляды. Другой стол был занят второстепенными журналистами, которые не жили и не могли жить в «Кайзергофѣ». Они нравились Мамонтову гораздо больше. В громадном большинствѣ это были честные, бѣдные, не злые и чрезвычайно трудолюбивые люди, всячески ругавшіе свое ремесло и влюбленные в него тайной любовью: ничѣм иным они и не могли бы заниматься. Нѣкоторые из них еще были молоды и имѣли шансы на переход в высшую группу. Другіе уже состарились и карьеры не сдѣлали, либо по невезенью, либо по недостатку необходимых свойств. Писали же они не хуже (а многіе лучше) знаменитых репортеров. К Мамонтову они относились очень хорошо, цѣнили его любезность, цѣнили то, что он живет в «Кайзергофѣ» и не чванится. Им не приходило в голову, что он живет здѣсь на свои деньги. Еслиб это стало им извѣстно, они все же остерегались бы его как сумасшедшаго.

Старый венгерскій журналист, лондонскій корреспондент будапештской газеты, взявшій Николая Сергѣевича под свое покровительство, помахал ему рукой. Это был очень пріятный, образованный и остроумный человѣк, много на своем вѣку видѣвшій и слышавшій. Непріятно в нем было то, что он всегда

острил и, как большинство говорунов, привирал, — впрочем довольно невинно, быть может даже этого не замѣчая. Мамонтов сѣл рядом с ним и спросил о новостях. «На Конгресс никто из нас допущен не будет, отказали и тѣм господам», — сказал венгр с нѣкоторым классовым злорадством и продолжал разсказ об интимной жизни Диззи. Мамонтов не сразу догадался, что Диззи это лорд Биконсфильд, а Мэри-Анна его жена.

— ...Диззи всѣм ей обязан. Он за ней получил четыре тысячи фунтов годового дохода, которых и лишился с ея смертью. Вы знаете, что его денежныя дѣла неважны, у него большіе долги, он всю жизнь жил не по средствам. Мэри-Анна его обожала. Она мнѣ говорила: «Диззи женился на мнѣ из за моих денег, но во второй раз он женился бы на мнѣ по любви». Как ни странно, он тоже ее любил, хоть она была на двѣнадцать лѣт старше его. В день ея похорон мнѣ было страшно на него смотрѣть, — сказал венгр и не докончил, показав глазами на дверь. В зал вошел маленькій толстый пожилой человѣк с огромной лысой головой, с пышными вьющимися бакенбардами, спускавшимися на воротник помятаго сюртука. Это был Бловиц, новый король журналистов, венгр по рожденію, французскій гражданин и корреспондент лондонскаго «Таймс». Он снял шляпу, повѣсил ее на вѣшалку, отер лоб платком и, кивая в отвѣт на поклоны, пошел к маленькому столику. Если для рядового журналиста было повышеніем в чинѣ сидѣть за столом аристократіи, то для Бловица это было бы пониженіем. Лакей почтительно пододвинул ему стул и побѣжал за бутылкой Аполлинариса. Бловиц развернул газету, не читая ея: он таким образом давал понять, что просит не мѣшать ему. Из бокового кармана сюртука у него торчал золотой карандаш, но это был скорѣе символ, вродѣ как в аптеках стекляный шар с покрашенной водой: Бловиц сам не писал; интервью он помнил без записей от перваго слова до послѣдняго и ошибался только тогда, когда ему было нужно ошибиться; статьи же свои он диктовал секретарям. Вид у него был грустный и озабоченный. Теперь у Бловица было только

одно желанье в жизни: узнать и напечатать раньше всѣх других текст договора, которым закончится Конгресс.

Венгерскій журналист шопотом сообщил, что в свое время Бловиц и его любовница утопили в Марселѣ мужа любовницы. Молодой датскій журналист, широко раскрыв глаза, спросил, как же он не на каторжных работах. Всѣ засмѣялись наивности молодого человѣка: «Бловиц — на каторжных работах!» Поспорили о том, получит ли Бловиц интервью у Бисмарка. Канцлер, будто бы ненавидѣвшій короля журналистов, по слухам заявил, что не пустит его к себѣ на порог. Но как ни был Бисмарк извѣстен своей смѣлостью, это заявленіе вызывало у опытных людей недовѣріе.

— ...Да, конечно, предсѣдателем будет Бисмарк, как хозяин. И слава Богу: он изнемогает от жары и хочет возможно скорѣе уѣхать в Киссинген. Значит, дѣло не затянется, — говорил вѣнскій журналист, обмахивавшій себя платком.

— Дизраэли очень понравился Бисмарку. Он сказал: "Der alte Jude, das ist der Mann!"

— А вы слышали послѣдній анекдот о князѣ Горчаковѣ. Он был на каком-то оффиціальном обѣдѣ в Берлинѣ и сказал, что все было холодное кромѣ шампанскаго.

— Ах, это я давно слышал о Диззи! — перебил венгр. — Когда подали шампанское, он сказал: «Слава Богу, наконец хоть что-нибудь теплое!» Знаете ли вы, кстати, что Диззи и Горчаков были когда-то влюблены в одну и ту же даму: в маркизу Лондондерри?

— Это, вѣроятно, было в эпоху Тридцатилѣтней войны!

Разговор коснулся того, когда Дизраэли и Горчаков могли потерять способность к любви. «Почему она сердится? И не лучше ли оставить ее в покоѣ, с ея больным стариком?» — думал Мамонтов.

— ...Простите, я не слышал вашего вопроса, — сказал он венгру. — На сеансѣ? На каком сеансѣ?

— Развѣ вы не знаете? Сегодня у вас в «Кайзергофѣ» показывается новое изобрѣтеніе: телефон профессора Белля. Входная плата...

— Ах, да, телефон. Ну, в Америкѣ его уже показывали в разных городах. Впрочем, я там не удосужился посмотрѣть. Сеанс скоро? — спросил Мамонтов, вспомнив, что надо написать письмо Катѣ. — Через четверть часа? Тогда, пожалуй, можно пойти.

— Все равно, нам рѣшительно нечего дѣлать, — сказал печально датскій журналист, выразив то, что молча думали другіе: печати почти ничего не сообщалось, она питалась мелкими сплетнями.

Датскій журналист разсказал анекдот о делегатах Турціи. Николай Сергѣевич, больше для практики в нѣмецком языкѣ, подѣлился ходившим по русской колоніи разсказом о том, как Шувалов обѣдал у Бисмарка. «Подали суп с какими-то пупками», — говорил Шувалов. — «Попробовал я, — гадость неимовѣрная, просто невозможно ѣсть. Князь меня спрашивает: «отчего же вы не ѣдите, дорогой друг? Чудесный «Таубензуппе», неправда ли?» Я страшно обрадовался: я и не знал, что это «Таубензуппе». «Не могу, говорю, я человѣк православный, а мы голубей не ѣдим». — «Ах, да, я забыл», — сказал Бисмарк, — «но тогда позвольте мнѣ взять у вас вот это». Полѣз вилкой в мою тарелку и вытащил один за другим всѣ пупки»...

Всѣ смѣялись. Послѣдовало еще нѣсколько анекдотов, острот и шуток. Мамонтов посмотрѣл на часы и встал.

— Я пойду с вами, — сказал венгр. — Мориц, заплати за меня, завтра буду платить я. Надѣюсь, я и Блейхредер имѣем у тебя неограниченный кредит.

Николай Сергѣевич вышел в читальный зал, сѣл за письменный стол и написал слѣдующее письмо:

«Милая Катя, как Ты? Я страшно по Тебѣ соскучился. Неужто ты продолжаешь голодать, глупенькая? Право, брось. Я вообще против всего этого и очень жалѣю, что Ты послушалась Алексѣя Ивановича. Очень может быть, что акробатам нельзя полнѣть, но, повторяю в сотый раз, совсѣм и не нужно, чтобы Ты оставалась акробаткой. Все это вздор. Вздор и то, будто Ты «без цирка жить не можешь». А вот что Ты купа-

ешься в морѣ, это отлично. Очень Вам обоим завидую и страшно хотѣл бы пріѣхать к Тебѣ, но что подѣлаешь! Нѣт буквально ни одной свободной минуты. Я надѣюсь, что проклятый Конгресс все же не очень затянется, и надо ли Тебѣ говорить, что вечером того дня, когда он кончится, я выѣду к Вам в Герингсдорф. Цѣлую Тебя крѣпко, мое сокровище, извини, что пишу меньше, чѣм хотѣлось бы, но, повторяю, занят цѣлый день. Мой самый сердечный привѣт Алексѣю Ивановичу и скажи ему, чтобы он не смѣл морить Тебя голодом. Надѣюсь, деньги уже пришли: я послал позавчера не триста марок, как Ты хотѣла, а пятьсот. Умоляю Тебя не скупиться и ни в чем себѣ не отказывать»...

Он прочел письмо и задумался. «Как условны и малозамѣтны границы между правдой, полуправдой и ложью! Почти все что я написал — правда, но она переходит в полуправду. Прямой лжи впрочем нѣт. Развѣ «проклятый конгресс» и «надо ли тебѣ говорить»? Главное, во всяком случаѣ, — чистѣйшая правда... Да, конечно, я люблю Катю и даже мало сказать «люблю», и нельзя не любить ее, она прелестна... С Дюммлершей все вздор», — опять подумал он, тревожно чувствуя, что подозрительны эти его разсужденія о любви к Катѣ (прежде он не разсуждал), что подозрительно даже слово «Дюммлерша», точно он хотѣл сдѣлать серьезное несерьезным. «Разумѣется, я никогда не брошу Катю, это было бы подлостью. Катя — существующій факт. Но эта?»... Он опять попробовал то, что называл «ключом цинизма»: «У Дюммлерши ко мнѣ повышенный интерес. Это связано с ея бальзаковским возрастом, с ея одиночеством, с болѣзнью ея мужа, с сознаніем, что ея «жизнь кончается», как она сама же мнѣ сказала — и тотчас пожалѣла, что сказала... Но еслиб у меня была голова на плечах, то я держался бы от нея подальше: так все это может оказаться тяжело, сложно и даже гадко... Как жаль, что у меня нѣт головы на плечах!»...

Телефонный сеанс происходил в двух комнатах, из которых одна выходила на Вильгельмштрассе, а другая на Цитен-

платц. В переполненной людьми гостиной, на высоком табуретѣ стояло сложное, напоминавшее пресс, сооруженіе, с катушками, винтами, проволокой. Молодой доцент, руководившій сеансом, подливал из бутылочки жидкость в какую-то чашку. В гостиной были рядами разставлены стулья. Во втором ряду Мамонтов увидѣл Софью Яковлевну, все с той же нѣмецкой дамой. Николай Сергѣевич сѣл в другом концѣ комнаты: венгерскій журналист издали показывал на свободный стул рядом с ним. Доцент попросил всѣх занять мѣста.

В гостиную поспѣшно вошел управляющій «Кайзергофа» и что-то сказал вполголоса доценту. По комнатѣ пробѣжал взволнованный гул: «Англійская делегація! Лорд Биконсфильд!...» В дверях показались люди в мундирах. Первый из них был Дизраэли, котораго Николай Сергѣевич уже видѣл утром в холлѣ гостинницы. Лорд Биконсфильд с порога быстро взглянул на зал, — «точно выстрѣлил глазами» — и с ласковой улыбкой подошел к эстрадѣ. За ним, переваливаясь, вошел грузный человѣк с большой бородой, похожій наружностью на русскаго профессора или земскаго дѣятеля. Лицо его рѣшительно ничего не выражало. Венгерскій журналист прошептал, что это Боб: министр иностранных дѣл, маркиз Сольсбери.

— Почему они оба так нарядились?

— Кажется, они были у кронпринца. Нравится вам Диззи?

Николай Сергѣевич всматривался в лицо Биконсфильда, который интересовал его еще больше, чѣм Бисмарк. «Премьер и романист, какое необыкновенное сочетаніе! Он не похож ни на премьера, ни на романиста». В наружности Дизраэли не было почти ничего семитическаго, но на англичанина он тоже не походил. «Пока Сольсбери сдѣлает одно движеніе, он сдѣлает пять, в этом, должно быть, его сила в их медленно думающей странѣ. Что-то в нем есть актерское и очень искусное»... Лицо у Биконсфильда было чрезвычайно умное, чуть насмѣшливое и скорѣе привлекательное. Управляющій представил ему доцента. Первый министр и в него стрѣльнул взглядом, крѣпко пожимая ему руку. «Любопытство? Или

инстинкт человѣка, на котораго всегда может быть произведено покушеніе вродѣ Нобилинговскаго? Романы его плохіе, но человѣк он, разумѣется, необыкновенный»...

—...Он всегда весело улыбается, — говорил венгр. — Между тѣм, повѣрьте, ему совсѣм не весело. Еслиб вы знали, сколько у него врагов! Он говорит, что любит бывать на похоронах: «всегда пріятно, по крайней мѣрѣ от одного освободился навсегда»... Я убѣжден, что Диззи в мыслях не имѣет воевать с Россіей. Он отлично знает, что Англія совершенно не готова к войнѣ. Когда Англія бывает готова к войнѣ? И в случаѣ неудачной войны Гладстон немедленно свернет ему шею. Между тѣм Викторія истерически требует побѣды, а он сам же ее пріучил вмѣшиваться в государственныя дѣла. Ему надо, не доводя до войны, запугать Горчакова, угодить Викторіи, удовлетворить партію, которая все-таки на него смотрит как на странное экзотическое явленіе, хотя и очень полезное. Я увѣрен, он не спит ночами, думая обо всем этом. А посмотрите на его улыбку! — Дизраэли сѣл слѣва от эстрады в принесенное ему кресло, вставил в лѣвый глаз монокль и осматривал зал. Мамонтову показалось, что взгляд перваго министра остановился на Софьѣ Яковлевнѣ. «Конечно, она здѣсь лучше всѣх!» — с непонятной гордостью подумал Николай Сергѣевич. — Я его знал еще в ту пору, когда он приводил в бѣшенство англичан своими зелеными брюками и бархатными жилетами в цвѣточкахъ Но это давно кончено, он больше не изображает ни Байрона, ни Бруммеля.

—Да, глаза у него совсѣм не веселые, — сказал Николай Сергѣевич. «На том маскарадѣ, если я пойду, тоже буду так сидѣть в креслѣ, опираясь на шпагу, улыбаясь снисходительной, насмѣшливой и грустной улыбкой». — На вид старый, очень талантливый и очень знаменитый актер.

— Смотрите, Боб нюхает жидкость в бутылочкѣ. Он говорит, что настоящее его ремесло химія и что министр иностранных дѣл он по ошибкѣ. А этого вы знаете? — спросил венгр, показывая глазами на молодого, красиваго человѣка, сѣвшаго рядом с Сольсбери. Он не носил мундира и был одѣт очень

хорошо и своеобразно. «Я не знал, что в Англіи концы галстуха засовывают под двойной воротник. Надо запомнить», — подумал Мамонтов. — Это Артур Бальфур, секретарь и племянник Боба. Диззи его очень высоко ставит. Мнѣ в Лондонѣ говорили, что послѣ Диззи будет Боб, а послѣ Боба его племянник. Так что вы видите сразу трех премьеров. Вот, кажется, начинают...

Доцент сказал вступительное слово об изобрѣтеніи профессора Белля. Николай Сергѣевич плохо слушал, занятый наблюденіями. «В профиль она гораздо лучше, чѣм en face», — подумал он и поспѣшно отвел глаза: Софья Яковлевна быстро, точно украдкой, на него взглянула и тоже тотчас отвернулась, улыбаясь своей сосѣдкѣ еще веселѣе, чѣм раньше. Мамонтов с восторгом замѣтил, что румянец на ея лицѣ проступил сильнѣе. «...И тому, что, быть может, вам представляется забавной игрушкой для развлеченья, предстоит немалое будущее. В этом нѣт ничего невозможнаго!» — сказал доцент. «...Да, да, предстоит немалое будущее... Ничего, ничего нѣт невозможнаго!» — почти безсознательно, восторженно повторил Николай Сергѣевич.

Дизраэли захлопал. В комнатѣ раздались апплодисменты. Доцент попросил добровольцев из публики выйти во вторую снятую для сеанса гостиную и там произнести нѣсколько слов перед трубкой, как укажет его товарищ. «Слова будут слышны здѣсь, несмотря на большое разстояніе». Он говорил как фокусник на ярмаркѣ, завѣряющій зрителей в том, что никакого обмана не будет.

— Можно говорить все что угодно? Обыкновенным голосом? — недовѣрчиво спросил кто-то.

— Все что вам угодно. Прошу только говорить громко и отчетливо. Кто еще желает?... Разумѣется, выходящіе потом вернутся сюда. Мы будем говорить из обѣих зал, — добавил доцент, понимавшій, что каждый предпочтет остаться в этой комнатѣ. Нѣсколько человѣк все же вышло. Доцент, наклонив в два темпа спину и голову, спросил по англійски Дизраэли:

— Не угодно ли будет вашему превосходительству послушать?

Биконсфильд, улыбаясь, взял трубку. Он не был на недавнем сеансѣ у королевы Викторіи, на котором сам Белль показывал свое изобрѣтеніе. «Да, замѣчательный актер!» — думал Мамонтов, с сочувственным любопытством вглядываясь в его лицо. «И улыбка актерская, и трубку взял по актерски, и в каждом движеніи сказывается большой артист».

— Marvellous! Simply marvellous! — сказал первый министр и передал трубку сосѣду. Маркиз Сольсбери, все время сидѣвшій неподвижно с хмурым видом, послушал и ничего не сказал.

— Я думаю, этому архиконсерватору непріятно рѣшительно все новое, — сказал венгр. — Вдруг из за этого телефона Англія как-нибудь непредвидѣнным образом пойдет к собакам? Он вродѣ того французскаго канцлера, который при старом строѣ, как живое воплощенье традицій, один имѣл право не носить траура послѣ кончины короля, чтоб было живое доказательство: в мірѣ ничего не мѣняется, уже есть, слава Богу, другой король... А его племянник имѣет такой вид, точно ему все безумно надоѣло: и Боб, и Диззи, и Конгресс, и телефон, и он ни во что это не вѣрит: может быть, телефон, а может быть чревовѣщатель, и не все ли равно?...

Доцент попросил лорда Биконсфильда сказать по телефону нѣсколько слов. По комнатѣ пробѣжал радостный гул. Дизраэли слегка развел руками, не без труда поднялся и подошел к рупору.

— Надо придумать что-нибудь очень глубокое, — весело сказал он, оглянувшись на лорда Сольсбери, который ничего не отвѣтил: все так же грузно сидѣл в креслѣ без улыбки. Доцент, наклонившись над рупором, радостно прокричал, что сейчас скажет нѣсколько слов его превосходительство, первый министр Англіи, граф Биконсфильд. Дизраэли придвинулся к трубкѣ, на мгновеніе закрыл глаза, точно обдумывая свое слово, и сказал нараспѣв:

Can you tell me what I think?
Yes, I know your thought—'t is drink.

Не сразу послышался смѣх, — через минуту перешедшій в хохот. Сначала надо было понять, что это шутка, потом оцѣнить ее. Нѣкоторые нѣмцы поняли очень скоро, другіе — послѣ перваго об'ясненія, третьи — послѣ повторнаго. Бурный хохот перенесся в запруженный теперь людьми корридор, гдѣ хохотали на вѣру, и слился с бурным хохотом, шедшим из второй гостиной.

IV.

13-го іюня 1878 года в берлинском дворцѣ Радзивиллов, незадолго до того купленном германским правительством для канцлера, началось одно из главных исторических представленій 19-го вѣка.

Почти всѣ международныя совѣщанія кончаются чрезвычайно успѣшно. Это же было особенно удачным. Только что закончившаяся русско-турецкая война происходила далеко, в мѣстах с названіями, которых никто в западной Европѣ не мог ни произнести, ни заучить, ни запомнить. Погибло не болѣе полумилліона людей (никто не счел), включая зарѣзанных, повѣшенных и посаженных на кол. В отличіе от других конгрессов, на Берлинском было рѣшительно некого ненавидѣть: на Вѣнском конгрессѣ всѣ чувствовали ненависть к Наполеону, на Версальской конференціи — к нѣмцам, но нельзя же было серьезно ненавидѣть диких башибузуков или курдов, если они и сажали на кол людей. Это было тѣм болѣе неудобно, что большинство делегатов защищало Турцію от чрезмѣрных требованій Россіи. Участники Конгресса, недовѣрчиво, но со вздохами порицая звѣрства, говорили, что в сущности балканским христіанам жилось не так уж плохо.

Монархическая Европа умѣла ставить свои спектакли (этот был из них послѣдній в подобном родѣ). Всѣ страны прислали самых блестящих своих государственных дѣятелей, которые вдобавок в большинствѣ, хоть не всѣ, были очень

умными, опытными, отлично воспитанными людьми. Тон в теченіе всего Конгресса, за исключеніем нѣсколькихъ драматическихъ минут, был мирный, пріятный и джентльменскій. По принятому заранѣе постановленію, делегаты были в военных или придворных мундирах. Переводчики не требовались: тогда был общій французскій язык, им почти всѣ владѣли прилично, — нѣкоторые, как князь Горчаков, «лучше, чѣм французы», и даже один из англичан, лорд Рессель, говорил по французски правильно, с таким произношеніем, что французам было не слишком противно его слушать. Князь Бисмарк по опыту знал, что для успѣха важных политических переговоров хорошія вина имѣют громадное значенье; по его приказу, министерство иностранных дѣл отпустило на угощенье делегатов немало денег, и лучшій берлинскій ресторатор Борхардт устроил в комнатах, сосѣдних с залой засѣданій, буфет, о котором долго вспоминали высокопоставленные берлинцы. В этом буфетѣ обычно и разрѣшались споры.

Берлинскій конгресс отличался от других, конечно, не «атмосферой». Он проходил в той же насыщенной цинизмом «атмосферѣ», в какой проходили и другіе международные конгрессы, конференціи, совѣщанія. Как всегда, его участники в большинствѣ этого не замѣчали, либо по глупости (немногіе), либо по привычкѣ, как человѣк, годами работающій на химическом заводѣ, больше почти не чувствует запаха хлора, либо по недостатку времени: у них достаточно было неизмѣримо болѣе важнаго практическаго дѣла. Тѣ члены Конгресса, которые могли, умѣли и желали заниматься идейным анализом своих и чужих поступков, говорили себѣ, что лившіеся с них и на них потоки грязи необходимы в интересах их страны или человѣчества. О человѣчествѣ говорилось достаточно, как во всѣх подобных случаях. Но если на Вѣнском конгрессѣ кое-кто, хотя очень плохо и нелѣпо, еще заботился об общем благополучіи, то в Берлинѣ об этом говорили просто автоматически: чесали язык — тоже по привычкѣ и потому, что этого требовали правила приличія и «общественное мнѣніе». Государственные люди, одни сознательно, другіе безсозна-

тельно , считали общественное мнѣніе вѣжливым синонимом массоваго идіотизма, с которым однако надо было считаться и перед которым даже приходилось расшаркиваться. Всеже оно большого значенія не имѣло, так как существовали отличные, испытанные способы его видоизмѣнять или даже фабриковать. "L'opinion publique? On peut toujours s'asseoir dessus", сказал через полвѣка послѣ того французскій политическій дѣятель, великій спеціалист по международным совѣщаніям.

Как всегда, ходили анекдотическіе, на самом дѣлѣ совершенно вѣрные, разсказы про государственных людей, не имѣвших никакого понятія о вопросах, которые они обсуждали. Русская делегація забыла привезти из Петербурга карты Балканскаго полуострова, и секретари, в поисках карт, метались по берлинским магазинам. Англичане карты привезли, но совершенно в них не разбирались и с отчаяньем разспрашивали русских; особенно всѣх встревожил какой-то Мустафа-паша, неожиданно, к общему огорченію, оказавшійся не человѣком, а географическим пунктом. Дизраэли, Горчаков, Шувалов, Сольсбери подолгу хмуро разыскивали на одинаково незнакомой им картѣ тѣ города, рѣки, долины, о которых ожесточенно спорили. Это тоже большого значенія не имѣло: были эксперты, отыскалось все, отыскался и Мустафа-паша.

Берлинскій конгресс, разумѣется, отличался от других и не тѣм, что никто ничего не предвидѣл: так бывает на всѣх международных конгрессах и совѣщаніях. Но, по непріятной случайности, на нем, будто по заказу, рѣшительно все вышло как раз наперекор желаніям, ожиданьям, надеждам его участников. Успѣхи оказались неудачами, побѣды — пораженіями, то, что представлялось выгодным или необходимым, оказалось безполезным и губительным, — разумѣется, не для заправил Конгресса, а для их народов. Хотя безсмыслiе сдѣланнаго в значительной части выяснилось очень скоро, высокія награды, полученныя большинством делегатов, за ними остались, и их историческая репутація не пострадала.

За нѣсколько мѣсяцев до того, Россія, послѣ своей побѣды, заключила с турками предварительный Сан-Стефанскій мир. Находя его слишком для себя тяжелым, турецкое правительство обратилось с тайной просьбой о защитѣ к державам, которыя были крайне недовольны русской побѣдой, — к Англіи и Австро-Венгріи. Онѣ потребовали и добились пересмотра условій Сан-Стефанскаго договора на международном конгрессѣ. Самый созыв его был всѣми признан блестящей дипломатической побѣдой англійскаго, австрійскаго и турецкаго правительств.

В результатѣ Берлинскаго конгресса Россія получила от Турціи все, что должно было к ней отойти по Сан-Стефанскому миру, кромѣ города Баязета и Алашкертской долины; по сравненію с отошедшими к Россіи Карсом, Ардаганом, Батумом, это была ничтожная уступка. Но зато, неожиданно, державы-заступницы, никакого участія в войнѣ не принимавшія, получили от Турціи — Англія остров Кипр, Австро-Венгрія — Боснію и Герцеговину. По значенію и размѣрам, эти земли были неизмѣримо важнѣе Баязета и Алашкертской долины.

Австро-Венгрія послѣ Берлинскаго конгресса заняла (а через 30 лѣт и формально к себѣ присоединила) Боснію и Герцеговину, в которых не было ни австрійцев, ни венгров. По случайности, в боснійской столицѣ был в 1914 году убит эрцгерцог Франц-Фердинанд, и началась міровая война. Одной из основных причин ея, по нѣсколько запоздавшему мнѣнію отставных австрійских государственных людей, было присоединеніе Босніи и Герцеговины. Эта война положила конец существованію австро-венгерской монархіи.

Главной же побѣдительницей Конгресса общественное мнѣніе всѣх стран признало Англію. Она одержала цѣлых три блестящих побѣды.

Первой было безкровное пріобрѣтеніе Кипра, уступленнаго султаном «добровольно», в обмѣн на обѣщаніе впредь защищать Турцію от нападеній Россіи. Послѣ этой добровольной уступки турки затаили глухую ненависть к англичанам, и, по словам великаго визиря, выступленіе Турціи на сторонѣ

Германіи в 1914 году было «отплатой за Кипр». Из за безкровной побѣды Биконсфильда безчисленные англичане погибли на берегах Мраморнаго моря, в Месопотаміи, в Палестинѣ. Еслибы Биконсфильду предложили в 1878 году пріобрѣсти Кипр с потерей в десять раз меньшаго числа людей, он без сомнѣнья отклонил бы это предложеніе или был бы свергнут парламентом: оппозиція и тогда считала сдѣлку с Турціей совершенно ненужной и крайне опасной.

Второй, наиболѣе важной, побѣдой англичан на Берлинском конгрессѣ был раздѣл Болгаріи. По русскому плану, вся Болгарія должна была составить единое самостоятельное государство. Лорд Биконсфильд добился того, что она была раздѣлена и часть ея оставлена, на особых условіях, в составѣ турецкой имперіи. Настаивая на этом, грозя войной, мобилизуя вооруженныя силы Англіи, Биконсфильд исходил из положенія, казавшагося ему совершенно безспорным: Болгарія, освобожденная Россіей, станет ея вѣрным союзником и вассалом; слѣдовательно, ослабляя Болгарію, он ослаблял и Россію. Но по непредвидѣнной случайности из этого ровно ничего не вышло: через восемь лѣт послѣ Конгресса, несмотря на его твердыя постановленія, раздѣленныя земли Болгаріи об'единились, — только еще немало пролилось крови. По другой случайности, оказалось, что благодарность у государств, как и у частных людей, совершенно необязательна: в обѣих міровых войнах Болгарія выступила на сторонѣ Германіи.

Третьей побѣдой Биконсфильда было то, что Россія не получила Алашкертской долины. Эта долина с рѣкой Шарьян-Су была в то время очередным пунктом умопомѣшательства великих государственных людей. По случайности, самое названіе ея было забыто через год послѣ Конгресса (теперь его нѣт во многих больших энциклопедических словарях). Быть может, долина с рѣчкой имѣла огромное стратегическое значеніе, еще не выясненное исторіей, но, благодаря блестящей побѣдѣ Биконсфильда, Сольсбери и британских военных экспертов, долина и рѣчка оказались в слѣдующую войну в руках враждебной англичанам коалиціи.

За эти свои три дипломатическія побѣды Дизраэли и Сольсбери получили от королевы Викторіи высшую награду, орден Подвязки. Англійскій народ встрѣтил их восторженными овацiями. На вокзалѣ в день их возвращенія в Лондон, толпа долго орала: "Good old Dizzy!"... Но оппозиція, из зависти ли или нѣт, негодовала, и Гладстон, к большому удовольствію либеральной партіи, публично выразил сомнѣніе в благополучном состояніи умственных способностей Биконсфильда. В отвѣт на что Биконсфильд, к такому же удовольствію консервативной партіи, выразил сомнѣніе в благополучном состояніи умственных способностей Гладстона: "I do not pretend to be as competent a judge of insanity as the right honorable gentleman."

Дизраэли совершенно искренне считал Россію историческим врагом Англіи. Больше всего на свѣтѣ он боялся русскаго похода на Индію. И в том, и в другом он был, при всем своем рѣдком умѣ, вполнѣ на уровнѣ мысли любого англичанина, читавшаго консервативныя газеты. К Германіи Биконсфильд относился благожелательно и даже любовно. В молодости он признавал нѣмцев мечтателями, людьми чистаго созерцанія, живущими мысленно в голубом небѣ. Так тоже думало большинство рядовых англичан. Отторженіе Эльзаса и Лотарингіи Дизраэли, как почти всѣ англичане, не одобрял, но и послѣ этого событія до конца своих дней продолжал думать, что со стороны нѣмцев миру опасность не грозит. Эти цѣнныя мысли вполнѣ раздѣлял маркиз Сольсбери. Извѣстіе о союзѣ между Германіей и Австро-Венгріей, направленном против Россіи, он публично назвал «великой радостью». Оба, Биконсфильд и Сольсбери, собирались присоединиться к австро-германскому союзу и незадолго до своего ухода в отставку вели от этом переговоры с Бисмарком.

Князь Бисмарк послѣ своей попытки нападенія на Францію в 1875 году почти убѣдился в том, что война с одной великой державой неизбѣжно повлечет за собой для Германіи также войну с другой или с другими. Иногда ему казалось, что «игра не стоит свѣч»; чаще — что это слишком страшная игра:

на сомнительную карту пришлось бы поставить все, — его страну, его дѣло, его славу. Поэтому Бисмарковская политика 1878 года была противоположна той политикѣ, которую он вел в 1875 году. Теперь канцлер называл себя добрым европейцем, говорил, что никакой новой войны больше не нужно, что он в мыслях не имѣл и не имѣет нападать на какую-либо страну, что он даром не согласился бы присоединить к Германіи хотя бы клочек чужой земли, так как убѣдился на примѣрѣ Польши, что нельзя уничтожить культуру чужого народа и его стремленіе к самостоятельной жизни. Может быть, Бисмарк дѣйствительно иногда так думал: он все же был человѣком девятнадцатаго вѣка, а не пятнадцатаго и не двадцатаго. Скорѣе, он допускал, что можно думать и так, не будучи совершенным идіотом. Однако ему никто не вѣрил. Напротив, именно либеральныя мысли канцлера вызывали у его собесѣдников особенную тревогу. Европейскіе дипломаты были убѣждены, что ни одному его слову вѣрить нельзя, и ломали себѣ голову лишь над тѣм, з а ч ѣ м он врет и к о г о хочет теперь обмануть.

Выстрѣл Карла Нобилинга (послѣдовавшій вскорѣ за дѣлом Геделя) тоже встревожил князя. Конечно, это был прекрасный повод для преслѣдованія лѣвых токарей и адвокатов. Для его внутренней политики, это был чрезвычайно удобный и удачный выстрѣл. Зато для войн и завоеваній странное происшествіе на Унтер ден Линден было очень непріятным предзнаменованьем. При своем огромном опытѣ, Бисмарк знал, что в мірѣ возможно рѣшительно все: возможна даже германская революція. Война могла быть отличным средством против революціи, — но только побѣдоносная, блестящая и очень быстрая война вродѣ затѣянных им в 1866-ом и в 1870-м году. На такую войну теперь шансов было очень мало.

Вдобавок, нервное разстройство у князя все росло. Мысль о том, что против Германіи готовится коалиція, становилась у него почти маніей. Его друг и поклонник граф Шувалов говорил ему: "Vous avez le cauchemar des coalitions". Бисмарк

это подтверждал. В 1878 году цѣлью его очередной внѣшней политики был союз с какой-либо могущественной державой или, еще лучше, с двумя могущественными державами: он очевидно исходил из мысли, что, если в критическую минуту обманет один союзник, то, быть может, не обманет другой, — конечно, не по своей честности, а из вражды к первому союзнику. Союз с консервативными имперіями, как Россія и Австро-Венгрія, был бы канцлеру нѣсколько пріятнѣе, чѣм другіе. Но он предлагал также союз Англіи в противовѣс возможной франко-русской коалиціи. Подумывал и о союзѣ с Франціей в противовѣс коалиціи русско-англійской: одно время очень опасался, что Гладстон, на зло Биконсфильду, заключит союз с Россіей. Бисмарк был убѣжден, что во внѣшней политикѣ нѣт никаких принципов и нѣт даже прочных интересов, что каждая страна может в любую минуту завязать тѣсную дружбу со вчерашним лютым врагом: это было дѣлом двух мѣсяцев газетной болтовни. Ему не могло не быть извѣстным, что союзные и всякіе другіе договоры выполняются сторонами только в том случаѣ, если это им выгодно и пока это им выгодно. Тѣм не менѣе и он заключал союзы, отчасти подчиняясь общему психозу, отчасти надѣясь, что соблюдать договор окажется выгодным обѣим сторонам.

Чтобы ослабить другія державы, князь Бисмарк очень соблазнял их колоніальными завоеваньями, надѣясь, что онѣ в них надолго завязнут. Канцлер подсовывал Франціи Тунис, Англіи — Египет, ничего не имѣл против распространенія русскаго вліянія в Азіи и даже на Балканах. Азіатов и африканцев он уж совершенно не считал людьми, — с него было достаточно европейцев. Колоніальныя завоеванія Бисмарк признавал безсмысленным дѣлом, полезным только министрам для рукоплесканій в парламентах и генералам для полученія орденов. Он оставил нѣмецким историкам и государственным дѣятелям трудную задачу: как согласовать преклоненіе перед геніем Бисмарка с признаніем того, что «Германія задыхается от отсутствія колоній»? Этой задачи они не разрѣшили по сей день. Конечно, и геній может ошибаться,

но мог ли все-таки геній не понимать самых простых, элементарных вещей?

По своей убѣжденной безпринципности, князь Бисмарк, единственный из людей Берлинскаго конгресса, ни в чем не ошибся, так как ничего не утверждал и все считал возможным. В остальном этот трагикомическій конгресс точно имѣл цѣлью опроверженье философско-исторических теорій, от экономическаго матеріализма до историко-религіознаго ученія Толстого. Все было чистым торжеством случая, — косвенно же торжеством идеи грабежа, вреднаго самому грабителю.

По существу практическая философія князя Бисмарка кое-как могла обезпечить Европѣ систему довольно прочнаго, хотя и худого, мира. Однако его характер, мучительныя болѣзни, отвращеніе, которое ему внушали люди, очень осложняли дѣло. Как почти у всѣх знаменитых политических дѣятелей, но еще сильнѣе, чѣм у большинства из них, у Бисмарка личныя антипатіи смѣшивались с политическими воззрѣніями и вліяли на них. Он не хотѣл созыва Конгресса в Берлинѣ. Канцлер чувствовал себя все хуже и просил императора уволить его в отставку, ссылаясь на то, что из за своих многочисленных болѣзней больше никуда не годится, — впрочем, отлично знал, что Вильгельм его отставку отклонит; иначе, вѣроятно и не предлагал бы ея: чувствовал, что в отставкѣ будет погибать от скуки, от бездѣлья и от презрѣнія к своим преемникам. Другіе государственные люди очень завидовали его роли предсѣдателя на международном конгрессѣ, призванном рѣшить судьбы міра. Князь Горчаков откровенно говорил: "Je ne puis me présenter devant Saint Pierre sans avoir présidé la moindre chose en Europe". Но Бисмарк почти не ждал удовольствія от предстоявшаго спектакля. Большинство участников конгресса чрезвычайно его раздражали. Особенную антипатію у него вызывал именно Горчаков, упорно считавшій его своим учеником и по старой привычкѣ обращавшійся с ним свысока. «Вы обращаетесь с нами не как с дружественной державой, а как со слугой, который недостаточно быстро появляется на звонок», — в разговорѣ с ним огрызнулся Бисмарк.

В случаѣ разногласій Горчаков говорил: "L'Empereur est fort irrité" таким тоном, точно раздраженіе императора Александра должно было быть рѣшающим доводом для Германіи. Бисмарк злобно отвѣчал: "Et le mien donc!"... Не прощал он русскому канцлеру и роли, сыгранной Россіей в 1875 году.

Помимо всего прочаго, князь (как еще только нѣсколько людей на землѣ) знал, что на Конгрессѣ будет разыгрываться и чистая комедія. Раздѣлявшіе Англію и Россію острые вопросы уже были благополучно разрѣшены. За двѣ недѣли до Конгресса Шувалов и Сольсбери подписали три конвенціи, предрѣшавшія все главное: Англія соглашалась на отход к Россіи Карса, Ардагана, Батума, а также Бессарабіи, потерянной в 1856 году. Россія отказывалась от Баязета, от Алашкертской долины и давал согласіе на раздѣл Болгаріи.

Соглашеніе это держалось в величайшей тайнѣ. Случился однако скандал, небывалый в исторіи англійской дипломатіи. Один из служащих министерства иностранных дѣл продал текст англо-русскаго соглашенія газетѣ «Глоб», которая его и опубликовала перед началом Конгресса. Соглашеніе вызвало в Англіи изумленіе и негодованіе. Рядовые англичане не вѣрили, что правительство сдѣлало историческому врагу столь большія уступки. О безкровном пріобрѣтеніи Кипра им еще было неизвѣстно: этот сюрприз Дизраэли, отлично знавшій и англичан, и свое ремесло, держал про себя, чтобы подать его «под занавѣс».

Позднѣе государственные люди весьма неудачно пытались об'яснить, почему именно хранилось в тайнѣ англо-русское соглашеніе, хотя оно немедленно успокоило бы волновавшійся мір. В дѣйствительности, кромѣ профессіональной любви к тайнам, причиной секретности дѣла было только то, что предварительное соглашеніе лишало драматизма предстоявшій конгресс. Англійскіе и русскіе министры понимали важность драматизма в зрѣлищах подобнаго рода. Он был очень полезен и для внутренней политики, так как сильно дѣйствовал на общественное мнѣніе. Когда-то Дизраэли в откровенном разговорѣ назвал лучшим удовольствіем государственнаго чело-

вѣка сознаніе противоположности между дѣйствительным ходом событій и тѣм представленіем, которое о них себѣ создают посторонніе люди. Он и в 1878 году не хотѣл отказываться от этого удовольствія.

В Палатѣ лордов граф Грей запросил министра иностранных дѣл: не может ли благородный лорд раз'яснить, соотвѣтствует ли истинѣ одно сообщеніе, появившееся в одной газетѣ и очень взволновавшее эту палату и эту страну? Маркиз Сольсбери, человѣк очень порядочный и в частной жизни чрезвычайно правдивый, невозмутимо отвѣтил, что сообщеніе, появившееся в одной газетѣ, совершенно недостовѣрно и не заслуживает довѣрія палаты ("wholly unauthentic and not deserving the confidence of your Lordship's House"). Послѣ окончанія Конгресса оказалось, что газета сообщила чистѣйшую правду. К тому времени безкровное пріобрѣтеніе Кипра весьма укрѣпило положеніе правительства. Все-же другой член опозиціи граф Розбери внес вопрос: не обманул ли благородный лорд эту палату и эту страну, назвав совершенно недостовѣрным и не заслуживающим довѣрія палаты одно сообщеніе, появившееся в одной газетѣ? Маркиз Сольсбери так же невозмутимо произнес в отвѣт нѣчто совершенно невразумительное. В печати-же кто-то добавил морально-политическій комментарій: еслибы маркиз Сольсбери, в отвѣт на вопрос графа Грея, подтвердил появившееся в газетѣ «Глоб» сообщеніе об англо-русском соглашеніи, то его голову надо было бы сначала увѣнчать вѣнком за вѣрность правдѣ, а затѣм отрубить за измѣну государству.

Так как маркиз Сольсбери государству не измѣнил, то интерес к Конгрессу и волненіе в мірѣ были чрезвычайно велики. Газеты шумѣли. Биржи трепетали. В дѣйствительности же шедшіе на Конгрессѣ грозные дипломатическіе бои в громадном большинствѣ случаев мало отличались от тѣх сеансов цирковой борьбы, когда борцы заранѣе соглашаются об исходѣ. Как извѣстно посѣтителям цирков, таким сеансам, именно для прикрытія обмана, всегда придается особенно драматическая форма: борьба длится очень долго и изобилует волнующими

происшествіями. Посѣтителям цирка извѣстно и то, что на этих представленіях, несмотря на предварительный сговор, борцы часто заражаются волненіем галерки, по настоящему приходят в ярость, осыпают друг друга недозволенными ударами, экспромптом придумывают непредусмотрѣнные «мосты» и «нельсоны». Так и на Берлинском Конгрессѣ, несмотря на его общій джентльменскій тон, граф Биконсфильд, при спорах по второстепенным вопросам, запальчиво говорил о «кэйзус беллай» (casus belli) и в доказательство того, что все кончено, заказывал экстренный поѣзд для от'ѣзда в Англію; а князь Горчаков повышал свой старческій голос и в непритворном гнѣвѣ бросал на стол разрѣзной нож из слоновой кости.

Журналисты, молчаливо признававшіеся на Конгрессѣ общими врагами, которых однако полагалось щадить, допускались только в вестибюль канцлерскаго дворца. Поэтому наиболѣе извѣстные и наиболѣе гордые из них во дворец не явились. Николай Сергѣевич пришел в двѣнадцать часов, послѣ ранняго завтрака. Ждать в вестибюлѣ было очень скучно. Он вышел на Вильгельмштрассе, выпил, зѣвая, за углом стакан пива, погулял по Унтер-ден-Линден, посмотрѣл на дом № 18, откуда Карл Нобилинг выстрѣлил в престарѣлаго императора — дом был как дом, — и вернулся, раздражив провѣрявшаго билеты чиновника: журналисты должны были сидѣть в вестибюлѣ, а не выходить на прогулку. Венгерскій корреспондент, оторвавшись от блокнота, сообщил Мамонтову послѣднія новости: «Князь с утра свирѣп как звѣрь... Только что он выпил залпом бутылку портвейна!» — Для Бисмарка у него, очевидно, не было уменьшительнаго имени.

В час дня в вестибюль спустился В е с ь м а о с в ѣ д о м л е н н ы й и с т о ч н и к. Так назывался у журналистов старый почтеннаго вида чиновник, который давал им неофиціальныя сообщенія о важных событіях, почему-либо назавшіяся Бисмарку желательными. Эти сообщенія помѣщались в газетах без ссылки на правительство. Было еще другое, нѣсколько менѣе важное лицо: И с т о ч н и к з а с л у ж и в а ю щ і й

довѣрія. Оно отличалось от предыдущаго тѣм, что доля правды в его сообщеніях была меньше. По мнѣнію опытных журналистов, в сообщеніях «Весьма освѣдомленнаго источника» бывало не болѣе двадцати пяти процентов вранья, тогда как «Источник заслуживающій довѣрія» мог себѣ позволить и пятьдесят. Старый чиновник любезно пригласил репортеров осмотрѣть зал засѣданій. Всѣ, переговариваясь вполголоса, пошли за ним вверх по лѣстницѣ.

Посрединѣ огромной комнаты на коврѣ стоял покрытый коричневым сукном стол покоем, с круглыми чернильницами, перьями, карандашами, бумагой, ножиками у каждаго кресла. Был еще другой, прямой стол поменьше, с картами, папками и брошюрами. Весьма освѣдомленный источник остановился у основанія покоя, спиной к завѣшенным портьерами окнам, и показал на третье кресло справа.

— Вышла маленькая непріятность... Маленькое неудобство, — поправился он: непріятностей здѣсь не бывало. — Тут можно поставить только шесть кресел, четное число. Поэтому кресло предсѣдателя стоит не по срединѣ... Князь велѣл поставить его третьим справа, потому что у него душа лежит ближе к правой сторонѣ, — смѣясь, сказал Весьма освѣдомленный источник, рѣшившій, что можно подѣлиться с журналистами столь невинной шуткой. Она дѣйствительно была встрѣчена почтительным смѣхом и почти всѣми занесена в записныя книжки. Венгерскій корреспондент набросал на блокнотѣ план залы засѣданій. Старый чиновник поглядывал на него с неудовольствіем, точно это была военная тайна.

Затѣм журналистам был показан буфет. Там распоряжался секретарь Конгресса фон Радовиц. Вид у него был озабоченный: как и Бисмарк, он понимал значеніе буфета для успѣха международных совѣщаній. Радовиц улыбнулся журналистам привѣтливо, хотя тоже нѣсколько безпокойно, как будто они могли что-то испортить или испачкать в роскошных Радзивилловских гостиных. Хорошее настроеніе печати имѣло нѣкоторое значеніе для успѣха, но на это было жалко тратить шампан-

ское. Репортеры спустились по лѣстницѣ, обмѣниваясь кислыми шутками относительно буфета.

К двум часам среди лакеев, презрительно поглядывавших на журналистов, обнаружилось волненіе. В вестибюль торопливо вошел Радовиц. Делегаты стали появляться почти одновременно, как «воины» или «поселяне» перед танцами в большой оперной сценѣ. К парадным дверям одна за другой под'ѣзжали коляски. Во дворец входили люди в раззолоченных мундирах. Венгр называл Мамонтову членов Конгресса, отмѣчая в блокнотѣ порядок их появленія.

— Граф Корти, представитель Италіи... Два часа одна минута, — вполголоса говорил он Николаю Сергѣевичу. — Он похож на японца, правда?... Русскіе, конечно, опоздают: это ваша національная черта. Кромѣ того, Горчаков лучше умрет, чѣм пріѣдет раньше Диззи... Вот и несчастные турки. Замѣтьте, оба — инородцы. Этот — Каратеодори, грек турецкой службы... Абдул-Гамид понимает, что условія Конгресса будут для Турціи невеселыя, и потому нарочно прислал христіанина, чтобы ему можно было потом отрубить голову. Вѣдь отрубить голову мусульманину все-таки грѣх. А это Мохаммед-Али. Слышали? Он нѣмецкій дезертир, бѣжавшій из Германіи в Турцію из за каких-то темных дѣл, принявшій там Ислам и выслужившійся лучше не спрашивать как. Константинопольскіе вельможи серьезно думали, что угодят Бисмарку, прислав делегатом нѣмца! Между тѣм князю вѣрно противно на него смотрѣть... Вот и мои! — радостно прошептал венгр, почтительно кланяясь входившему офицеру в бѣлом с красным мундирѣ, очень похожем на русскій лейб-гусарскій. Этот офицер, граф Андраши, с помятым, надменным, как будто подкрашенным лицом и с вьющимися кудрями, еле отвѣтил на поклон, пожал руку пріятно всѣм улыбавшемуся Радовицу и направился к лѣстницѣ. За ним шли другіе венгры, в бархатных доломанах, в ментиках, с цѣпями, в шляпах с орлиными перьями. Австро-венгерская делегація была самой картинной из всѣх. — Тридцать лѣт тому назад Франц-Іосиф собирался повѣсить этого самаго Андраши, как опаснаго революціонера, — сказал

венгр. «Удивительно, что он говорит «Франц-Іосиф», а не «Францль» и не «Іоська», — подумал Мамонтов. В вестибюлѣ появился Дизраэли. «Вошел превосходно. Вѣрно, так Каратыгин появлялся на сценѣ в роли Велизарія!... Собственно, теперь можно идти домой, что-ж так стоять без конца. Выпью холоднаго лимонада и лягу спать, устал... Дома и читать нечего... Можно было бы поработать? Нѣт, лягу спать. Катя вѣрно тоже спит... Или болтает с Алексѣем Ивановичем? Должно быть, очень уютно они живут»... Он в первый раз пожалѣл, что не поѣхал с Катей на мо́ре.

— Это ваш: граф Шувалов... Семь минут третьяго... Он один из самых красивых бояр, каких я когда-либо встрѣчал, — сказал венгр, щеголяя своим знаніем Россіи. — Вы бы мнѣ потом разсказали о нем что-нибудь пикантное. Из его интимной жизни, но такое, чтобы можно было напечатать. У нас это очень любят. Я мало его знаю, даже почти незнаком... Ах, какая колясочка! Я купил бы этих лошадок, еслиб были деньги... Ну да, это Горчаков. Я говорил вам, что он пріѣдет позже всѣх... Это еще что такое? Я забыл: вѣдь он не может подняться.

Лакеи помогли восьмидесятилѣтнему князю сѣсть в кресло и понесли его вверх по лѣстницѣ. Горчаков с опущенной трясущейся головой, проплывая перед зеркалом, поправил прядь желто-сѣдых волос и что-то сердито пробормотал по французски. «Может быть, вспоминает царскосельское время, как он бѣгал взапуски с Пушкиным... Нѣт, нехорошо жить так долго!» — подумал Мамонтов.

— Я думаю, мы можем теперь идти домой, — рѣшительно сказал он.

— Да, нам сюда шампанскаго не пришлют, — отвѣтил венгерскій журналист и положил блокнот в карман. — Я угощу вас не шампанским, но холодным пивом. Вы столько раз за меня платили, сегодня моя очередь.

В два часа Бисмарк в черном генеральском мундирѣ, головой возвышаясь над сопровождавшими его людьми, вышел

из своих комнат. Он молча осмотрѣл зал засѣданій и буфет. Радовиц робко о чем-то докладывал, опасаясь вспышки гнѣва: он тоже слышал, что князь много выпил с утра и очень дурно настроен. Бисмарк заѣзжал с визитом ко всѣм делегатам, и всѣ оказались дома. Это его разозлило: у людей могло-б хватить ума, чтобы не отнимать у него времени. Ему были противны почти всѣ члены Конгресса, кромѣ Шувалова, Дизраэли и Корти. Но, по его непосредственному и раздражительному характеру, князю особенно было гадко здороваться дѣйствительно с Мохаммедом-Али. Другіе делегаты таких чувств просто не поняли бы. У Биконсфильда, как у романиста, над всѣм преобладало любопытство; он с большим интересом познакомился бы с самим Калигулой. Маркиз Сольсбери был совершенно забронирован британскими дипломатическими традиціями, сознаніем, что он маркиз Сольсбери, и глубоким убѣжденіем в том, что всѣ его поступки опредѣляются интересами Англіи; да он и вообще о подобных вещах почти никогда не думал, — мало ли кому надо пожимать руку?

— Шампанское французское? — сердито спросил Бисмарк, прерывая соображенія Радовица о вѣроятном ходѣ перваго засѣданія.

— Клико, как Ваше Сіятельство изволили приказать, — отвѣтил Радовиц. Он взглянул на часы: надо было идти вниз. Канцлер направился в зал засѣданій. Источник заслуживающій довѣрія выплыл иноходью из боковой двери и вполголоса доложил князю что-то по дѣлу, касáвшемуся фарфороваго завода. Дѣло было очень спѣшное, канцлер велѣл о нем напомнить до начала засѣданія. Испуганно снизу вверх на него глядя, Источник заслуживающій довѣрія вдруг запнулся и обомлѣл.

— Что?... Скажите ему, что я их оттуда вышвырну к чорту со всѣм их фарфоровым...! — закричал на весь зал Бисмарк. В ту же секунду на его лицѣ появилась любезная привѣтливая улыбка. Протянув вперед обѣ руки, он пошел навстрѣчу графу Корти.

М. Алданов.

СКАКУН

Отрывок первый.

Со дня своего рожденія Скакун рос, окруженный заботой людей, воспитывался в довѣріи к ним и инстинктивно усваивал свою принадлежность людям, как нѣчто важное и неот'емлемое в его жизни. При одном только звукѣ человѣческих голосов он ставил уши стрѣлками, весь настораживался и всѣм своим существом показывал, что в этих звуках ему многое понятно и близко. Он особенно радовался и довольно фыркал, когда слышал голоса хозяина и своего любимца, мальчика Дениса.

Когда они выводили его во двор поразмяться, почистить или для запряжки, он всѣм своим довольным видом показывал, что он баловень и любимец хозяина, мальчика, всей семьи и двора. Он, казалось, не сомнѣвался в своем превосходствѣ над всѣми другими лошадьми. Он всегда как будто был опьянен своей молодостью и рѣдко мог стоять спокойно на своих крѣпких, стройных ногах: танцовал, вертѣл небольшой красивой головой с темными шаловливыми глазами, вытягивал тонкую шею, тряс капризно гривой, отдѣлял от тѣла пышной трубой хвост и весь его корпус поражал всѣх своей силой и граціей. Право, становясь взрослым он пріобрѣтал порок тщеславія и желанія нравиться всѣм обитателям двора. Он как будто постоянно искал самой эффектной позы и для себя и для всѣх, кто смотрѣл на него.

Жеребенком Скакун был большим шалуном, готовым прыгать независимо от того — смотрят на него или не смотрят, но теперь в нем проглядывало тщеславіе общаго фаворита. Танцуя и позируя, он как будто говорил всѣм: «Видите, как я строен,

красив и здоров. Конечно, вы не можете быть равнодушны ко мнѣ».

Инстинкт Скакуна, что он общій любимец — не обманывал его. Вся семья Озеровых баловала его, гордилась им и все это, с одной памятной всѣм январьской ночи, превратилось в обожаніе.

Это был необыкновенный день. Скакуна рано утром тщательно вычистили, вплели ему в гриву двѣ красных ленты и запрягли в легкую кошевку, в которую сѣли хозяин и мальчик.

День был морозный, но солнечный и яркій. Скакун охотно бѣжал по укатанной зимней дорогѣ. Он хорошо знал эту дорогу в другую деревню, гдѣ не раз бывал, и с удовольствіем пофыркивал, слыша из санок знакомые голоса и смѣх. Почти не сдерживаемый, Скакун шел крупной рысью и скоро, слегка вспотѣвшій, он уже стоял под навѣсом незнакомаго ему двора. Первое время он стоял смирно, но видя, что его не выпрягают, стал безпокойно вертѣть головой, удивляясь, что о нем забыли и не дают ѣсть. И хотя он стоял покрытый попоной и под крышей, но промерз и, главное, был голоден. Раз или два он пробовал напомнить о себѣ ржаньем, слышал отвѣтные звуки из сосѣдних конюшен, но никто из людей не приходил. Забывчивость о нем хозяев возбуждала недовольство Скакуна: он дергал крѣпкій ременный повод, переступал с ноги на ногу и бил копытами деревянную надстилку. Ничто не помогало. Его раздражало и то, что гдѣ-то рядом, в закрытой конюшнѣ, лошади аппетитно жуют сѣно, а он чувствуя его аромат, должен был только глотать слюни и чувствовать еще большій голод. Он не привык к такому невниманію и явно сердился и завидовал лошадям, которыя были в конюшнѣ, в теплѣ и сыты.

С улицы до него доносились людскіе крики, пѣсни, звон бубенцов и колокольчиков, топот лошадей и скрипы саней.

Деревня явно веселилась и что-то праздновала. Скакун не знал, что такое праздники, но умѣл отличать их от буден. Это были дни, когда лошади и люди отдыхали, в деревнѣ было шумно и крикливо.

Скакун распознавал праздничные дни еще и потому,

что в такіе дни хозяин любил кататься на нем или приходил в конюшню и, шатаясь, — как будто ноги у него подкашивались, лѣз к нему, обнимал его за шею, много говорил и от него пахло не только крѣпким табаком, запах котораго Скакун любил, но и еще чѣм-то непріятным. В такіе дни хозяин вел себя особенно странно и необычайно. Он хлопал его по спинѣ, часто ласково повторял его имя — «Скакун, ты у меня добрый конь, ты мой единственный вѣрный друг», — а потом лѣз к нему под брюхо, гладил и щекотал самыя чувствительныя мѣста. Скакуну не нравились такія ласки, но он боялся пошевельнуться, инстинктивно неосторожным движеніем не ушибить хозяина. Он весь сжимался, вздрагивал, терпѣливо переносил все, пока не приходила хозяйка или другіе люди и не уводили пьянаго человѣка.

Было уже совсѣм темно, когда Скакун, простоявшій под навѣсом почти цѣлый день, основательно промерзшій и голодный, услышал знакомые голоса мальчика и хозяина. Увидѣв их, он радостно заржал, надѣясь, что они распрягут его и дадут поѣсть, но напрасно он поворачивал голову то к мальчику, то к хозяину, то к группѣ других, пришедших с ними мужиков, никто не обращал на него вниманія. Они всѣ что-то говорили, размахивали руками и старались уложить шатающагося из стороны в сторону хозяина в кошевку.

Скакун обиженно ударил раз или два передними копытами, стараясь привлечь к себѣ вниманіе хозяина, но ничего не помогало: он не получил от него обычнаго одобрительнаго хлопка по спинѣ и не услышал знакомых ласковых слов. Хозяин завалившись в кошевку орал что-то несвязное и непонятное. И по тому как были натянуты возжи, он почувствовал, что правит им не хозяин, а мальчик. Привыкшій к повиновенію, он легко и осторожно снялся с мѣста и, когда они выѣхали со двора, услышал, как мальчик ласково сказал: «Пошел, Скакун, домой. Пошел поскорѣе, голубчик, уж совсѣм ночь».

Скакун как бы в знак согласія, что он понял его, тряхнул гривой и бойко побѣжал по гладкой дорогѣ. Мальчик что-то говорил и ему казалось, что он чего-то боится и о чем-то его

просит. Скакуна не нужно было понуждать и просить. Движеніе быстро согрѣло его и он, забыв о голодѣ, все сильнѣе и сильнѣе увеличивал ход, радуясь, что они ѣдут домой.

Вокруг лежали снѣжныя поля, освѣщенныя луной, и по ним темными группами стояли молчаливыя, таинственныя деревья. Было пустынно и как будто немножко жутко. Скакун слышал, как из кошевки время от времени раздавался мычащій, безсвязный голос хозяина, нарушающій тишину ночи, и просьба мальчика: «Пошел, пошел, дорогой Скакун». В голосѣ мальчика звучал явный страх и тревога. Скакун наддал хода и пошел крупной рысью. Дорога была ему знакомой и он хорошо знал, что за виднѣющимся в дали лѣском, будет поворот, затѣм небольшой холм и от него прямая дорога к их селу и дому. Все было тихо. Но вдруг в тот момент, когда они, минуя лѣсок, стали приближаться к повороту и под'ему холма, послышался страшный вой и позади их из лѣска выскочили волки и, разсыпаясь полукругом, помчались за ними зловѣщими темными тѣнями. Скакун насторожился, испуганно фыркнул, и, услышав отчаянный крик мальчика и хлопанье возжей по спинѣ, сорвался с рыси вскачь и во всю мочь своих ног понесся по дорогѣ на холм. Стая волков злобно и торжествующе погналась за ними. Холм не был высоким и длинным, но все же под'ем затруднял бѣг, да и санки с двумя сѣдоками стѣсняли движеніе и не позволяли Скакуну развить полную быстроту. И когда он взлетѣл на холм, с котораго шла ровная, в нѣсколько верст дорога к селу, ему казалось фигуры волков настигают их, выскакивают отовсюду, приближаясь все ближе и ближе. Скакун как будто видѣл не только их страшныя темныя тѣни, но и огненныя точки их злых глаз и оскаленныя пасти. Напрягая всѣ свои силы, Скакун теперь вихрем несся по ровной дорогѣ. Он не чувствовал, что им кто-либо правит и ничто не побуждало его к бѣгу, кромѣ воя волков и плача мальчика. А в этой общей опасности ему инстинктивно хотѣлось бы, как бывало раньше в его таежных приключеніях, — услышать увѣренный голос хозяина и почувствовать возжи в его твердых руках. Он, бѣдняга, не знал, что пьяный хозяин крѣпко спал и нужны

были слезы мальчика, его усилія растормашить отца, волчій вой и сильные толчки кошевки на раскатах, чтобы разбудить его. И в самый страшный момент, когда Скакун стал почти ощущать противный волчій запах, он услышал голос хозяина: «Пошел, Скакун, пошел! Выручай, родной, спасай нас!» Ободренный его голосом, Скакун сердито зафыркал и, прижав уши и оскаля зубы, словно готовый не только к еще большей быстротѣ, но и борьбѣ с врагами, наддал хода. Это была бѣшенная скачка, в которой волчій вой смѣшивался с криками хозяина, плачем мальчика, топотом копыт Скакуна и скрипом взвизгивающих полозьев кошевки. Быстрота его бѣга ровнялась волчьей, но все же они были близко, совсѣм близко... И только когда хозяин бросил им что-то из кошевки, они бросившись рвать странный предмет, замѣтно отстали. Только один волк, огромный, темный, с открытой пастью, не отставал, дѣлал большіе скачки и бѣжал не позади кошевки, а сбоку, стараясь забѣжать вперед к головѣ лошади. Снѣг был твердый и волк, тяжело дыша, скакал почти на одном уровнѣ с корпусом Скакуна, как будто хорошо понимая, что захватить добычу можно только тогда, когда он сдѣлает отчаянную попытку остановить лошадь. Скакун, казалось, понимал маневр врага, из всѣх сил старавшагося забѣжать вперед и сдѣлать прыжок к его горлу. Он еще сердитѣе фыркал и несся вперед, словно надѣясь, что его противник не выдержит напряженной скачки и отстанет. Волк почти хрипѣл от усталости. Он своим звѣриным чутьем как будто понимал, в чем надежда лошади, и, теряя силы, вдруг рѣшился на отчаянный прыжок. Все произошло в одно страшное мгновеніе. Скакун ощутил толчок вражескаго тѣла об оглоблю, вблизи дуги, почувствовал его паденіе под свои копыта, услышал его злобный вой боли, затѣм что-то захрустѣло под тяжестью кошевки и воздух огласился жалобным визгом. Гдѣ-то позади послышалось злобное ворчаніе и торжествующій вой волчьей стаи. Это волки рвали на части труп своего неудачливаго товарища.

Преслѣдованіе прекратилось, но Скакун не уменьшал бѣга, хотя вдали уже мелькали огни села и слышался знакомый

лай собак. Только у самаго села, сдерживаемый хозяином, он перешел на рысь и скоро, тяжело дыша, весь в пѣнѣ, остановился у ворот двора.

Встрѣченный радостным лаем своего друга, лохматаго пса, и ржаніем лошадей, он почувствовал, что опасность миновала и он дома. Он стоял смирно пока его выпрягали из кошевки, вытирали досуха разгоряченное мокрое тѣло, а потом, опустив голову, покорно ходил за хозяином, который не хотѣл, чтобы ноги Скакуна застаивались, послѣ безумной скачки. Скакун едва дышал от усталости, ему хотѣлось лечь, но привычка повиноваться хозяину преодолѣвала изнеможеніе. Он ходил и ходил за ним, пока его дыханіе не стало ровным, а ноги стали ступать тверже и легче. Он как бы приходил в себя, чувствовал и видѣл, что за ним, с фонарями в руках, ходят люди и что-то ласково говорят, дотрагиваются до его мокрой спины и боков.

Скакун не понимал их восторженных восклицаній, не понимал своего тріумфа, геройства и всѣх хороших слов, которым и люди награждали его за спасеніе мальчика и хозяина, но ему была понятна их ласка и заботы о нем.

И когда хозяин, закутав его в попону, поставил в теплую конюшню, гдѣ было тепло, уютно и безопасно, он ласково потер носом об его плечо. Он понимал, что о нем заботятся.

Забота людей была для него настоящей наградой.

Отрывок второй.

Тяжелой пеленой опускались сумерки на угрюмые лѣса и горы, придавая им таинственныя и фантастическія очертанія. Время от времени в этой все обволакивающей темнотѣ то высоко в небѣ вспыхивали огненныя искры, то откуда-то из лѣса вырывались языки пламени, валил густой и смрадный дым, гремѣли раскаты и взрывы артиллерійских снарядов. За громом артиллерійских снарядов трещали пулеметы и в их

торопливом — та-та-та — терялись, как щелканіе бича, отдѣльные винтовочные выстрѣлы.

Жестокая битва нарушала обычно мирную тишину величавых Галиційских гор и лѣсов и дѣлала самую природу участницей тяжелой человѣческой драмы — распри и ненависти. Здѣсь уже в теченіи цѣлой недѣли с ранняго утра и до поздней ночи шла кровавая борьба за обладаніе то одной, то другой горной возвышенности. За эти нѣсколько дней как будто измѣнился и стал неузнаваем самый лик этого кусочка земли: он почернѣл от дыма и огня, потускнѣл и было страшно жить на нем его обитателям — людям, животным и птицам. Не были счастливы и тѣ, кто нарушал величавый покой природы и ея тихую, нормальную жизнь. В гущѣ деревьев, ущелій и по склонам гор в безпорядкѣ валялись разбитыя военныя телѣги, двуколки, орудія, зарядные ящики и во многих мѣстах в странных и неестественных позах — трупы людей и лошадей. В воздухѣ гремѣл не только гул нѣмецких и русских орудій, но и стоял не-то стон, не-то вопль тѣх, кто был ранен и кому никто не мог помочь.

В хаосѣ этого постояннаго ужаса, разрушенія и смерти живые и еще здоровые люди и животныя могли найти временный отдых только тогда, когда наступала темнота. Но и этот отдых не был спокойным: всѣм казалось, что глаза врагов слѣдят за ними из темных впадин долин, высот гор, верхушек сосѣдних деревьев и самый лѣс пугает своей неестественной внезапной тишиной. Этой тишинѣ не вѣрили люди и к ней настороженно прислушивались лошади, вздрагивая при малѣйшем шорохѣ и звукѣ. И все же ночь была отдыхом, темнота покоем и всѣ радовались ей больше, чѣм дневному свѣту. Люди и животныя не радовались, когда яркіе солнечные лучи слали свой утренній привѣт землѣ, проникали в чащу лѣса и пробуждали к жизни страшную дѣйствительность, полную ужаса, крови и все новых и новых убійств. Так было изо дня в день.

Скакун, как и другія лошади, был доволен наступающей темнотой. Он стоял у пустой двуколки, привязанный к ея

колесу, вмѣстѣ со своим другом — рыжим мерином. Вокруг были другія лошади, но Скакун не обращал на них вниманія Он смотрѣл на стараго товарища и видимо был доволен его присутствіем, наступающей темнотой и тишиной. Смотря друг другу в глаза они как будто обмѣнивались взглядами и говорили: «Ну и денек же был! И когда же кончится это сумасшествіе?» Они оба были к тому же голодны и их томила жажда. Они знали, что с наступленіем полной темноты их поведут в глубину долины, гдѣ всегда весело журчит свѣтлый ручеек и, напившись, они могут пощипать жалкіе остатки полувыбитой, полувыщипанной травы или сорвать с деревьев нѣсколько вѣток с полузавядшими листьями. Они с нетерпѣніем ждали этого момента.

Скакун и рыжій мерин совсѣм не походили на тѣх прежних, бодрых и сытых коней, какими они были при выступленіи в поход. Они как будто стали меньше ростом, шерсть на них не лежала гладко, не лоснилась, а была шершавой, обтянутая кожа обнажала ребра и крестцы их полускрюченых корпусов.

Оба они покорно переносили тяжелые походы, битвы, стремительныя передвиженія из одного мѣста в другое или долгое и утомительное стояніе в глухих и диких горах. Грохот ежедневных сраженій, трупы убитых людей и лошадей, кровь и постоянное ощущеніе опасности притупили в них чувство страха, которым они были полны в первые дни своей фронтовой и боевой службы.

Скакун давно потерял всякое представленіе о времени и о мѣстах, которыя ему приходилось проходить, и потерял ощущеніе той радости, довольства и нетерпѣнія, с каким он всегда ожидал дня в прежнее, счастливое время. Но если он потерял многое из того, что переполняло в прежнее время его здоровое тѣло, то теперь, во время боевой страды, пріобрѣл особую чуткость в пониманіи связи своей жизни с жизнью хозяина. Рыжій мерин этого не пріобрѣл; он не имѣл хозяина с того времени, как его взяли из деревни, не довѣрял людям и не ждал от них ничего хорошаго. Не таков был Скакун, который имѣл добраго хозяина и был к нему привязан. Да и в

самой его природѣ, в характерѣ было что-то такое, что крѣпко связывало его с человѣческим міром. Обычно спокойный ко всему, даже к грохоту орудій, он становился нервным, когда хозяин оставлял его одного.

Днем Скакун всегда был осѣдлан и готов к выполненію своего долга и обязанностей, а как только наступали сумерки, с нетерпѣніем ждал ночи, когда хозяин сам снимет с него сѣдло, вытрет потныя плечи, спину, погладит и, главное, он услышит его ласковый голос. «Я вижу, что ты сильно исхудал, Скакун. Плохое дѣло война, братишка: голодно, и нѣт покоя. Но ничего, не горюй, терпи. Мы вѣдь с тобою солдаты, слуги родины. Понял? Ну-да война не может продолжаться вѣчно. Придет мир, вернемся мы домой, отдохнем и забудем об этом страшном времени. Только вернемся-ли?»

Скакун не понимал о чем говорит хозяин, но звуки его голоса будили в нем какую-то тревогу и, слыша грустныя человѣческія слова, он тянулся к хозяину, тыкал в его лицо влажным носом, смотрѣл на него своими большими темными глазами и как будто без слов говорил: «Все это не так страшно, хозяин, и мы с тобой не из пугливых, но вот очень ѣсть хочется, голоден я».

Хозяин знал, что Скакун голоден, но был безсилен ему помочь. Зато солдат, его бородатый друг, ухитрялся время от времени приносить ему охапки пожелтѣвшей травы, а иногда и настоящаго сѣна. Только это бывало рѣдко и мало, чтобы утолить голод. В походѣ и на фронтѣ Скакун научился понимать, что эти жалкія порціи принадлежат только ему, научился цѣнить и охранять их. Он прижимал уши и сердито скалил зубы, если какая-нибудь из лошадей поворачивала голову в его сторону, когда он ѣл. В голодных взглядах других лошадей — и даже своего друга рыжаго мерина — он видѣл попытку схватить то, что принадлежит ему. Скакун, никогда прежде не бывшій жадным, теперь стал ревниво относиться не только к каждому клочку травы, который он получал, но и к каждой отдѣльной травкѣ, лепестку или жесткой вѣткѣ. Голод научил

его как нужно бережливо ѣсть, подбирать губами с земли всѣ с'ѣдобные кусочки.

Днем, во время боя, он терял ощущеніе голода и только нервничал, когда хозяин оставлял его одного. Скакун не любил разставаться с ним даже на самое короткое время. В нем, как бы развивались предчувствіе и страх, что в их каждой недолгой даже разлукѣ может произойти что-нибудь непоправимое, что он может потерять хозяина. И когда тот возвращался, он начинал негромко, отрывисто и радостно ржать, словно говоря ему: «Не нравится мнѣ, хозяин, что ты уходишь от меня. Это вѣдь небезопасно. Ты бы лучше больше полагался на меня. Я хоть здорово похудѣл и ослабѣл, но мои ноги и спина достаточно крѣпки, чтобы вынести тебя из любой опасности». Скакун за время войны никогда не проявлял явнаго чувства страха и не впадал в панику, как другія лошади, не пріобрѣл даже пониманія, что такое храбрость. В нем развился инстинкт опасности. Он научился отличать непріятельскіе выстрѣлы от своих, по шороху опредѣлять друзей и врагов, по запаху кала вражеских лошадей. Его глаза не боялись темноты, а ноги, привыкшія в ранней юности ощущать таежныя тропы, помогали не сбиваться с дороги по ночам.

Скакун понимал, что хозяин и солдаты цѣнят эти качества в нем и старался оправдать их довѣріе. Это довѣріе он, казалось, особенно почувствовал послѣ одного случая, который он сам не мог ничѣм выдѣлить из своей ежедневной военной службы. Он только удивленно смотрѣл на солдат, которые, окружив его, гладили и говорили ему что-то ласковое. Он вообще любил вниманіе, но на этот раз его радостно возбуждала не только их ласка, но и то, что они давали ему клочки травы, сѣна, а нѣкоторые даже твердые черные сухари, которые вкусно хрустѣли на его крѣпких зубах. Особенно удивлял его хозяин: он тыкал в его нос тѣм же жестким предметом, тетрадкой, которой всегда махал перед его глазами в моменты возбужденія, и говорил непонятныя, но дружескія слова. «Скакун, ты у нас герой. Эх, как бы я хотѣл, чтобы ты понял мои слова! Твой чудесный инстинкт спас нас. Ты не повино-

вался даже мнѣ, когда я хотѣл заставить тебя пройти в брод рѣчку. Твое неповиновеніе помогло мнѣ понять, что ты предупреждаешь нас об опасности, невидимой и нечувствуемой нами. Если бы ты был таким же глупым, как другія лошади, как всѣ мы, то мы попали бы в засаду и были бы взяты в плѣн или перебиты. Тут, в этой тетрадкѣ отмѣчены твой разум и наша людская благодарность. Жаль только, что твое плечо задѣто пулей, но не бойся, наш доктор поможет тебѣ...».

Рана безпокоила его очень мало. Он только дрожал, когда какой-то человѣк, привѣтливо погладив его, стал чѣм-то колоть и причинять боль. Он готов был оказать ему сопротивленіе, но хозяин гладил его, успокаивал и давал понять, что все, что дѣлает этот незнакомый человѣк — это для его же блага. И послѣ того, как рана была очищена от грязи, промыта и смазана чѣм-то непріятно пахнувшим, Скакун почувствовал облегченіе. Ему только хотѣлось дотронуться до больного мѣста и почесать зубами, но хозяин и бородатый солдат слѣдили за ним, коротко привязывали, чтобы он не мог достать раны, и ему ничего не оставалось, как только переступать с ноги на ногу, чувствуя зуд, и недовольно мотать головой.

Рана зажила быстро и Скакун скоро забыл о ней. Людское вниманіе скрашивало тяжесть его существованія, приносило облегченіе и он иногда, казалось, хвастался этим перед своим другом — рыжим мерином.

Их дружба никогда не прекращалась, хотя они часто и подолгу не видѣли друг друга, но в ней не было больше таких проявленій нѣжности и радости при встрѣчѣ, как бывало раньше. Чаще всего они встрѣчались во время самых горячих боев, когда лошадей держали всѣх вмѣстѣ под прикрытіем какой-нибудь скалы, горы или лѣса. Все же Скакун первый негромко ржал и вмѣстѣ с привѣтствіем, как будто, спрашивал: «Ну, дружище, как поживаешь? Здоров-ли? Ты я вижу стал еще болѣе молчаливым и мрачным. Что с тобой?».

Рыжій мерин не ржал ему в отвѣт. Он только поворачивал голову в его сторону. В его взглядѣ замученнаго, голоднаго и разочарованнаго во всем скептика был как будто укориз-

ненный, молчаливый отвѣт: «Чего ты меня спрашиваешь? Развѣ не видишь, что я едва волоку ноги от голода и усталости. Еще хорошо, что пока жив. Сумрачен и молчалив? Да о чем я буду ржать? Неужели о том, что хотѣлось бы бѣжать отсюда куда глаза глядят? Это вот ты только остался неисправимым оптимистом, каким ты всегда был».

Скакун внѣшне крѣпился, всегда бодро привѣтствовал хозяина, но эта бодрость была неестественная. И все же этот обман поддерживал их дух в минуты самой большой опасности. И человѣк и животное — один разумом, а другой инстинктом, казалось, чувствовали приближеніе трагической развязки. Он словно понимал грустныя слова хозяина, который, гладя его, говорил: «Плохо наши дѣла, Скакун. Мы окружены врагами. Выход из этого окруженія — плѣн или смерть». Глухой голос человѣка, которому он был предан, его грусть, казалось проникали в сознаніе Скакуна. Он смотрѣл на него своими большими темными глазами и в них был свой молчаливый вопрос: «Неужели скоро придет конец их голоду, мукам и самой жизни».

И хотя Скакун смертельно устал, но инстинкт жизни в нем был силен. Он не хотѣл погибать: эта жизнь, хотя бы и плохая, была нужной и желанной.

Н. Калашников.

ЛЮБОВЬ К ИЛЬЮХѢ

Не помню точно, сколько мнѣ было лѣт, когда началась моя любовь к Ильюхѣ. Знаю только, что была я тогда почти ребенком, и что длилась эта любовь очень долго. Ильюха никогда не подозрѣвал о ней. Мнѣ кажется, что и теперь, если бы я встрѣтила его, я не была бы свободна от того непреодолимаго стѣсненія, которое я всегда испытывала в его присутствіи.

Каждое лѣто мы проводили в нашем имѣніи, а на зиму мой брат Саша и я уѣзжали учиться в гимназію в Смоленск.

В городѣ зимой, кромѣ школы, наши мысли больше всего занимал игрушечный магазин. Наши скромныя карманныя деньги мы цѣликом тратили там. Предварительно мы часами изучали витрину, и лишь приняв послѣ долгих обсужденій и споров окончательное рѣшеніе, заходили в магазин и пріобрѣтали там изумительныя вещи: кукольные сервизы свѣтло-коричневой глазури, плиту, совсѣм как настоящую, из раскрашенной жести, с набором кастрюль наперсточной емкости, зеркальный гардеробный шкаф, точеных из дерева лошадок с мочальной гривой, или почтовый ящик с рожком и бѣлым конвертом на крышкѣ, вид котораго уносил нашу фантазію в неопредѣленныя дали. Мое вліяніе на Сашу было очевидно: игрушки для дѣвочек преобладали.

На Рождество и на Пасху мы пріѣзжали домой в имѣніе. Мы заранѣе наслаждались мыслью о том, как наши товарищи, скотниковы дѣти, будут восторгаться всѣми этими диковинками.

Когда мы подросли, у нас появилось новое увлеченіе: Библіотека-Копѣйка, которая в тѣ годы издавала лучшія произведенія русских классиков. За одну копѣйку можно было

купить маленькую книжонку без переплета, но напечатанную хорошим, отчетливым шрифтом. Мы собрали не менѣе двухсот книжечек, и наша коллекція все разрасталась. Для нашей библіотеки мы составили каталог, и по пріѣздѣ в имѣніе об'явили дѣтям в округѣ, что просим их приходить и брать безплатно книги для чтенія.

На Пасху к нам пришла толпа ребят, почти за двѣ версты, из сосѣдней деревни Делюбовки.

Пасха в том году была поздняя и теплая. Озеро, взбухшее и потемнѣвшее, стояло высоко и напирало на плотину. Дороги уже просохли, но кой-гдѣ в ложбинках все еще лежали заплаты посѣрѣвшаго отходящаго снѣга. Кусты оживающей сирени наполняли палисадник новой весной. У берега озера, на длинной скамейкѣ, прислонившейся к изгороди палисадника, мы разложили свои богатства. Озерный вѣтер трепал пестрыя обложки. Русыя головы всѣх оттѣнков с любопытством наклонялись над книжками. Многоцвѣтным, многоглазым взглядом толпа дѣтей искоса разсматривала нас. Среди них ярче всѣх свѣтились васильково-синіе глаза бѣлоголовaго мальчика лѣт двѣнадцати, пришедшаго со своей сестрой. Это были Илья и Домна, Гвозденковы дѣти.

Мы хорошо знали их семью. Один из дядьев был юродивый Тит, высокій, сухощавый мужик, безобидный, нелѣпо улыбающійся и бормочущій что то себѣ под нос. Он часто появлялся у нас на плотинѣ, в холщевой длинной рубахѣ навыпуск, с высокой палкой в руках, всегда озабоченно торопясь куда то. Дѣл у него никаких не было, спѣшить ему по правдѣ было некуда, и мы поддразнивали его:

— Тит, запали-ка озеро.

Мы знали, что дома Титу живется неплохо, что его брат староста жалѣет его и всегда берет под свою защиту. Сам староста Наум был почтенный мужик, лучшій в округѣ рыболов и знаток нашего озера. Третій брат был сельским учителем, а четвертый, который прихрамывал, был отец Ильюхи; он выдѣлился из деревни и жил особняком.

В тот солнечный, теплый пасхальный день, выдавая книги,

я впервые увидала свѣтящіеся синіе глаза Ильюхи, и больше не забыла их.

Наша библіотека имѣла успѣх. Дѣти приходили каждое воскресенье. С особым нетерпѣніем я стала ждать прихода Ильюхи, и бывала разочарована, если он не являлся.

Больше всего мнѣ хотѣлось тогда быть вмѣстѣ с Ильюхой, купаться с ним в нашем озерѣ, ходить с ним по грибы и по ягоды, играть с ним в наши любимыя игры: в опуку-лапту и в палочку-стукалочку, которыми мы так увлекались, что обычно лишь темень разгоняла нашу ораву по домам.

Бывало, играя под вечер в горѣлки, и стоя в парѣ с одним из гостивших у нас двоюродных братьев или с кѣм либо из многочисленных сыновей нашей скотницы Василисы, при словах: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», — я досадовала, что убѣгая теперь по сумеречному лугу, чтобы соединиться со своей парой, я схвачу протянутую мнѣ, но не Ильюхину руку.

К моему огорченію, Ильюха не принадлежал ни к нашей дворнѣ, как скотниковы, кузнецовы или приказчиковы дѣти, ни к дѣтям сосѣдей помѣщиков. Я же была «барышня-Вольгеш», как меня по смоленски звали, и несмотря на близкое сосѣдство, мы оставались далеко врозь.

Не находя выхода, в неясной для меня самой тоскѣ, я часто уходила по большой аллеѣ до конца парка, раскинувшагося по берегу нашего большого озера, и сворачивала через фруктовый сад в сторону делюбовской дороги. Отсюда виден был небольшой хутор Гвозденков и их одинокая изба у опушки лѣса.

С книжкой в руках я садилась на пень у изгороди и подолгу просиживала там, не читая. Я не отдавала себѣ отчета, почему меня тянуло именно в этот отдаленный угол сада, но мои одинокія прогулки продолжались из года в год, в теченіе многих лѣт.

Ходить без дѣла на Гвозденков хутор я стѣснялась. Частыя появленія там барышни Вольгеш показались бы всѣм странными и неумѣстными.

Предлог найти было нелегко. Лишь нѣсколько раз за все лѣто, когда моя двоюродная сестра Феня гостила у нас, я уводила ее гулять по делюбовской дорогѣ и как бы невзначай говорила ей:

— Не зайти ли нам навѣстить Гвозденков?

Мы заходили на хутор, гдѣ заставали мать и мою сверстницу Домну, но Ильюха уже тогда был за работой, подпаском. Через год-два он подрос и уже шел за плугом. Проходя мимо и увидав его издали на пашнѣ, мы здоровались с ним. В избѣ, разговаривая с Домной, я втайнѣ поджидала, не придет ли Ильюха. Но обыкновенно он возвращался с работы лишь когда мы уже собирались уходить во свояси. Усталый и потный, он не был столь привлекателен, как в моем воображеніи. С годами его волосы выцвѣли и развились, лицо огрубѣло. Но васильковые глаза и моя любовь к нему остались все тѣ же.

Однажды, когда мы сидѣли у них на заваленкѣ, Домна сказала нам, что в этом году в Полуевском лѣсу уродилось очень много орѣхов; они собираются туда в слѣдующее воскресенье и спросила, не хотим ли мы пойти вмѣстѣ с ними.

Я тихо обрадовалась рѣдкому случаю провести пол дня вмѣстѣ с Ильюхой. Мы обѣщали придти сейчас же послѣ обѣда. Я уже видѣла себя идущей рядом с Ильюхой по лѣсным просѣкам, вдвоем с ним весело опустошающей отяжелѣвшія от изобилія орѣшины, слышала пѣсни, которыя мы затянем, шагая с полными лукошками домой.

В то воскресенье, котораго я с таким нетерпѣніем ждала, мой отец не в добрый час неожиданно сказал мнѣ:

— Олинька, я ѣду сейчас в Стодолище. Хочешь поѣхать со мной? Мы вернемся к обѣду.

Я очень любила ѣздить с отцом в его рессорном шарабанѣ, красѣ нашего каретнаго двора. И если папа бывал в хорошем настроеніи, он передавал мнѣ возжи и позволял править карим Линьком, самой затѣйливой лошадью в станкѣ.

Предложеніе было необычайно заманчиво. Было раннее утро, и я довѣрчиво поѣхала.

В Стодолищѣ отец завез меня к теткѣ, матери Фени, и ушел по дѣлам, сказав, что через час вернется.

Час прошел, но он не являлся. Полная безпокойства, я все еще стойко держалась. Но когда прошел еще час, а отец все еще не возвращался, мое волненіе начало расти. Мнѣ становилось ясно, что мы не вернемся во время, что моя мечта пойти с Ильюхой за орѣхами не осуществится. Я не могла больше сдержать рыданій. Запершись в Фениной комнатѣ, я бросилась на ея постель и уткнувшись лицом в подушку безутѣшно плакала.

Вернувшись, отец испугался увидѣв мое опухшее от слез лицо. Он не мог понять причины и удивленно спрашивал меня, в чем дѣло. Я не давала отвѣта. Гдѣ могла я тогда найти слова, чтобы об'яснить моему взрослому отцу свое дѣтское горе?

Потерявши дорогую надежду, совершенно разбитая, я молча просидѣла рядом с отцом всю дорогу домой. В этот день я как бы исчерпала предѣльную горечь разочарованія. И никакая боль в дальнѣйшей жизни не могла сравниться с тѣм отчаяньем, пережитым мной на Фениной постели, и превзойти покорной тоски, испытанной мной по дорогѣ домой.

В серединѣ августа, когда кленовые листья начинали шуршать под ногами на дорожках сада, я покидала Хохловку и как будто оставляла там свою печаль.

Зимой в Смоленскѣ начиналась обычная гимназическая жизнь, школьные балы, танцы и ухаживанье. Я все это очень любила, на балах много танцовала и веселилась. Казалось, я забывала Хохловку и вмѣстѣ с ней Ильюху. Но весной, в концѣ мая, я возвращалась домой, и все снова оживало, и все становилось по прежнему, как в прошлом году, как из году в год.

О моей безрадостной любви к Ильюхѣ у меня осталось лишь одно радостное воспоминаніе.

По праздникам в нашей округѣ молодежь гурьбой шла на гулянье. Дѣвки рядились в вынутые из сундуков праздничные сарафаны. В бусах, лентах, пестрых платках, неся башмаки в руках, онѣ шли впереди и заливались пѣснями.

Ах ты, Ваня, куда ѣдишь,
Уѣзджаешь от миня,
Оставляишь, покидаишь
Миня, Дуничку, одну.

Парни в начищенных сапогах и широко расшитых косоворотках слѣдовали за ними с гармоникой. Они отвѣчали дѣвкам частушкой, завезенной с донецких шахт:

— Ах, хороша наша диревня,
Только вулица грязна,
Дай хороши наши рибята,
Только славушка худа.
Пирякину кирпячину
Чириз быстрый ручяек,
Пагуляю, дѣвки, с вами
Я паслѣдній вичярок.

Часто эта веселая, пестрая толпа останавливалась у нас на плотинѣ и начинались пляски.

Под разными предлогами я старалась не принимать участія в воскресных развлеченіях нашей семьи и гостей. Прогулки верхом, пикники на лодках, крокетныя партіи, — ничто не подкупало меня. По праздникам я поджидала появленія «деревенских». Встав на перила балкона и держась за колонну, я подолгу высматривала их, надѣясь, что Бог поможет и на этот раз это будут делюбовскіе. Но бывало, послѣ шумнаго от'езда домашних, оставшись одна в опустѣвшем домѣ, я бродила в ожиданіи, без увѣренности увидѣть Ильюху, и как часто разочарованіе ожидало меня.

В то счастливое воскресенье Бог помог, и это были делюбовскіе. Замѣтив приближающуюся по дорогѣ, пестрѣющую на солнцѣ, брякающую, гукающую ораву, я выбѣжала навстрѣчу.

Родители недолюбливали шумныя деревенскія празднества у себя на усадьбѣ. Но все же, набравшись смѣлости, я сказала пришедшим:

— Пойдем, попляшем на крокетной площадкѣ.

— Ладно, барышня Вольгеш!

И мы отправились в парк.

Окруженная тѣнистыми липами, сквозь которыя кишь изрѣдка внезапным залпом лучей пробивалось солнце, наша крокетная площадка, гордость наша, с утоптанной, черной как японскій лак землей, была лучше всякаго танцовальнаго паркета.

Вся усадьба, привлеченная музыкой, собралась поглядѣть. Экономка Федоровна, в своей праздничной фисташковой кофточкѣ, скотница Василиса с послѣдним выводком сыновей, приземистый, рыжебородый кучер Софрон со своей щупленькой, сѣренькой женой Агафеной и другіе с дворни, с намасленными проборами и в начищенных сапогах, всѣ нашлись и стали кругом.

Молчаливый, застѣнчивый Ильюха движеніем головы позвал меня плясать с ним русскую. Я вся загорѣлась. Я была очень смущена и очень счастлива.

Как водится, не поднимая глаз и помахивая платочком, я вышла, плавно отбивая знакомые шажки. Пляска наростала, земля пощелкивала. Моя кубовая юбка развѣвалась, красные сафьяновые сапожки постукивали, бусы позвякивали, глаза веселились. Ильюха был прекрасным танцором. Он оживился, бѣлокурый чуб его растрепался, и я любовалась им. Мы плясали до темноты. Но и тогда мы не обмѣнялись ни одним словом.

Этот день был единственным свѣтлым вкладом в моей безрадостной, безысходной любви к Ильюхѣ.

Нѣсколько лѣт спустя, я пріѣхала домой на Рождество. Меня, как всегда, потянуло к Гвозденкову хутору. Но на этот раз я не пошла туда. Я знала, что мать Ильюхи померла, Домна вышла замуж, а к самому Ильюхѣ я никогда в гости не ходила.

Синими сумерками короткаго декабрьскаго дня я пошла к его дядѣ учителю. Он разсказал мнѣ, что Ильюха женился, что он несчастлив с женой, и плохо с ней живет. Теперь его нѣт на хуторѣ, он в солдатах на войнѣ.

Это было послѣднее, что я слыхала о нем. Вернулся ли Ильюха в свою деревню, пережил ли он войну? Я не знаю.

Революція заставила нас покинуть родныя мѣста.

Уже на чужбинѣ, послѣ долгой разлуки, Саша пріѣхал ко мнѣ. И снова мы были так же дружны, как тѣ приготовишки, которые часами обсуждали витрину игрушечнаго магазина. Снова мы вели безконечные разговоры, но темы были другія. А когда нам хотѣлось отдохнуть от дѣйствительности и порадовать душу, мы возвращались к Хохловкѣ, перебирая всѣ мелочи. Казалось, будто ничего печальнаго и непріятнаго не происходило там: о чем бы мы ни начинали, все вызывало у нас безудержный смѣх.

— А помнишь воскресшую лошадь на глинокопѣ?

— А скотникова Лешку, который десять дней потихоньку умирал на лежанкѣ в кухнѣ, только воду пил, и так же тихо снова ожил?

— А как Софрон все слѣзал с саней и кутал нас в полость, и чѣм больше выпивал, тѣм больше кутал, и казалось, мы никогда не доѣдем до дому?

Но и тогда ни слова не было сказано об Ильюхѣ.

Однажды в Римѣ, гдѣ мы были одни, совсѣм вдвоем, в одно воскресное послѣобѣда мы попали в старый парк.

Мы шли по утоптанным, черным как лак дорожкам, среди тяжелых, тѣнистых южных деревьев, и все вокруг внезапно напомнило и близко придвинуло тот, другой, далекій парк дѣтства.

Снова поднялась и заныла внутри старая, скрытая жалоба, и на этот раз я прямо спросила:

— Саша, а помнишь ты Ильюху?

— Какого это?

— Да того Гвозденкова сына, с хутора?

— Нѣт, не помню.

— А ты забыл, как мы отплясывали на крокетной площадкѣ?

— Ах, ты думаешь, этот бѣлесый, с кривыми ногами.

И я, готовая было разсказать брату столько лѣт затаенную и теперь почти забытую тайну, снова замолкла.

Но если я когда либо вернусь домой, к большому озеру, я может быть снова увижу Ильюху. Я не найду больше нашего сѣрого дома с рѣзными балконами, я слыхала, он сгорѣл. Возможно, что наша старая, сонливая мельница получила наконец свою турбину, о которой папа всегда мечтал, не раз говоря:

— Вот, Олинька, выростешь, получишь свою долю, тогда найди себѣ жениха, который поставит турбину на твою мельницу.

Но рѣченка, убѣгающая от мельницы к глинокопу, навѣрное все та же. Незамедля я пойду по вырубленному парку к делюбовской дорогѣ, поглядѣть, стоит ли еще Гвозденков хутор. Я буду внимательно всматриваться во встрѣчных. Но на этот раз не среди бѣлокурых голов, а среди посѣдѣвших я буду искать знакомый взгляд синих глаз, теперь усталых от жизни.

Ольга Жигалова.

ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА

1.

«Отведите, но только не бросьте!
Это — люди; им жалко Москвы.
Позаботьтесь об этом прохвостѣ:
он когда-то был ангел как вы.
И подайте крыло Никанору,
Аврааму, Владиміру, Льву —
смерду, князю, предателю, вору:
ils furent des anges comme vous.
Всю ораву — ужасныя выи
стариков у чужого огня —
господа, господа голубые,
пожалѣйте вы ради меня!

2.

От кочующих, праздно плутающих
уползаю — и вот привстаю,
и уже я лечу, и на тающих
рифмы нѣт в моем новом раю.
Потому-то я вправѣ по чину
к вам, бряцая, в палаты войти.
Хорошо. Понимаю причину, —
но их надо, их надо спасти!
Хоть бы вы призадумались, — хоть бы
согласились взглянуть... А пока
остаюсь с привидѣніем (подпись
неразборчива: ночь, облака)».

3.

Так он думал без воли, без вѣса,
сам в себя, как наслѣдник, летя.
Ночь дышала: вздувалась завѣса,
облакам облаками платя.
Стул. На стулѣ он сам. На постели
снова — он. В безднѣ зеркала — он.
Он — в углу, он — в полу, он — у цѣли,
он в себѣ, он в себѣ, он спасен.

4.

А теперь мы начнем. Жил в Парижѣ,
в пятом домѣ по рю Пьер Лоти,
нѣкто Вульф, худощавый и рыжій
инженер лѣт пятидесяти.
А под ним — мой герой: тот писатель,
о котором писал я не раз,
мой пріятель, мой работодатель...

5.

Посмотрѣв на часы — и сквозь час
дно и камушки мельком увидя,
он одѣлся и вышел. Ў нас
это дно называлось: Овидій
откормлен (от Carmina). Муть
и комки в головѣ послѣ черной
стихотворной работы. Чуть-чуть
моросит, и над улицей черной
без звѣздинки муругая муть.
Но поэмы не будет: нам некуда
с ним итти. По ночам он гулял.
Не любил он ходить к человѣку,
а хорошаго звѣря не знал.

6.

С этим камнем ночным породниться,
пить извощичье это вино...
Трясогузками ходят блудницы,
и на русском Парнасѣ темно.
Вымирают косматые мамонты,
чуть жива красноглазая мышь.
Бродят отзвуки лиры безграмотной:
с кандачка переход на Буль-Миш, —
с полурусскаго, полузабытаго
переход на подобье арго.
Бродит боль позвонка перебитаго
в черных дебрях Бульвар Араго.
Вѣдь послѣдняя капля Россіи
уже высохла! Будет, пойдем!
но еще подписаться мы силимся
кривоклювым почтамтским пером.

7.

Чуден ночью Париж сухопарый...
Чу! Под сводами черных аркад,
гдѣ стѣна как скала, писсуары
за щитами своими журчат.
Есть судьба и альпійское нѣчто
в этом плескѣ пустынном... Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.
А мосты... Это счастье навѣки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки
— и оранжевые фонари.
А вверху... Там неважныя вещи.
Без конца. Без конца. Только муть.
Мертвый в омутѣ мѣсяц мерещится.

Неужели я тоже? Забудь.
Смерть еще далека (послѣзавтра я
все продумаю...), но иногда
сердцу хочется «автора, автора!».
В залѣ автора нѣт, господа.

8.

И покуда глядѣл он на мѣсяц,
синеватый как кровоподтек,
раздался, гдѣ-то в дальнем предмѣстіи,
паровозный щемящій свисток.
Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:
лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.
И борьба показалась запутанной,
безысходной... Я, черная мгла,
я, огни, и вот эта минута —
и вот эта минута прошла.
Но как знать — может быть безконечно
драгоцѣнна она, и потом
пожалѣю, что безчеловѣчно
обошелся я с этим листом.
Что-нибудь мнѣ быть может напѣли
эти камни и дальній свисток...
И пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.

9.

В этой жизни, богатой узорами
(— неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театрѣ дана),

я почел бы за лучшее счастье
так сложить ея дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящаго
на былое — на прежній узор;
чтоб опять очутиться мнѣ — о, не
в общем мѣстѣ хотѣній таких,
не на картѣ Россіи, не в лонѣ
ностальгических неразберих —
но с далеким найдя соотвѣтствіе,
очутиться в началѣ пути,
наклониться — и в собственном дѣтствѣ
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожнаго
громогласнаго міра опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окнѣ,
по их зелени преувеличенной,
и по солнцу на мнѣ и во мнѣ,
и по бѣлым гигантам в лазури,
что стремятся ко мнѣ напрямик,
по сверканью, по мощи — прищуриться
и узнать свой сегодняшній миг.

В. Набоков-Сирин.

РОДИНА

Я вернусь, как ни была б далеко,
Я к тебѣ найду обратный путь,
Перепутанныя тропки рока
Я домой сумѣю повернуть.

Много я в скитаніях узнала, —
Для тебя всѣ знанья сберегу.
Буду строить жизнь свою сначала
На твоем далеком берегу.

Тяжело бывало мнѣ порою,
Часто крест мнѣ был не по плечу,
Но к тебѣ вернувшись — раны скрою,
Лишь тогда в калитку постучу.

Поскорѣй прійти б к твоим воротам,
Увидать знакомые края.
Ты всю жизнь была моим оплотом,
Золотая родина моя.

Елена Антонова.

* * *

Разучилась совсѣм обращаться я к Богу,
Говорить ли на «Вы», иль по русски на «Ты»?
Выхожу одиноко на чужую дорогу
И бросаю пригоршней былыя мечты.

Подхожу я к березѣ в тоскѣ неизмѣнной,
«Ты навѣрное помнишь меня? — я своя...»
Но качает береза верхушкой надменной,
Свое русское прошлое зорко храня.

Пробѣжал чистый кот по дорогѣ умытой
В дѣловой, иностранно-увѣренной спѣшкѣ.
И в душѣ, словно градом тоскою избитой,
Шевельнулась послѣдняя капля насмѣшки.

Вижу я вереницы таких же усталых,
Что стремились, как моль, на сверканье огней,
И в потухших глазах и чертах лица впалых
Нѣт уж больше задора прежних, радостных дней.

С той скамейкой лѣсной, гдѣ читали романы,
И гдѣ приняли губы поцѣлуй в первый раз
Испарится пусть прошлое блѣдным туманом
От чужих и холодно-насмѣшливых глаз.

Надежда Веббер

ВСТРѢЧНЫЙ ПОѢЗД

Далекій гул и грохот приближенья,
Два ярких глаза, вспыхнувших на миг,
И стон, и лязг, и вѣтер, и круженье
Горящих искр, что бросил паровик.

Не уловить, не задержать момента!
Твой поѣзд уже еле виден нам.
Слѣд нашей встрѣчи — в небѣ дыма ленты
По разным развитыя сторонам!

К. Иждина

* * *

Вот ты ушла, и снова все так тускло,
Проходят дни уныло, неспѣша.
Вступила жизнь в обыденное русло,
В ней смысла нѣт, в ней умерла душа.

А я, в углу забытая игрушка,
Облек весь мір в печали мрачный флёр,
И плачу я над маленькой подушкой,
Хранящей свято запах "Quelques fleurs".

С. Л. Кучеров.

В КАБАЧКѢ

Пусть тебя я почти и не знаю,
Но с тобой мнѣ свѣтло и легко.
Гдѣ-то в небѣ звѣзды сіяют
Упоительно далеко.

В Прагѣ пахнет войной и тревогой,
Рядом радіо вѣщает — о чем?
И такою грустной и строгой
Ты со сною сидишь за столом.

Не грусти, позабудь и не думай,
Ты же вѣришь, что жизнь хороша.
Сквозь всѣ бѣды, тревоги и шумы
На лету, не дыша и спѣша,
Прорывается к Богу душа.

Прага, 1938.

1940

Мы — под властью знаков и чисел.
Мы не знаем, куда наш путь.
В голубыя звѣзныя выси
Не осмѣливаемся взглянуть.

Приклоняясь к землѣ, не слышим
Потаённаго тока вод.
Острым слухом ловим над крышей
Неумолчно-зловѣщій лет.

И за терпким запахом гари,
Через весь этот смрад и тлѣн,
Чаем знаменій в свѣтѣ зарев,
В перекличкѣ ночных сирен.

И, провидя высокій жребій,
В темнотѣ осенних ночей,
Вдруг увидим в безлунном небѣ
Перекрестный узор мечей.

Это ангел Божій отмѣтил
Голубым крестом небосвод.
На разсвѣтѣ Господень пѣтел
Возвѣстит золотой восход.

Лондон. Глѣб Струве.

О ГРАНИЦАХ И О ПРОЧЕМ

Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты.

Александр Блок.

Перелом войны произошел: побѣда обезпечена. Из Тегерана президент Рузвельт, Винстон Черчиль и маршал Сталин раз'ѣхались, по их словам, «друзьями в дѣйствіях, в духѣ и в цѣлях».

Но предстоят еще жестокіе бои на европейском Западѣ. Еще не началось долгожданное вторженіе. Еще не видно, когда обозначится начало конца войны в Тихом Океанѣ. Еще льет с расточительной щедростью кровь и слезы несчетных милліонов Россія, спасая не только себя...

Одним словом, еще идет апокалиптическій бой; еще не пришло время, когда считать мы станем раны, товарищей считать, т. е. подводить под красной чертой крови итог нынѣшней вселенской катастрофѣ. А между тѣм стратеги «в креслах» уже говорят о «третьей міровой войнѣ»! С кѣм? По какому поводу?

Отвѣты на эти вопросы можно отыскать во многих статьях и рѣчах. Наиболѣе полно они даны в недавно вышедшей на англійском языкѣ книгѣ Д. Ю. Далина «Россія и Европа послѣ войны».

Оказывается, что третья міровая война будет плодом ненасытнаго русскаго имперіализма. Покойный Масарик еще в 1915 году сказал: Слѣдующей войной, вѣроятно, будет война Англіи и Германіи с Россіей. Если бы императорская Россія не свалилась в пропасть (добывая честно побѣду для себя и для всѣх союзников, добавлю я), то союзники послѣ побѣды обратили бы, неизбѣжно, против нея свое оружіе. В подтвержденіе этого приводится карта земельных и прочих вождѣленій Россіи в ту войну, на которыя по военной необходимости должны были соглашаться западные союзники.

Но автор не напечатал рядом и карты с соотвѣтствующими «имперіалистическими» планами Англіи, Франціи и Италіи.

Исчезновеніе имперіторской Россіи никак на этих планах не отразилось. Послѣ революціи демократическое Временное Правительство наткнулось на упорный и раздраженный отказ, когда предложило пересмотрѣть всѣм союзникам сообща цѣли войны, само приняв вильсоновскую программу мира до Вильсона. А послѣ капитуляціи Германіи, самое Россію побѣдители стали дѣлить на сферы вліянія. «И об одеждах ея метали жребій» Жорж Клемансо и лорд Милнер в декабрѣ 1917 года...

Тоталитарная Москва, по мнѣнію Далина, идет сейчас по пути императорскаго С.-Петербурга. Возврат на берега Балтійскаго моря, на линію Керзона только начало.

По крылатой фразѣ другого публициста Г. П. Федотова скоро «топот татарских коней... евразійской кнуто-монгольской имперіи» раздастся за Вислой, на Балканах, на берегах Средиземнаго моря, и тогда встанет на очередь третья война!

«Она не вспыхнет обязательно сейчас же послѣ побѣды (над Германіей), — пишет Д. Ю. Далин. — Совѣтское правительство не пожалѣет никаких усилій для того, чтобы избѣжать серьезнаго и рѣшительнаго столкновенія с англо-американским союзом... Но напряженіе будет все наростать, и Совѣтскій Союз очутится перед величайшей с самого дня своего основанія опасностью. Москва назовет это наступленіем капиталистическаго міра на страну соціализма. На самом дѣлѣ это будет естественной реакціей Европы на натиск с Востока; на натиск тѣм болѣе страшный, что русское продвиженіе на этот раз будет чревато угрозой экономических экспропріацій и своеобразных политических репрессій».

Избѣжать третьей міровой катастрофы можно, по мнѣнію автора, только одним путем. — «Возможно, — пишет он, — что захватническая политика (Москвы) вызовет не немедленную войну, а созданіе в Европѣ могущественных государств, способных играть роль противовѣса. Если Германія будет лежать в развалинах, примут особыя мѣры для того, чтобы вернуть ее к жизни. Из обломков Австро-Венгріи спаяют значительное государство. Франція станет снова первоклассной военной державой».

В цѣпи этого новаго санитарнаго кордона (по автору — «окруженія») может оказаться «англо-германскій союз, самое опасное сочетаніе, с каким только может столкнуться Россія».

Я привел эту длинную выдержку из книги «Россія и Европа послѣ войны», потому что она характерна для настроенія нѣкоторых русских и иностранных кругов.

Так Фридрих Штампфер, один из самых благородных и

свободолюбивых представителей своего народа в изгнаніи, смѣло идет навстрѣчу начавшейся на Западѣ переоцѣнкѣ роли послѣ-гитлеровской Германіи в Европѣ («Нью Лидер», 15 января 1944 г.). Он демократ и соціалист, но прежде всего он германскій патріот. Он безпощаден к нацизму, но прикрывает перед чужеземным взором наготу своей матери-Германіи. Ибо он знает, что нацизм, как сказал недавно сам Гитлер, рожден первой міровой войной (не так ли и большевизм? спрошу я). Он увѣрен, что послѣ второй войны гитлеровская язва исчезнет. И тогда Германія примет на себя высокую миссію защиты запада от топота татарских коней.

Конечно, Штампфер так откровенно о Россіи не пишет. Он осторожен: до капитуляціи Гитлера «союз с Россіей неизбѣжен и необходим». Он отлучает Россію от Европы элегантным пріемом: противупоставленіем Россіи — «націям Европы, которыя от Польши до Португаліи — не исключая чехов — принадлежат к западной культурѣ и демократіи». Всѣ эти высоко-культурныя націи и должны сдѣлаться «противовѣсом», новым кордоном...

*
**

Довольно! Я не «ванзитартист»: призывы к растерзанію цѣлаго народа за злодѣянія, совершенныя какой-то, пусть огромной его частью, считаю не только великим грѣхом, но и тяжкой политической ошибкой. Однако, всему есть мѣра, а глубина паденія Германіи — и с ней не всей ли «Европы»? — с высот культурнаго первородства так безмѣрна, что от легенды о качественном превосходствѣ культуры «от Польши до Португаліи» над культурой от Буга до Тихаго океана ничего не осталось. Духовные рубежи стерты. Всякій тоталитаризм, отрицающій свободу и святость человѣческой личности, находит всюду несмѣтныя толпы поклонников, и на Западѣ их не меньше, чѣм на Востокѣ.

Тоталитарный нацизм в болѣзненно-извращенном видѣ раскрыл издавна таившуюся в сознаніи германскаго народа (по наслѣдству от римской имперіи) мечту о міровом господствѣ. Тоталитарный большевизм в болѣзненно-извращенном видѣ раскрыл издавна таившуюся в сознаніи русскаго народа (по наслѣдству от христіанства) мечту о вселенском братствѣ людей. В Берлинѣ третій Райх был третьим Римом меча. В Москвѣ — третій Интернаціонал был третьим Римом духа.

Послѣднее звучит кощунственно, но это так. На Западѣ московскій соблазн переживет соблазн берлинскій только по-

тому, что в нем звучат обертоны русской духовной культуры. Нужно помнить, что русскій народ никогда не страдал расовым самообожаніем, в нем никогда не было похоти к міровому владычеству, но вѣчная тоска по Граду Китежу, граду невидимому, к правдѣ и истинѣ преображеннаго міра.

Воля к свободному преображенію міра враждебна волѣ к преодолѣнію міра мечом. Поэтому будет невозможно во имя каких либо міровых насильственных цѣлей превратить изумительную оборону Россіи в новый гитлеровскій погром Европы, пропахать Европу русским танком.

Конечно, это вовсе не значит, что правящая Москва не имѣет никаких міровых цѣлей по партійной линіи. Имѣет и никакого секрета из этого не дѣлает. Она логично разсуждает, что иностранцы, помогая, напримѣр, т. Тито знают, кому помогают.

Но вот вопрос, можно ли в т. Тито видѣть авангард казачьей конницы и на этом основаніи разоблачать планы русскаго имперіализма? Думаю, что нѣт. Во всяком случаѣ, нам, русским, не слѣд помогать кому бы то ни было взваливать тяжкую коммунистическую поклажу на русскія плечи, которыя и так гнутся под непосильным бременем искупительной войны.

*
**

Мы, считающіе оборонительную войну Россіи, по слову Г. П. Федотова («За Свободу», декабрь 1943 г.), праведной, а партійныя цѣли Кремля — неправедными, мы должны оставаться с Россіей не только на полѣ брани, но и поддерживать ея интересы в д и п л о м а т и ч е с к о й борьбѣ. А для того, чтобы нести сторожевую службу на этом поприщѣ, мы должны дать самим себѣ отчет, в чем заключаются в этой войнѣ цѣли Россіи, которыя мы должны защищать, и гдѣ начинается партійная «міровая политика», Россіи чуждая и вредная, против которой надо бороться.

Оставим в сторонѣ всѣ отвлеченныя идеалистическія цѣли войны. Эта музыка будущаго вдохновляет многих политиков, как в старину возбуждал боевой марш шедшій на приступ полк. Теперь штурмуют без музыки. Посмотрим же, тоже без музыки, на то, что происходит не в идеальном, а в реальном мірѣ.

Четыре года войны не прошли даром. Начавшись с малой, европейской, она послѣ вторженія Гитлера в Россію и Жемчужной Гавани превратилась в предсказанную многими еще

двадцать лѣт назад вторую міровую катастрофу. С самаго начала второй войны провозглашались очередныя ея идеальныя цѣли. С каждой новой стадіей ея идеальныя цѣли блѣднѣли, зато практическія задачи становились все болѣе земными и неограниченными. Теперь, на послѣдней ступени, уже не перед демократіями, а перед четырьмя великими «опекунами міра» — Соединенными Штатами, СССР, Британской имперіей и Китаем — поставлена небывалая задача: передѣлать и передѣлить весь земной шар! Исход этого передѣла предрѣшит судьбы уже не только малых, а великих государств на цѣлые вѣка. Вокруг него идет сейчас напряженная борьба, только отголоски которой проскальзывают на страницы печати.

Борьба эта понятна: огромное наслѣдство трех уничтожаемых имперій остается выморочным. Ему надо найти новых хозяев. Борьба эта понятна потому, что побѣждающія великія державы, опекуны этого наслѣдства, прежде всего обязаны блюсти государственные интересы своих собственных стран и обезпечить свои границы от возможных новых международных столкновеній, от той самой третьей войны, о которой теперь так легко и неосторожно многіе разсуждают.

Мнѣ кажется, что г. Самнер Уэлс, недавній помощник министра иностранных дѣл Соединенных Штатов, которого никак нельзя заподозрѣть в старомодном имперіализмѣ, точно опредѣлил на примѣрѣ своей родины коренную цѣль каждой из великих держав в этой войнѣ.

В своей рѣчи 16 октября 1943 г. он настаивал на немедленном соглашеніи или «временном союзѣ четырех наиболѣе могущественных в военном отношеніи держав среди об'единенных націй» — Соединенных Штатов, Британіи, СССР и Китая — на все переходное время от войны до будущей постоянной организаціи мира. Однако, оратор для участія Соединенных Штатов в этом «временном союзѣ» поставил нѣкоторыя условія, среди которых главным было: о б е з п е ч е н і е ж и з н е н н ы х и н т е р е с о в С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в. — «Каковы, пользуясь словами Пальмерстона, вѣчные и неизмѣнные интересы Соединенных Штатов? — спрашивает оратор и отвѣчает: — «Соединенные Штаты должны быть ограждены от всякой угрозы новых удачных нападеній какой-либо державы или какого-либо сочетанія держав».

В ѣ ч н ы й и н е и з м ѣ н н ы й и н т е р е с Р о с с і и с о в е р ш е н н о т о т ж е с а м ы й: послѣ безчисленнаго количества нападеній и вторженій в теченіе ея долгой и трагической исторіи Россія должна быть, наконец, обезпечена от

угрозы новаго нападенія со стороны коалиціи каких бы то ни было держав.

В этом праведная, справедливая цѣль Россіи в этой войнѣ.

Эта цѣль оборонительная и возстановительная. «В этой войнѣ Россія имѣет свои особые интересы, — пишет в своей послѣдней статьѣ покойный П. Н. Милюков.—Они связаны с вопросом о территоріях прежней Россійской имперіи на ея западных границах — тѣх территорій, которыя были потеряны в тот момент, когда большевики овладѣли властью» («Новый Журнал», кн. VI-я).

Послѣ опыта гитлеровскаго вторженія, которое так остро поставило перед русским сознаніем государственные и національные вопросы, нельзя убѣдить ни одного солдата и офицера, рабочаго или инженера, крестьянина или интеллигента внутри Россіи в том, что возстановленіе здоровых стратегических границ есть акт имперіализма.

***

Против возстановительных цѣлей, которыя в этой войнѣ исторія поставила перед Россіей, — и в иностранной средѣ и в русской эмиграціи слышатся горячія и раздраженныя возраженія.

Первое — самое вѣское — возраженіе моральнаго характера. — Если бы Россія была свободной демократической страной, никто бы не протестовал против новых границ СССР. Но «мы не можем примириться с тѣм, что нѣсколько милліонов людей, привыкших к свободѣ, окажутся в безсрочном распоряженіи коммунистической власти». Кто же с этим может примириться?! Только наша непримиримость никакого отношенія к границам СССР не имѣет. Формальная независимость, скажем, Эстоніи никак бы не предохранила ее от так называемой совѣтизаціи. Для этой цѣли Сталину было бы даже выгоднѣе, помогая мѣстным коммунистам, не портить своих отношеній с Западом, вызывая призрак «русскаго имперіализма». Вообще, не нужно забывать, что по партійной линіи Кремль н Европѣ работает с мѣстными людьми. И не вина Россіи, что этих мѣстных людей слишком много. Из за этой болѣзни всей современной культуры Россія не может жертвовать своими неизмѣнными интересами.

Второе возраженіе опирается на авторитет Ленина времен его брест-литовскаго паденія. — Не стоит вспоминать, с какой беззаботностью тогда он, стремясь разжечь как можно скорѣе,

міровую революцію, разбрасывал направо и налѣво куски русских земель, раздавал врагам Россіи всѣ стратегическія границы от Выборга и Монзундских позицій до Карса. Вѣдь не из за соціальных реформ, хотя бы самых крайних, рвали тогда с большевиками лѣвѣйшіе представители «революціонной демократіи», а именно из за этого разбазариванія Россіи. А теперь говорят о «формальном и безвозвратном отказѣ совѣтскаго правительства от своих исторических прав по отношенію ко всѣм бывшим россійским территоріям». Но какое же право имѣло ленинское правительство отказываться от чужих прав? Россія то, вѣдь, не была собственностью большевистской партіи и никакіе отказы случайных диктаторов исторических прав государства не отмѣняют. И потом развѣ Франція не отказалась в 1870 году формально и безвозвратно от Эльзаса и Лотарингіи? А вѣдь отказ Франціи был не только формальный, но и утвержденный свободно выбранным народным представительством. Вѣроятно, я совершенно безнадежный «имперіалист», ибо не могу понять, как можно так легко и скоро забыть то, что незабываемо!

Третье возраженіе, так сказать, поучительнаго и нѣсколько деликатнаго характера. Приходится писать в чужой, хотя и гостепріимной странѣ. А, именно, эта страна, вмѣстѣ с Англіей, ставятся в укор Россіи, как «мальчику без штанов» — благовоспитанные юноши из благородных семейств. И дѣйствительно, там, в Россіи, захват территоріи, имперіализм, а здѣсь, в Великобританіи и Соединенных Штатах, никто не хочет земельных расширеній и захватов. Но вѣдь здѣсь никто и не потерял ничего в первую войну, а Великобританія даже пріобрѣла все, что могла. А потом, куда же дѣнется выморочное огромное наслѣдство на материках и в океанах, в особенности пункты стратегически важные? Люди, привыкшіе смотрѣть на землю, отлично это знают. Вот, напримѣр, выдержка из офиціознаго «Журнала Арміи и Флота» (10 января 1944 года): — «Наши офиціальные круги (Вашингтон) не сомнѣваются в необходимости пріобрѣсти иностранныя базы для защиты нашего полушарія. Австралія предполагает создать особый пояс защиты на юго-западѣ Тихаго океана. Трудно допустить, что Британія пропустит случай усилить свою стратегическую безопасность»...

Четвертое возраженіе против новых границ Россіи основано на полном отрицаніи права СССР заботиться о цѣлесообразной стратегической защитѣ страны и о пріобрѣтеніи баз для этой защиты. Со всѣх сторон говорят: никакого значенія стратегическія границы не имѣют, развитіе воздушнаго флота

дѣлает всякія границы безсмысленными. А против кого же собирается Россія защищаться, когда Гитлер будет разбит и Германія разоружена до послѣдняго ружья?

Может быть, такія разсужденія и правильны. Но зачѣм же их примѣнять только к Россіи, которая в эту войну пострадала так, как ни одна еще из союзных великих держав? В печати достаточно опубликовано свѣдѣній о том, какой мощный аппарат стратегической обороны Соединенных Штатов и всего западнаго полушарія с новыми базами в Атлантическом и Тихом океанах готовит Вашингтон Такой же аппарат, но только побѣднѣе, готовит Англія. Зачѣм? Вѣдь Германія и Японія будут разоружены не только для одного СССР! А качество воздушнаго флота не мѣняется от того, в каком направленіи этот флот летит.

Отвѣт на этот вопрос до труизма прост: правительство ни одной из великих держав не откажется ни от каких своих стратегических границ, морских и воздушных баз, пока не будет создана в довольно отдаленном будущем, послѣ сложной передѣлки и труднаго передѣла міра, новая, обѣщанная на конференціях в Москвѣ и Тегеранѣ, международная центральная организація, которая будет править міром на новых началах права и справедливости. А воздушный флот совсѣм не устраняет вопроса о стратегической защитѣ. Он только заставляет великія державы р а с ш и р я т ь контролируемую «сферу безопасности» далеко за естественныя границы государств.

Так, к началу 30-х годов стратегическая граница Англіи в Европѣ оказалась «на Рейнѣ». Так, в круг стратегической обороны С. Штатов, — отмѣчает Волтер Липпманн («Иностранная политика С. Ш. А.») — входит «огромная часть поверхности земного шара по линіям — от Гренландіи до Бразиліи, от Аляски до Лузона (Филиппины), от Канады до Аргентины» Упраздненіе Японской Имперіи в Тихом Океанѣ и необходимость для нужд обороны (по официальному сообщенію от 6 февраля 1944 г.) приступить к эксплуатаціи огромных нефтяных полей в южной Аравіи с нефтепроводом к берегам Средиземнаго моря через Малую Азію — все это вынудит, несомнѣнно, еще расширить круг стратегической обороны Соединенных Штатов.

***

Народное представительство западных стран единодушно поддерживает оборонительно-стратегическіе планы своих правительств. У нас нѣт народнаго свободно избраннаго представительства. Власть находится в безотвѣтственных перед

страной руках. Но из этого еще не слѣдует, что с нас снят долг защиты интересов Россіи. Мы не можем укрѣплять в сознаніи иностранцев соблазнительное представленіе о том, что Россія является какой-то имперіалистической обжорой среди строгих демократических постников. Нужно, признавая жестокую необходимость стратегических мѣропріятій Запада, об'яснять иностранцам, почему там, гдѣ той или другой западной державѣ нужны морскія или авіаціонныя базы и «мандатныя» территоріи, Россіи нужно возстановленіе старых стратегических границ с измѣненіями, связанными с новым распредѣленіем сил в Европѣ.

Вѣдь очевидно, что одинаковыми средствами нельзя обезпечить от новых аттак и вторженій Англію, Соед. Штаты и Россію. Нельзя потому, что эти три міровыя державы живут и развиваются совершенно в различных гео-политических условіях.

К гео-политикѣ в демократических кругах создалось раздраженно-ироническое отношеніе. Она вызывает в памяти образ знаменитаго гитлеровскаго гео-политика генерала Хаусхофера. На самом дѣлѣ в «подозрительных» по сверхимперіализму геополитических разсужденіях ничего новаго нѣт. Еще в гимназіи, читая Бокля, мы узнавали о вліяніи климата и географіи на характер и исторію разных стран.

Возьмем простой примѣр для школьников: вліяніе геополитических условій на исторію Соединенных Штатов и Россіи. Обѣ страны развивались на безграничных пространствах плодородных, вначалѣ пустующих, лишенных внутренних непреодолимых географических преград материков. Оба народа продвигались по этим материкам — с востока на запад в Америкѣ и с запада на восток в Евразіи — главным образом энергіей колонизаторов и «землепроходцев». Почему же за свою короткую жизнь Соединенные Штаты достили такого высокаго уровня политическаго и техническаго развитія, а Россія, на много вѣков старшая по возрасту, оказалась такой отсталой страной? Отвѣт на этот вопрос дает гео-политика. Пилигримы в Сѣверной Америкѣ, пріѣхавшіе со всѣм запасом тогдашней европейской культуры, оказались на новом материкѣ в немыслимых в старом мірѣ условіях внѣшней безопасности. С востока и с запада их ограждали вѣрнѣйшіе союзники — океаны. Эти водныя пространства стали для Соединенных Штатов первой линіей защиты. Второй линіей стал англійскій флот. С сѣвера и с юга Соединенные Штаты имѣют послѣ войны за независимость или очень миролюбивых или очень слабых

сосѣдей. Россія — этот огромный «мір в самом себѣ» — не имѣла океанов и со всѣх сторон долгія столѣтія своей тяжкой исторіи была окружена могущественными, вѣчно на нее насѣдавшими врагами. В своей собственной странѣ русскій народ жил, как в осажденной крѣпости, и всѣ силы его вмѣсто внутренняго строительства уходили на самозащиту. А по опыту нынѣшней войны западныя демократіи сами узнали, как трагично тоталитарная борьба за самое существованіе націи отражается на внутренней политикѣ. Именно гео-политика нас учит, что для возстановленія и укрѣпленія свободных политических установленій в Россіи ей нужна не «третья война», а прочная гарантія для мирной жизни на долгія десятилѣтія.

И эта наука нас учит, что средства стратегической защиты трех имперій, главы которых недавно с'ѣзжались в Тегеранѣ, не могут быть одинаковы потому, что различна их географія. Британія — чисто морская имперія. Соединенные Штаты — уединенная, одновременно морская и континентальная держава. Россія — государство чисто континентальное, приковывающее к себѣ взоры всѣх очередных кандидатов в міровые владыки, в теченіе вѣков лишенное свободнаго и обезпеченаго выхода в океаны и моря.

В теченіе послѣдних двух столѣтій Европа и в особенности Англія, — признает в своих воспоминаніях («Двадцать пять лѣт») знаменитый англійскій министр иностранных дѣл начала XX-го вѣка лорд Грей, — заграждала Россіи всѣ выходы в океаны и теплыя моря. «А между тѣм, — пишет лорд Грей, — океан это столбовая дорога для торговых связей между націями. За немногими исключеніями каждое государство, малое или большое, имѣет свои порты для выхода на этот великій международный путь. Россія, с ея великими пространствами и огромным населеніем, такого выхода не имѣла, не имѣла даже незамерзающей гавани для своего флота»... (В Черном морѣ русскій флот был заперт Дарданеллами).

*
**

Наконец, (пятое возраженіе) против новых границ СССР выставляется тяжелая политическая артиллерія: — Самовольным выходом за предѣлы старых границ Совѣтскаго Союза Кремль в корнѣ нарушил подписанную им Атлантическую Хартію и, в особенности, ея пункт первый, который, как извѣстно, гласит, что подписавшія эту хартію правительства «не преслѣдуют территоріальных или каких-либо иных расширеній»

в этой войнѣ. Нарушеніе Атлантической Хартіи является фокусом наростающаго на Западѣ раздраженія против Москвы. Посмотрим в чем тут дѣло и прежде всего возстановим хронологію.

Атлантическая Хартія была провозглашена президентом Рузвельтом и Винстоном Черчилем 14 августа 1941 года. Представитель московскаго правительства, г. Литвинов, подписал эту хартію 1 января 1942 года. Возсоединеніе балтійских провинцій, Западной Бѣлоруссіи и Бессарабіи и присоединеніе Восточной Галиціи и Буковины к СССР имѣли мѣсто в 1939 году и первой половинѣ 1940 года, т. е. з а г о д до об'явленія Атлантической Хартіи. Актов присоединенія и возсоединенія Кремль отнюдь не скрывал, а наоборот сдѣлал все возможное, чтобы эти акты стали общеизвѣстными. 26 мая 1942 г. британскій министр иностранных дѣл А. Иден и наркоминдѣл В. Молотов подписали англо-совѣтское соглашеніе, фактически-союз, на 20 лѣт. В этом договорѣ представители обѣих держав повторили (пункт пятый, часть вторая) территоріальныя обязательства Атлантической Хартіи. Н и к а к и х о г о в о р о к в этом договорѣ об отношеніи Англіи к новым границам СССР не имѣется, как и в протоколѣ присоединенія всѣх правительств «Об'единенных Націй» к англо-американской Атлантической Хартіи. Между тѣм, по общему правилу международных отношеній, обязательства, принимаемыя на себя тѣм или иным государством, вступают в силу со дня подписанія даннаго обязательства, если об обратной силѣ даннаго договора для одной из сторон не имѣется особой оговорки, особой и ясно изложенной статьи.

За отсутствіем такой особой статьи в обоих вышеуказанных договорах приходится признать, что формально пункт первый, а также третій, Атлантической Хартіи связывают правительство СССР лишь с 1 января 1942 года.

Очевидно, Кремль по вопросу Атлантической Хартіи и занял эту весьма сильную формальную позицію. Вот что 17 января 1944 года протелеграфировал в «Нью Іорк Таймс» очень освѣдомленный г. Джэмс Рестон: — «С увѣренностью в своей правотѣ Россія может сказать, что она подписала Атлантическую Хартію, московскую и тегеранскую деклараціи много времени спустя послѣ того, как разрѣшила вопросы в Балтикѣ, в Западной Украинѣ и в Западной Бѣлоруссіи». Больше того, г. Рестон подчеркивает, что во время конференцій в Москвѣ и Тегеранѣ никто из представителей западных союзников СССР не поднял вопроса о новых границах и «это молчаніе, — под-

черкивает осторожно автор корреспонденціи, — было принято в нѣкоторых кругах, как знак согласія». Кремль мог добросовѣстно укрѣпиться в сознаніи правильности своего толкованія молчанія союзников, так как сейчас же послѣ московской конференціи была опубликована за подписями президента Рузвельта, Винстона Черчиля и Сталина декларація о порядкѣ наказанія виновников германских звѣрств, в которой не оказалось в перечисленіи европейских государств трех — Эстоніи, Латвіи и Литвы, как нѣт их и среди «Об'единенных Націй», подписавших протокол о присоединеніи к Атлантической Хартіи 1 января 1942 года.

Много времени спустя послѣ появленія подписей г.г. Литвинова и Молотова под Атлантической Хартіей и англо-совѣтским договором, англійскій министр информаціи Бренден Бракен в бесѣдѣ с представителями американской печати 27-го августа 1943 года сказал: — «Россія никогда не нарушала своего слова послѣ установленія совѣтской системы». Заявленіе это, весьма двусмысленное и не корректное по адресу до-большевицкой Россіи, звучит, несомнѣнно, нѣкоторым... преувеличеніем по отношенію к «совѣтской системѣ». Однако, в случаѣ с Атлантической Хартіей правительство СССР смѣло может сказать, что оно «не нарушило своего слова».

Вывод: можно по тѣм или иным соображеніям рѣзко протестовать против новых границ СССР, можно добиваться от Кремля исправленія или пересмотра этих границ; должно настаивать на болѣе человѣчной внутренней политикѣ в этих окраинных и прочих республиках СССР, но нельзя обвинять правительство СССР в самовольном нарушеніи Атлантической Хартіи. Это необоснованное обвиненіе вызывает только озлобленіе, ведет к весьма серьезным осложненіям в междусоюзных отношеніях и тѣм играет в руку врагов и Россіи и ея западных союзников.

На случай дальнѣйшаго обострения споров и раздоров вокруг вопроса о границах Россіи между западными демократіями и кремлевской диктатурой нужно помнить, что в развитіи событій «существенную роль, — как пишет Н. С. Тимашев в послѣдней книжкѣ «Новаго Журнала», — сыграет тот факт, что по вопросу о цѣлях войны народы Россіи твердо и единодушно стоят за правительством».

*
**

Если без гнѣва и пристрастія всмотрѣться в развертывающіяся событія внутри анти-германской коалиціи, то можно

найти и истинный источник нынѣшняго международно-политическаго кризиса нервов. Он не в возстановительно-оборонительных цѣлях войны СССР, не в боязни а л ч н а г о россійскаго имперіализма, не в возрожденіи руссофобства времен крымской или русско-японской войны. Если бы Россія была сейчас даже не демократическим, а просто нормальным, правовым федеральным государством или союзом государств, руководящимся только своими національными экономическими и политическими интересами, — то западное демократическое общественное мнѣніе относилось бы к политикѣ военнаго времени СССР совершенно иначе. Настоящим источником кризиса является инстинктивное, не многими еще сознанное, отвращеніе средняго обывателя свободных стран к внутренним порядкам большевистской тоталитарной диктатуры. Никакое пѣніе сирен о «новых формах демократіи в счастливой странѣ совѣтов» не может до конца заворожить ум и совѣсть неискушенных в высокой политикѣ людей, читающих нѣкоторыя извѣстія с Востока Европы.

Государственные люди, которые не могут руководиться зовами сердца, холодно и спокойно дѣлят тѣло полу-живой Европы на части, которыя послѣ капитуляціи Германіи отойдут под «временный надзор» разных союзных армій — англійской, американской, Красной. Но совѣсть людей, не связанных государственным долгом и вѣрящих в войну за «возстановленіе свободы», не примиряется не с тѣм, что появятся на Западѣ, хотя и красныя, но россійскія войска, а с тѣм, что будет слѣдовать в обозѣ этих войск — с возможностью появленія новых гаулейтеров, с такой же свитой, в другой только формѣ.

Получается безвыходный тупик: Россія нужна для побѣды, изумительным жертвенным героизмом ея народов она вернулась на свое мѣсто под солнцем и с ея могуществом надо считаться, но жестокій тоталитарный режим, под которым она живет — непримиримый враг всякой свободы, всего политическаго уклада демократическаго общества.

Какой-же найти выход, если не вѣрить во внутреннее перерожденіе самого СССР под тяжкими ударами военной грозы? Выход напрашивается сам собой, выход механическій: отгородиться, устроить по образцу 20-х годов «окруженіе», припугнуть на случай строптивости «третьей войной».

Легко о третьей войнѣ могут говорить только люди, чья мысль слишком сосредоточена на Западной Европѣ и чьи глаза не видят, что эта Европа стала только крупной подробностью событій, которыя развертываются в міровых просторах вдали

от мѣстожительства этой, по пророчеству гр. С. Ю. Витте, «одряхлѣвшей красавицы». Третья міровая война будет, — если она будет, — развертываться совсѣм по другим планам и для игры в этой войнѣ у Сталина в руках достаточно хороших козырей.

«Окруженіе» уже было испытано в началѣ 20-х годов. Теперь другія времена, другія пѣсни. И во всяком случаѣ ни при каких условіях западное славянство, в его цѣлом, ни в каких хорах и ни под каким дирижерством распѣвать руссофобскіе гимны не станет, кто бы в Москвѣ не сидѣл.

Да и в 20-х годах механика окруженія динамику напора большевистских идей на Запад не сломила. Никто иной, как Винстон Черчиль в своих «Итогах» написал: «политика раздѣленія и разчлененія Россіи, временная удача которой возможна, не может дать устойчивых результатов, а только вызовет безконечную вереницу войн». А вѣдь нынѣшній британскій премьер сам в началѣ вѣрил в «Санитарный кордон».

Что же остается в арсеналѣ исправительных и карательных мѣр? Отказ в экономической помощи для возстановленія разрушенной Россіи послѣ войны, о чем тоже поговаривают. От экономической блокады послѣ первой міровой войны жестоко пострадало россійское населеніе, но не власть. За время пятилѣток населеніе пріучено голодать и холодать, ходить босиком и в отрепьях, а сама производственная машина государства привыкла к замкнутому хозяйству. Кромѣ того, в Москвѣ накоплено изрядное количество золота и платины, а в Америкѣ будет достаточно свободных рабочих рук и «капиталистических аппетитов». Новая экономическая блокада, еслибы по неразумію к ней прибѣгли, принесла бы только новыя страданія уже дострадавшемуся до какого то подвижничества народу и усилила бы еще власть диктатуры.

Так или иначе, всѣ карательныя мѣры против СССР обязательно упрутся в новую войну. А война между вчерашними союзниками еще больше усилит власть тоталитарных идей над людьми. Почему?

Потому, говорил Сталин на 18 с'ѣздѣ Компартіи 10 марта 1939 года, что «буржуазные политики знают, что первая имперіалистическая міровая война привела к побѣдѣ революціи в одной из обширнѣйших стран. Они боятся, что вторая міровая война может привести к побѣдѣ революціи в какой-либо другой странѣ или группѣ стран».

Да, война не пахнет фіалками и розами, а кровью и ужасом! «В ядовитой послѣ-военной атмосферѣ (ненависти и злобы)

размножаются фишистскіе микробы, первоначально ничтожные и незамѣтные». Так пишет в своей острой статьѣ «Как бороться с фашизмом» Г. П. Федотов. Для него «фашизм» термин, которым он обозначает и сталинскій коммунизм и хитлеровскій нацизм. Каждый из них, правильно говорит он, «рождается из глубоких внутренних недугов нашей цивилизаціи».

Недуги эти так раз'ѣли тѣло и душу европейско-христіанской культуры, что «фашизм оказался сильнѣе демократіи» и «чистая» война за демократію превратилась в «войну за существованіе». Началась борьба между великими имперіями не только за существованіе, но и за неизбѣжный послѣ побѣды передѣл міра.

«Не одни демократіи будут строить будущій мір», осторожно пишет Г. П. Федотов. Да, «не-демократы» будут участвовать в новой міровой стройкѣ, но строить будут по собственному плану. На что и получили, как увидим сейчас, согласіе... демократов.

Дѣло в том, что идеальная цѣль у противу-германской коалиціи в этой войнѣ очень скромная по сравненію с таковой же цѣлью в первую войну. Тогда дрались за «уничтоженіе всѣх остатков абсолютизма». Теперь — задача уничтожить только опредѣленные фашизмы, но не эту систему вообще.

Существует легенда, что эта война идейно идет за «четыре свободы» и что Кремль, подписывая Атлантическую Хартію, дал клятву на вѣрность этим свободам — свободѣ слова и вѣры, свободѣ от страха и от нужды.

Эти четыре свободы, дѣйствительно были провозглашены, как цѣли войны, президентом Рузвельтом в январѣ 1941 года. Однако, в Атлантической Хартіи, — опубликованной послѣ вторженія Гитлера в Россію, — остались только двѣ: от страха и от нужды (п. 6). Свобода вѣры, вѣрнѣе богослуженія, потом как то вынырнула в протоколѣ присоединенія «Соединенных Націй» к Атлантической Хартіи. Но свобода слова так и исчезла навсегда. За то Атлантическая Хартія обязывает (п. 3) ее подписавших уважать право каждаго народа на выбор любой формы правленія, но народ может «выбрать», не имѣя свободы слова, т. е. без политической, хоть какой нибудь, свободы; другими словами — может выбрать без выборов.

Так Атлантическая Хартія задним числом как бы узаконила «плебисцит» в присоединенных к СССР областях. Так народы на Балканах могут «выбрать» форму правленія, которую им «предложит» т. Тито. Так коммунисты — не русскіе, а вполнѣ мѣстные — имѣют формальное право добиваться в Западной

Европѣ, чтобы освобождаемыя страны «выбирали» форму правленія в московском стилѣ. Вѣдь в Москвѣ, по компетентному мнѣнію нѣкоторых авторитетнѣйших государственных и политических дѣятелей Запада, сейчас существует новая — не высшая ли? — форма демократіи, «демократія соціальная»!...

Если коммунизм, как и нацизм, порожден глубоким недугом всей современной культуры; если в ядовитом воздухѣ войны растет количество тоталитарных микробов; если весь Запад насыщен этой отравой вплоть до Соединенных Штатов (недавнія рѣчи Вице-Президента Уоллэса и рабочаго вождя Мэтью Уолла) — если все это так, то становится очевидным: возвращеніе к руссофобской («анти-большевистской») политики первых лѣт версальской эпохи невозможно.

Россія стала слишком сильна — Европа, даже подпертая Соед. Штатами, слишком слаба, чтобы держать караул. Что-же? Надо падать ниц?!

Отнюдь нѣт! Не надо только жить легендой о двух полярных мірах. Надо понять, что судьбы Запада и Россіи едины и нераздѣльны, как в войнѣ и мирѣ, так и в свободѣ и «фашизмѣ».

Вся духовная почва Европы взорвана. Той Европы, которую мы знали, больше нѣт. Сами европейцы, к которым нѣкоторые среди нас еще взывают, больше ее уже не идеализируют, а тоже ищут Град Китеж, прислушиваются — послѣ двух вѣков крайняго скепсиса, — к звонам колоколов нездѣшних! Прочтите, напримѣр, послѣднія книги Артура Кестлера — талантливаго, глубокаго и типичнаго представителя самой юной пред-грозовой Европы.

Но развѣ народы в СССР живут в какой то вѣчной духовной неподвижности, пассивности? Развѣ послѣ германской канонады под Москвой не забили внутри народа могучіе источники духовной силы? Прочтите, напримѣр, потрясающее предсмертное письмо офицера в «Послѣдних днях Севастополя».

Пусть по перехваченным иностранным правительством («Нью Лидер», 5 февр. 1943 г.) документам Кремль собирается устроить себѣ «гегемонію по треугольнику Москва-Мадрид-Багдад». Если документы эти и не апокриф, то самый план — фантастичен. Непозволительно превращать его в «план Россіи».

Ибо Россія никаких міровых гегемоній никогда не хотѣла и не хочет, о «треугольникѣ» ничего не знает, и зза Кремлем в эту авантюру не пойдет.

Но весь народ опять пойдет за тѣм же Кремлем, если под

предлогом борьбы с міровой опасностью русскаго, только покраснѣвшаго имперіализма начнут опять загонять Россію в вѣчно-памятныя брест-литовскія и версальскія границы...

В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Безсмертье своего народа
Своею смертью покупать.

Таких стихов не писалось во время гражданской войны! Тогда красно-армеец не чувствовал, как чувствует теперь, свою кровную, почти мистическую связь с этим безсмертным народом. Ему не чудилось, — как теперь, когда он проходит в строю с полком на бой мимо сельских кладбищ, что «крестом своих рук ограждая живых, всѣм міром сойдясь, наши прадѣды молятся за в Бога не вѣрящих внуков своих».

Сам в Бога не вѣрящій внук неисчислимых, крѣпко вѣровавших поколѣній уже никогда, вѣроятно, не научится молиться. Но мистерія праведной войны за жизнь страны, за «вѣчную Россію» открыла уже ему «навсегда» тайну «святости» всякаго человѣческаго существа!

Не нужно совсѣм иностранцам пугаться «роста русскаго націонализма». Русская «любовь к отечеству» выражалась всегда не только в беззавѣтной и упорной способности к жертвѣ, но еще и в волѣ к свободѣ. Тому порукой вся русская большая литература, которой сейчас в Россіи зачитываются новыя поколѣнія и на фронтѣ и в тылу.

Путь к свободѣ долог и тернист, но он идет через возвращеніе к народным истокам духовнаго творчества.

Пусть никто не мѣшает этому возвращенію: не загоняет національное сознаніе народа под охрану современнаго Кремля.

Так уже случилось, что все будущее свободы в Европѣ гораздо больше зависит от развитія событій внутри СССР, чѣм от всѣх политических рѣшеній Запада.

Об этом надо крѣпко помнить.

А. Керенскій.

8 февраля 1944 г.

ПОСЛѢ МОСКВЫ И ТЕГЕРАНА

1-го ноября 1943 года мір был оповѣщен о том, что с 19-го по 30-ое октября в Москвѣ происходило совѣщаніе министров иностранных дѣл трех главных союзников, к которым, по нѣкоторым вопросам, присоединялся и представитель Китая. Сообщеніе о результатах совѣщанія, казалось, разсѣивало тревоги и сомнѣнія: по цѣлому ряду вопросов союзники нашли общій язык. Они признали, что на первом планѣ стоит доведеніе войны до полной побѣды; что и послѣ достиженія побѣды их сотрудничество должно быть продолжено для обезпеченія мира и безопасности; что они, при первой же возможности, организуют систему коллективной безопасности с привлеченіем к ней, на началах равенства, всѣх миролюбивых народов; что по окончаніи военных дѣйствій они обязуются не примѣнять своих вооруженных сил внѣ своих территорій иначе, как для проведенія в жизнь настоящей деклараціи и послѣ совѣщанія друг с другом; что они в свое время обсудят вопрос об ограниченіи вооруженій; что немедленно по заключеніи перемирія офицеры и солдаты германской арміи и члены нац.-соціалистической партіи, виновные в звѣрствах над населеніем занятых областей, будут отправлены в соотвѣтствующія страны для суда и наказанія по их законам. В атмосферѣ взаимнаго довѣрія и пониманія, говорилось в заключеніи, были обсуждены и другіе важные вопросы.

Итак, все благополучно, заговорили оптимисты. Сталин отнюдь не стремится к гегемоніи над континентом Европы, а, напротив того, готов включить мощь Россіи в новую международную организацію. Не расходится он с союзниками и по вопросу о разоруженіи Германіи: ея сдача и разоруженіе упоминаются в заявленіи. И, главное, через сговор вторых персонажей трех главных союзников открылся путь к встрѣчѣ их первых лиц, вождей трех великих народов, совмѣстно ведущих великую борьбу.

Нѣкоторое недоумѣніе вызывали однако явныя умолчанія. К главным заявленіям о послѣ-военной организаціи мира во всем мірѣ и о судѣ над виновниками звѣрств было приложено еще два, об Италіи и Австріи. Появленіе перваго было естественно, в связи с наступательными операціями союзных армій.

Но почему Австрія? Вѣдь Австрія — вопрос не завтрашняго, даже не послѣзавтрашняго дня; вопрос о ея судьбѣ станет на очередь только послѣ проникновенія союзных армій в самое сердце «крѣпости Европы». А что будет с Польшей, дунайскими и балтійскими странами? Проникновеніе Красной Арміи в их предѣлы уже тогда принадлежало к числу близких возможностей, и вопрос об их судьбѣ уже неоднократно ставился заинтересованными сторонами. Что же, о них не говорили? Или, хуже, не договорились? Или, еще хуже, договорились, но результаты не рѣшились опубликовать?

Началась полоса гаданій и присматриванія к признакам, по которым можно было бы судить о том, что опубликовано не было. Достаточно было всего нѣсколькихъ дней, чтобы одно положеніе обрисовалось с полной очевидностью: по тѣм вопросам, по коим, до московскаго совѣщанія, было явное разногласіе между Москвой и англо-саксонскими демократіями, Москва своих взглядов не измѣнила. Факты были таковы:

30-го октября, т. е. в день окончанія московскаго совѣщанія, но до опубликованія его результатов, «Правда» об'явила лозунги к очередной годовщинѣ октябрьской революціи, и в числѣ их был такой: «Братья и сестры русскіе, литовцы, латыши, эстонцы и карелы, час вашего освобожденія приближается». Смысл был очевиден: литовцы, латыши, эстонцы и карелы — такіе же члены совѣтской семьи, как и русскіе; значит, присоединеніе их земель к СССР безповоротно.

Нѣсколько дней спустя, в связи с побѣдами Красной Арміи под Кіевом, военные комментаторы в Америкѣ стали высчитывать, какое разстояніе ей еще остается пройти, чтобы достигнуть польской границы, под которой они имѣли в виду линію, проведенную в Ригѣ в 1921 году. По их счету, выходило только 90 миль. 12-го ноября Уманскій, совѣтскій посол в Мексикѣ, вылил на них ушат холодной воды. «К сожалѣнію, — сказал он, — Красной Арміи надо пройти еще 280 миль в том же направленіи, чтобы достигнуть польской границы; только послѣ этого будет освобождена от нѣмецкаго ига вся совѣтская Украина». Впервые представитель совѣтской власти в западном полушаріи выразил московскій взгляд на вопрос о западных границах Россіи. Журналисты бросились за раз'ясненіями в государственный департамент; отвѣта они, разумѣется, не получили.

Еще через нѣсколько дней, государственный секретарь К. Халль, на первом послѣ возвращенія пріемѣ печати, пролил нѣкоторый свѣт на московское совѣщаніе. Он заявил, что

никаких секретных соглашеній заключено не было, что от принципов Атлантической Хартіи отступлено не было, что послѣ московскаго совѣщанія образованный в Москвѣ германскій комитет утратил всякое значеніе, и что вопрос о судьбѣ балтійских и балканских государств не обсуждался иначе, как в связи с общими принципами, выраженными в заявленіи союзников об Италіи. В отвѣт на предложенный ему вопрос он уточнил, что, согласно этим принципам, каждый европейскій народ получит право избрать себѣ форму правленія и правителей в порядкѣ свободнаго плебисцита. Нѣкоторые журналисты поняли, что принцип плебисцита будет положен в основу и при рѣшеніи спорных вопросов о границах. Это невѣрно, заявил на слѣдующій день К. Халль; вопросы о границах отложены до окончанія войны, и к ним принципы заявленія об Италіи имѣют лишь косвенное отношеніе.

Тѣм временем в двух вліятельных англійских журналах появились разсужденія о том, будто на московском совѣщаніи совѣтское правительство отказалось от своего непримиримаго отношенія к федераціи малых государств, лежащих к западу от Россіи. Такой вывод дѣлался из одной фразы московскаго заявленія об Австріи; там говорилось, что союзники желают предоставить австрійскому народу, равно как сосѣдним народам, ту политическую и экономическую безопасность, которая является необходимой основой прочнаго мира. 18-го ноября, в передовой статьѣ «Извѣстій», появилось энергичное опроверженіе такого толкованія. По словам «Извѣстій», на московском совѣщаніи Молотов представил доводы против всякаго рода искусственных об'единеній малых государств, чреватых самыми пагубными послѣдствіями не только для них самих, но и для мира Европы. По словам совѣтской газеты, Иден и Халль не возражали.

Итак, через три недѣли послѣ закрытія московскаго совѣщанія положеніе уже не представлялось столь блестящим, как 1-го ноября. Однако, от вновь появившихся на горизонтѣ туч вниманіе было отвлечено к новому источнику свѣта: с 22-го по 26-ое ноября в Каирѣ встрѣтились Рузвельт, Черчиль и Чіанкай-шек. Россія представлена не была, так как совѣщаніе было посвящено вопросам войны с Японіей, с которой Россія продолжает хранить мир. Но основное заявленіе, опубликованное в результатѣ каирскаго совѣщанія, не могло быть сдѣлано без одобренія Москвы: Китаю был обѣщан возврат всѣх земель, отнятых у него Японіей, и в числѣ их была названа Манчжурія. Значит, поползновеній на Манчжурію у Сталина нѣт, и это,

конечно, устраняет одно из возможных разногласій между СССР и его союзниками.

Каир был только прологом к Тегерану, к долгожданной встрѣчѣ вождей трех главных союзников, длившейся с 26-го ноября по 2-ое декабря. Совѣщаніе это, насколько можно судить, привело к полному соглашенію по чисто военным вопросам; в частности, «второй фронт» был приближен и согласован с возможностями русской арміи. Но по политическим вопросам сообщеніе в сущности только подтвердило, в болѣе краткой и энергичной формѣ, то, что уже было сказано послѣ Москвы: союзники намѣрены устроить прочный мир, пріемлемый для подавляющаго большинства человѣчества; к этому дѣлу они готовы привлечь всѣ народы, великіе и малые, поскольку они стремятся к искорененію тираніи, произвола и нетерпимости. При мысли о милліонах людей, томящихся в концентраціонных лагерях сѣвера Россіи и Сибири, невольно возникал вопрос: гдѣ же начинается произвол и тираннія, если Соловки и Нарым к ним еще не относятся?

Но это — вопрос внутренней политики Россіи, по природѣ вещей откладываемый до послѣвоеннаго времени. Что же касается международной политики, то бросался в глаза слѣдующій факт: к основному сообщенію было приложено дополнительное... об Иранѣ. Само по себѣ, оно было успокоительно: и на Иран Сталин не имѣет поползновеній, как и на Манчжурію. Но почему Иран? Развѣ потому, что там встрѣтились сильные міра сего. А по существу, ко времени тегеранскаго совѣщанія остро стояли такіе вопросы, как вхожденіе в войну Турціи. Послѣ Тегерана, на втором каирском совѣщаніи (7-го декабря) Рузвельт и Черчиль встрѣтились с президентом турецкой республики. Практических результатов встрѣча повидимому не дала. Не потому ли, что послѣ Тегерана не было опубликовано ничего, что могло бы успокоить подозрительность турок, возбужденную московскими требованіями 1940 года?

Остро стоял и вопрос о Германіи. Незадолго до совѣщанія носились слухи о том, что Сталин потребует установленія в побѣжденной Германіи трудовой повинности, в порядкѣ которой молодые нѣмцы были бы привлечены к работам по возстановленію разрушенных в Россіи городов, фабрик, мостов и т. д. Что же рѣшили по этому вопросу, равно как по таким, как разоруженіе Германіи и ея оккупація? Опять пошли гаданія: не обсуждали, или не договорились, или не рѣшились опубликовать?

Между тѣм, событія развивались своим чередом. 11-го

декабря Халль предупредил Болгарію, Румынію и Венгрію, что им придется раздѣлить тяжкія послѣдствія пораженія, которое неизбѣжно будет нанесено союзниками Германіи. Тѣм самым Соед. Штаты, вѣроятно, во исполненіе одного из московских уговоров, дали понять, что они не собираются оградить «спутников» Германіи от вторженія Красной Арміи, на что правители этих стран как будто надѣялись. Много позже, уже в февралѣ, такое предупрежденіе было сдѣлано и Финляндіи. На слѣдующій день послѣ перваго предупрежденія, т. е. 12-го декабря, глава чехословацкаго правительства в изгнаніи подписал в Москвѣ 20-лѣтній договор о дружбѣ и взаимопомощи с СССР. Договор открывал возможность присоединенія к нему других стран, при чем явно имѣлась в виду Польша. Но какая Польша? Польша в границах рижскаго договора, или укороченная до линіи Молотова-Риббентропа?

Чешскій пакт затрагивал, однако, не только Польшу. Самое его заключеніе означало уступку со стороны Англіи, которая мѣсяцами противилась поѣздкѣ Бенеша. Эта уступка, вѣроятно, была выговорена во время московскаго совѣщанія. В Соед. Штатах пакт вызвал непріятное удивленіе: не означает ли он, что СССР не вѣрит в систему коллективной безопасности, поддерживаемой мощью трех или четырех главных союзников, иными словами, в систему, принятіе которой почиталось главным достиженіем московскаго совѣщанія? На такія сомнѣнія со стороны других американских авторитетов послѣдовало указаніе, что обѣ системы не исключают друг друга: вѣдь и Соед. Штаты, присоединяясь к намѣченной системѣ коллективной безопасности, не отказываются от особых гарантій в западном полушаріи, в видѣ соглашеній с другими государствами Америки, а так же близких и дальних баз. В правѣ поэтому и СССР, в дополненіе к основной и всеобщей системѣ безопасности, искать спеціальнаго обезпеченія своих интересов соглашеніями с сосѣдями.

Но и при таком истолкованіи пакт означал слѣдующее: СССР принимает участіе в системѣ коллективной безопасности, но не почитает ее достаточной, а потому будет искать восполненія ея другими средствами, в частности таким начертаніем границ, которое удовлетворяло бы его экспертов по безопасности.

Так или иначе, для западных демократій чешскій пакт был непріятностью. Нѣсколько дней спустя случилась новая. В свое время Великобританія заявила, что в комиссіи по дѣлам о виновниках звѣрств она не может дѣйствовать от имени доминіо-

нов, которые должны получить собственное представительство. Москва не возражала, но вдруг предъявила встрѣчное требованіе: в комиссіи должно быть представлено семь совѣтских республик, на территоріи которых были учинены звѣрства, в том числѣ эстонская, латвійская и литовская. Тѣм самым еще раз была подчеркнута окончательность перехода балтійских государств к СССР. Одновременно обнаружилось слѣдующее положеніе: во всѣх случаях, когда британская имперія представлена делегатами от Великобританіи и доминіонов, СССР будет требовать представительства для своих шестнадцати республик. В свое время, расширеніе британской делегаціи на парижской мирной конференціи, а потом в Лигѣ Націй вызывало нѣкоторыя тренія. Теперь возникла перспектива — имѣть, скажем, в возрожденной Лигѣ Націй 16 делегатов от СССР! По существу, перед лицом всякаго безпристрастнаго арбитра, совѣтское притязаніе легко было бы отразить: британскіе доминіоны ведут свою международную политику и не обязаны вступать в войну по приказу из Лондона, тогда как совѣтскія республики не имѣют своих вѣдомств иностранных дѣл и не посылают и не принимают дипломатических или консульских представителей. Если дать 16 делегатов СССР, то почему не дать 48 Соединенным Штатам? Как бы в предвидѣніи возраженій, 2-го февр. 1944 г. Верховн. Совѣтом СССР было принято предложеніе о расширеніи автономіи союзных республик, в частности о предоставленіи им участія в международной политикѣ. По этому поводу передают, что еще на московском совѣщаніи Молотов проявил большой интерес к строю битанской имперіи, в частности к правам ея членов в области международных отношеній. Обнаружилась перспектива: на международных совѣтах послѣвоеннаго времени, наряду с одним американским представителем, будет присутствовать 16 совѣтских дипломатов, в шитых золотом мундирах и говорящих на одном языкѣ, языкѣ Москвы! Предупредить такое развитіе можно только, открыто заявив сомнѣніе в автономности совѣтских республик. Но как, даже на дипломатическом языкѣ, сказать другому государству, что его конституція — всего только миф?

Пока что, это лишь музыка будущаго. Но послѣ эпизода с комиссіей о звѣрствах основная линія совѣтской политики продолжала проводиться с твердостью и непреклонностью. 22-го декабря в журналѣ «Война и Рабочій Класс» появилась статья, посвященная «интригам балтійских реакціонеров». В статьѣ было сказано, что независимость этих государств всегда

была лишь мнимой, что они служили орудіем имперіалистов, что государства Антанты признали эти республики лишь послѣ того, как отчаялись в паденіи совѣтской власти, что возстановленіе их независимости стоит в тѣсной связи с планом федераціи, поддерживаемым польскими имперіалистами. В заключеніе было еще раз заявлено, что СССР безоговорочно признает суверенитет и территоріальную неприкосновенность других государств, великих и малых, но настаивает на таком же уваженіи к неприкосновенности своей территоріи.

Менѣе чѣм через два мѣсяца послѣ московскаго совѣщанія было очевидно, что вызванный им оптимизм был неоснователен: ни в Москвѣ, ни в Тегеранѣ разногласія союзников по ряду существенных вопросов устранены не были, а событія как раз вели к их обострению: к Новому Году Красная Армія подошла к чертѣ 1921 года и вскорѣ перешла через нее. Как и слѣдовало ожидать, этот факт никак не был отмѣчен в Москвѣ: в очередных сводках было названо нѣсколько городков и деревень, лежавших за чертой. Но не могло остаться безмолвным польское правительство в изгнаніи. 5-го января оно выступило с офіціальным заявленіем, в котором выразило вѣру в силу международных договоров и надежду на то, что совѣтское правительство проявит уваженіе к правам польской республики и ея граждан. Оно сообщило, что еще 27-го октября 1943 года отдало руководителям польскаго подполья приказ избѣгать всяких столкновеній с совѣтскими арміями и вступить с ними в сотрудничество, если польско-совѣтскія отношенія будут возстановлены. Вряд ли правительство г. Миколайчика льстило себя надеждой на то, что совѣтское правительство примет его точку зрѣнія. Заявленіем оно просто хотѣло подтвердить польскія права в надеждѣ, что эти права, хотя и нарушенныя, будут когда-то возстановлены под давленіем других членов великой тройки.

Но совѣтское правительство рѣшило предупредить давленіе. В тот самый день, когда польское правительство в изгнаніи выступило со своим заявленіем, в «Правдѣ» появилась статья Заславскаго, направленная против У. Уильки. Дѣло в том, что за нѣсколько дней перед тѣм, в воскресном приложеніи к «Нью Іорк Таймс», этот послѣдній напечатал статью, которую несомнѣнно почитал дружественной к совѣтскому союзу. Все же он позволили себѣ сказать, что многіе задают себѣ вопрос о намѣреніях Россіи относительно небольших пограничных с ней стран, т. е. Финляндіи, Польши, балтійских и балканских государств. Совѣтскій фельетонист рѣзко подчеркнул, что

вопрос о балтійских республиках — это внутренній вопрос совѣтскаго союза, и что г. Уильки не слѣдовало бы в него вмѣшиваться. Всѣм в нем заинтересованным, продолжал Заславскій, слѣдовало бы лучше ознакомиться с совѣтской конституціей и с демократическими плебисцитами, которые были произведены в этих республиках, и помнить, что СССР имѣет достаточно силы, чтобы свою конституцію защитить. Кажется впервые было заявлено, что для обезпеченія себѣ границы, проведенной в 1939-1940 годах, СССР в случаѣ чего будет воевать.

Уильки был кажется очень удивлен сердитым окриком из Москвы. Но в Лондонѣ и Вашингтонѣ сразу поняли, что Уильки тут не при чем: Москва хотѣла дать знать, что не потерпит вмѣшательства со стороны американскаго и англійскаго правительств. Прямо сказать это она не могла. И вот подвернулся г. Уильки со своей статьей, и по нему и хлопнули, в назиданіе тѣм, по кому хлопать нельзя.

На слѣдующій день, т. е. 6-го января, на заявленіе правительства г. Миколайчика откликнулся, из Москвы, Союз Польских Патріотов. Союз призвал польское подполье к немедленному возстанію против германских оккупаціонных властей и провозгласил программу из пяти пунктов, в числѣ которых были слѣдующіе: 1) сговор с Россіей на почвѣ уступки Западной Бѣлоруссіи и Западной Украины; 2) расширеніе польских границ на запад и 3) об'единеніе всѣх поляков, кромѣ находящихся в эмиграціи реакціонных элементов. Через нѣсколько дней этой программѣ было суждено стать офиціальной программой совѣтскаго правительства. Удивительнаго в этом мало: недаром предсѣдательницей союза состоит жена лица, которое в то время было зам. нар. комиссара иностранных дѣл СССР.

На нѣсколько дней между Москвой и правительством г. Миколайчика установились отношенія, напоминающія авангардную перестрѣлку двух сближающихся армій. В рѣчи по радіо г. Миколайчик заявил, что поляки предпочли бы встрѣтить русских как своих союзников, а не как союзников своих союзников. А совѣтская сводка подчеркнула, что в районѣ города Ровно, т. е. на спорной территоріи, партизаны оказали Красной Арміи существенную помощь. Одно из двух: или они оказались совѣтскими, а не польскими патріотами, или они оставили без вниманія распоряженія из Лондона — не помогать Красной Арміи, пока не будут возстановлены польско-совѣтскія отношенія. На фонѣ этой перестрѣлки обратило на себя вниманіе выступленіе вліятельнаго лондонскаго «Таймса» (8-го января).

Признавая всѣ заслуги Польши перед союзниками, орган лондонскаго Сити напомнил, что британское общественное мнѣніе никогда не одобряло границы 1921 года, столь отличающейся от линіи, рекомендованной комитетом мирной конференціи 1919 года, и выразил надежду, что отвѣтственные польскіе круги проявят уступчивость.

Так появилась на сцену линія Керзона. Ибо, напоминая о ней, лондонскій орган как будто предугадал слѣдующій шаг совѣтскаго правительства. 11-го января по московскому радіо было возвѣщено, что СССР готов гарантировать сильную и независимую Польшу; однако, Польша должна воскреснуть не путем захвата украинских и бѣлорусских земель, а путем возврата ей земель, отнятых у поляков нѣмцами на протяженіи столѣтій; о восточной же границѣ Польша может договориться с СССР, который отнюдь не считает незыблемой границу 1939 года и готов исправить ее возвратом Польшѣ тѣх земель, в которых преобладает польское населеніе. При таких условіях, заканчивалось сообщеніе, граница могла бы приблизительно совпасть с линіей Керзона, которая в 1919 году была принята верховным совѣтом тогдашних союзников.

Это был несомнѣнно очень удачный шаг, который был встрѣчен в Лондонѣ и Вашингтонѣ с облегченіем. Совѣтское правительство отказывалось от односторонних рѣшеній и заявило готовность итти на переговоры; оно примѣняло принцип самоопредѣленія народов, возвращая Польшѣ чисто польскія земли; и оно подчинялось, 25 лѣт спустя, арбитражу главных союзников первой міровой войны. Было однако одно темное мѣсто: совѣтское предложеніе в сущности не было ни к кому адресовано; во всяком случаѣ, в нем не было и намека о возстановленіи сношеній с правительством г. Миколайчика и сговора с ним. Невольно приходило на ум, что программа точно совпадает с программой Союза Польских Патріотов и могла бы быть обращена в «международный договор» одним жестом: стоит только признать комитет этого союза временным правительством Польши. Возможен, впрочем, и иной варіант: законным правительством Польши Москва признает Польскій Національный Комитет, об образованіи котораго в польском подпольѣ было таинственно возвѣщено 12-го февраля.

Между тѣм, еще 15-го января польское правительство в изгнаніи из'явило готовность обсудить с совѣтским правительством всѣ раз'единяющіе их вопросы, при условіи, чтобы разговоры произошли при участіи и посредничествѣ британ-

скаго и американскаго правительств. При этом польское правительство еще раз подтверждало, что не может признать односторонних рѣшеній или совершившихся фактов.

Заявленіе это повидимому было сдѣлано послѣ тщательнаго обсужденія положенія с руководителями британской политики. Оставляя открытыми всѣ вопросы, оно было выдержано в обычном дипломатическом стилѣ и было сочувственно встрѣчено в Лондонѣ и Вашингтонѣ. Соед. Штаты тотчас же предложили свои услуги; Англія предпочла путь неофиціальнаго предварительнаго запроса. Путь к разрѣшенію одного из самых болѣзненных споров, казалось, был открыт. В то же время ставилась на испытаніе прочность спайки, сдѣланной в Москвѣ и Тегеранѣ.

Увы, испытаніе дало отрицательный результат! 17-го января совѣтское правительство отклонило польское предложеніе, во-первых, потому, что в нем не было из'явлено согласіе положить в основу переговоров линію Керзона, и это истолковывалось, как ея отклоненіе; во-вторых, потому что совѣтское правительство не может вести переговоров с правительством, с которым оно порвало сношенія, и порвало их в виду участія этого правительства в клеветнической кампаніи против СССР (имѣлось в виду дѣло о могилах 11 тысяч польских офицеров у Катыни, под Смоленском).

Дверь к сговору опять захлопывалась. Мало того. Раздосадованное участіем Форейн Оффиса в разработкѣ польскаго предложенія, совѣтское правительство рѣшило неофиціально хлопнуть по нему, т. е. пойти много дальше по пути, намѣтившемуся в статьѣ Заславскаго против Уильки. В «Правдѣ» 17-го января было напечатано нѣсколько строчек, которыя произвели впечатлѣніе разорвавшейся бомбы. Со слов своего каирскаго корреспондента, ссылавшагося на какіе-то греческіе и югославскіе источники, «Правда» сообщила, будто не так давно, в одном из прибрежных городов Пиренейскаго полуострова, встрѣтились Риббентроп и два видных британских дѣятеля. Разговор шел об условіях сепаратнаго мира между Германіей и Англіей и повидимому не остался совсѣм безрезультатным.

Слухами о сепаратном мирѣ всегда полны всѣ столицы. В ложности их никто не сомнѣвается, не столько потому, что главные союзники обязались сепаратнаго мира не заключать, сколько потому, что в настоящих условіях такой мир был бы равносилен самоубійству подписавшаго: справившись с двумя упорствующими противниками, Германія разбила бы третьяго,

временно с ней договорившагося. Лучше всѣх это знает Сталин по опыту 1941 года, но урок слишком очевиден и для других.

Итак, вздорность замѣтки была ясна. К чему же она была напечатана? Не для того ли, чтобы предупредить намѣчавшееся посредничество: нельзя же вести трудные переговоры через правительство, которое не остается глухим к предложеніям, исходящим от общаго противника. На этот раз совѣтское правительство зашло слишком далеко. Мы не знаем, какія именно представленія были сдѣланы в Москвѣ англійским представителем, но нам извѣстны его результаты: 20-го января зам. нар. ком. ин. дѣл Деканозов заявил этому представителю, что совѣтское правительство не было освѣдомлено о предстоявшем появленіи фатальной замѣтки. В «дипломатическом» характерѣ сообщенія не было сомнѣній: ничто не может появиться в «Правдѣ» без вѣдома Кремля. Но лицо было спасено: англичане могли сдѣлать вид, будто повѣрили. А через нѣсколько дней Заславскій дал фельетон, вышучивающій авторов «каирских слухов» о намѣреніи московскаго правительства совѣтизировать Балканы.

Однако, отказ совѣтскаго правительства от польскаго предложенія и совпавшая с ним по времени замѣтка «Правды» значительно ухудшили отношеніе англо-американскаго общественнаго мнѣнія к Россіи. В передовой статьѣ «Нью Іорк Таймс» было подчеркнуто, что вопрос идет не о пограничной линіи, а о готовности одного из главных союзников прибѣгнуть к процедурѣ, в которой всѣ об'единенныя націи видят лучшій способ разрѣшать международные споры. А в лондонском «Экономистѣ» появилась слѣдующая, не лишенная основанія оцѣнка: «Если даже русскіе правы по существу, то способ, каким они ведут тяжбу, как будто расчитан на то, чтобы убѣдить весь мір, что они кругом неправы».

Чтобы нѣсколько успокоить взволнованных союзников, на торжественном собраніи в память двадцатой годовщины смерти Ленина, член политбюро и начальник политическаго управленія Красной Арміи генерал-полковник Шербаков заявил, что планы Гитлера посѣять раздор между демократіями провалились, и что взаимное довѣріе между союзниками нарастает. Не открыл ли генерал-полковник одной тайны: не от Гитлера ли пришли подхваченные «Правдой» слухи о свиданіи на Серебряном Берегу?

26-го января в Вашингтонѣ был получен отвѣт на предложеніе о посредничествѣ. Это был отказ, выдержанный в самых дружественных тонах, ссылающійся на несвоевремен-

ность и потому оставляющій надежду на то, что при иных условіях предложеніе могло бы быть принято. При каких именно? При измѣненіи состава польскаго правительства? Или при проявленіи им большей уступчивости? Может быть, и в самом дѣлѣ в этом смыслѣ намѣтилось нѣкоторое улучшеніе положенія: в концѣ января прошли слухи о том, что польское правительство запросило Англію и С. Штаты о размѣрах возможных пріобрѣтеній на западѣ. Вѣроятно, это правительство поняло, что без уступок на востокѣ не обойтись.

В концѣ февраля передавали, что оно уже соглашалось на проведеніе временной демаркаціонной линіи гдѣ-то на полпути между линіей Керзона и границей 1921 года.

В самый день полученія отказа Америкѣ в британской палатѣ общин Идену был задан вопрос, продолжает ли политика правительства покоиться на заявленіи Черчиля от 3-го сентября 1940 г. о непризнаніи территоріальных перемѣн, совершившихся без свободно выраженнаго согласія заинтересованных сторон. Иден заявил, что позиція правительства осталась неизмѣнной.

В дипломатических кругах Лондона получилось впечатлѣніе, будто отнынѣ британское правительство поддерживает польскую позицію. Это вряд ли так. Но все же знаменательно, что в 1944 г. англійскій министр подтвердил заявленіе, сдѣланное в 1940 г., когда СССР не только не был союзником Англіи, но был невоюющим членом противной ей коалиціи. Если бы совѣтское правительство пошло на переговоры в духѣ, намѣченном в Москвѣ и Тегеранѣ, у англійскаго министра нашлись бы, вѣроятно, другія слова. Он мог бы, напримѣр, сказать, что, хотя принципы и неизмѣнны, фактическое положеніе измѣнилось к лучшему и позволяет надѣяться на близкое соглашеніе по вопросу о территоріальных перемѣнах на востокѣ Европы.

Вскорѣ вслѣд затѣм сессія верховнаго совѣта приняла измѣненіе конституціи, выше отмѣченное; его внѣшнеполитическія послѣдствія еще не вполнѣ опредѣлились, но выступленіе, при обсужденіи вопроса, представителей латвійской и литовской совѣтских республик еще раз подчеркнуло «твердость» совѣтской линіи по вопросу о «лимитрофах». С этими выступленіями почти совпали во времени вступленіе передовых отрядов Красной Арміи на эстонскую территорію и выпад «Извѣстій» против Ватикана. Как и по поводу пресловутой замѣтки в «Правдѣ», никто не спрашивал себя, справедливы ли обвиненія. Обсужденія заслуживал лишь вопрос, почему

это выступленіе было сдѣлано. По всей вѣроятности, оно было вызвано симпатіями, проявленными в широких католических кругах к единовѣрной с ними Польшѣ, и было направлено к тому, чтобы давленіе этих кругов заранѣе обезвредить: кто за Польшу, тот и за Гитлера, — такова точка зрѣнія Москвы. Пріемлема ли она для Лондона и Вашингтона — этот вопрос там никого не интересует. В этом направленіи Москва проявила извѣстную настойчивость: 8-го февр. в «Красной Звѣздѣ» появились выдержки из брошюры, «разоблачающей» интриги Ватикана.

Во второй половинѣ февраля оба высокія лица, встрѣтившіяся со Сталиным в Тегеранѣ, сочли нужным высказаться о положеніи. 18-го февраля, отвѣчая на письмо члена палаты представителей Мрука, Рузвельт заявил, что американское правительство не прекратит усилій к освобожденію всѣх жертв аггрессій и к установленію прочнаго и справедливаго мира на основѣ суверреннаго равенства всѣх миролюбивых народов, великих и малых. Болѣе опредѣленно высказался в палатѣ общин Черчиль (22-го февраля). Ничто из достигнутаго в Москвѣ и Тегеранѣ не потеряно, сказал он. В Тегеранѣ было установлено единство взглядов по русско-польскому вопросу. Польша должна быть сильной и независимой, но Англія никогда не гарантировала границы 1921 года; наиболѣе отвѣчающей справедливости является линія Керзона. Россія имѣет право на безопасность своей западной границы, и Англія озабочена тѣм, чтобы она получила должное не только силой оружія, но и с согласія и одобренія соединенных націй. На слѣдующій день Иден раз'яснил, что Англія отнюдь не дала своего согласія на установленіе в Европѣ «сфер вліянія», и пожаловался на то, что в наши дни труднѣе, нежели когда-либо, вести международную политику. Трудность, дал он понять — в согласованіи видов Англіи, Россіи и Соединенных Штатов. Тот, кто внимательно слѣдил за ходом событій за послѣдніе мѣсяцы, не может не согласиться с англійским министром иностранных дѣл.

На основаніи того, что произошло за четыре мѣсяца послѣ московскаго совѣщанія, можно построить слѣдующій баланс отношеній между тремя главными союзниками:

1. Между ними царит полное согласіе по вопросу о том, что война должна быть доведена до полной побѣды над Германіей. Вполнѣ согласованы между ними и военныя средства к достиженію этой цѣли. Англія и С. Штаты обязались не принимать мѣр к облегченію участи спутников Германіи, воюющих против СССР.

2. По вопросу о проведеніи западной границы Россіи главные союзники «согласились не согласиться»; формально вопрос отложен до окончанія войны, но Англія и С. Штаты полагают, что тогда вопрос дѣйствительно должен быть обсужден, тогда как СССР считает обсужденіе отложенным до греческих календ. Однако, по существу, по самому болѣзненному из вопросов, польскому, Англія и С. Штаты охотно примут компромисс на основѣ линіи Керзона, с широкой компенсаціей Польши на западѣ; для них весь вопрос только в полученіи на то согласія польскаго правительства.

3. Главные союзники согласились, что во всѣх землях, лежащих к западу от Россіи (кромѣ территорій воюющих стран), будут произведены свободные плебисциты для опредѣленія формы правленія и правителей. Существует, однако, опасеніе, что СССР не примет результатов, не обезпечивающих дружественно к нему настроенных правительств.

4. Англія и С. Штаты приняли к свѣдѣнію заявленіе СССР, что он не желает видѣть, к западу от своей границы, никаких федерацій. Тѣм самым намѣчено возстановленіе, в основном, государств версальской системы.

5. СССР отказался от расширенія своих азіатских владѣній. Но вопрос о базах в Турціи и на Балканах, если и подымался, то остался открытым.

6. Главные союзники согласились, послѣ войны, вложить свои силы в организацію коллективной безопасности. Однако, со стороны СССР, эта готовность обусловлена принятіем его требованій по вопросу о западной границѣ. Кромѣ того, СССР считает систему недостаточной и намѣрен восполнить ее соглашеніями со своими западными сосѣдями, предварительно обезпечив возглавленіе их дружественными правительствами. Таким образом, намѣчается возстановленіе «сфер вліянія», в разрѣз с основными пожеланіями руководителей американской и англійской политики.

7. По вопросу о разоруженіи Германіи и послѣдующем частичном разоруженіи самих побѣдителей, принципіальных разногласій между главными союзниками нѣт. Единодушіе установлено и по вопросу об отвѣтственности виновников звѣрств; нѣкоторое расхожденіе имѣется, вѣроятно, по вопросу о времени проведенія соотвѣтствующих процессов. Неизвѣстно также, в какой мѣрѣ достигнут сговор по многочисленным вопросам, касающимся Германіи (трудовая повинность, аграр-

ная реформа, судьбы промышленности, политическія формы и т. д.).

Из этого баланса вытекает, что московское и тегеранское совѣщанія сдѣлали то полезное дѣло, которое только и может дѣлаться совѣщаніями: они устранили многія недоразумѣнія и разсѣяли основанное на них взаимное недовѣріе. Но подобно тому, как, проспорив до утра, расходятся по домам «интеллигенты» с непоколебленными убѣжденіями и несогласимыми міросозерцаніями, совѣщанія не привели к об'единенію взглядов по тѣм вопросам, рѣшеніе которых зависит от принципов. В Лондонѣ и Вашингтонѣ по-прежнему кажется самоочевидным, что международные споры должны разрѣшаться по полюбовному соглашенію сторон (т. е. правительств), с допущеніем поправок на основѣ «согласія управляемых», устанавливаемаго в порядкѣ свободнаго плебисцита. В Москвѣ по-прежнему полагают, что достаточно односторонняго волеизъявленія Москвы, подкрѣпленнаго пустой церемоніей, какой являются совѣтскіе плебисциты. Такія притязанія возмущают послѣдовательнаго демократа. Но если он попробует доказать противнику свою правоту, то скоро убѣдится в том, что это невозможно: он будет исходить из своих принципов, а их-то и отвергает противник. Столько же безплодными окажутся попытки совѣтскаго человѣка доказать демократу свою правоту: он будет исходить из своих принципов, отвергаемых послѣдовательным демократом.

Если нельзя договориться на основѣ общей системы цѣнностей, то иногда все же можно это сдѣлать в порядкѣ практическаго компромисса. Однако, чтобы найти компромисс, каждая сторона должна что-то дать другой, а по главному спорному вопросу Лондон и Вашингтон ничего дать не могут. Как уже было объяснено, никакія гарантія безопасности в Москвѣ достаточным эквивалентом признаны не будут; вряд ли смогла бы подѣйствовать и угроза не оказать помощи в дѣлѣ матеріальнаго возстановленія Россіи, ибо весьма сомнительно, чтобы Сталин такую помощь почитал желательной: Россія справится сама, как уже раз справилась.

В сложном ходѣ послѣ-московских и послѣ-тегеранских событій проступили, таким образом, нѣкоторыя постоянныя величины, заложенныя в международной политикѣ. На одну из них постоянно указывал П. Н. Милюков: по нѣкоторым вопросам, всякое правительство Россіи, в том числѣ и совѣтское, будет вести опредѣленную политическую линію. В наши дни такой линіей оказывается настойчивое требованіе

границы, идущей от устья Нѣмана по Западному Бугу и Карпатам к устью Дуная.

Но есть и другая постоянная величина, заложенная в международных отношеніях нашего времени: политика СССР дѣлается опредѣленной соціальной группой, которая сложилась, пополнилась и «очистилась» весьма специфическими способами. В этом — ключ к пониманію тѣх непріемлемых для демократическаго сознанія форм, в которыя выливается эта политика даже в тѣх случаях, когда ея цѣли совпадают с интересами Россіи. И пока этот элемент будет присутствовать в русской политикѣ, оффиціальная Россія может быть желанным союзником, но не подлинным другом и товарищем демократій в их стремленіи вывести человѣчество из одной из самых темных полос его исторіи.

Н. С. Тимашев

РЕВОЛЮЦІЯ БЕЗ ТЕРМИДОРА

1.

Согласно широко распространенному представленію, развитіе революцій подчинено опредѣленной закономѣрности, наиболѣе отчетливо выразившейся в исторіи Великой Французской Революціи. Образно эта закономѣрность часто опредѣлялась так, что каждая революція движется сначала по в о с х о д я щ е й, а затѣм по н и с х о д я щ е й линіи. Момент перехода Великой Французской Революціи к движенію по нисходящей линіи может быть точно датирован 9-ым термидора, и открывшій этим днем період получил названіе «термидоріанской реакціи». По аналогіи то же названіе примѣняется и к соотвѣтственным періодам других революцій. В частности и в том случаѣ, который нас сейчас больше всего интересует, постоянно говорят и о «термидорѣ» в развитіи начавшейся в 1917 году русской революціи. Построенная на этом представленіи теорія может быть сведена к слѣдующим положеніям:

1) Общим законом развитія революцій является смѣна движенія революціи по восходящей линіи періодом термидоріанской реакціи, открывающем движеніе по нисходящей линіи.

2) Революціи новаго времени подчинены одной и той-же закономѣрности, и поэтому в каждой из них должен быть соотвѣтственный переломный момент — «термидор данной революціи».

3) Русская революція, подчиненная той же закономѣрности, в опредѣленный момент вступила в свой термидоріанскій період, слѣдствіем котораго и были такія явленія, как возрожденіе русского націонализма, реабилитація, а затѣм и возвеличеніе историческаго прошлаго, примиреніе с православной церковью, роспуск коминтерна и т. д.

Оставляя в сторонѣ общій вопрос о понятіи исторической закономѣрности, как и вопрос о примѣненіи этого понятія в частности к исторіи революцій, можно признать первую часть изложенной схемы удовлетворительным описаніем опредѣленаго типа революцій прошлых столѣтій. Но приданіе ей всеобщего, общеобязательнаго характера не только не помогает

пониманію революцій нашего времени, т. е. послѣдней четверти вѣка, но дѣлает его невозможным. И в особенности это относится к нашей русской революціи. Вышеприведенныя положенія должны быть, по моему мнѣнію, замѣнены положеніями прямо противоположными:

1) Нѣт такого общаго закона развитія революцій, согласно которому каждая революція должна пройти фазу термидоріанской реакціи.

2) Большія революціи, имѣвшія мѣсто за послѣднюю четверть вѣка, термидоріанской фазы не имѣли.

3) Русская революція также была революціей без термидора, дошедшей до своего полнаго, побѣдоноснаго завершенія без перехода к движенію по нисходящей линіи.

Вопрос о правильности или неправильности той или другой «тройки» положеній есть вопрос не только теоретически интересный, но и имѣющій огромное практическое значеніе для пониманія того, что происходит в Россіи, и для возможности в какой-либо мѣрѣ предвидѣть дальнѣйшее развитіе русской политики и внутренней, и внѣшней. Можно говорить о «загадках Россіи», и Г. П. Федотов сказал о них много цѣннаго. Но в Россіи имѣются не только загадки, но и явленія, которыя только кажутся загадочными, и нѣкоторыя из них превращались в загадки именно потому, что к ним подходили под гипнозом исторической аналогіи и в частности «навязчивой идеи» русскаго термидора. Если же под вліяніем тѣх же аналогій даются и «разгадки», то выводы и предвидѣнія получаются и глубоко невѣрные, и политически опасные. Правда, не всѣ, кто примѣняют к русской революціи сравненіе с термидором, в этом повинны. Иногда это сравненіе не идет дальше установленія нѣкоторых общих черт, дѣйствительно существующих, но имѣющих характер производных или побочных явленій. Если из этого не выводится тождество или близкое родство (общая закономѣрность) основных линій обоих исторических процессов, то такого рода сравненіе может быть безвредным и даже помочь дѣлать нѣкоторыя интересныя наблюденія. Но бѣда в том, что представленіе о неизбѣжном наступленіи термидоріанской фазы в ходѣ каждой революціи так распространено и настолько укоренилось, что аналогіи с французской революціей почти всегда приводят к искаженію перспективы русской революціи, даже если при этом слово «термидор» и не употребляется. Конечно, в одном отношеніи коренное различіе совершенно очевидно. В Россіи не было переворота, устранившаго революціонную диктатуру, не было смѣны одной рево-

люціонной власти другой. Правящій персонал мѣнялся, но всегда только по частям и при сохраненіи непрерывной преемственности самой революціонн. диктатуры, а затѣм в теченіе уже почти двух десятилѣтій и при одном и том же диктаторѣ. Уничтожались не носители власти, а возможные претенденты на власть. Эта, казалось бы, необычайно разительная особенность развитія русской революціи не подорвала однако теоріи термидоріанской фазы и была истолкована так, что революціонная совѣтская власть сама претерпѣла «термидоріанское перерожденіе», приведшее к такому же перерожденію и всего совѣтскаго режима. Из этого дѣлаются по существу совершенно тождественные выводы с двух противоположных сторон — с одной стороны разными радикальными группами, которыя почти всѣ в просторѣчіи именуются «троцкистами», а с другой стороны консервативными, в том числѣ и нѣкоторыми капиталистическими кругами. А за тѣми и другими плетутся тѣ широкіе круги «идеологов», которые в Америкѣ подчеркнуто именуют себя «либералами».

Одни с обличительным негодованіем, другіе с ободряющим восхищеніем, третьи, смѣшивая в разных дозах удовольствіе с сожалѣніем, всѣ эти разнородные элементы по существу приходят к одним и тѣм же выводам. Совѣтская власть перестала быть властью коммунистической, как и русскіе большевики уже не являются больше коммунистами. Их интересует уже не міровая революція, а только могущество и благополучіе того государства, которым они владѣют. Непримиримая вражда к капитализму смѣнилась терпимым к нему отношеніем и готовностью не только к мирному сожительству с ним, но, если это выгодно, и к усвоенію тѣх или иных его методов. Идеологія интернаціонализма уступила свое мѣсто русскому націонализму, по одним «здоровому», по другим «реакціонному». Поэтому оказывается возможным толковать роспуск Коминтерна, как отказ от руководства иностранными коммунистическими партіями, «примиреніе с православной церковью» как шаг на пути к возстановленію демократических свобод, подпись под Московской Декларацією как выраженіе искренняго желанія содѣйствовать созданію и охранѣ международнаго правопорядка, а страшные акты террора как проявленія застарѣлых привычек, окончательно освободиться от которых еще не было времени. Но это толкованіе «буржуазных оптимистов», в то время как «критики слѣва» бичуют измѣну большевиков собственной революціи. А между тѣм, если освободиться от предвзятой теоріи и смотрѣть на развитіе русской революціи так,

как оно совершалось в дѣйствительности, то обнаружится, что не было ни «термидора» или измѣны большевиков собственной революціи, ни их возврата к «здоровому націонализму» или демократическим принципам. Напротив, при несомнѣнном наличіи разных колебаній, большевистская коммунистическая революція в основном осталась д о к о н ц а вѣрна себѣ и закончилась полной побѣдой своей «генеральной линіи» (в широком, как и в спеціальном смыслѣ слова), создав новый уклад, вполнѣ отвѣчающій имманентно в ней существовавшим тенденціям. Конечно, в Россіи революціи больше нѣт, но не потому, что произошел какой-либо «термидор», а потому, что большевики ее уже примѣрно десять лѣт тому назад побѣдоносно закончили.

Большевистская революція избѣжала дѣйствія «общаго закона развитія революцій», и сами большевики могут об'яснять это тѣм, что это был общій закон для «буржуазных» революцій, а они совершили революцію соціалистическую. В самом дѣлѣ, вот что Энгельс писал об а н г л і й с к о й революціи в предисловіи к англійскому переводу своей брошюры «Развитіе соціализма от утопій к наукѣ»: «Чтобы пожать даже тѣ плоды побѣды буржуазіи, которые тогда вполнѣ созрѣли для жатвы, понадобилось, чтобы революція з а ш л а з н а ч и т е л ь н о д а л ь ш е ц ѣ л и — совершенно так же, как в 1793 году во Франціи и в 1848 году в Германіи. Повидимому, таков дѣйствительно один из законов развитія б у р ж у а з н а г о общества. За этим избытком революціонной дѣятельности послѣдовала н е и з б ѣ ж н а я реакція, которая в свою очередь зашла д а л ь ш е с в о е й ц ѣ л и. Послѣ ряда колебаній установился, наконец, новый центр тяжести и послужил исходным пунктом для дальнѣйшаго развитія». (Во всѣх случаях подчеркнуто мною). Хотя в основѣ данной Энгельсом схемы лежит слишком уж механическое представленіе о «цѣлях» революціи и реакціи, которое не может не коробить историка, в схему эту все же слѣдует вдуматься. Замѣтим однако сначала, что не только русская революція не укладывается в эту схему: она так же мало примѣнима и к фашистской революціи в Италіи и к гитлеровской революціи в Германіи и к кемалистской революціи в Турціи.

2,

В приведенной выше цитатѣ Энгельс формулировал закон неизбѣжности «термидора» — по крайней мѣрѣ для «буржуазных» революцій. Он говорит о том, как революція заходит

слишком далеко — «значительно дальше цѣли» — и как тогда возникает неизбѣжная реакція. Этот момент перехода от «избытка революціонной дѣятельности» к реакціи и есть «термидор», а открываемая им реакція и называется «термидоріанской». Введеніе понятія «цѣли революціи» по отношенію к революціям прошлых столѣтій только запутывает дѣло. Энгельс, очевидно, имѣет в виду цѣль имманентную развитію. Но даже если допустить законность такой абстракціи, то примѣнять ее можно только с извѣстными мѣрами предосторожности, чтобы избѣжать смѣшенія такой абстрактной, искусственно конструированной цѣли с тѣми конкретными цѣлями, которыя ставились революціи ея различными участниками. В наше время такое смѣшеніе особенно вредно потому, что мы имѣем перед собой примѣры революцій, которыя явились успѣшным осуществленіем заранѣе поставленных опредѣленными лицами и группами конкретных цѣлей, тогда как тѣ «цѣли», которыя могли бы быть конструированы как «об'ективныя» или «имманентныя развитію» отнюдь не осуществлялись. Ограничимся одним особенно ярким примѣром: коллективизацію русскаго земледѣлія никак уж нельзя представить как об'ективную или имманентную цѣль развитія, а между тѣм большевистская революція эту цѣль себѣ поставила и ее осуществила. Это вызвало упорное сопротивленіе, которое однако было самым жестоким образом подавлено и не привело к неизбѣжной, казалось бы, реакціи. Различіе, очевидно, не в том, что раньше революціи всегда заходили значительно дальше цѣли, а теперь этого нѣт, но, как уже можно предположить, в том, что условія достижимости конкретных цѣлей существенно измѣнились.

Если наступленіе термидоріанской реакціи заставляет нас констатировать, что в період 1789-1793 г.г. французская революція постепенно зашла слишком далеко, то это означает, что, в то время как предыдущія революціонныя правительства не удовлетворяли опредѣленныя, имѣвшія рѣшающее значеніе группы недостаточным радикализмом своей политики и поэтому вынуждены были очищать мѣсто болѣе крайним элементам, диктатура тріумвирата Робеспьр-Сэн Жюст-Кутон, наоборот, вызвала своими радикальными мѣропріятіями уже очень широкую оппозицію и оказалась почти совершенно изолированной. Она была ликвидирована с поразительной быстротой. Ея сверженіе не было дѣлом одной сплоченной группы, подготовившей переворот. Заговора в точном смыслѣ этого слова не было, но даже если считать заговором ту степень сговора или контакта, которая существовала между различными лицами

и группами, то не этот «заговор» уничтожил Робеспьера. Катастрофа — термидор! — разразилась как будто совершенно случайно. Тріумвиры подготовили новый сокрушительнший удар. Робеспьер открыл бой рѣчью в Конвентѣ и сначала это была полная побѣда. Конвент голосует публикацію рѣчи и ея разсылку по странѣ. Но Камбон, которому было предназначено быть одной из ближайших жертв, поднимается и кричит: «Прежде чѣм быть обезчещенным я обращаюсь к Франціи». Протест Камбона развязывает бурю, и Робеспьер теряет Конвент. Хотя вечером клуб якобинцев восторженно привѣтствует ту же рѣчь Робеспьера, на слѣдующій день — 9-го термидора в Конвентѣ ему уже не дают говорить. Робеспьер и его главные сотрудники по проведенію диктатуры предаются революціонному трибуналу. Вспыхнувшая ночью борьба кончается быстрой побѣдой реакціи. Конвент об'являет мятежников внѣ закона, так что они могли быть казнены без суда.

Я, конечно, не пишу здѣсь исторіи Термидора и ограничиваюсь напоминаніем нѣкоторых фактов, которые должны помочь нам подойти к центральному пункту нашей проблемы. Конечно, не случай погубил Робеспьера и не взрыв гнѣва Камбона, который нашел, но мог и не найти мужества для своего протеста. Это была одна искра, вмѣсто нея могла вспыхнуть и другая. Знаменательно то, что диктатура оказалась не в состояніи себя защищать. Нам послѣ нашего опыта представлялась бы естественной совсѣм другая развязка: возглаляемый Робеспьером тріумвират разгоняет Конвент, арестовывает и посылает на эшафот всѣх дерзнувших на оппозицію. В наше время всякая диктатура располагала бы нужными для этого средствами. Но Робеспьер такими средствами не располагал. Аппарат власти, конечно, существовал, но не было ни рѣшимости защищать свою власть против всякого сопротивленія, какими угодно средствами и какой угодно цѣной, ни спеціальной организаціи для т а к о й защиты власти. Диктатура, если уже и не была носительницей общественных настроеній, то оставалась в какой-то мѣрѣ от них зависимой. Она погибла, потому что не могла — ни суб'ективно, ни по об'ективным условіям эпохи — овладѣть той техникой сохраненія власти, которая стала возможной в наш технический вѣк, и которую диктатуры нашего времени развили до высокаго совершенства. В наше время суженіе базы революціонной власти не приводит к ея гибели, но заставляет ее усиливать свой аппарат сохраненія власти. И революціонеры наших дней сумѣли учесть «ошибки» прежних революцій. Конечно, и в наше время рево-

люціонная власть старается получить возможно болѣе широкое добровольное признаніе, но в то же время она с самаго начала принимает мѣры к тому, чтобы сдѣлать себя независимой от широты и степени такого добровольнаго признанія. Она создает организацію насилія, способную преодолѣть всякое сопротивленіе. Поэтому революціи нашего времени и являются революціями без термидора.

Надо особенно подчеркнуть, что дѣло не сводится только к примѣненію современной техники в интересах самосохраненія власти, а именно к созданію новой техники власти. Конечно, всякому ясно, что монопольное обладаніе массами пулеметов, современной артиллеріи, танков и т. п. чрезвычайно усиливает матеріальный аппарат власти, что поразительное развитіе средств сообщенія дает возможность достигнуть ранѣе немыслимой быстроты и координаціи дѣйствій, а также позволяет организовать всеоб'емлющую систему наблюденія. Но матеріальныя средства сами по себѣ еще недостаточны: власть должна располагать достаточным количеством безусловно надежных людей для примѣненія всѣх этих матеріальных средств в ея интересах. Пулемет перестает быть защитой власти и дѣлается угрозой для нея, если управляющая им рука становится ненадежной. Необходимой составной частью новой техники власти является поэтому формированіе достаточно широкаго круга людей, неразрывно связавших свою судьбу с судьбой данной власти. Формированіе такой опоры власти начинается уже в предреволюціонный період, уже в начальных стадіях борьбы за власть, в видѣ образованія фанатичных и построенных на авторитарном принципѣ партій, безусловно подчиняющихся партійному руководству, фактически в о ж д ю. Послѣ завоеванія власти эта партія становится единственной или «единой» партіей страны, дѣлаясь ея правящим классом, при чем внутри ея опять-таки развивается сложная техника всеоб'емлющаго наблюденія с аппаратом для подавленія возможной оппозиціи, для «чисток», для осуществленія системы отбора наиболѣе надежных. Такая партія отождествляет себя с диктатурой. Она должна быть достаточно многочисленной, чтобы поставлять кадры, необходимые для осуществленія господства, но и не слишком многочисленной, чтобы не стать слишком чувствительной к настроеніям населенія. Особый отбор необходим для образованія чрезвычайно обширной тайной полиціи и связанной с нею особой вооруженной силы. Для этого аппарата необходимы люди, не поддающіееся никаким моральным импульсам. Они должны созна-

вать, что их физическое существованіе неотдѣлимо связано с данной властью, и что любая смѣна власти грозила бы им физическим уничтоженіям. Этот аппарат по существу своему должен быть ненавистен широким кругам населенія. Не случайно, поэтому, что в таком аппаратѣ каждой диктатуры в изобиліи имѣются элементы, которые в другой общественной системѣ не имѣли бы функціи бороться с преступленіями, а сами заполнили бы собой разныя категоріи преступников.

Новая техника власти предполагает искорененіе всякой самодѣятельности внѣ точно установленных предѣлов и логически приводит к «тоталитаризму», связанному в свою очередь є невѣроятным разбуханіем бюрократіи. Вся эта бюрократія, чрезвычайно многочисленная и разнообразная по своим функціям, не может стать в ея цѣлом классом, являющимся абсолютно надежной опорой диктатуры. Она слишком многочисленна, чтобы всю ее сдѣлать особо привилегированной, и она, опять-таки в силу ея численности, неизбѣжно должна включить в себѣ элементы, слишком связанные с «управляемыми». Чтобы интегрировать эту гигантскую бюрократію в систему диктатуры, новая техника власти комбинирует старые принципы іерархической организаціи и ее системы поощреній, дифференціаціи привилегій, с созданіем атмосферы постояннаго опасенія за свою судьбу и чувства полной зависимости от милости данной власти. Новая техника власти пользуется системой матеріальнаго и моральнаго подкупа. На этой почвѣ создается глубокая общественная деморализація, вызывающая явленія, сходныя с извѣстными чертами термидоріанской реакціи в эпоху Французской Революціи. Но очевидно, что это, как уже было указано, явленія производныя и не коренящіяся в общности линіи развитія различных революцій. К тому же современная диктатура борется с злоупотребленіями, выходящими за предѣлы узаконеннаго системой господства и вредящими функціонированію всеоб'емлющаго государственнаго аппарата. Наконец, я могу здѣсь только упомянуть чрезвычайно существенный элемент новой техники власти, каким является п р о п а г а н д а со всѣми ея методами психологическаго воздѣйствія.

3.

Было бы и невѣрно и глубоко несправедливо представлять возникновеніе новой техники так, что ее разработали партіи, для которых обладаніе властью представляло конечную цѣль их стремленій и которыя, поэтому, готовы были идти рѣши-

гельно на все, чтобы раз завоеванную власть удержать против всякаго сопротивленія. Такія партіи, вѣроятно, и не смогли бы овладѣть властью. Как уже было отмѣчено выше, ядром будущаго правящаго класса являлись партіи, имѣвшія фанатических приверженцов. Как бы ни относиться по существу к идеям, вдохновлявшим этот фанатизм, но это были именно идеи, и жизненным элементом таких партій было не циничное властолюбіе во имя личных выгод, а пламенная вѣра. Это относится, конечно, главным образом к «ядру», постепенно обраставшему весьма разнородными элементами. В частности большевики, которым, как своего рода піонерам, принадлежит главная заслуга в разработкѣ новой техники власти, были внѣ всякого сомнѣнія убѣжденными соціалистами, боровшимися и готовыми жертвовать собой во имя идеала, осуществленіе котораго должно было положить конец всякому угнетенію и принести счастье всему человѣчеству. Власть им нужна была прежде всего даже не для осуществленія идеала, которое относилось еще к болѣе или менѣе отдаленному будущему, а для того, чтобы продолжать борьбу за него. Многим большевикам длительное удержаніе власти вначалѣ представлялось невозможным, если на помощь не подоспѣет европейская революція. Во всяком случаѣ это была неимовѣрно трудная задача, и именно сознаніе этого заставляло концентрировать огромную энергію на усиліях эту задачу все-таки разрѣшить.

Если большевики оказались при этом способными примѣнять методы, находящіеся в кричащем противорѣчіи с демократическим и гуманистическим содержаніем их идеала, если они проявили готовность во имя удержанія власти не останавливаться рѣшительно ни перед чѣм, то этим они только обнаружили, что предпосылки для этого уже были заложены в нѣкоторых чертах всей их прежней практики. Новая техника власти требует не только матеріально- технических, но и извѣстных психологических и моральных предпосылок, которых у революціонеров 18-го столѣтія, по всей видимости, не было. У большевиков эти предпосылки были. Партія Ленина всегда проявляла изрядную долю аморализма, неразборчивость в выборѣ методов борьбы возводилась в принцип. По существу примитивное мышленіе даже таких необычайно одаренных людей, как сам Ленин, уживались с самым наивным представленіем о взаимоотношеніи между ц ѣ л ь ю и с р е д с т в а м и; люди не задумывались над тѣм, что в каждом процессѣ строительства, оформленія, созиданія «цѣль» не выскакивает под конец, как нѣчто готовое, а постепенно выростает из «средств»,

ими опредѣляется и создается, — подобно тому, как качество зданія опредѣляется не только его проэктом, но в гораздо большей степени и качеством матеріалов и методами работы. В строительствѣ же человѣческаго общества и качество самих строителей в сильнѣйшей мѣрѣ опредѣляется тѣми методами, которые они примѣняют. Не забудем и авторитарнаго характера партіи. Люди, которые сами слѣпо подчиняются партійному руководству, считают естественным требовать безусловного подчиненія и от других. Раз они сами отказываются от самостоятельнаго мышленія, так как их великій вождь «думает за нас всѣх» (буквально так говорили и большевики о Ленинѣ и національ-соціалисты о Гитлерѣ), то они менѣе всего склонны признавать право свободного сужденія за другими.

Но все это было связано и с теоретической концепціей большевизма. Момент очень важный, потому что он помогал большевикам не чувствовать кричащаго противорѣчія между их практикой и их идеалом. Не в том дѣло, что теоретики большевизма не видѣли или не цѣнили моральной гуманитарной и свободолюбивой стороны соціалистическаго идеала. Они искренне считали себя гуманистами и демократами. Но центр тяжести лежал для них односторонне в области организаціонных проблем соціализма, рѣшеніе которых какими бы то ни было методами должно было, по их представленію, автоматически повлечь за собою полное преобразованіе во всѣх других областях. Экономическую организацію общества они считали абсолютно опредѣляющим фактором формированія всѣх общественных отношеній и даже индивидуальной психологіи. Так понимали они «экономическій матеріализм». И на том же уровнѣ была их «діалектика». Они, повидимому всерьез думали, что величайшее зло может превратиться в свою противоположность, т. е. в величайшее благо, и что из «царства необходимости» — можно будет «скачком» перейти в «царство свободы». Их концепція осуществленія соціализма сводилась поэтому к тому, что нужно провести обобществленіе средств производства, плановую организацію хозяйства, и тогда все остальное приложится. К этому нужно еще добавить не особенно продуманное, но ярко выраженное представленіе о творческой роли насилія. Во время своей борьбы за власть, большевики, конечно, не могли имѣть готовой, в деталях разработанной, системы новой техники власти, но их теоретики уже имѣли о ней нѣкоторыя вполнѣ конкретныя идеи, а движеніе в его цѣлом было подготовлено к своей будущей практикѣ удержанія власти идейно, технически и морально.

Нѣт, большевики не измѣнили своей революціи. Наоборот, они проявили изумительную послѣдовательность в борьбѣ за достиженіе своих цѣлей. Это относится, если не ко всѣм отдѣльным большевикам, то по меньшей мѣрѣ к «большевизму», как движущей силѣ революціи. Отдѣльные большевики могли пугаться результатов собственных усилій, могли не выдерживать слишком большого противорѣчія между идеальными стремленіями и морем грязи и крови в созданной ими дѣйствительности. Нѣкоторые просто уставали от непрерывнаго максимальнаго напряженія. Другіе не могли прѣодолѣть простого человѣческаго сочувствія к невѣроятным страданіям огромных масс народа. Еще другіе не могли мириться с тѣм, что у них окончательно отнято право собственнаго сужденія и самодѣятельности, что они остаются только об'ектом командованія, находящагося — послѣ смерти Ленина — в руках людей, превосходства которых над собой они не признавали. С другой стороны правящей группѣ приходилось порою «лавировать и отступать», дѣлать уступки. Но это не приводило к окончательной перемѣнѣ н а п р а в л е н і я политики. При первой же возможности основная линія возстанавливалась и проводилась с еще большей энергіей. И так до конца, до проведенія коллективизаціи — этого послѣдняго акта революціи, так как послѣ этого революціонизировать уже было нечего, и все дальнѣйшее развитіе могло протекать в рамках уже установленнаго во всѣх существенных чертах уклада. Термидора не было, потому что термидор означает не временное отклоненіе — чѣм, напримѣр, был НЭП, — а реакцію, измѣненіе направленія, ликвидацію многаго из того, что до его наступленія представлялось завоеваніями революціи без намѣренія к этому вернуться при первой возможности.

Это не значит, что все осуществлялось так, как большевики себѣ это с самаго начала представляли. Одни составные элементы «конечной цѣли», когда достигались, оказались далеко не такими, какими они раньше рисовались воображенію. Это относится, напримѣр, к роли пролетаріата, к его самодѣятельности и его экономической свободѣ в обобществленном хозяйствѣ. Другія цѣли не достигались совсѣм, а только были об'явлены достигнутыми. Цѣлью было, напримѣр, создать безклассовое общество, а осуществленіе соціализаціи хозяйства диктатурой привело к новой и очень отчетливой классовой дифференціаціи. Государство все еще теоретически ждет своего «отмиранія», а на дѣлѣ закрѣпляется, как всесильный и всеоб'емлющій аппарат господства. Но всѣ эти трансформаціи

цѣлей происходили не вслѣдствіе сознательнаго отказа от того, что было предметом стремленія, и не вслѣдствіе капитуляціи перед какими-либо противоположными тенденціями (что было бы «термидоріанским перерожденіем»), а неизбѣжным слѣдствіем того, что ц ѣ л и в процессѣ их конкретнаго осуществленія формируются тѣми с р е д с т в а м и, которыя для этого примѣняются. Если общественное преобразованіе совершается насильственно, против воли огромных масс, то государственный аппарат д о л ж е н быть чрезвычайно сильным и обширным, его носителем д о л ж е н быть новый правящій класс, застрахованный от внутренняго разложенія и принимающій болѣе или менѣе кастовый характер, чтобы оставаться недоступным внѣшним вліяніям; человѣческій труд д о л ж е н оказаться порабощенным, а организаторы и руководители производства д о л ж н ы обладать командной властью, не стѣсняемой естественными человѣческими желаніями и «ограниченным разумом» управляемых.

4.

Мы привыкли думать, что революціи — по крайней мѣрѣ революціи, выходящія за предѣлы «дней» — заканчиваются, когда наступает торжество реакціи. Революціи оказывают глубокое вліяніе на судьбы народов, хотя сами онѣ фатально терпят пораженія. Теперь перед нами прошел ряд революцій, которыя пораженій на внутреннем фронтѣ не потерпѣли. Но всякая революція все же как-то кончается. Кончилась и русская революція. Когда же это произошло? Было бы безплодным занятіем пытаться отыскать точную дату, так как окончаніе революціи не произошло в видѣ какого-либо обособленного акта, а представляло собою послѣднюю фазу процесса, протекавшаго в началѣ 30-х годов. Послѣдним актом революціи была коллективизація. Офиціальная совѣтская исторія («Исторія Всесоюзной Коммунистической партіи», 1938) выдѣляет період «борьбы за коллективизацію селькаго хозяйства», занявшій пятилѣтіе от 1930 по 1934 год. «Крутой поворот» в совѣтской политикѣ по отношенію к «кулачеству» произошел в концѣ 1929 года (стр. 291). «В 1930-1934 годах партія большевиков разрѣшила труднѣйшую послѣ завоеванія власти историческую задачу пролетарской революціи — перевод милліонов мелкособственнических крестьянских хозяйств на путь колхозов, на путь соціализма (стр. 314)». По ощущенію самих вождей революціи ея окончательная побѣда приходится

именно на этот період. Собравшійся 26 іюня 1930 года XVI-й с'ѣзд партіи был, по опредѣленію Сталина, «с'ѣзд развернутаго наступленія соціализма по всему фронту, ликвидаціи кулачества, как класса, и проведенія в жизнь сплошной коллективизаціи (стр. 296), а XVII с'ѣзд, состоявшійся в январѣ 1934 году был уже «с'ѣздом побѣдителей» (стр. 305). Уже в январѣ 1933 года, на январьском пленумѣ ЦК и ЦКК партіи, Сталин заявил, что «побѣда соціализма во всѣх областях народнаго хозяйства уничтожила эксплуатацію человѣка человѣком» (стр. 305). А на с'ѣздѣ в январѣ 1934 года он напомнил слова Ленина, говорившаго при введеніи новой экономической политики, что в Россіи существуют элементы пяти общественно-экономических укладов: патріархальнаго хозяйства, мелкотоварнаго производства, частно-хозяйственнаго капитализма, государственнаго капитализма и соціализма. Теперь, говорил Сталин, трех из этих укладов — патріархальнаго хозяйства, частнаго капитализма и государственнаго капитализма — уже не существует, мелко-товарное производство «оттѣснено на второстепенныя позиціи», а «соціалистическій уклад является безраздѣльно господствующей и единственно командующей силой во всем народном хозяйствѣ» (стр. 306).

Констатировать, что сама совѣтская власть устами своего безспорнаго и самодержавнаго вождя так отчетливо выразила сознаніе одержанной окончательной побѣды, чрезвычайно важно для пониманія послѣдовавшаго за этим преобразованія офиціальной идеологіи. Раз революція окончательно побѣдила, значит она кончилась. Власть перестала быть революціонной. Конечно, образовавшіеся за время революціи идеологическіе навыки отмирают далеко не сразу и нѣсколько задерживают преобразованіе идеологіи, — но рано или поздно офиціальная идеологія власти, вышедшей из побѣдившей революціи, должна стать коренным образом отличной от идеологіи власти, борющейся за побѣду революціи, как и идеологія (а соотвѣтственно и пропаганда) власти, борющейся за самосохраненіе и доведенія революціи до конца, должна была в свое время стать отличной от идеологіи партіи, борющейся за власть. Послѣ побѣдоноснаго окончанія революціи власть революціонная превращается во власть консервативную. Это было в 1925 году отчетливо формулировано одним из крупных дѣятелей фашистской революціи, Альфредо Рокко: «Как пчела, производя потомство, умирает, так и революція отмирает, как таковая, когда создан новый порядок. С этого времени рево-

люція становится консервативной — охранительницей родившейся из нея новой системы»*).

Задача самосохраненія власти остается. Но задача эта трансформировалась уже в ходѣ развитія революціи. В началѣ это была борьба против активной контр-революціи, борьба за то, чтобы «удержаться», т. е. по существу продолженіе борьбы за власть. Затѣм цѣлью стало преодолѣніе препятствій на пути к завершенію революціи, искорененіе тѣх соціальных слоев, которые, хотя бы и оставаясь пассивными, были по существу враждебны совершаемому преобразованію и представляли собою почву, на которой могла вырости опасная для революціонной власти оппозиція. Пока эта борьба велась одновременно с осуществленіем революціоннаго преобразованія всего общественнаго строя — напримѣр, искорененіе так называемаго «кулачества» в процессѣ коллективизаціи, — она велась во имя революціи, требовала революціонной и д е о л о г і и для своего обоснованія и революціонной п с и х о л о г і и для воодушевленія тѣх, кто данную политику практически проводили. Но послѣ завершенія революціоннаго преобразованія вся проблема самосохраненія власти представляется уже в совершенно другом видѣ. Прежде всего одна из задач, и раньше уже имѣвших большое значеніе, пріобрѣтает теперь еще гораздо большій удѣльный вѣс и исключительную остроту, это — борьба за сохраненіе человѣческой базы диктатуры, борьба против «трещин», возникающих в средѣ самих носителей новой техники власти, против всякой оппозиціи, возникающей или могущей возникнуть в н у т р и новаго правящаго класса и всего огромнаго аппарата государственнаго управленія. Страшная полоса террора, открывшаяся «московским процессом» августа 1936 года, была посвящена рѣшенію уже этой, а не какой-либо революціонной задачи. И особенно знаменательно то, что на этот раз расправа дошла до самой верхушки аппарата, спеціализированнаго на техникѣ террора.

С наступленіем этого періода революціонныя идеологія и психологія становятся — по крайней мѣрѣ в области в н у т р е н н е й политики — не только безполезными, но и прямо опасными для власти. Воспитывать и поддерживать готовность к революціонной борьбѣ? Против кого? Революціонныя мысли и настроенія могут направляться теперь уже только против данной власти, против «существующаго строя». А власти нужны теперь мысли и настроенія, которыя способствуют не

*) Herbert L. Matthews. The Fruits of Fascism, p. 323.

разрушенію, а сохраненію установленнаго ею порядка в его цѣлом, потому что ни одного, подлежащаго революціонированію, сектора в сферѣ ея господства уже не осталось. На лицо всѣ предпосылки для возвращенія к методам консервативной государственности: к націонализму, традиціонализму, бытовому консерватизму («мѣщанская мораль»!), желанію использовать и церковь для поддержанія установленнаго порядка. Во время революціи была естественной и необходимой идеологія самаго радикальнаго разрыва с прошлым, которое надо было искоренить, носители котораго были злѣйшими врагами. Теперь же власть, пытающаяся быть безспорной в сознаніи народа — «легитимной», — должна внушать представленіе о своей незыблемой прочности, своей укорененности. Так в новом гимнѣ говорится о союзѣ «нерушимом», который великая Русь, «сплотила навѣки». На мѣсто разрыва с историческим прошлым выдвигается представленіе о новом періодѣ, как о логическом завершеніи всей предыдущей исторіи страны, и о новой власти, крѣпко вросшейся в историческія традиціи, в то, что теперь снова изображается не как сплошное царство мрака и угнетенія, а как «наше славное прошлое».

5.

В предшествующем изложеніи я должен был сдѣлать неизбѣжное, но тѣм не менѣе искусственное раздѣленіе, совершенно изолировав область политики внутренней от политики внѣшней. Между тѣм для политики совѣтской власти чрезвычайно характерно именно сплетеніе импульсов внутренне-политических с внѣшне-политическими, постоянное взаимодѣйствіе между тѣми и другими. При изслѣдованіи эволюціи этой политики то и дѣло наталкиваешься на явленіе, которое можно, пожалуй, охарактеризовать как «двуединую причинность», когда опредѣляющіе данный этап развитія факторы одновременно представляются и внутренне- и внѣшне-политическими. В значительной мѣрѣ такая двуединая причинность имѣла мѣсто и в процессѣ преобразованія идеологіи послѣ побѣдоноснаго завершенія революціи. Чтобы не впадать в методологическія тонкости, можно воспользоваться формулировкой нѣсколько упрощенной, но достаточно отвѣчающей дѣйствительности. Далеко идущее преобразованіе официальной идеологіи с неизбѣжностью вытекало из факта побѣды революціи на ея внутреннем фронтѣ. Но интенсивность и темп

этого преобразованія, как и многія конкретныя его особенности, были в значительной мѣрѣ опредѣлены дѣйствовавшими в том же направленіи внѣшне-политическими импульсами. Напомним прежде всего, что в январѣ 1934 года XVII с'ѣзд большевистской партіи «подвел итоги исторической побѣды соціализма в нашей странѣ» (Исторія СССР. Часть 3, стр. 323), а ровно за год до этого в Германіи пришел к власти Гитлер. В том же докладѣ, в котором Сталин констатировал побѣду соціализма в народном хозяйствѣ, он, говоря о международном положеніи, повторял, что «дѣло явным образом идет к новой войнѣ», что «дѣло идет к новой имперіалистической войнѣ, как к выходу из нынѣшняго положенія», что «буржуазія избирает путь войны» и т. д.

Конечно подобныя заявленія дѣлались и раньше. Так напр. и в своем очередном докладѣ XVI с'ѣзду, в іюнѣ 1930 года, Сталин заявил, что «мы живем теперь в эпоху войн и революцій», и это была не просто фраза, а формулировка концепціи, имѣвшей основное значеніе для всей его политики. Но тогда он еще предсказывал, что «опасность войны будет наростать ускоренным темпом», а в январѣ 1934 года он уже видѣл эту опасность в непосредственной близи. Правда, Москва и тогда и в теченіи еще семи лѣт не переставала надѣяться, что ей удастся отвести удар от себя и сговориться с Гитлером, но все же с возможностью войны в ближайшем будущем надо было считаться, потому что в Германіи были отчетливо видны силы, работавшія в направленіи войны против Россіи. Сталин говорил о «нѣкоторых измѣненіях в политикѣ Германіи» и о том, что «нѣкоторые германскіе политики» в свою очередь обвиняют Совѣтскій Союз в перемѣнѣ его политики, об'ясняя эту перемѣну «установленіем фашистскаго режима в Германіи». «Но, — говорил Сталин, — дѣло здѣсь не в фашизмѣ, хотя бы потому, что фашизм, напримѣр, в Италіи не помѣшал СССР установить наилучшія отношенія с этой страной... Дѣло в том, что еще перед приходом к власти нынѣшних германских политиков, особенно же послѣ их прихода — в Германіи началась борьба между двумя политическими линіями..., причем «новая» политика явным образом берет верх над старой», т. е. политика завоевательных планов по отношенію к Россіи берет верх над политикой дружескаго сожительства и сотрудничества. Значит, стараясь добиться возвращенія Германіи к «старой» политикѣ и к установленію с нею «наилучших отношеній», приходилось считаться и с возможностью побѣды «новой» политики. Внѣшне-политическіе выводы из этой перспективы мы можем оста-

вить здѣсь в сторонѣ. Выводом для «внутреннего фронта», очевидно, должна была быть интенсивная военная подготовка, включая подготовку идеологическую и психологическую.

Тѣ критики «слѣва», которые относятся к совѣтской власти в общем положительно, сожалѣют о том, что она готовила — и ведет — войну не «соціально-революціонную», а «національную». Но это значит упрекать совѣтскую власть за то, что она выигранную народную войну предпочла вѣрному проигрышу войны соціально-революціонной. Сталин лучше его «лѣвых» критиков знал, что революція не создала для народнаго сознанія — и чувства — таких цѣнностей, ради которых можно было бы поднять огромныя народныя массы на величайшія усилія и величайшее самопожертвованіе. Он знал, что лишь часть населенія готова идти на эти усилія и жертвы ради его диктатуры. А между тѣм существовала опасность, что за період революціи и под вліяніем ея идеологіи в особенности у молодого поколѣнія ослабѣли и извратились тѣ чувства, которыя составляют основу патріотизма. Надо было возможно скорѣе и возможно интенсивнѣе освѣжить в «народной памяти» тѣ цѣнности, ради которых люди готовы идти на смерть и на самыя страшныя лишенія. Но к «россійскому націонализму» подводила совѣтскую власть и другая логика ея развитія, а именно постепенная трансформація концепціи міровой революціи, и это является моментом, особенно важным для правильной оцѣнки перспектив будущаго. Большевистская диктатура побѣдила, осуществив то, во что превратилась в процессѣ ея революціонной борьбы ея соціалистическая программа. Она не сдала своих позицій капитализму — в чем состоял бы ея «термидор», — она построила общество, капитализм исключающее, и осталась принципіально враждебной капитализму. Но большевизм противостоит теперь внѣшнему міру, как государственная власть — как «соціалистическое» государство. Защита соціализма отождествилась поэтому с защитой совѣтскаго государства, а борьба за всемірное торжество соціализма, т. е. за міровую революцію, с экспансіей Совѣтскаго Союза. Таким образом, большевистскій интернаціонализм совпадает теперь с совѣтским имперіализмом. С большим вѣроятіем можно ожидать, что именно на этой почвѣ совѣтская власть будет стараться рѣшить критическія проблемы, которыя будут стоять перед нею по окончаніи войны. В ходѣ войны наростает возможность образованія в самом аппаратѣ власти наиболѣе опасной для нея «трещины». Война во много раз расширила круг носителей матеріальной силы, приведя к созданію колос-

сальной арміи, потенціально гораздо болѣе сильной, чѣм аппарат, осуществляющій новую технику власти. Послѣ войны останутся обширные кадры этой арміи, и власть должна избѣжать того, чтобы эти кадры стали ей враждебными. Работа над предотвращеніем этого ведется и теперь. Командный состав арміи включается в правящій, привилегированный класс, втягивается в партію, и можно думать, что именно новому русскому «динамическому націонализму» предназначена роль той спайки, которая должна привести к срастанію военных кадров с аппаратом диктатуры.

Ю. Денике.

ПОСЛѢ ПОБѢДЫ.

Война еще далеко не выиграна союзниками. Силы Германіи и Японіи надломлены, но не сломлены. В их руках все еще остается львиная доля захваченной территоріи и добычи. Но если война еще не выиграна союзниками, то она уже проиграна их врагами, в том смыслѣ, что им пришлось отказаться от тѣх задач, во имя которых они готовились к войнѣ. Германія и Японія могут еще думать о том, как избѣжать полнаго разгрома и капитуляціи. Но послѣ четырех лѣт войны и длиннаго ряда побѣд, нѣмцы теперь дальше от господства над Европой, чѣм когда либо, и японская попытка установить гегемонію над Азіей сорвалась безвозвратно.

Трудно предугадать, что принесет заключительная фаза войны, и каково будет соотношеніе сил внутри обѣих коалицій в тот сумеречный промежуток времени, когда военныя дѣйствія будут закончены, но новой системы международных отношеній еще не будет. Всякая попытка осмыслить тѣ перспективы, которыя эта война открывает перед народами, должна исходить из опредѣленных предпосылок. Три предпосылки лежат в основаніи дальнѣйших соображеній о строѣ международных отношеній послѣ войны.

Первая предпосылка заключается в том, что война закончится разгромом Германіи и Японіи, так что союзники будут в состояніи диктовать мир, а не договариваться с ними. Побѣдители могут ограничиться политическим униженіем противника и сохранить нетронутым его военный потенціал, или же уничтожить на долгое время — может быть, навсегда — матеріальную основу его военнаго могущества. Но в Версальскій и Карфагенскій мир преполагают полную побѣду одной стороны.

Вторая предпосылка: война в Европѣ закончится значительно раньше, чѣм на Великом Океанѣ. Другими словами, военный разгром Германіи будет знаменовать собою не конец всемірной войны, а только перенесеніе ея центра тяжести. Эта предпосылка означает, прежде всего, что политическія отношенія в замиренной — или освобожденной — Европѣ будут

складываться не в обстановкѣ общей демобилизаціи союзников и обычно сопровождающих демобилизацію настроеній усталости и разочарованія в странах побѣдоносной коалиціи, а в атмосферѣ продолжающейся безпощадной борьбы на Дальнем Востокѣ. В этой обстановкѣ повтореніе ошибок Версальской конференціи представляется мало вѣроятным. Продолженіе войны с Японіей послѣ побѣды союзников в Европѣ имѣет значеніе еще и в другом отношеніи. Мы привыкли разсматривать операціи на обоих театрах военных дѣйствій как эпизоды единой войны. Но совершенно иначе рисуется положеніе с точки зрѣнія Россіи и Японіи. Борьба на Великом Океанѣ идет между другими силами, нежели на Европейском театрѣ войны. Мыслимо, конечно, такое развитіе событій, при котором, послѣ разгрома Германіи, Россія присоединилась бы к Великобританіи и Соединенным Штатам в их операціях против Японіи, но вѣроятіе этого варіанта заключительной фазы войны не очень велико. Болѣе правдоподобно появленіе на Дальнем Востокѣ свѣжих сил, мобилизованных Франціей и Нидерландами для борьбы за возвращеніе их Великоокеанских владѣній. Гипотеза разновременнаго окончанія борьбы в Европѣ и Азіи означает поэтому, что принимая предварительныя рѣшенія, касающіяся будущаго устройства Европы, союзники должны будут считаться с требованіями военной обстановки. Эта гипотеза означает также, что послѣ 160 лѣт политических и экономических треній и не слишком горячей дружбы, Соединенные Штаты и Великобританія впервые выступят на международной дипломатической аренѣ, как кровью спаянные союзники.

Наша третья предпосылка касается внутренних политических условій в странах обѣих коалицій. Мы предполагаем, что в политической обстановкѣ в Соединенных Штатах и Великобританіи не произойдет коренных измѣненій; что в странах, освобожденных из под германскаго ига, будет преобладать стремленіе вернуться к политическому строю, существовавшему до вторженія нѣмцев; и что в Германіи и Японіи военное пораженіе явится сигналом для революціонных сдвигов, включающих полную ликвидацію военной партіи.

Задача дальнѣйшаго анализа — намѣтить тѣ линіи политической эволюціи, которыя представляются наиболѣе вѣроятными, при данных гипотезах относительно исхода войны.

2.

Побѣда союзников будет означать не только побѣду опредѣленной коалиціи, но и разгром политической идеологіи, связанной с понятіями фашизма и нацизма. Конечно, союзники не являются носителями какой бы то ни было опредѣленной политической идеологіи и амплитуда от политических идей генерала Жиро до философіи маршала Сталина достаточно широка, чтобы вмѣстить почти неограниченное разнообразіе красок политическаго спектра. Но послѣ разгрома Италіи, Германіи и Японіи, политическій маятник повсюду в мірѣ качнется в сторону от тѣх идей, которыя были связаны с политикой военных захватов, проводившейся этими странами. В извѣстных — весьма узких — предѣлах, это может означать усиленіе принципов парламентарной демократіи, индивидуальной свободы, вѣротерпимости. С другой стороны, нѣт основанія ожидать значительнаго ослабленія націонализма в чувствах и настроеніях людей и программах политических партій.

За предѣлами описанных сдвигов, нѣт никаких признаков того, чтобы из этой войны рождались новые лозунги, новая политическая идеологія, новое міроощущеніе. Конечно, новыя — творческія или разрушительныя — силы могут развиться в ходѣ войны, как новой силой явилась революція в Россіи на исходѣ первой міровой войны. Но политическая обстановка как она складывалась до сих пор, не оправдывает ни апокалиптических страхов, ни мессіанских надежд в связи с послѣвоенным переустройством міра. Наиболѣе вѣроятным — в данной фазѣ событій — представляется завершеніе войны рядом органических преобразованій, имѣющих прочные корни в исторіи и, в особенности, в опытѣ послѣдних 25 лѣт.

Ничего нѣт обманчивѣе представленія о всемогущем Верховном Совѣтѣ Союзных Народов, дарующем новую либеральную конституцію человѣчеству или, хотя бы, освобожденной Европѣ. Верховный Совѣт сможет принимать рѣшенія лишь в сравнительно узких предѣлах своей юрисдикціи. Ни Соединенные Штаты, ни Великобританія, ни Россія не допустили бы его вмѣшательства в вопросы, касающіеся их внутренней политики. Трудно представить себѣ, как мог бы Совѣт установить свободу слова во всем мірѣ, не наткнувшись на вето со стороны Россіи; или как мог бы он устранить ограниченія свободы иммиграціи, не вызвав протестов со стороны Соединенных Штатов; или как мог бы он даровать свободы колоніальным народам без

противодѣйствія со стороны Великобританіи! Трудно представить себѣ, какими мѣрами мог бы Верховный Совѣт обезпечить демократическія свободы в Китаѣ, Индіи или Южно-Американских Республиках! Юрисдикція Верховнаго Совѣта будет ограничена вопросами, непосредственно касающимися Германіи, Японіи, их союзников и, в меньшей степени, стран и территорій, освобожденных из под их власти. Лишь косвенным образом его рѣшенія окажут вліяніе на условія жизни других стран. Но и в предѣлах своей юрисдикціи Совѣт будет связан в своих рѣшеніях противорѣчіями интересов и взглядов в своей собственной средѣ.

3.

Прежде чѣм принимать какія бы то ни было рѣшенія относительно будущаго устройства міра, союзники должны будут сговориться о той роли, которую призвана играть в этом мірѣ та система военных союзов и соглашеній, которая разбила военную мощь Германіи и Японіи.

Нетрудно, конечно, доказать несовмѣстимость военных союзов с принципом всемірнаго братства свободных народов. Такое братство должно было бы покоиться на взаимном довѣріи всѣх народов и включать наряду с союзными странами демократическую Германію, воскресшую Италію, обновленную Японію. Этот аргумент был в ходу послѣ первой міровой войны: многим казалось, что первородный грѣх и источник внутренней слабости Лиги Націй был в том, что она была задумана как орудіе франко-британской политики, т. е. продолженіе Антанты военнаго времени.

Однако, весь историческій опыт, накопленный за время от Версаля до Мюнхена, подсказывает другую оцѣнку положенія. Слабость Лиги Націй была в том, что Антанта, вызвавшая ее к жизни, разсыпалась в прах, прежде чѣм Лига приступила к работѣ. Первый и наиболѣе тяжелый удар был нанесен Антантѣ выходом из строя Россіи, которая вынесла на своих плечах главную тяжесть борьбы с Германо-Австрійской коалиціей, но оказалась исключенной из системы держав-побѣдительниц. Второй удар был нанесен Антантѣ конфликтом с Италіей, который отбросил Италію в ряды противников Версальскаго мира и предопредѣлил ея сближеніе с Германіей, Третьим ударом был отказ Соединенных Штатов ратифицировать мирные договоры, выработанные при их ближайшем участіи. Четвертый и смертельный удар был нанесен ей глубоким

расхожденіем между британской и французской политикой. Политическая система, созданная в Версалѣ, была с самаго начала осуждена на гибель, так как за ней не было никакой матеріальной силы. С распаденіем Антанты неизбѣжно должна была распасться и та система международных отношеній, которая была создана военными побѣдами Антанты.

В настоящем анализѣ мы исходим из предположенія, что новая организація международных отношеній выростет из побѣды союзников. В дальнѣйшем моральный престиж и политическій вѣс этой организаціи будут зависѣть от сотрудничества четырех великих держав: Соединенных Штатов, Англіи, Россіи и Китая. Если бы можно было представить себѣ д л и т е л ь н о е соглашеніе этих четырех держав, проблема вѣчнаго мира была бы разрѣшена. Политическое равновѣсіе, покоющееся на сотрудничествѣ трех из четырех великих держав, будет только временным. Но новая война станет неизбѣжной, если из четырех великих держав, совмѣстными усиліями разбивших Германію и Японію, лишь двѣ останутся на стражѣ международных отношеній, установившихся в результатѣ их общей побѣды. В самом дѣлѣ, пред лицом задачи обезпечить мир всего міра, комбинація Соединенных Штатов и Великобританіи была бы столь же безсильна, как двойственный союз Россіи и Китая, или союз одной из этих стран с Англіей или с Соединенными Штатами.

Итак, прочность мира будет зависѣть от прочности той военной коалиціи, которая установит условія этого мира. Нельзя закрывать глаз на зыбкость этого основанія международнаго мира. Нельзя забывать, что состав коалиціи четырех великих держав был опредѣлен не их свободным рѣшеніем, а логикой военных событій. Англія сознательно приняла вызов Германіи. Соединенные Штаты связали свою судьбу с судьбой Великобританіи и бросили свои силы против Германіи задолго до Перл-Харбора. Но Россія оказалась вовлеченной в борьбу в результатѣ вѣроломнаго нарушенія Гитлером договора взаимной поддержки и дружбы. Китай, истекавшій кровью в борьбѣ против японских армій, превратился в арену стратегических операцій всемірно историческаго масштаба послѣ того, как Японія бросила вызов Великобританіи и Соединенным Штатам.

Такой союз не может быть прочным, и на хрупкости его покоятся политическіе разсчеты его врагов. Всѣ усилія Германіи направлены на то, чтобы посѣять и укрѣпить недовѣріе между Соединенными Штатами и Англіей, и между обѣими

этими странами и Россіей. Чѣм разрушительнѣе удары союзников по твердыням нѣмецкой военной промышленности на Рурѣ и на Рейнѣ, чѣм больше нѣмецких городов превращаются в груды развалин, тѣм яснѣе становится нѣмцам, какую трагическую ошибку совершил их фюрер, открыв «второй фронт» против Россіи до рѣшительной побѣды на основном «первом фронтѣ» против Англіи. Сознаніе этой ошибки экспертами Рейхсвера может вызвать с их стороны попытку исправить дѣло новой оріентаціей нѣмецкой военной политики. Трудно предсказать, как далеко может идти Германія в этом направленіи и какова будет политическая обстановка в Европѣ в то время, когда остатки нѣмецких армій, вытѣсненные из завоеванных ими стран, покинутые вассалами Германіи, встрѣтят свой судный день на полях новаго Ватерлоо (если только ея воля к сопротивленію не развѣется еще раньше среди развалин ея городов).

Но каков бы ни был конец кампаніи на Европейском театрѣ, п р о ч н ы й порядок в Европѣ может быть установлен только при сотрудничествѣ Англіи, Россіи и Соединенных Штатов.

До успѣшнаго завершенія операцій на Дальнем Востокѣ союзники должны будут установить в Европѣ временный порядок, который оставил бы развязанными их военныя силы и вмѣстѣ с тѣм позволил бы освобожденным народам приступить к возстановленію мирной жизни. Одним из первых шагов союзников будет, конечно, возстановленіе Франціи. Возможно, что возрожденная Франція займет мѣсто в концертѣ пяти стран, стоящих во главѣ всемірнаго об'единенія народов.

Трудно предвидѣть, в какія формы выльются в дальнѣйшем союзы и соглашенія, заключенныя во время войны. Но представляется невѣроятным, чтобы уроки этого времени были забыты на другой день послѣ капитуляціи Германіи и отвѣтственные руководители великих держав допустили, с легким сердцем, распаденіе того военнаго союза, который спас мір от гитлеровскаго «тысячелѣтія» варварства и рабства.

4.

Вернется ли освобожденная Европа к системѣ независимых національных государств, как перед войной, или эта политическая черезполосица будет замѣнена новой, болѣе стройной, болѣе современной организаціей?

Противники идеи національнаго самоопредѣленія считают существованіе малых государств несовмѣстимым с современ-

ной хозяйственной и военной техникой. Мір стал слишком мал, чтобы дробить его по признаку языка, религіи, историческихъ реминисценцій, династическихъ традицій, или національныхъ предразсудковъ!

Эта точка зрѣнія широко распространена в прогрессивныхъ кругахъ Соединенныхъ Штатовъ. Существованіе двухъ десятковъ независимыхъ государствъ в Центральной и Западной Европѣ, на пространствѣ равномъ 70 процентамъ территоріи Соединенныхъ Штатовъ, 60 процентамъ Бразиліи или 55 процентамъ Канады, представляется, с этой точки зрѣнія, странным анахронизмом. К чему національная независимость государствам, которыя не в состояніи ни организовать массовое производство, ни защитить себя в случаѣ нападенія со стороны болѣе могущественной сосѣдней державы?

В свѣтѣ историческаго опыта эта аргументація представляется неубѣдительной. Как бы ни были слабы малыя націи Европы в их экономической и международной политикѣ, великим державам нечѣм хвалиться перед ними. Послѣ первой міровой войны государственная организація таких «малых» стран, как Бельгія, Нидерланды, Данія, Швеція и Норвегія, оказалась устойчивѣе, чѣм политическій строй Италіи. В період депрессіи ни одно из малых государств не дошло до такой степени хозяйственной дезорганизаціи, как Соединенные Штаты и Германія. Что же касается самозащиты, то малыя государства Европы обнаружили больше способности к борьбѣ за независимость, нежели Франція или Италія. Малыя государства естественно не угрожают независимости сосѣдей. Угроза миру возникала всегда в государствах-левіафанах.

В этом отношеніи, опыт Америки отличается от опыта Европы. Опыт Соединенных Штатов говорит в пользу федерированія разноплеменных, разноязычных территорій в единый государственный и хозяйственный организм. Опыт Европы доказывает, что при опредѣленных условіях малыя государства могут достичь наивысшей степени хозяйственнаго благополучія и культурнаго развитія.

Впрочем, даже если бы всѣ логическіе и историческіе доводы были против возвращенія к системѣ множественности независимых національных государств в Европѣ, политическая обстановка, складывающаяся в ходѣ войны, дѣлает этот путь развитія неизбѣжным. Поскольку настоящая война является борьбой народов за существованіе, національная независимость и самоопредѣленіе представляются конечной цѣлью

каждой страны в лагерѣ союзников. Пафос борьбы Норвегіи и Греціи, Югославіи и Польши, Чехо-Словакіи и Нидерландов не в той или иной политической или экономической программѣ, а в національной независимости. Это относится и к Китаю, и к Франціи, и, больше всего, к Россіи.

Побѣдоносная «война народной обороны» не может не быть консервативной в вопросѣ о національном лицѣ вовлеченных в борьбу малых народов. Послѣ побѣды союзников годы насильственнаго об'единенія малых народов под властью нѣмцев будут забыты как тягостный сон, и Европа вернется к традиціонной раздробленности на основаніи національнаго самоопредѣленія великих и малых народов.

Представленіе о том, что из настоящей войны должны вырасти Соединенные Штаты Европы, подобно тому, как Соединенные Штаты Америки выросли из революціонных войн конца 18-го вѣка, основано на поверхностной аналогіи. В революціонных войнах, британскія колоніи, никогда до того не жившія самостоятельной политической жизнью, стремились сбросить с себя стѣснительную опеку метрополіи. Сознаніе новаго національнаго единства выросло в них в ходѣ долгой борьбы, на почвѣ свободной от мѣстных національных традицій. Благодаря этому об'единеніе, первоначально преслѣдовавшее чисто военныя цѣли, осталось в силѣ и послѣ побѣды возставших колоній.

Если бы европейская исторія послѣ этой войны складывалась по американскому образцу, в Европѣ должна была бы сложиться федерація, включающая нынѣшних врагов Германіи, от Норвегіи и Великобританіи до Греціи и Югославіи. Искусственность и историческая безпочвенность Европейских Соединенных Штатов в таких политических границах очевидна.

Может быть, кое гдѣ возникнут мѣстные союзы независимых государств, приближающіеся по своему типу к федеративным об'единеніям. Но, с другой стороны, не исключена и возможность расчлененія государств, существовавших перед войной, в частности Германіи.

В общем можно ожидать что принципы національнаго самоопредѣленія, а не насильственнаго об'единенія малых народов будут господствовать на международных конференціях послѣ войны.

5.

Как примирить принцип національнаго самоопредѣленія с необходимостью оградить Европу и весь мір от опасности возрожденія нѣмецкаго милитаризма? Три раза в теченіе жизни трех поколѣній Германія, в своем стремленіи к расширенію и господству над Европой и над міром, зажигала пожар войны. Послѣ трех опытов такого «самоопредѣленія» Германіи пришел черед ея сосѣдям, уставшим от постоянной угрозы военнаго вторженія, опредѣлить условія политическаго и экономическаго существованія Центральной Европы.

Это не означает, конечно, что в Центральной Европѣ будет возстановлен политическій строй, существовавшій до франко-прусской войны, с системой множества независимых королевств, герцогств, княжеств или республик. Это не означает также, что Германія будет возстановлена в границах, указанных ей Версальским договором. Возможно, что без раздобленія Германіи предѣлы ея будут урѣзаны, в интересах ослабленія ея военнаго потенціала, или для удовлетворенія ея сосѣдей, жертв ея агрессивной политики. С точки зрѣнія историческаго опыта, выгоды политическаго раздробленія Германіи, как средства для установленія длительнаго мира в Европѣ, представляются спорными. Существованіе плеяды нѣмецких государств в центрѣ Европы стало бы источником непрерывных интриг между ними и их сосѣдями и сдѣлало бы невозможным возстановленіе нормальной хозяйственной жизни в Европѣ. Политически оторванные друг от друга, 80 милліонов нѣмцев все же представляли бы единое національное цѣлое. Предотвратить их вооруженіе и об'единеніе было бы труднѣе, нежели держать под контролем разоруженную Германію, в предѣлах, отведенных ей Верховным Совѣтом союзных держав.

Равным образом, ошибкой было бы такое расчлененіе Германіи, которое включало бы значительное нѣмецкое меньшинство в предѣлы какого бы то ни было другого государства, как это случилось послѣ первой всемірной войны при опредѣленіи границ Чехо-Словакіи. Можно надѣяться, что новыя границы Германіи будут установлены в согласіи с политическими, военными и экономическими требованіями. Послѣ того, как новыя границы будут установлены, тѣ территоріи, которыя не войдут в состав новой Германіи, должны быть очищены, раз навсегда, от нѣмецкаго населенія. Было бы справедливо, чтоб эта операція была проведена в согласіи с правосознаніем

нѣмецкаго народа, на основаніи законов, установленных Германіей для перераспредѣленія населенія в завоеванных ею территоріях. Само собой разумѣется, союзники не унизят себя примѣненіем к нѣмцам тѣх варварских пріемов, которые примѣнялись нѣмцами в Польшѣ, Россіи и Югославіи. Но позволительно надѣяться, что политика дегерманизаціи земель, которыя должны отойти от Германіи, будет достаточно послѣдовательна, чтобы исключить всякій вопрос о нѣмецком меньшинствѣ или нѣмецких экономических интересах в отнятых от Германіи областях. Этот вопрос имѣет огромное значеніе для будущаго мира в Европѣ. Так, напримѣр, если будет признано, что для окончательнаго разрѣшенія Данцигскаго вопроса и улаженія пограничных споров между Россіей и Польшей, желательно включить в состав Польскаго государства территоріи Восточной Пруссіи, эта операція должна быть связана с перемѣщеніем на Запад всего нѣмецкаго населенія переходящих к Польшѣ провинцій.

Таким образом, в примѣненіи к Германіи вопрос о національном самоопредѣленіи должен быть оторван от вопроса о государственных границах. Границы будут опредѣлены Верховным Совѣтом побѣдителей. Но в указанных им предѣлах нѣмцам должно быть предоставлено право національнаго самоопредѣленія. Если они предпочитают единое національное государство множественности самостоятельных или полусамостоятельных политических единиц, у союзников нѣт основанія стѣснять их свободу выбора.

6.

Наиболѣе тяжелому испытанію подвергнется принцип національнаго самоопредѣленія в примѣненіи к колоніальным народам. Принципы Атлантической Хартіи, распространенные на весь мір, казалось бы, исключают возможность сохраненія колоніальной системы. Независимо от этого, союзными націями были приняты в ходѣ войны рѣшенія, которыя явно идут в направленіи признанія политической независимости колоніальных и полуколоніальных стран. Англія и Соединенные Штаты рѣшили отказаться от традиціонной политики в Китаѣ, которая умаляла суверенитет этой страны. Англія признала право на національное самоопредѣленіе — послѣ войны — за народами Индіи. Сомнительно, чтобы Индокитай вернулся к положенію французской колоніи. С другой стороны, Черчиль заявил достаточно ясно о нежеланіи британскаго правительства обсуж-

дать какія бы то ни было предложеніія, имѣющія в виду ликвидацію Британской Имперіи.

Судьба колоніальной системы в мірѣ будет опредѣлена в результатѣ компромисса противоположных сил и вліяній. С большой долей увѣренности можно предвидѣть, что принцип національнаго самоопредѣленія будет примѣнен к колоніальным владѣніям Японіи на Азіатском континентѣ и в Великом Океанѣ и к итальянским владѣніям в Африкѣ. Сфера колоніальных и полуколоніальных отношеній сузится. В исторической перспективѣ предстоящія преобразованія международных отношеній могут быть описаны как освобожденіе Азіи от европейской опеки. Но возможно сохраненіе — в той или иной формѣ — колоніальных отношеній в Африкѣ, на островах Индійскаго и Великаго Океана и в нѣкоторых, наиболѣе стратегических точках на окраинах Азіатскаго материка.

Остается вопрос о тѣх территоріях, которыя с европейской точки зрѣнія неспособны к самоуправленію (в виду низкаго развитія населенія, или исключительных естественных богатств, или стратегическаго положенія на міровых торговых путях). Представляется маловѣроятным, чтобы эти территоріи остались послѣ войны в положеніи частной собственности той или другой заокеанской державы. В самом дѣлѣ, предвоенная карта колоній представляла нагроможденіе анахронизмов и не соотвѣтствовала ни соотношенію сил, ни экономичееским условіям новаго времени. Такая система могла держаться год за годом в силу инерціи, но едва ли способна выдержать потрясенія второй всемірной войны.

Переустройство колоніальных имперій мыслимо в двух направленіях — или в направленіи новаго распредѣленія колоніальных владѣній между державами, или в направленіи интернаціонализаціи колоніальнаго управленія. Система мандатов, установленных послѣ первой міровой войны, знаменовала первый шаг в направленіи интернаціонализаціи колоніальной системы. Дальнѣйшій — и в исторической перспективѣ несравненно болѣе значительный — шаг в этом направленіи был предпринят Великобританіей и Соединенными Штатами в ходѣ нынѣшней войны, когда американскія войска заняли военныя и морскія базы в британских владѣніях в западном полушаріи и американскій флот принял на себя задачу защиты Австраліи против угрозы со стороны Японіи. Если послѣ разгрома Японіи дальневосточныя колоніи будут возвращены их прежним владѣльцам, этот акт будет вѣроятно связан с международным соглашеніем, покрывающим такіе вопросы, как

интернаціонализація воздушных и морских баз, портов и доков, и т. п. При опредѣленіи политическаго устройства колоній особенное вліяніе будет, естественно, удѣлено территоріям, снабжающим міровой рынок такими стратегическими продуктами, как каучук или олово. Необходимость интернаціональнаго соглашенія для обороны этих территорій приведет, вѣроятно, к интернаціонализаціи — хотя бы частичной — их управленія.

Эволюція колоніальных отношеній послѣ войны рисуется приблизительно, так: Большая часть территорій, находящихся под контролем европейских держав, на азіатском континентѣ выйдет из положенія колоніальной или полуколоніальной зависимости. Часть территорій в Африкѣ, Океаніи и на окраинах Азіатскаго континента останутся под контролем англо-американской коалиціи и союзных держав, на условіях, обезпечивающих мѣстному населенію возможность экономическаго и культурнаго развитія. Тѣ колоніальныя территоріи, которыя останутся внѣ международнаго контроля, будут эволюціонировать, вѣроятно, или в сторону полной независимости, или в сторону полнаго сліянія с метрополіей.

7.

Описанныя линіи развитія едва ли будут содѣйствовать упрощенію политической карты міра. По прежнему мір будет подѣлен между сотней — или больше — суверенных политических единиц. Хаос международных отношеній будет преодолѣн не путем растворенія національных государств в новых сверхнаціональных федераціях, а путем развитія международных организацій и соглашеній.

В основу таких соглашеній должен быть положен расширенный договор об отказѣ держав от каких бы то ни было шагов, грозящих безопасности других стран или способных вызвать тревогу и подозрѣнія с их стороны. Такой договор коренным образом отличается от договора о всеобщем разоруженіи. Опыт послѣдних 25 лѣт доказывает, что всеобщее — или почти всеобщее — разоруженіе не гарантирует народам безопасности и мира. Настоящая война началась не в результатѣ пресловутой скачки вооруженій, а потому, что преждевременное добровольное разоруженіе Англіи и Франціи позволило Германіи подготовить вооруженный кулак, который, по мнѣнію ея военных экспертов, обезпечивал ей побѣду при неожиданном нападеніи в любом направленіи. Позже война

перекинулась в Великій Океан потому, что недостаточность сил Соединенных Штатов и Англіи позволяла Японіи надѣяться на легкую побѣду в результатѣ молніеносных ударов.

Послѣ этих суровых уроков исторіи, идея «всеобщаго» разоруженія едва ли станет путеводной звѣздой послѣвоенной политики союзников. Задачей их будет скорѣе создать несокрушимую военную силу,которая не могла бы служить завоевательным цѣлям какой бы то ни было державы, но обезпечивала бы мир всего міра и была бы способна подавить в зародышѣ всякую попытку агрессіи. При созданіи таких гарантій всеобщаго мира, понятіе агрессіи должно быть опредѣлено настолько широко и ясно, чтобы исключить необходимость предварительных переговоров между державами относительно необходимых санкцій.

8.

Обезпеченіе международнаго мира и безопасности потребует формальнаго ограниченія суверенитета каждаго отдѣльнаго государства в вопросѣ об его политическом строѣ. Только народ, который сам располагает своей судьбой, осуществляя контроль над своим правительством, может быть признан полноправным участником общенія суверенных, свободных народов. Ни наслѣдственная деспотія, ни диктатура не могут претендовать на права независимаго государства на международном форумѣ.

Этот принцип «принудительной демократіи» отнюдь не означает международнаго контроля над политическими учрежденіями отдѣльных государств. Такой контроль предполагал бы предварительное соглашеніе союзников по вопросу о том, что такое «демократія», — соглашеніе едва ли достижимое при нынѣшнем составѣ анти-германской коалиціи. Но возможно ограниченное соглашеніе между ними о недопустимости опредѣленных государственных форм, несовмѣстимых с международной безопасностью. Совершенно ясно, напримѣр, что страна, населенная безсловесными роботами, не может быть суверенным государством. С одной стороны, роботам не нужна независимость, с другой стороны, страна роботов представляет безпрестанную опасность для сосѣдей. Вмѣсто того, чтобы представить такому государству возможность вооружиться до зубов и зажечь пожар новой міровой войны, не лучше ли с самаго начала подчинить его бдительному международному контролю?

Есть и другое соображеніе против признанія независимости диктаторіальных государств. В демократическом государствѣ народ стоит за своим правительством и отвѣчает за его рѣшенія. Но кто отвѣчает за преступленія диктатора? Пока счастье улыбается ему, толпа под балконом его дворца жадно ловит его слова и славит его геній. Когда дѣла принимают неблагопріятный оборот, диктатора убирают с его поста — или убивают — и «освободившаяся» от него страна отклоняет всякую отвѣтственность за то, что натворил ея вчерашній полубог.

Диктатура не только знаменует политическую безотвѣтственность народа, но часто служит ширмой для военных приготовленій. С точки зрѣнія международной безопасности, уничтоженіе свободы печати и слова в странѣ, до сих пор пользовавшейся такой свободой , является дымовой завѣсой, скрывающей приготовленія к войнѣ.

В этом отношеніи диктатура представляется такой же угрозой общественной безопасности, как тайное сообщество индивидуумов, обязавшихся повиноваться безпрекословно вожаку и выполнять всѣ его приказанія, даже противные их разуму и совѣсти и несовмѣстимые с существующими законами. Такія сообщества не могут быть терпимы в благоустроенном государствѣ, и власти обращаются с ними на основаніи презумціи, что каждое сообщество даннаго типа преслѣдует преступныя цѣли, так как сообщества даннаго типа лучше всего приспособлены для подготовки, совершенія и сокрытія преступных дѣйствій.

Как принцип свободы союзов не примѣним к об'единенію гангстеров, точно также принцип національнаго самоопредѣленія не примѣним к диктатурѣ. Каждый народ волен в установленіи форм своей государственной жизни, но в тот день, когда он откажется от свободы и самоуправленія в вопросах внѣшней политики, он перестает быть носителем суверенных прав на международной аренѣ.

9.

Принцип принудительной демократіи должен быть дополнен международным соглашеніем о принципах народнаго образованія и политической пропаганды.

Каждый народ волен устанавливать по своему усмотрѣнію свою школьную программу, но в нѣкоторых пунктах образовательная программа каждаго государства затрагивает инте-

ресы международнаго мира. Международная безопасность не совмѣстима с использованіем школьной системы для превращенія подростающих поколѣній в орды хищных завоевателей, полных презрѣнія и ненависти к другим народам, развращенных проповѣдью жестокости и насилія, опьяненных сознаніем собственнаго расоваго или національнаго превосходства. Короче, система воспитанія и политической пропаганды подобная той, которую установил в Германіи нацизм, является угрозой международному миру, как первый шаг агрессіи.

Необходимо, поэтому, международное соглашеніе об общих принципах народнаго образованія и политическаго воспитанія. Соглашеніе может покрывать также такіе вопросы, как минимум обязательнаго обученія, обмѣн учителями и учениками, періодическія всемірныя и областныя конференціи по вопросам образованія, литературы и искусства, развитіе международнаго туризма с образовательной цѣлью, вообще культурное сотрудничество народов.

10.

Прочный и длительный мир требует созданія Европейскаго Военнаго Союза под эгидой союзных націй. Начало такому союзу уже положено организаціей союзных вооруженных сил, и можно с большей долей увѣренности ожидать его дальнѣйшаго развитія в послѣдующую фазу войны. К концу войны, помимо незначительных армій нейтральных государств в Европѣ будет существовать лишь одна военная организація, включающая десяток разноязычных армій, но подчиненная единому верховному командованію и опирающаяся на единую систему снабженія.

Германія и ея вассалы будут разоружены. Радикальныя мѣры будут приняты против возстановленія их политической мощи в будущем*). Перед Верховным Совѣтом союзников встанет вопрос, что дѣлать с военной организаціей, созданной ими во время войны. Распустить ее и предоставить каждому

*) Военное разоруженіе Германіи предполагает ея экономическое разоруженіе, т. е. уничтоженіе ея военной промышленности. Само собой разумѣется, эта мѣра должна быть распространена на всѣ отрасли промышленности, которыя могут быть легко использованы для военных цѣлей и представляют военный потенціал страны. Программа разоруженія должна включать безоговорочное запрещеніе Германіи строить какіе бы то ни было летательные аппараты или

государству заботиться о своей безопасности, содержа собственную армію? Или попытаться сохранить единую военную организацію на континентѣ, сведя ее к размѣрам, соотвѣтствующим условіям мирнаго времени? В первом случаѣ, производство оружія и торговля военными матерьялами вернется к условіям, существовавшим до войны. Во втором случаѣ, производство оружія будет подчинено строгому международному контролю и ограничено требованіями безопасности Европы. Преимущества второго рѣшенія проблемы настолько очевидны, что представляется маловѣроятным, чтобы Европа вернулась послѣ войны к системѣ независимых національных армій и частной иниціативы в производствѣ оружія. Равным образом маловѣроятно, чтобы какое бы то ни было нейтральное государство Европы пожелало остаться внѣ Европейскаго Военнаго Союза.

Трудно предугадать положеніе Россіи в этом союзѣ. Каковы бы ни были отношенія между Россіей и союзниками в начальной и заключительной фазѣ войны, ея рѣшающая роль в борьбѣ с Германіей дает ей право на особенное положеніе в послѣвоенной Европѣ. Россіи должен быть предоставлен свободный выбор: либо включиться в Европейскій Военный Союз, либо сохранить собственную военную организацію, связав ее особыми соглашеніями с силами Европейскаго Союза и с аналогичной организаціей, установленной на Азіатском континентѣ. Было бы трагической ошибкой, если бы Европейскій Военный Союз превратился в организацію для защиты Европы против русской опасности.

Размѣры Европейской Арміи будут установлены международным соглашеніем. Едва ли эта армія будет состоять больше, чѣм из 25 или 30 дивизій, — примѣрно, по одной дивизіи на государство с населеніем до 10 милліонов жителей. Крупныя государства должны будут выставить по 2, 3 или 4 дивизіи. Мелким государствам может быть предоставлено право об'единенія в мѣстныя группы, так чтобы 2 или 3 государства могли выставить сообща одну дивизію. Особое соглашеніе

суда. Производство автомобилей, желѣзнодорожных матерьялов и машин должно быть поставлено под бдительный контроль и ограничено насущными потребностями мѣстнаго населенія. По существу уничтоженіе военной индустріи в Германіи означает уничтоженіе ея тяжелой промышленности и радикальную перестройку ея экономической структуры.

должно быть установлено против чрезмѣрнаго преобладанія в Европейской арміи сил какого либо одного государства.

Европейская Армія, поддерживаемая могущественным флотом и столь же мощными воздушными силами, могла бы быть расположена в стратегических пунктах материка. Дивизіи, выставляемыя каждым государством, могли бы получить военное обученіе либо в предѣлах этого государства, либо в непосредственной близости от него. Но вся Армія имѣла бы общее командованіе, общую службу снабженія, общіе склады боевых припасов, общіе парки тяжелых орудій и танков. Возможно, что союзники придут к заключенію, что интересы всеобщаго мира требуют, чтобы опредѣленная территорія была нейтрализована и превращена в базу международной Европейской Арміи. В силу географических и исторических соображеній, наиболѣе подходящей территоріей для этой роли была бы система долин Рейна, Рура и Майна. Такое расположеніе вооруженных сил Европы облегчило бы задачу экономическаго разоруженія Германіи и постояннаго контроля над ея экономическими силами.

Военная организація описаннаго типа стояла бы на стражѣ мира и безопасности всѣх народов Европы против посягательств извнутри или извнѣ, но не могла бы служить завоевательным цѣлям отдѣльных государств. Сходная организація могла бы быть создана для Западного полушарія и для Азіи. Особая роль Россіи в этой системѣ опредѣляется особенностями ея географическаго положенія на рубежѣ двух материков. Даже если бы Россія участвовала, в соотвѣтствіи с ея политическим вѣсом, в созданіи Европейской Арміи, было бы естественным, чтобы ей была предоставлена — наравнѣ с Китаем — руководящая роль в организаціи военных сил Азіи.

11.

Развитыя здѣсь соображенія о международных отношеніях послѣ войны покоятся на рядѣ гипотетических предпосылок. Помимо предпосылок, отмѣченных в началѣ статьи, предложенный здѣсь анализ основан на гипотезѣ отсутствія революціонных взрывов и потрясеній в союзных странах. Другая существенная гипотеза: сохраненіе нынѣшней комбинаціи союзных держав — хотя бы в измѣненном видѣ. Эти предпосылки исключают возможность прыжка в неизвѣстность при установленіи политическаго и экономическаго порядка послѣ

войны. Консервативныя, по своей природѣ, гипотезы должны вести к консервативным выводам, так же как революціонныя предпосылки привели бы нашу мысль к перспективам коренного переустройства міра.

В настоящей фазѣ развитія войны, революціонные катаклизмы в союзных странах представляются мало вѣроятными. Но возможность их нельзя считать исключенной. Военное пораженіе Германіи будет означать также разгром той комбинаціи сил прусской военщины, тяжелой промышленности и крупнаго землевладѣнія, на которой покоилась политическая жизнь Рейха с середины прошлаго столѣтія. Представляется мало вѣроятным, чтобы переустройство Германіи послѣ войны могло пройти без революціонной ломки не только политических, но и соціальных отношеній. Но трудно предугадать всѣ послѣдствія революціи — или серіи революцій — в Центральной Европѣ, и неизвѣстность усугубляется тѣм, что мы не знаем, каково будет в это время соотношеніе сил и интересов среди побѣдоносных націй.

Какую бы линію развитія ни представили мы себѣ, в конечном счетѣ мы приходим к вопросу: может ли у нас быть увѣренность в том, что событія пойдут именно этим путем? Отвѣтом на этот вопрос может быть лишь признаніе крайней ограниченности нашей способности предвидѣть будущее. Опредѣленный путь развитія представляется нам болѣе вѣроятным и болѣе желательным, нежели другіе варіанты развитія. И это все, что может дать нам попытка предугадать, что ждет нас послѣ окончанія войны.

В. Войтинскій.

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ И УСЛОВІЯ МИРА*)

1. Главная основа внутренняго и международнаго мира.

Установим сначала нѣсколько основных положеній:

1. Главной причиной, или основой, внутренняго соціальнаго мира является наличіе в данном обществѣ цѣлостной, твердо вошедшей в жизнь системы основных цѣнностей и соотвѣственных норм поведенія*). Основныя цѣнности различных частей и членов общества должны по существу гармонировать с этой системой и друг с другом.

2. Главной причиной, или основой, международнаго мира является наличіе в каждом из дѣйствующих обществ цѣлостной хорошо об'единенной и усвоенной системы высших или главных цѣнностей и соотвѣтственных норм, причем эти системы должны быть совмѣстимы друг с другом.

3. В данной группѣ общества или внутри даннаго общества возможность мира находится в прямой зависимости от усвоенія цѣлостной системы высших цѣнностей и их взаимной совмѣстимости. Когда их единство, усвоеніе и гармонія ослабѣвают, особенно же когда это происходит вдруг и сразу, увеличиваются шансы международной или гражданской войны.

В связи с этим необходимы нѣкоторыя поясненія. Нас интересуют высшія, а не второстепенныя цѣнности даннаго общества. Как правило, онѣ состоят из основных нравственно-юридических, религіозных, научных, экономических, политических и эстетических понятій. Это не мѣшает различным обществам выдвигать религіозныя, или экономическія, или политическія цѣнности на первое мѣсто среди равных. Несмотря на конкретныя различія от общества к обществу и от эпохи к эпохѣ, эти цѣнности в общем остаются основными.

---

*) Статья эта является сокращенным переводом докладов П. А. Сорокина для Commission to Study the Bases of a Just and Durable Peace, American Historical Association и Conference on Science, Philosophy and Religion.

*)Всѣ основныя цѣнности — религіозныя, нравственно-юридическія, научныя, экономическія, политическія, эстетическія — имѣют свои правила поведенія.

Нас интересует не та или иная цѣнность, но система всѣх основных цѣнностей. Там, гдѣ основныя цѣнности усвоены и воплощены, онѣ составляют единую систему взаимодѣйствія и взаимозависимости. Когда одна из основных цѣнностей общества становится несовмѣстимой с нѣкоторыми главными цѣнностями другого общества, вся система одного становится несовмѣстимой с системой другого. Та или иная изолированная цѣнность не обуславливает мира или войны сама по себѣ, а вся система высших цѣнностей дѣйствует, как цѣлое.

Под усвоеніем высших цѣнностей разумѣется их смыслово-причинная взаимозависимость; онѣ логически и эстетически послѣдовательны, выражают тѣ же идеи, принципы и нормы различными путями; в случаѣ существеннаго измѣненія одной из них, всѣ другія также терпят измѣненія.

Наконец, нас интересует совмѣстимость систем высших цѣнностей, а не их сходство, слитность или тождество. Системы высших цѣнностей могут быть различны, но это не означает несовмѣстимости. В современном обществѣ граждане принадлежат к разным религіям, имѣют разные вкусы и разныя политическія идеи, однако это разнообразіе еще не ведет к гражданской войнѣ.

*
**

Эти положенія подтверждаются, положительно и отрицательно, повторяющимся единообразіем историческаго процесса, что существеннѣе подбора отдѣльных фактов. Начнем с отрицательных доказательств, т. е. с единообразія, с каким войны возникают или увеличиваются, когда ослабѣвает единство и усвоеніе высших цѣнностей и их сомѣстимость*). Если ослабленіе происходит среди частей или членов даннаго общества, результатом является гражданская война. Если ослабленіе усвоенности и гармоніи касается систем цѣнностей различных обществ, результатом является международная война.

А. Первой группой доказательств может служить безчисленный перечень войн, когда р а н ѣ е и з о л и р о в а н н ы я о б щ е с т в а с р а з л и ч н ы м и системами

*) Фактическія данныя не могут быть приведены в настоящей статьѣ, но интересующихся ими я отсылаю к моему труду **Social and Cultural Dynamics** (New York, 1937-1941), Vol. III, chaps. 9-14; и Quincy Wright, **A Study of War** (Chicago, 1942), Vol. I, II.

цѣнностей впервые вступали в прямыя и постоянныя сношенія. Сношенія реально обнаруживают несовмѣстимость противоположных цѣнностей, и возникающее положеніе ведет к войнѣ, что одинаково ясно наблюдается в древнія и болѣе недавнія времена. Квинси Райт установил, что сравнительно изолированные народы имѣют наименьшій индекс войн (2.03), за ними идут народы средней степени общенія (2.59), а высшій индекс падает на народы, имѣющіе широкое и тѣсное культурное общеніе (2.91). Пред-исторія и антропологія дают сотни примѣров войн, возникавших при встрѣчѣ двух ранѣе изолированных племен. Если их основныя цѣнности были различны, этот контакт почти неизбѣжно вызывал вооруженныя дѣйствія. То же вѣрно относительно исторических обществ. Значительная часть войн возникала в процессѣ переселенія, распространенія или колонизаціи, когда одно общество впервые встрѣчалось с другим. Контакт почти неизбѣжно вызывал войну, даже когда общества и не ставили себѣ военных цѣлей. Такова была исторія Египта, Вавилона, Китая и Персіи, Греціи и Рима, Европы и Америки. Возникавшія войны длились, пока одна сторона не уничтожалась или покорялась и ея цѣнности становились совмѣстимыми с цѣнностями побѣдившей стороны. Это одинаково относится к Западу и Востоку.

Б. Это отчасти об'ясняет, почему быстрое распространеніе сношеній и сообщеній послѣ 13 вѣка сопровождалось увеличеніем войн на нашей планетѣ. Новыя техническія средства сообщенія и передвиженій ставили лицом к лицу постоянно возраставшее число племен, обществ, народов и имперій. Несовмѣстимость их цѣнностей, таким образом, систематически возрастала. Войны увеличивались в числѣ до тѣх пор, пока в 19 вѣкѣ вполнѣ изолированныя группы почти исчезли. Онѣ всѣ были покорены силой и подѣлены между великими державами. Причина войн была не в фактѣ встрѣчи или распространенія сношеній. Контакт и сношенія не являются причиной дифтерита: человѣк может общаться с больным и оставаться здоровым, пока не получит заразы. Причиной является инфекція, а контакт лишь облегчает ее. Так и в сношеніях между обществами причиной войн бывала не встрѣча, а несовмѣстимость.

В. Гражданскія войны возникали от быстраго и кореннаго измѣненія высших цѣнностей в одной части даннаго

общества, тогда как другая либо не принимала перемѣны, либо двигалась в противоположном направленіи. Фактически всѣ гражданскія войны в прошлом происходили от рѣзкаго несоотвѣтствія высших цѣнностей у революціонеров и контр-революціонеров. От гражданских войн Египта и Персіи до недавних событій в Россіи и Испаніи исторія подтверждает справедливость этого положенія.

Г. Когда глубокое измѣненіе в системѣ высших цѣнностей происходит только в одном или нѣсколькихъ обществах, связанных между собой, не затрагивая одновременно остальных, эти остальныя неизбѣжно втягиваются в состояніе войны. Иллюстраціей может служить исторія религій. Религіозная революція Ахенатона в древнем Египтѣ вызвала сначала гражданскую, а затѣм международную войну. Распространеніе буддизма в Индіи, возникновеніе христіанства и его дальнѣйшее развитіе в Европѣ сопровождались бесчисленными войнами. Исторія повторялась несчетное число раз с удивительным однообразіем. Если перемѣна происходила в области политических или политико-экономических цѣнностей, конфликт принимал форму политической или политико-экономической революціи. Когда перемѣны бывали достаточно радикальны, онѣ сопровождались «революціонными войнами» с нереволюціонизированными сосѣдями. Войны Кромвельской, Французской, Русской и Нацистской революцій служат типичной иллюстраціей этого единообразія. В исторіи было не много политических или политико-экономических революцій, которыя не сопровождались бы войной.

Д. Увеличеніе войн связано с ускореніем общественно-культурных перемѣн в данной группѣ взаимодѣйствующих обществ. Это особенно вѣрно в отношеніи Запада в теченіе послѣдних пяти столѣтій. Не ускореніе, конечно, является подлинной причиной. Если оно происходит планомѣрно и однообразно во всѣх обществах, совмѣстимость высших цѣнностей не нарушаѣтся, и нѣт причин для внутренних или внѣшних войн. Тому свидѣтельство быстрый рост перемѣн в Европѣ и Америкѣ втеченіе второй половины 19-го вѣка. Опасность возникает тогда, когда не всѣ общества мѣня-

ются с одинаковой быстротой, и прежняя совмѣстимость цѣнностей между ними нарушается.

Е. Имперіи, состоящія из крайне несхожих и враждующих народов и культур, часто затѣвают внѣшнія войны с цѣлью предупредить развитіе внутренних движеній, угрожающих их единству. В таких случаях несовмѣстимость сначала обнаруживается внутри, в формѣ безпорядков или гражданской войны, а затѣм может вызвать международную войну.

Ж. То же случается с обществом вполнѣ стойким внутренне, но существенно отличным от других обществ. Их цѣнности несовмѣстимы. Ультра-національное государство не уважает и не терпит обычаев сосѣда. Обычно в таких случаях всегда слѣдует война.

В обоих случаях внутреннее разнообразіе или слитность общества не являются причиной войн per se. В зависимости от обстоятельств результаты могут быть различны.

З. Кривая войн в исторіи Греціи, Рима и европейских стран с 6-го вѣка до Р. Х. по наше время обнаруживает непрерывный рост войн, в процентном отношеніи жертв к общему числу населенія, в періоды радикальнаго измѣненія высших цѣнностей в человѣческом обществѣ. Кривыя, вычисленныя мной и К. Райтом, совпадают во всѣх основных пунктах. Не входя здѣсь в подробности, мы можем подвести итог европейским войнам в цѣлом, с 12 вѣка по 1925 год. Кривая начинает медленно подниматься в 13 и 14 вѣках, быстрѣе в 15 и 16 и достигает вершины в 17-ом, затѣм она слегка спускается в 18-ом, еще больше в 19-ом, хотя и дает нѣкоторый скачок на рубежѣ вѣков, но в 20-ом вѣкѣ она сразу вскакивает до пункта, не превзойденнаго за всѣ 25 вѣков исторіи западной цивилизаціи.

Это вполнѣ совпадает с высказанным выше положеніем. Період с конца 12-го и по 17-й вѣк был временем глубокаго измѣненія европейской системы цѣнностей, идеократія смѣнялась чувственной эпохой, средневѣковая религіозная культура — свѣтской. Цѣнности мельчали, становились относительными, теряли силу устойчивости. Несовмѣстимость их — среди индивидуумов, групп и государств — возрастала, а с этим одновременно росло число международных и гражданских войн во всей Европѣ. Но с 17-го вѣка усвоеніе новой общей системы цѣнностей (свѣтской) способствовало пониженію кривой на протяженіи 18-го и 19-го вѣков. Временный

скачок на рубежѣ этих двух столѣтій был ликвидаціей послѣдних остатков феодальной и идеократической эпохи. В 19-ом вѣкѣ свѣтская культура и общественный порядок достигли зенита, индекс войн упал до минимума. Но с началом 20-го вѣка мы наблюдаем стремительную дезинтеграцію свѣтской культуры. Всѣ ея цѣнности мельчают и становятся относительными до такой степени, что ни одна уже не имѣет общаго признанія. Брак, частная собственность, Бог — эти цѣнности колеблются, оспариваются, обращаются в прах. Общественная анархія достигает крайняго выраженія. Нѣт ни одной цѣнности, которая связывала бы одинаково гитлеровцев и анти-гитлеровцев, коммунистов и капиталистов, бѣдных и богатых, вѣрующих и безбожников. В результатѣ цѣнности теряют сдерживающую силу. Возрастает число людей, движимых похотью, эгоизмом, біологическими побужденіями. Сила и обман становятся главными нормами поведенія.

Это несоотвѣтствіе цѣнностей вмѣстѣ с огромным развитіем личных, групповых и международных сношеній привело неизбѣжно к небывалому взрыву гражданских и внѣшних войн. Мы живем в самом кровавом вѣкѣ за 25 вѣков человѣческой исторіи.

И. Всякій раз, когда в данном обществѣ нравственно-юридическая разность и противорѣчія возрастают, количество и строгость карательных мѣр одной части общества по отношенію к другой тоже воззрастают; при прочих равных условіях, чѣм больше несоотвѣтствіе цѣнностей, тѣм рѣзче этот рост.

К. Наконец, высказанное выше положеніе подкрѣпляется явной недостаточностью всѣх прочих теорій относительно причин войны и мира. Несостоятельность множественно-причинной теоріи очевидна, а всѣ другія основаны на каком-либо исключительном факторѣ, являясь гипотезами, опирающимися на такія величины, как экономическія или политическія данныя, солнечныя пятна, размѣры и плотность населенія, климат, и т. п. Ни одна из них, однако, не выдерживает даже поверхностной критики. Можно взять мои и профессора Райта кривыя войны и попытаться об'яснить их в свѣтѣ всѣх этих теорій. Это будет безнадежная попытка. Теоріи просто не отвѣчают фактам, а факты опровергают теоріи.

*
**

Положительныя доказательства могут быть распредѣлены в том же порядкѣ, и из них мы отмѣтим лишь три группы:

А. Во всѣх странах минимум войн и максимум мира падает в точности на

пероды высшаго об'единенія и усвоенія системы основных цѣнностей и ея распространенія на всѣ группы и государства, находящіяся в общеніи. Так это было в Греціи в 6-ом и 2-ом вѣках, в Римѣ в 4-ом вѣкѣ до Р. Х. и втеченіе первых двух вѣков послѣ Р. Х. Этим же об'ясняется сравнительно низкій показатель войн в Европѣ до 13-го вѣка, когда христіанскаяя система цѣнностей была единой для всей Европы. В деталях это можно прослѣдить на исторіи каждой отдѣльной страны, и, в частности, в моей «Динамикѣ Общества и Культуры» собраны данныя об Англіи, Фраицніи, Россіи, Австріи, Италіи, Испаніи, Нидерландах и Польшѣ-Литвѣ.

Б. Минимум убійств и насилія также падает на періоды общаго господства одной системы цѣнностей.

Это же в точности относится к характеру карательных мѣр, налагаемых одной частью общества на другую — когда цѣнности общепризнаны, эти мѣры гуманны; онѣ становятся жестокими и кровавыми, когда цѣнности разлагаются и вступают в конфликт.

2. — Четыре условія длительнаго мира.

Длительный мир послѣ этой войны возможен только в случаѣ, если причина войны будет устранена или сильно ослаблена. Большинство предлагаемых мѣр, однако, не касаются подлинной причины войны. Онѣ скорѣе укрѣпляют ее, чѣм ослабляют, повторяя трагическую ошибку Версаля. Всѣ попытки установить прочный мир пока бывали безуспѣшны. Основныя причины этой неудачи двѣ: во первых, об'ективно неблагопріятныя обстоятельства; во вторых характер предлагавшихся мѣр, которыя не устраняли причины войны.

Об'ективно неблагопріятныя обстоятельства состояли прежде всего в отсутствіи достаточно широкаго взаимодѣйствія и взаимозависимости между частями человѣчества. Человѣчество не представляло собой организма, в котором народы, государства и большія общества зависѣли друг от друга. А без постоянной взаимозависимости, без соціальных, экономических, культурных и иных цѣнностей, связующих человѣчество в одно цѣлое, невозможна была никакая международная организація. При таких обстоятельствах всякій план прочнаго всеобщаго мира был обречен на неудачу.

Добавочным об'ективным препятствіем к миру являлось наличіе множества своих интересов в каждом государствѣ, на-

родѣ или общественной группѣ. Эти интересы мощно сопротивлялись всякой общественно-культурной перестройкѣ мира, как бы ни была необходима перестройка для установленія прочнаго міра. Планировщики мира находились, таким образом, в положеніи планировщиков идеальнаго города, которым было бы запрещено сносить, мѣнять и даже трогать существущія зданія, исправлять кривыя улицы и уничтожать мѣста заразы. Никто не способен построить здоровый и красивый город при таких условіях. В лучшем случаѣ можно подновить или перекрасить нѣсколько зданій, но такое «обновленіе» не создаст новаго города.

Второй основной причиной неудачи мирных планов было несоотвѣтствіе предлагавшихся мѣр. Большинство планировщиков обольщают себя и других вѣрой в то, что достаточно подмалевать и передѣлать фасад нѣскольких общественных и политических учрежденій, чтобы выросло величайшее зданіе, Храм Вѣчнаго Мира. Так пытались поступить послѣ первой Міровой Войны. Результаты извѣстны. Повтореніе тѣх же мѣр, хотя бы и в новом изданіи, приведет не к прочному миру, а к новым войнам еще болѣе страшным, чѣм нынѣшняя.

Для прочнаго и длительнаго мира имѣтся четыре необходимых условій: во первых, основной пересмотр и переоцѣнка большинства современных культурных цѣнностей; во вторых, дѣйствительное распространеніе и внѣдреніе во всѣ государства, народы и общественныя группы системы основных норм и цѣнностей, связующих всѣх без различія; в третьих, ясное ограниченіе суверенности всѣх государств в отношеніи войны и мира; в четвертых, учрежденіе высшей международной власти, обладающей правом обязательных и принудительных рѣшеній во всѣх международных конфликтах.

1. Первым важным шагом является установленіе цѣлостной системы основных высших цѣнностей, чтобы прекратить современную умственную моральную анархію. Процесс обобщенія и универсализаціи цѣнностей и соотвѣтственных норм поведенія должен энергично преодолѣть происходящую атомизацію и релятивизацію цѣнностей. Чисто матеріальныя цѣнности, не подчиненныя сверх-чувственным, духовным цѣнностям, не могут быть всеобщими. Онѣ могут только атомизироваться безконечно. Таким образом, переоцѣнка нынѣшних чувственных норм и соединеніе их с болѣе духовными принципами, как конечной цѣнностью, становятся неизбѣжными. Необходим глубокій умственный и нравственный переворот, чтобы сдѣлать господствующій дух болѣе идеалистичным и возвышенным.

Тѣ, кому эти термины не нравятся, могут замѣнить их болѣе нейтральными, как категорическій императив, безусловный общественный долг, и тому подобное. Когда данная норма поведенія становится обязательной и священной, она превращается в трансцендентальную цѣнность, возвышающуюся над соображеніями пользы и удовольствія.

2. Невозможно привести к единству всѣ религіозныя, нравственныя и юридическія нормы, эстетическія цѣнности или экономическія и политическія организаціи народов разных культур. Но возможно сдѣлать их совмѣстимыми путем обобщенія основных норм поведенія.

Без организаціи нравственной общности прочный мир невозможен, какія бы экономическія или политическія реформы мы ни предпринимали. Нѣт таких договоров или обязательств, которыя могли бы связать стороны, проникнутыя цинизмом, нигилизмом, свободныя от категорическаго императива предписанных норм и цѣнностей. Если не Нагорная Проповѣдь, выражающая высшія нравственныя цѣнности человѣчества, то хоть нѣчто приблизительное в императивной формѣ: «Не дѣлай другим того, чего себѣ не желаешь» и «Дѣлай для других то, что ты желаешь, чтобы другіе дѣлали для тебя», должно быть провозглашено и должно глубоко запечатлѣться в сердцах, мыслях и поведеніи всѣх людей, всѣх государств, народов и вождей прежде, чѣм длительный мир может дѣйствительно установиться.

Эти нормы могут стать общеусвоенными, если каждое человѣческое общество положит их в основу своей конституціи и внѣшних сношеній, если всѣ силы общества сосредоточатся на внушеніи этих норм, как правил общаго поведенія, начиная с дошкольнаго дѣтскаго воспитанія, с помощью семьи, школы, церквей, печати, радіо и всѣх других доступных средств воздѣйствія на человѣческій характер и поведеніе. Эти принципы должны быть внѣдрены так глубоко, чтобы стать священными, всеобщими, дѣйствительно связующими всѣх и каждаго.

Не будем останавливаться на деталях, существо задачи ясно. Всѣ проекты прочнаго мира, пренебрегающіе ею или считающіе ее второстепенной подробностью, обречены неизбѣжно на неудачу: они обольщают авторов несбыточной надеждой. Без этого минимума нравственной организаціи мир невозможен. Нельзя ожидать длительнаго мира между жуликами и гангстерами, какіе бы договоры, пакты и ковенанты они

между собой ни заключали. Точно также, внѣ установленія указанных норм, всѣ торжественныя фразы насчет демократіи и демократическаго мира являются пустыми или лицемѣрными формулами. Так называемыя «демократіи», лишенныя этого принципа, есть ничто иное, как эгоистическія, развращенныя, хищническія политическія машины не лучше любой тиранической автократіи. Если «практическіе» люди возразят, что внѣдреніе таких нравственных норм невозможно, и если мы согласимся с ними (хотя, конечно, они неправы), то это означает только, что длительный, справедливый и демократическій мир вообще недостижим. Исторія и жизнь не дают нам иного выбора.

3. Третьим непремѣнным условіем длительнаго мира является ограниченіе суверенности всѣх государств в вопросах, касающихся войны. Правительства всѣх государств должны быть ясно лишены права об'являть войну на том же основаніи, на каком этого права лишены торговыя палаты, университеты и иныя общественныя учрежденія. Пока будут существовать государства суверенныя в этих вопросах, с их болѣе чѣм несовершенными правительствами, войны неизбѣжны. Тѣм болѣе это вѣрно в отношеніи современных государств-левіафанов с их бездарными, часто циничными, еще чаще эгоистичными и, как правило, близорукими правительствами. Несмотря на всѣ Священные Союзы, Тройственные Союзы, Четверные Союзы, Равновѣсіе Великих Держав, Антанты, Пан-Азіатскіе и Пан-Американскіе Союзы, войны не исчезли и даже не ослабѣли в числѣ. Несмотря на недавнюю Лигу Націй, Гаагскій Международный Трибунал и многочисленныя международныя конференціи и пакты с цѣлью устранить войну, устранить ее не удалось. Наоборот, Лига Націй, конференціи и пакты закончились самой страшной войной в исторіи человѣчества. Если государства-левіафаны останутся суверенными, а их правительства будут имѣть свободу рѣшать вопросы войны и мира, возобновленіе подобных попыток не принесет прочнаго мира человѣчеству. Такія чудеса не случаются, особенно в наше циничное и нигилистическое время.

Если кто нибудь снова замѣтит, что такое явное ограниченіе государственной суверенности невозможно, и если это, дѣйствительно, вѣрно, то это будет означать только, что прочный и длительный мир вообще невозможен, и, стало быть, не стоит обольщать себя и других безнадежными попытками. Если мы желаем мира, то суверенныя права всѣх государств в этих вопросах должны быть уничтожены.

4. Четвертым непремѣнным условіем прочнаго и длительнаго мира является созданіе настоящей, работоспособной и могущественной международной власти, располагающей правом рѣшать всѣ внѣшніе конфликты между государствами и силой необходимой для проведенія рѣшеній в жизнь. Этот международный организм один должен обладать суверенным правом в вопросах войны и мира, причем его рѣшенія должны быть окончательны (они могут быть пересмотрѣны только им самим); в основѣ их должны лежать вышеуказанныя нормы. Война должна быть либо вовсе уничтожена, либо сведена к карательной мѣрѣ против насильников в рѣдких случаях и в ограниченных размѣрах, с упраздненіем наиболѣе разрушительных и безчеловѣчных орудій войны.

Подробности технической организаціи и задач такого международнаго учрежденія выходят за предѣлы этой статьи. Однако, одно слѣдует отмѣтить. Такой международный орган должен состоять не только из представителей государств, как это бывало прежде в разных союзах и в Лигѣ Націй, но также из представителей главных религіозных организацій, науки, искусств, земледѣлія, премышленнаго труда и хозяйства. Одним из главных недостатков всѣх прежних об'виненій и Лиги Націй было то, что они представляли собой только политическія группы. Государство не является единственной важной общественной организаціей. Рядом с ним существуют не менѣе важныя — а с точки зрѣнія творчества, даже болѣе важныя — организаціи: религіозныя, научныя, художественныя, экономическія, бытовыя. Они содѣйствовали прогрессу человѣчества не меньше, а пожалуй, больше, нежели государства. Государства, монополизировавшія дѣло войны, гораздо болѣе склонны к воинственности. Творческія цѣнности религіи, науки, искусства, промышленности и семьи значительно миролюбивѣе, нежели интересы государств и их несовершенных правительств. С другой стороны, вліяніе и власть этих организацій огромны. Присутствіе их представителей среди полноправных членов великаго международнаго органа подняло бы на чрезвычайную высоту его общественный, научный, нравственный и правовой престиж. В этой формѣ он, дѣйствительно, мог бы стать выраженіем человѣческой мудрости, Верховным Судом человѣческой справедливости.

Однако, большинство существующих планов ограничивает состав международнаго органа представителями государств. Этот рѣшительный недостаток должен быть исправлен. Иначе сверх-государственный Левіафан новой Лиги Націй будет об-

ладать всѣми старыми пороками государственнаго эгоизма и повторит всѣ неудачи прежней Лиги Націй.

Если кто нибудь опять возразит, что подобный международный орган невозможно создать, единственный отвѣт на это тот, что длительный мир, значит, тоже невозможен.

3. — Осуществим ли предлагаемый план?

В прошлом — по причинам, указанным выше — планы прочнаго мира, основанные на четырех намѣченных здѣсь условіях, никак не могли быть осуществлены. Даже в настоящее время, если бы мір не корчился в судорогах войн, голода, эпидемій и революцій, если бы человѣчество не переживало величайшаго кризиса в исторіи, подобный план показался бы утопичным и не мог бы расчитывать на осуществленіе. Однако, происходящая катастрофа создала совершенно иное положеніе. Если мы серьезно желаем прочнаго мира, задача находится в предѣлах достижимости.

Во первых, человѣчество уже связано в одно цѣлое множеством общественных, культурных, экономических, технических и политических уз. Всякое измѣненіе в одной части огромнаго человѣческаго общества существенно затрагивает остальныя. Время изоляціонизма, в широком смыслѣ, кончилось безвозвратно. Мы живем и дѣйствуем, дѣйствительно, в едином мірѣ. Независимо от наших желаній, невозможно установить прочный мир в одной странѣ, если он не установлен одновременно во всем мірѣ. Невозможно постоить счастливую, мудрую и благополучную жизнь, изолировав себя от остального человѣчества. Это означает, что база для всеобщаго длительнаго мира существует, и что длительный мир возможен только на этой всеобщей базѣ. Мѣстныя рѣшенія болѣе невозможны.

Точно также и второе главное препятствіе — сопротивленіе мѣстных государственных и групповых интересов — можно считать значительно ослабѣвшим. Вряд ли еще есть для государств основаніе возражать против ограниченія их суверенности, раз суверенность большинства из них уже сведена к нулю, о чем свидѣтельствует тот факт, что на протяженіи послѣдних десятилѣтій государства возникали и исчезали, как мыльные пузыри. Нѣт основаній для государств настаивать на их старых границах, потому что границы уже стерты и в большинствѣ случаев возстановленіе их невозможно. Втеченіе послѣдних десятилѣтій политическія границы безпрестанно мѣнялись, стали окончательно текучими, непроч-

ными и неясными. Большинства правительств, существовавших до Первой Міровой Войны, уже нѣт, и большинство правительств, дѣйствовавших до 1939 года, нынѣ просто бѣженцы, в то время, как оставшіяся, включая диктаторов, смѣнятся втеченіе ближайших лѣт, самое большее, ближайших одного или двух десятилѣтій. Прежнія политическія мечты стали слабым воспоминаніем об ушедшем прошлом. Надежды возстановить эти вѣчно мѣняющіяся и взаимно враждебныя правительства совершенно безпочвенны. Ни одна великая революція не возстанавливает старых правительств и старой аристократіи, они отправляются в отставку навѣки. А современный кризис является величайшей из всѣх извѣстных нам революцій.

Даже высшіе классы недавних и нынѣшних обществ не имѣют серьезных основаній возражать против великой перемѣны. Их положеніе также стало непрочным. С 1914 года в большинствѣ западных и восточных стран двѣ или три волны разной «аристократіи» уже смѣнили друг друга. Каждая новая волна этих «калифов на час» быстро уступала мѣсто другой, которая, в свою очередь, тоже изчезала. Ни одна из этих «аристократій» не может разсчитывать на возвращеніе к своему прежнему, кратковременному величію. При наличных условіях онѣ не имѣют ни силы противостоять великой реформѣ, ни достаточно властнаго стимула к сопротивленію.

Другіе зажиточные, профессіональные и средніе классы нынѣ разорены или почти разорены существующими условіями войны и анархіи. Они ничего не потеряют от великой реформы, за исключеніем униженій, нужды и страданій. Огромному же большинству населенія во всѣх странах нынѣшнія войны между суверенными государствами ничего не дали, кромѣ несчастья, горя и гибели. В основѣ несчастій лежит анархія, созданная множеством суверенных государств, и огромное большинство человѣчества ничуть не заинтересовано в ея продолженіи, сулящем безконечную серію новых катастроф. Наконец, всѣ люди с элементарным нравственным чувством и чувством общественной отвѣтственности могут жить только надеждой на упраздненіе анархической системы, являющейся источником величайшей заразы.

Таким образом, за исключеніем ничтожнаго числа человѣческих хищников, ни государства, как государства, ни их бывшія и нынѣшнія правительства, ни народы не могут извлечь никакой выгоды из нынѣшняго положенія, не могут сохранить свои интересы в неприкосновенности, надѣяться на возвращеніе статус кво или на созданіе новой счастливой

жизни на старых основаніях. Всѣ они находятся нынѣ посреди развалин не только своего личнаго благополучія, но и всего общественнаго, культурнаго, политическаго и экономическаго зданія прошлаго. Реставрація развалин в прежнем видѣ невозможна, а попытка лишь слегка подновить их приведет только к повторенію прежних катастроф. Суверенныя государства, сыгравшія огромную положительную роль в прошлом, стали источником гибели.

Когда старый город разрушен, мудрые строители не занимаются возстановленіем поверженных зданій с их прежними недостатками и неудобствами. Они пытаются построить новый город без дефектов стараго, с учетом требованій пользы, здоровья и красоты. Их не должны останавливать частные интересы. Нашему поколѣнію и слѣдующему за нами придется жить среди развалин стараго общественно-культурнаго порядка. Мы должны построить новое общество, свободное от угрозы войны, насколько это в предѣлах человѣческих возможностей. Частные интересы прошлаго, потрясенные или сметенные катастрофой, не могут успѣшно препятствовать нашим планам. Исторія предоставляет нам исключительный случай свободы от реакціонных вліяній и давленій. То, что в прошлом было недостижимо, казалось утопическим, в нынѣшних условіях становится не невозможным. С мудростью, мужествôм и вѣрой, во славу Божію и в прославленіе человѣка, мы можем, наконец, приступить к постройкѣ Храма Вѣчнаго Мира.

П. А. Сорокин.

«ЗА ВАШУ И НАШУ ВОЛЬНОСТЬ!»

(Страницы из исторіи русско-польских отношеній).

На протяженіи вѣков пути народов русскаго и польскаго шли скрещиваясь и переплетаясь. В теченіи цѣлаго столѣтія им вообще пришлось жить под общей государственной крышей. Это был «неравный брак», не добровольный союз свободных народов. Поэтому книга, посвященная исторіи их отношеній, будет полна тяжелых страниц. Но многія из этих страниц будут весьма поучительными и вчитываться в их содержаніе будет полезно всякій раз, как жизнь будет наново, в новой обстановкѣ и в новых формах, ставить старую проблему русско-польских отношеній.

Особенно поучительными будут тѣ страницы, которыя в этой книгѣ придется посвятить исторіи взаимных русско-польских вліяній внутри революціоннаго и соціалистическаго движеній.

Эти вліянія были в высшей степени сложными. «За вашу и нашу вольность!», — этот лозунг, впервые появившійся на знаменах варшавских демократов в 1831 году, соблазнительно простым представляется только издали. В жизни, при попытках его конкретизаціи, он всегда выростал до размѣров одной из наиболѣе сложных проблем эпохи, вынуждая поднимать весь запутанный клубок наболѣвших вопросов, — не только національных, не только политических, но и соціальных и экономимических. Именно таким многосложным он стоит и перед историком, — но тѣм болѣе важно, тѣм болѣе необходимо в нем разобраться.

К сожалѣнію, сдѣлать это трудно, так как исторія русско-польских отношеній внутри революціоннаго и соціалистическаго движеній почти совершенно не разработана в русской исторической литературѣ.

Мы вообще очень плохо знаем исторію движенія польскаго. В русской исторической литературѣ послѣ-революціонной эпохи, которая была эпохой напряженной работы над изученіем исторіи революціонных движеній как в Россіи, так и во всем мірѣ, — для изученія исторіи движенія польскаго сдѣлано

безконечно мало, — даже меньше, чѣм дѣлалось в до-революціонные годы. Что же касается до вопроса о характерѣ взаимных вліяній, то этот вопрос, — можно смѣло сказать, — до сих пор вообще не поставлен русскою историческою литературой. Сводных работ на эту тему нѣт, — если не считать старой и давно уже устарѣвшей работы Драгоманова. Для отдѣльных періодов вопрос затрагивали, но только мимоходом. Даже документальный матеріал, который в изобиліи имѣется в старых архивах, если и выявлен, то не систематически, а случайно, в процессѣ работ над другими темами. Огромная и весьма интересная польская историческая литература в обиход литературы русской совершенно не введена.

Этот пробѣл настолько значителен, он так ярко выдѣляется на общем фонѣ русской исторической литературы послѣдних десятилѣтій, что его явно нельзя об'яснить какой-либо случайностью. Интерес к движенію польскому у русских историков имѣлся. Нѣкоторые из них отмѣчали важность разработки его исторіи. Если эта разработка не была организована, то причина лежала в политикѣ правительства, которое в современной Россіи «организует» и «планирует» изслѣдовательскую работу историков. Совѣтское правительство не хотѣло, чтобы в Россіи изучали прошлое борьбы польскаго народа за свою свободу; разсказы из этой борьбы необходимо должны были будить в русской читательской аудиторіи симпатіи к польскому народу и его многолѣтней борьбѣ за свою свободу. А это было не в интересах правительства! Именно так было в Россіи старой — царской: тогда писать о революціонном движеніи польском не позволяла цензура. Так осталось и в Россіи новой — большевистской: только формы цензуры стали иными.

*
**

Революціонное движеніе в Россіи намного моложе движенія польскаго. Вполнѣ понятно поэтому, что в началѣ интересующей нас эпохи, в первой половинѣ XIX вѣка, взаимоотношенія движеній русскаго и польскаго сводились почти исключительно к одностороннему воздѣйствію опытных революціонеров-поляков на совсѣм еще юных «зачинателей» революціи русской.

«У них, — писал позднѣе Герцен, вспоминая свое прежнее отношеніе к польским революціонерам, — было богатое прошлое, у нас большая надежда; у них грудь была покрыта рубцами, у нас только крѣпли для них мышцы. Мы казались ополченцами, — перед ними, ветеранами».

В этих условіях только вполнѣ естественно, что «ополченцы» в началѣ смотрѣли на «ветеранов» снизу вверх — и подходили к ним с желаніем учиться и подражать, а не спорить, не поучать.

Учиться дѣйствительно было чему: еще задолго до того, как в Россіи начали формироваться первые кадры революціонной арміи русской, революціонеры польскіе поставили ряд больших и сложных вопросов, многим из которых позднѣе было суждено стать «больными вопросами» движенія русскаго.

Польша послѣдней четверти XVIII вѣка жила напряженной идейно-политической жизнью. Идеи энциклопедистов, подготовившія французскую революцію, быть может, нигдѣ внѣ Франціи не пользовались таким успѣхом, как в Польшѣ. Конечно, в этом было не мало простого подражанія иноземной модѣ, но не только оно одно. В польской жизни было так много собственных горючих матеріалов, в ней назрѣвало так много своих собственных соціальных конфликтов, что в заморскія мелодіи не могли не вплетаться и родные мотивы. Основным из этих мотивов, наиболѣе характерным, был мотив поднимающагося крестьянства. Он звучал так опредѣленно, как, кажется, нигдѣ в то время в Европѣ. Именно в Польшѣ появлялись первые піонеры крестьянофильской демократіи, связывавшіе это крестьянофильство с идеями Руссо.

«Первым апостолом» этой демократіи (выраженіе Спасовича) был Станислав Сташиц (1755-1826), очень своеобразный человѣк и интересный мыслитель, разбросавшій в своих произведеніях так много оригинальных идей, что к нему еще часто придется возвращаться историкам общественной мысли в Польшѣ.

Его отец, мѣщанин по званію, был бургомистром в маленьком мѣстечкѣ и, по преданію, записанному Козміаном, жестоко пострадал от самодурства какого то важнаго магната. Семья бѣдствовала. Для стремившагося к знанію сына был открыт только один путь: изученіе богословія. По нему он и пошел, выявив при этом такія способности, что по окончаніи семинаріи был отправлен для совершенствованія в этой наукѣ в Париж. Здѣсь его захватили новыя идеи. Забросив богословіе, он принялся за естественныя науки, значеніе которых тогда так подчеркивали энциклопедисты; изучал ботанику, геологію, которая позднѣе стала его главной спеціальностью. Но больше всего он увлекался идеями Руссо, под вліяніем которых стал республиканцем и демократом.

Вернувшись на родину, он быстро выдвинулся в первые

ряды политических публицистов лѣваго лагеря, ставя идеи Руссо и энциклопедистов на служеніе дѣлу защиты интересов крестьянства и городского мѣщанства против магнатов. С возмущеніем описывал он положеніе крестьян, которые были доведены до того, что «стали скорѣе походить на звѣрей, чѣм на людей». Со страстным негодованіем он обрушивался на магнатов, которые старыя польскія свободы поставили на службу своим корыстным интересам:

> «Кто учит в сеймиках измѣнѣ, подлости, насилію? Кто шляхту подкупает, обманывает и спаивает? Паны!... Кто продавал корону? Паны!... Кто приводил иноземныя войска? Паны!...».

Главное зло в панах, при которых и свободы становятся орудіем угнетенія народа. Для борьбы с этим злом Сташиц развертывает программу уничтоженія крѣпостного права и надѣленія крестьян землею. Если нужно, во имя этой программы он готов пойти на бой против шляхетской республики: «Сперва народ, — вызывающе бросает он своим противникам, — потом свобода!»

Эта оріентація на крестьянство у Сташица неразрывно связана с опредѣленным рѣшеніем вопроса о будущих государственных судьбах Польши. Среди писателей лѣваго лагеря Сташиц с самаго начала выдѣляется и тѣм, что основным **внѣшним** врагом польскаго народа он считает нѣмцев, — Австрію и Пруссію. В оцѣнкѣ роли послѣдних он предвосхищает многое из того, что говорили поколѣнія позднѣйших панславистов; поляков он разсматривает, как одно из племен западных славян, и задачѣ борьбы против нѣмецкаго натиска на славянство подчиняет всю внѣшнюю политику Польши. В 1790 году он выступает с предложеніем пойти на тот или иной союз с Россіей, — если нужно, пригласив на трон кого-либо из русских великих князей. Нѣсколько позднѣе это предложеніе он развертывает в программу об'единенія всѣх славян в большую федерацію с Россіей во главѣ. Вѣрный своей старой идеѣ: «сперва народ, потом свобода», вопрос о государственных формах этой федераціи Сташиц отодвигает на второй план. По его собственному мнѣнію, каждый из входящих в федерацію славянских народов должен имѣть право сам выбрать желательную ему форму: кто хочет, будет имѣть респулику; желающіе сохранят монархію. Но он готов и на большіе компромиссы, — только бы создать федерацію. Послѣдняя необходима

во что бы то ни стало, так как только она даст славянам возможность спастись от порабощенія нѣмцами и сохранить свои обычаи, язык и учрежденія.

Эти взгляды, которые предвосхищают многое из позднѣйших взглядов Прудона, конечно, не могли получить широкаго распространения в дни возстанія Костюшко. Послѣдній, даже в самыя трагическія минуты борьбы, склонен был, наоборот, отодвигать на задній план проблему раскрѣпощенія крестьянства, хотя бы это и ослабляло шансы возстанія. Извѣстен разсказ о появленіи делегатов Костюшко перед парижским Комитетом Спасенія в 1794 году. Якобинцы ставили им в упор вопросы: почему в Польшѣ не смѣщен король, который играл не менѣе предательскую роль, чѣм только что посланный на эшафот Людовик XVI? почему нетронутой остается власть аристократіи, столь ненавистной парижским санкюлотам? почему не проводится массовая мобилизація крестьянства? У делегатов из Польши не было отвѣтов на эти вопросы, как не было таких отвѣтов и у самого Костюшко. В его окруженіи шло много разговоров о желательности в цѣлях диверсіи поднять крестьянскія возстанія в Россіи, на подобіе недавняго возстанія Пугачева. — Но поднимать крестьянство в Польшѣ ни Костюшко, ни его соратники не хотѣли. Это вело к самым печальным для возстанія послѣдствіям. В первые дни под его знамена стекалось много крестьян, образовавших тѣ самые отряды косиньеров, которые так отличились в первых боях. Но бѣгство крестьян к повстанцам раздражало помѣщиков, и Костюшко, чтобы примириться с ними, отдал приказ о возвращеніи крестьян на барщину. Извѣстна исторія крестьянина-революціонера Гловацкаго, который так отличился в боях, что был произведен в капитаны. Но когда помѣщик потребовал, то и Гловацкій был возвращен на полевыя работы... Огинская в своих воспоминаніях рисует сцены, как помѣщики ходили перед рядами выстроенных героев-косиньеров и выискивали среди них своих «бѣглых» крестьян: «Домой, лѣнтяи! Вы не для войны созданы!» Вполнѣ естественно, что крестьянство послѣ этого к судьбам возстанія стало относиться по меньшей мѣрѣ с безразличіем.

С идеей крестьянских возстаній в Россіи много носились в послѣдующіе годы, — в період польскаго легіона и наполеоновских походов. Извѣстно предложеніе, переданное поляками Наполеону через маршала Даву в дни подготовки похода на Москву: посадить на коней пол-милліона украинских казаков для новой пугачевщины. Извѣстен и отвѣт Наполеона: посадить

их, быть может, мы и сумѣем, но гдѣ гарантія, что они с коней слѣзут, когда мы того захотим? План был похоронен, о чем позднѣе сильно сожалѣли первые русскіе революціонеры (Бакунин в 1849 году).

***

Конституція 1815 года, разработанная Адамом Чарторійским и его друзьями, содержала цѣлый ряд очень выгодных для Польши моментов, — и, несмотря на то, что ее замѣтно попортили Новосильцев с Александром, — дала сильный толчек для развитія страны. Первое десятилѣтіе ея существованія было періодом быстраго роста городов, возникновенія промышленности, развитія сельскаго хозяйства и т. д., — а вмѣстѣ с тѣм и періодом роста популярности идей Сташица. В Польшѣ складывается цѣлая группа писателей, поэтов и ученых, которые крестьянскія симпатіи связывают с идеями славянскаго единенія. От этой группы протягивается ряд нитей к литературѣ и наукѣ русской. «Славянскіе» мотивы у Рылѣева, Кюхельбекера и других поэтов-декабристов навѣяны «польскими друзьями», — в первую очередь «Историческими пѣснями» Нѣмцовича. Сближеніе русской и польской интеллигенціи в этот момент кажется таким возможными и близким, каким оно не было в позднѣйшія десятилѣтія.

Из Польши же идут и «славянскія» настроенія в програмных декларацiях декабристов. Исторія юнаго польскаго карбонарія Юліана Люблинскаго, который в 1821 году был выслан полиціей за неблагонадежность из Варшавы на родину, в захолустный Новоград-Волынскій и там положил начало тайному обществу «Соединенных Славян», является, несомнѣнно, самой интересной страницей в исторіи русско-польских отношеній этой эпохи, — страницей много болѣе колоритной, чѣм революціонно-дипломатическіе переговоры вождей «Южнаго Общества» с гр. Олизаром, кн. Яблонским и др. На слѣдствіи Люблинскій показал, что движущим мотивом его поведенія было желаніе «искоренить ненависть, каковую пылаем друг к другу», — русскіе и поляки, — и добиться «соединенія отраслей славянских,... ибо мы всѣ есть славяне и от одного племени происходим». Как видно из этих показаній, Люблинскій плохо владѣл русским языком; из юных русских офицеров только немногіе об'яснялись по польски; тѣм не менѣе идеи польскаго карбонарія сразу же встрѣтили восторженный пріем: почва для «соединенія отраслей славянских» в этой средѣ уже была готова, — и общество, созданное ими, выдѣляется из

ряда других обществ эпохи не только «революціонным панславизмом», но и болѣе послѣдовательным, чѣм у других «декабристов», поистинѣ плебейским демократизмом.

***

Николай I пришел, как тот злой кудесник из дѣтских сказок, который кропит вокруг себя мертвой водой: гдѣ упала капля, там все живое гибнет... 14 декабря 1825 года капли мертвой воды упали на всѣ ростки новой жизни, которые выбились к свѣту за предшествовавшія десятилѣтія. Польша не могла уйти от общей участи. Чѣм дальше, тѣм ненормальнѣе становилось ея положеніе небольшого конституціоннаго островка в безбрежном морѣ неограниченнаго произвола. Случайностью была только дата возстанія: 29 ноября 1830 г. Борьба в Польшѣ, затянувшаяся на 8 мѣсяцев, приковала к себѣ вниманіе всей культурной Россіи, разбуженной еще раньше, извѣстіями об іюльской революціи в Парижѣ. В наших представленіях тогдашніе отклики на событія в Польшѣ невольно ассоціируются с воспоминаніями о надменных стихах Пушкина:

«О чем шумите вы, народныя витіи?
Зачѣм анафемой грозите вы Россіи?»

Конечно, настроенія подобнаго вызова в то время имѣлись у многих, но было бы огромной ошибкой, если б мы стали их выдавать за общія. Даже для самого Пушкина центр тяжести был вовсе не в этом вызовѣ. К сожалѣнію, мы мало знаем о степени знакомства Пушкина с нѣмецкой философіей, а без спеціальной разработки этой темы трудно рѣшить, в какой мѣрѣ на него вліяла постановка вопроса о миссіи Россіи у Гердера-Шеллинга-Гегеля. Знал ли он или не знал эти теоріи, его мысль, несомнѣнно, работала в том же направленіи. Варнгаген фон-Энзе при всем своем диллетантизмѣ был хорошо знаком с «птичьим языком» гегельянцев и правильно понял дѣйствительный смысл Пушкинской трактовки темы: Пушкин, писал он еще в 1838 году, «подчиняет в этих стихах вопрос о сомнительной, во всяком случаѣ, свободѣ отдѣльнаго племени другому, высшему вопросу об общем назначеніи славянских народов»:

Славянскіе ль ручьи сольются в русском морѣ?
Оно ль изсякнет, — вот вопрос!

Но даже с этой болѣе углубленной трактовкой проблемы были согласны далеко не всѣ из современников Пушкина. Даже в том кругу, в котором тогда вращался послѣдній, — среди остатков «старой гвардіи» либерализма «александровской эпохи», — встрѣчались люди, возмущавшіеся «шинельными» стихами поэта (так их назвал П. Вяземскій) и далекіе от сочувствія тѣм методам сліянія «славянских ручьев» в большом «русском морѣ», которые примѣнял Николай I. Не только декабристы из «глубины сибирских руд» слали польским повстанцам пламенное стихотворное привѣтствіе Одоевскаго. Не только молодежь, — «ополченцы» революціонной арміи будущаго, — совсѣм по иному воспоминали событія:

> «Мы радовались, — вспоминет Герцен, — каждому пораженію Дибича, не вѣрили неуспѣхам поляков, — и я тотчас прибавил в свой иконостас Фаддѣя Костюшко».

Очень похоже, что и у Пушкина, позднѣе, когда в Польшѣ борьба перешла в расправу, появились иные оттѣнки отношенія к событіям. Во всяком случаѣ незаконченный набросок посланія к кому-то, кто «просвѣщеніем свой разум освѣтил», свидѣтельствует о большом уваженіи поэта к мнѣніям, прямо противоположным тому, которое им высказано в посланіи к «Клеветникам Россіи»: у Пушкина нѣт негодованія на этого знакомаго, который «пил здоровье Лелевеля», — тогда вождя крайней лѣвой варшавскаго возстанія, — и затѣм «мудро свой народ возненавидѣл», — явно за то, что именем этого народа было сдѣлано с Польшей.

Эта послѣдняя фраза о «мудрой ненависти» открыто перекликается с тѣми новыми настроеніями, которыя поднимались в рядах «ополченцев». Наиболѣе ярким их выразителем стал Печерин, — молодой и талантливый русскій ученый, нѣсколькими годами позднѣе, бросившій все и бѣжавшій заграницу, чтобы только не быть затянутым в болото обывательскаго примиренія с «проклятой дѣйствительностью». Он писал:

> «Как сладостно отчизну ненавидѣть
> И жадно ждать ея уничтоженья,
> И в разрушеніи отчизны видѣть
> Всемірнаго денницу пробужденья!»

Эти строки звучат теперь почти, как кощунство, — но для цѣлаго ряда поколѣній русской интеллигенціи настроенія, которыя их продиктовали, в той или иной мѣрѣ были своими.

Не только для революціонеров от Герцена до Ленина, но и для людей типа Хомякова, с пера котораго в годы тяжелых военных испытаній его родины сорвались строфы:

«В судах черна неправдой черной,
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна....

Событія, связанныя с польским возстаніем 1830-31 г.г., — вѣха, начиная с которой эти настроенія появляются в идеологіи русскаго революціоннаго движенія. Революц. движеніе эпохи декабристов было глубоко патріотическим,—в лучшем значеніи этого слова, без привкуса холопства. «Отчизну» тогда никто из них не ненавидѣл. Такой мысли и возникнуть не могло, — и потому не было почвы для пораженческих настроеній. Послѣ 1830-31 г.г. эти настроенія стали звучать все болѣе и болѣе замѣтно, так как именно в дни этого возстанія связь реакціи внутри Россіи с политикой подавленія свободы в Польшѣ выступила с полной очевидностью. Не о Россіи было сказано, но и для Россіи было вполнѣ вѣрно: не может быть свободным народ, который свою свободу хочет строить на угнетеніи других народов... Русская интеллигенція хотѣла свободы для своего народа, и, на опытѣ познавая суровую истину об указанной взаимосвязанности явленій, от вывода о необходимости борьбы за свободу с в о е г о народа она переходила к выводу о необходимости поддерживать в их борьбѣ за свободу всѣ тѣ народы, которые только сила держала под общею с народом русским государственною крышей. Крайности, до которых доходили нѣкоторые из ея представителей, исторически были только реакціей на крайности политики правительства, — которая прежде всего и больше всего вредна была для самой Россіи, для ея внутренняго развитія и для ея международнаго престижа.

Уже это одно дѣлает польское возстаніе 1830-31 г.г. крупнѣйшей датой в исторіи формированія русской политической мысли. Но оно было, конечно, весьма крупной датой и в исторіи политической мысли польской. Силой можно держать народ под общей государственной крышей, — но силой нельзя завоевать дружбу этого народа. Наоборот: насиліе убивает ростки поднимающейся дружбы. Настроенія тяги к сближенію с Россіей, выразителем которых был Сташиц, послѣ 1831 года среди польской интеллигенціи сходят почти на нѣт. Их смѣня-

ют чувства жгучей ненависти. Именно с этими чувствами польскіе повстанцы 1831 г. покидают свою родину, чтобы понести их всюду, куда их только забросит судьба. Судьба их разбросала по всему міру, — и всюду они становились рѣшительными и озлобленными пропагандистами против Россіи, против всего русскаго. Их собственная идеологія пропитывается острой руссофобіей...

*
**

«Пораженческія» настроенія особенно замѣтны у того поколѣнія русских революціонеров, которое формировалось в 1830-40 годах, — у поколѣнія Бакунина, Герцена и Огарева.

У польских «ветеранов» они учились многому. Их вниманіе больше всего привлекали проблемы соціальныя. В этом отношеніи в Россіи 1830-40 годов рѣшающую роль играли тѣ же факторы, которые опредѣлили пути формированія міровозрѣнія Сташица в Польшѣ конца XVIII столѣтія: крестьянская проблема стучалась и в окна, и в двери россійской дѣйствительности, привлекая к себѣ вниманіе всѣх, кто задумывался над путями развитія страны. Острѣе и глубже других эти вопросы ставил М. А. Бакунин, который п е р в ы м поставил и частный вопрос о роли крестьянской общины, и общій вопрос о характерѣ и судьбах крестьянской революціи. Его нѣмецкая брошюра о Россіи (Дрезден, 1849 г.) предшествовала по времени первым высказываніям Герцена, который затѣм поповторил Бакунина (мѣстами слово в слово). Тѣм важнѣе разобраться, как сложилась эта бакунинская концепція, какія вліянія она на себѣ испытала.

Біографы Бакунина, — их так много! — до сих пор мало вниманія обращали на польскія связи послѣдняго, — особенно на связи періода 1840-х годов. А именно в этих польских связях и нужно искать рѣшенія задачи. Особенно значительным кажется знакомство Бакунина с Іоахимом Лелевелем, — большим польским ученым и большим демократом. В русской литературѣ он мало извѣстен вообще; литература же совѣтская его вовсе не признает[1]). А между тѣм его с полным осно-

[1]) Так его біографіи нѣт в совѣтской «Литературной Энциклопедіи»; «Большая Совѣтская Энциклопедія» его біографію излагает исключительно в плоскости его встрѣч с Марксом (эти встрѣчи в жизни Лелевеля никакой роли не играли); Н. Рубинштейн, автор новѣйшаго (очень интереснаго) труда по русской исторіографіи, не упоминает его имени, и т. д.

ваніем нужно считать пра-отцем не только польскаго, но и русскаго народничества.

Историк и по образованію, и по методам мышленія, интересующія нас проблемы Лелевель трактовал в историческом разрѣзѣ. Всю исторію Польши он изучал под углом формированія и развитія соціальных отношеній. Он первым вскрыл роль общины в быту древних славян. «Гминовладство» и вѣче — вот основы дѣйствительно славянскаго, народнаго строя жизни. Только сохраняя и развивая эти особенности, славянство сохраняется, как таковое. Всѣ взлеты и паденія польскаго народа Лелевель ставит в прямую зависимость от судеб крестьянской гмины: Польша процвѣтала, когда она была вѣрна послѣдней; ея звѣзда тускнѣла, когда Польша уходила от «гминовладства».

Политика Лелевеля неразрывно связана с его историческими концепціями, выростает на базѣ послѣдних. Польская аристократія была злым геніем польскаго народа в прошлом; она остается таковым для Лелевеля и в современности. Он мягче относится к шляхтѣ, — особенно к ея демократическим слоям[2]). Эта шляхта, по мнѣнію Лелевеля, в исторіи Польши играла положительную роль; были моменты, когда она могла стать ведущей силой польской демократіи; этого не случилось, — в результатѣ болѣе или менѣе случайных причин. Лелевель вѣрит, что в будущем будет иначе и что шляхта станет носительницей революціонно-демократических традицій, сыграет роль тѣх дрожжей, на которых выростет польская крестьянская демократія, долженствующая воскресить «гминовладство», обновить и укрѣпить общину. Крестьянская демократія Лелевеля — это общинная демократія, хранящая и продолжающая традиціи славянскаго быта.

Как и у Сташица, крестьянская оріентація у Лелевеля неразрывно связана с анти-нѣмецкими настроеніями и с большой тягой к идеѣ славянскаго единенія. Сторонником такого об'единенія он остается в теченіи всей своей жизни, — даже в такіе періоды, когда в польской эмиграціи почти безраздѣльно господствовали настроенія, враждебныя «славянским» увлеченіям. В первые годы «Конгрессовой Польши» он даже сотрудничает в русских изданіях (его критика исторіи Карамзина

[2]) В XVIII вѣкѣ шляхта составляла около 9% всего населенія Польши, причем больше половины ея принадлежало к бѣднотѣ («сѣрячки», как их тогда называли), которая, хотя и имѣла шляхетскія права, жила исключительно трудом рук своих.

обратила на себя сочувственное вниманіе русской аудиторіи как раз тѣми своими сторонами, которыя были направлены против апологіи централизованнаго государства). В 1831 году, польскіе демократы, по его предложенію, организуют в Варшавѣ демонстрацію памяти казненных декабристов (именно на этой демонстраціи впервые появилось знамя с надписью: «За вашу и нашу вольность!»). Не столь подчеркнуто, но все же вполнѣ опредѣленно симпатіи к славянскому единенію выступают и в дѣятельности Лелевеля-вождя демократической эмиграціи; в частности, именно по его иниціативѣ «Демократическое Общество» выпустило ряд воззваній к другим славянским народам, — в том числѣ к великороссам и к украинцам. Эти славянскія симпатіи имѣют свои корни в тѣх же историко-соціологических взглядах Лелевеля, о которых шла рѣчь выше, — и прежде всего во взглядѣ на роль общины в быту не только поляков, но и всѣх славян вообще.

Нѣт сомнѣнія, что именно эти моменты в міросозерцаніи Лелевеля привлекли к нему вниманіе молодого Бакунина, который весною 1844 года отправился к нему на свиданіе[3]).

К этому времени Бакунин уже подвел итоги своим философским скитаніям и уже построил свою революціонную схему, — во всяком случаѣ в ея основных линіях. «Скиф», осознавшій себя скифом, который никогда не сживется с городской цивилизаціей Западной Европы, т. е. с цивилизаціей, загнанной на «огороженныя поля» частной собственности, Бакунин чувствовал себя неуютно в мірѣ западно-европейских революціонеров. Он знал этот мір уже достаточно хорошо. Жил и в Берлинѣ, и в Дрезденѣ, пугая своим радикализмом самых радикальных из младо-гегельянских «богоборцев»; заглядывал

---

[3]) Даваемая ниже характеристика взглядов молодого Бакунина существенно отличается от того, что дают біографы послѣдняго (Стеклов, Полонскій, Боровой, Карр, Каминскій и др.); кое в чем она сближается только с характеристикой М. Неттлау (в его литографированной біографіи Бакунина, а также в его книгѣ «Анархизм от Прудона до Крапоткина»), но и от послѣдняго она отходит в рядѣ существенных пунктов. Она является кратким резюме результатов самостоятельных поисков автора, как в малоизученной литературѣ той эпохи, так и в архивах (Берлин, Дрезден, Париж, Цюрих, Вѣна). Брошюра Бакунина о Россіи, ссылки на которую имѣются в текстѣ, напечатана анонимно в Дрезденѣ в 1849 г. под названіем «Russische Zustaende» (принадлежность ея Бакунину установлена автором этих строк — см. «Лѣтописи Марксизма», Москва, 1929 г., вып. 9-10).

в Париж, гдѣ мы встрѣчаем его имя в спискѣ гостей на международном фурьеристском банкетѣ; из конца в конец исколесил Швейцарію, — тогда главный пріют космополитической революціонной эмиграціи. Он уже был знаком с вожаками всѣх революціонных групп: просиживал ночи за круглым столом стараго Фогта в Бернѣ; «секундировал» на битвах, которые шли в рабочих обществах Женевы между коммунистами и сторонниками «Молодой Европы»; спорил с Вейтлингом; поучал Трейхлера; бродил по горам с Августом Беккером, который так выразительно потряхивал своей огненно-красной бородой, распѣвая старыя нѣмецкія пѣсни о благородных разбойниках; мечтал вмѣстѣ с Гервегом, медленно огибая на лодкѣ островок Жан-Жак Руссо... Это послѣ своих бесѣд с Бакуниным и под несомнѣнным от них впечатлѣніем Гервег написал свои тогда прогремѣвшія строфы:

Wir haben lang genug geliebt,
Wir wollen endlich hassen!

«Любовью» здѣсь было примиреніе с дѣйствительностью: оно уходило в прошлое. На смѣну шла «ненависть», т. е. дѣйственное отрицаніе этой дѣйствительности, революціонная борьба против нея. На очередь ставилась проблема «дѣла»: революціонный март стучался в двери старой Европы...

Тѣм остріе было чувство неудовлетворенности у Бакунина, который в своем письмѣ Скифа, опубликованном А. Руге в «Нѣмецко-Французских Ежегодниках», вплотную подошел к проблемѣ революціоннаго возвращенія на родину: ставил вопрос о роли Россіи в грядущей революціи, а слѣдовательно и о характерѣ русской революціи. И уже один тот факт, что в этот момент Бакунин поѣхал на свиданіе с Лелевелем, дѣлая большой круг (из Базеля в Париж через Брюссель!) и растрачивая послѣднія деньги, показывает, что послѣдній должен был играть большую роль в дѣлѣ оформленія взглядов Бакунина на характер и движущія силы русской революціи. Мы знаем так же, что уже перед этой поѣздкой Бакунин сдѣлал перевод на русскій язык какого то воззванія Лелевеля, — но, к сожалѣнію, не знаем точно, какого именно. А установить это тѣм болѣе интересно, что этот перевод, повидимому, должен был стать первым произведеніем свободнаго русскаго печатнаго станка.

В Брюсселѣ Бакунин прожил нѣсколько недѣль, часто встрѣчаясь с Лелевелем. Из позднѣйших их отзывов мы знаем, что у них у обоих остались хорошія воспоминанія друг о другѣ,

но прямых сообщеній относительно значенія этой встрѣчи у нас нѣт. Имѣются, однако, косвенныя указанія, которыя достаточны для вывода, — если не о личном вліяніи самого Лелевеля, то во всяком случаѣ той группы польских революціонеров, которые дѣлали наиболѣе крайніе выводы из теоретических посылок Лелевеля.

Как мы видѣли, основным устоем политических концепцій Лелевеля было крестьянство и его община. Шляхта играла очень большую, но все же только служебную роль: она должна была помочь оформленію крестьянской демократіи. Не так было для большинства соратников Лелевеля по «Демократическому Обществу», которое он создал в годы эмиграціи. Сами сплошь выходцы из шляхты, они не могли оторваться от ея интересов, не могли не исходить из послѣдних. Революція против Россіи и созданіе независимой Польши для них были главной, — если не единственно реальной, — задачей. Крестьянство нужно было потому, что опыт учил невозможности успѣха борьбы за независимость без поддержки крестьянства. Не служить крестьянству они хотѣли, а использовать послѣднее в своих интересах. Именно поэтому, при всей своей революціонности в вопросах національно-политических, в области соціальной они совсѣм не собирались быть революціонерами. Когда Паскевич — в то время намѣстник Николая I в Польшѣ — в письмах к своему шефу высмѣивал «шляхетских демократов», которые своих крестьян боятся больше, чѣм русских жандармов, то он только переводил на жаргон послѣдних тѣ политическія обвиненія, которыя против польскаго «Демократическаго Общества» выдвигали политическіе противники слѣва.

Этих «шляхетских демократов» дѣйствительно пугала стихія крестьянской революціи: это и было основной причиной раскола, приведшаго к выдѣленію крайней лѣвой группы в особую организацію «Люд Польскій» (Станислав Ворцель, Зенон Свентославскій и др.). Ученики то зап.-евр. соціалистов-утопистов, то ранних французских коммунистов в области теоріи, они пытались связать эти теоріи с лелевелевским ученіем о гминовладствѣ, — и все это вставляли в рамки крайняго, почти утрированнаго карбонарскаго заговорщичества. В русских полицейских источниках разбросан ряд указаній на тѣсныя отношенія, которыя существовали между нѣкоторыми из вождей польской эмиграціи и Буонаротти, — этим «патріархом карбонаров», как его именовали нѣкоторые из русских полицейских авторов.

Эти указанія вполнѣ правильны. В высшей степени интересная, но до сих пор мало изученная фигура, дѣйствительный основоположник ранняго французскаго коммунизма, — «коммунизма распредѣленія», как его опредѣлял Энгельс, — и в то же время неутомимый строитель карбонарских организацій, Филипп Буонаротти на самом дѣлѣ уже давно с интересом слѣдил за революціонным движеніем в Польшѣ и был в сношеніях со многими из представителей польской эмиграціи. Но нити политической близости и организаціонного сотрудничества его связывали именно с «Людом Польским», — с лидером которого, Станиславом Ворцелем, Буонаротти был и лично дружен. В своей рѣчи на собраніи в Джерсеѣ, посвященном памяти Буонаротти, Ворцель предлагал воздать особую честь покойному, как человѣку, который первым в литературѣ выдвинул доктрину уравненія всѣх соціальных слоев. «Люд Польскій», — прибавлял он, — был первой организаціей, которая эту доктрину офиціально восприняла.

Сам Ворцель, красивая фигура которого в русской литературѣ извѣстна по главѣ в «Былом и Думах» Герцена, был другом и политическим единомышленником Лелевеля, — но разошелся с ним, когда Лелевель, стремясь сохранить единство в рядах польской демократической эмиграціи, отказался открыто встать в ряды сторонников «радикальной революціи», в которой он, Ворцель, видѣл единственную возможность «спасти наше дѣло» (из письма Ворцеля к Лелевелю от 19 марта 1833 г.).

Бакунин был лично знаком и с Ворцелем, и с рядом других дѣятелей «Люда Польского» (напр., с К. Штольцманом), — и был, несомнѣнно, в курсѣ всѣх тѣх теоретических споров, которые велись в этом лагерѣ. Из них он не малому научился, — но о простом подражаніи здѣсь не могло быть и рѣчи: он не просто перенимал чужія идеи, — он их врабатывал в свою концепцію.

У Лелевеля он, несомнѣнно, взял обобщенный вывод о роли общины в исторіи славянства. Но для Лелевеля община была фактором многовѣковаго эволюціоннаго развитія. Революціонером он был лишь в рамках національно-освободительной революціи, которую связывал с раскрѣпощеніем крестьянства. Фактором революціи соціалистической его община не была. «Люд Польскій» эту общину приклеивал к бабувистским концепціям, — но приклеивал эклектически, да и сами эти концепціи не отличались внутренней цѣльностью. Проблематику соціалистическаго преобразованія общества они

сводили к проблематикѣ распредѣленія и рѣшали ее на путях декретов, подобных декретам парижской коммуны 1793-1794 годов.

Все это не могло удовлетворить Бакунина. Хотя он и говорил, что кончил с философіей, но он все же оставался тѣм самым Бакуниным, который во время всенощных бдѣній московских гегельянцев забивал всѣх теоретическим безстрашіем діалектически развертываемых мыслей. Герцен о нем правильно говорил: гдѣ бы он ни был, Бакунин всюду обязательно должен был быть на самом крайнем флангѣ... И общину Лелевеля, и все остальное, что он взял у польских демократов (включая учеников-бабувистов), он переработал и использовал при построеніи своей собственной концепціи, которая занимала мѣсто на крайнем флангѣ в ряду самых крайних концепцій той эпохи... А в ту эпоху крайних теорій было больше, чѣм в какую либо другую!

Концепція Бакунина складывалась, как прямое продолженіе и развитіе схем, набросанных им в его первых статьях заграничнаго періода, — в статьѣ Жюля Элизара, в письмѣ «Скифа»... Ея отличительною особенностью, которая так выдѣляет Бакунина из общей массы теоретиков революціоннаго «дѣла» той эпохи, был безудержный максимализм отрицанія. Бакунин принципіально отказывался говорить о программах для будущаго: он считал, что «страсть разрушенія» является единственной дѣйствительно «творческой страстью». В основѣ его концепціи лежало заимствованое у Ж. Ж. Руссо представленіе о добродѣтелях первобытнаго человѣка, еще не испорченнаго цивилизаціей с ея «огороженными полями» (Карл Фогт, извѣстный натуралист и друг Бакунина, в 1850 году разсказал, как во время их совмѣстнаго пребыванія на берегу Бискайскаго залива Бакунин из наблюденій над крабами пытался дѣлать вывод о том, что коммунизм-врожденное свойство всѣх живых существ). Все зло в этой цивилизаціи. Революціонное отрицаніе должно уничтожить ее всю, вернув мір в первобытное состояніе, к свободѣ не-огороженных полей. Как будет устроен мір на другой день послѣ грядущаго обвала, его не интересовало: не нам придется его строить. Революція, которая идет, в один гигантскій костер сбросит все, что до сих пор создала человѣческая цивилизація. Только глупцы могут думать, что революціонеры, поджигающіе этот гигантскій костер, уцѣлѣют во время грядущих катаклизмов. Они должны заботиться только об одном, — о разрушеніи, об от-

рицаніи, которое должно быть проведено с максимальной полнотой: чтобы в мірѣ не осталось «огороженных полей».

Силой, которая может стать носительницей такого отрицанія, Бакунин считал крестьянство: оно живет ближе к природѣ и меньше других испорчено цивилизаціей. Особенно пригодно для этой р о л и крестьянство с л а в я н с к о е, — в первую очередь русское: здѣсь до сих пор еще существует община, т. е. еще не огорожены поля; здѣсь широко распространены примитивныя коммунистическія секты, доводящія коммунизм до общности жен (вопрос, который играл большую роль во внутренних спорах коммунистических кружков начала 1840-х годов, — суровую критику его можно найти в черновых рукописях Маркса от 1844 г.); здѣсь в высшей степени сильна первобытная страсть разрушенія (Бакунин с особой любовью отмѣчает пристрастіе русскаго крестьянина к «красному пѣтуху», т. е. к поджогам). Поэтому он вѣрит, что именно там, в Россіи, начнется настоящая революція, — «анархическая крестьянская война», которая потом пройдет по всему міру, уничтожая старое, подготовляя не-огороженное поле для новаго человѣка:

«Высоко и прекрасно взойдет в Москвѣ созвѣздіе революціи из моря крови и огня, и станет путеводной звѣздой для блага всего освобожденнаго человѣчества», — писал Бакунин в 1848 году в своем «Воззваніи к славянам».

И в другом пунктѣ своей концепціи Бакунин тѣсно связан с Лелевелем. Мы видѣли, что роль революціонных дрожжей, на которых можно ставить тѣсто крестьянской демократіи, по Лелевелю, должна играть шляхта, наиболѣе плебейскіе слои ея, готовые отдать себя на служеніе народной революціи. Вопроса о революціонных дрожжах для Россіи не мог не ставить и Бакунин: для веденія революціонной работы среди русскаго крестьянства посредники были еще больше нужны, чѣм для работы среди крестьянства польскаго. Идти в этом вопросѣ полностью за Лелевелем, Бакунин, конечно, не мог, так как в Россіи не было шляхты, как она сложилась в Польшѣ. Но направленіе, в котором Бакунин искал рѣшенія вопроса, было очень близко к лелевелевскому: когда Бакунин говорил о новом типѣ помѣщиков, которые идут в деревню, чтобы там жить с крестьянами и для крестьянства (напр., в брошюрѣ 1849 г., — ср. так же замѣчанія Ф. Энгельса о планах Гр. М. Толстого, который в 1844-45 годах был сам близким другом Бакунина), то мы без труда узнаем именно лелевелевскія представленія об отношеніях между шляхтой и крестьянством;

равным образом вліяніе Лелевеля же слышится и в тѣх надеждах Бакунина на роль «поповичей», о которых нам разсказал Арнольд Руге.

Наконец, вліяніе Лелевеля мы находим и в бакунинской трактовкѣ славянской проблемы. Бакунин, конечно, знал все, что было написано о роли славянства в нѣмецкой философской литературѣ, главным образом учениками Гегеля (особенно А. Цешковским). Представленіе о том, что ближайшій період міровой исторіи пройдет под знаком славянства, что послѣднее будет главным стержнем мірового развитія, — в тѣ годы было очень широко распространено. Своеобразіе бакунинской трактовки вопроса было не в том, что он эту міровую роль славянства принял, — а в том, что он дал ей крайнюю революціонную трактовку: к славянству его вниманіе обратилось потому, что анализ привел его к признанію славянства основною силой наиболѣе послѣдовательнаго революціоннаго отрицанія. И хотя в литературѣ нѣт указаній, которыя позволили бы считать, что Лелевель в этом вопросѣ сходился с Бакуниным, но послѣдній все же чувствовал такую близость к Лелевелю (очевидно, по линіи общины), что свою попытку созданія общеславянской организаціи он предпринял вмѣстѣ с Лелевелем. Сообщеніе об этой попыткѣ в печати впервые было сдѣлано еще в 1893 году ксендзом Заленским, но тогда оно было встрѣчено с недовѣріем(Драгоманов). Это недовѣріе обще, кажется, всѣм біографам Бакунина, так как разсказ Заленскаго не находил подтвержденія. Но в архивѣ Лелевеля, хранящемся в извѣстном Рапперсвильском собраніи, имѣется папка с матеріалами, относящимися именно к этой попыткѣ: дѣло шло о созданіи «Славянской Лиги», предпринятом Лелевелем и Бакуниным в началѣ 1848 году, во время краткаго пребыванія послѣдняго в Брюсселѣ[1]). Послѣ этого сомнѣваться в правильности разсказа Заленскаго не приходится.

---

[1]) В этой папкѣ, наряду с матеріалами о «Славянской Лигѣ», хранился неоконченный набросок устава какого-то тайнаго общества. Этот устав по содержанію сильно напоминает бакунинскіе уставы итальянскаго періода его жизни (1865-67 годов). Почерк, которым он написан, напоминает почерк Бакунина. Если б оказалось, что мы имѣем дѣло с проектом устава какого то общества, к которому Бакунин имѣл отношеніе наканунѣ 1848 года (такія общества в то время существовали), то это вынудило бы нас на-ново пересмотрѣть цѣлый ряд основных вопросов біографіи молодого Бакунина. Но, конечно, рѣшить этот вопрос можно только послѣ тщательнаго

*
**

«Анархическая крестьянская война» Бакунина должна была возникнуть в Россіи и оттуда перебросить на другія страны. Революціонная интервенція входила одной из основных составных частей в его стратегическую и тактическую концепцію. Для послѣдовательнаго человѣка, каким был Бакунин, признаніе возможности революціонной интервенціи из России в другія страны обязывало к признанію допустимости революціонной интервенціи и из других стран в Россію. В литературѣ 1840-х идея революціонной войны и революціоннаго вмѣшательства во внутреннія дѣла других стран трактовалась совсѣм иначе, чѣм позднѣе, в період мирнаго развитія. Событія 1848 -1849 годов дали Бакунину случай на практикѣ показать, какіе выводы он дѣлал из теоретических посылок.

При первых вѣстях о революціи Бакунин вернулся в Париж из Брюсселя, гдѣ ему пришлось провести два с половиной мѣсяца изгнанником. Вмѣстѣ с ним пріѣхал и И. С. Тургенев, который в тѣ годы состоял среди ближайших единомышленников Бакунина. В Парижѣ послѣдній с головой окунулся в жизнь революціонных предмѣстій, спал в рабочих казармах, шел впереди всѣх на бланкистских демонстраціях, громче всѣх говорил на собраніях. Но это все было чужое дѣло. Своим Бакунин и раньше считал революціонное дѣло в Россіи, — и ссорился с Бѣлинским, с Герценом и с другими, которые отказывались соединиться с ним для изданія русскаго революціоннаго журнала заграницей.

Думами о Россіи он был полон и в мартѣ 1848 года. Перелистывая парижскія газеты тѣх дней, легко понять, какія мысли должны были владѣть им при их чтеніи: каждый день приносил вѣсти, что волны революціи катились все дальше и дальше на Восток. Вот они докатились до Берлина. Два дня сообщеній о баррикадах, — затѣм о капитуляціи полоумнаго Фридриха-

---

изученія матеріалов, — а сохранились ли они? Вѣсти, которыя идут из Варшавы, внушают сильную тревогу за судьбу Рапперсвильскаго собранія, в своем родѣ единственнаго в мірѣ и только в небольшой части изученнаго. Библіотека этого собранія, несомнѣнно, погибла, а в ней были сотни уникумов не только из польской, но и из французской, нѣмецкой и других революціонных литератур. Что случилось с рукописями, пока неизвѣстно...

Вильгельма IV. Подписав манифест, король ѣдет мириться с народом по еще неразобранным баррикадам. Всюду его привѣтствуют восторженными криками и національными трехцвѣтными знаменами. Только у баррикады, занятой рабочими Симменса и Шуккерта, его встрѣчают хмуро и с красным знаменем в руках: мелкій чиновник берлинскаго полицей-прозидіума Пирзиг, в анонимной брошюрѣ позднѣе разскажет, что это знамя держал русскій еврей из Митавы, студент берлинскаго университета (и поэт) Фейнберг, который через нѣсколько лѣт погиб в Сибири, на каторгѣ, от чахотки, нажитой послѣ шприцрутенов. Здѣсь от Фридриха-Вильгельма потребовали освобожденія из тюрем поляков-повстанцев во главѣ с Мерославским. Обстановка была неподходящая для отказа! А еще через день-два газеты принесли описаніе торжественнаго пріема Мерославскаго берлинцами...

Послѣдній не задержался в Берлинѣ. Автор плана безумно смѣлаго плана возстанія в 1846 г., с трудом спасенный тогда от казни, он теперь немедленно же принимается за прерванную работу. Теперь она много легче: Познань и Краков, которые в 1846 году нужно было еще завоевывать, теперь в его распоряженіи. Он может приступить к формированію своих революціонных армій. Его дальнѣйшій план: из Познани и из Галиціи, двумя колоннами, арміи вторгаются в Россію, — первая за Нѣман, в Литву и Смоленщину; вторая — на Украину, к Днѣпру. Их задачей явится поднимать крестьянскія возстанія, дезорганизовать пути сообщенія, принимать на себя главные удары армій Николая I, позволяя возставшим в Царствѣ Польском выиграть время для формированія своих армій, которыя позднѣе станут главною силою борьбы.

В Парижѣ извѣстія о работѣ Мерославскаго приняты с восторгом: в тѣ безумные дни все казалось возможным. На квартирѣ у Гервега, которая была мѣстом встрѣчи вождей формировавшихся революціонных легіонов,— нѣмецкаго, польскаго, бельгійскаго и др., — цѣлыми ночами шли споры. Спорили, между прочим, и о границах будущей независимой Польши, — и Анненков, в тѣ годы очень близкій к Бакунину по взглядам, но остававшійся скептиком по натурѣ, позднѣе разсказывал, как он был очень рад, когда ему удалось «сохранить за Россіей» Смоленск...

Конечно, вѣрил в эти возможности и Бакунин, — но спорил он не о границах. Казалось, подошло время мечты о «дѣлѣ» претворить в дѣйствительность. Мерославскаго он знал и раньше: в архивѣ послѣдняго сохранилось нѣсколько писем и

записок Бакунина от 1844-45 годов, — к сожалѣнію, они до сих пор еще не опубликованы. Как раз в тѣ годы Мерославскій разрабатывал свой план. В польской демократической прессѣ он печатал серію статей о тактикѣ партизанской борьбы, связывая послѣднюю с крестьянскими возстаніями: знакомый с Мерославским, Бакунин, конечно, не мог не быть освѣдомлен обо всѣх этих замыслах, — споры о которых, к тому же, частично были вынесены в печать.

В своей «Исповѣди» Бакунин пытается обратить почти в шутку ту поѣздку, которую он предпринял в апрѣлѣ 1848 года, получив для нея от французскаго Временнаго правительства и деньги, и фальшивый паспорт.

Быть может, Николая I он в какой то мѣрѣ и обманул. Исторію он не обманет. Из его предпріятія ничего не вышло, — но не по винѣ Бакунина. А было оно совсѣм не шуткой. К Мерославскому он ѣхал несомнѣнно затѣм, чтобы принять участіе в походѣ послѣдняго и стать в центрѣ работы по организаціи русских крестьянских возстаній, имѣя, как базу, польскія повстанческія арміи. Петербургскія письма де-Мэстра, которыя незадолго перед тѣм были впервые напечатаны и с которыми Бакунин, несомнѣнно, был знаком, насыщены предчувствіем таких возстаній и тревогой за судьбу старой Россіи, которой де-Мэстр старался вѣрно служить. Самое страшное, чего больше всего боялся де-Мэстр, чѣм он сильнѣе всего пугал своих высокопоставленных корреспондентов, была возможность появленія «Пугачева из университета»: почва для возстаній существовала; они были почти что обыденным явленіем; порою они разливались широко; чего им не хватает, это руководства. Если придет «Пугачев из университета», т. е. вождь, вооруженный всѣми знаніями современной науки, — то положеніе власти де-Мэстру казалось болѣе, чѣм опасным, едва ли не обреченным...

К Мерославскому Бакунин ѣхал именно с этими планами: в качествѣ кандидата на роль «Пугачева из университета». Именно это будущее тревожило и пугало его самого, заставляя его писать с пути, из Кельна, к Анненкову в Париж: «чѣм ближе к сѣверу, тѣм становится мнѣ грустнѣе и страшнѣе...».

Может быть, именно поэтому он ѣхал медленнѣе, чѣм мог бы, — задерживаясь по пути, гдѣ только был подходящій предлог или даже без всякаго предлога. Между прочим, во время именно этой поѣздки, на пути через Оденвальд, который так извѣстен по исторіи нѣмецких крестьянских войн XV столѣтія (а не Шварцвальд, как ошибочно записал Герцен), он

натолкнулся на возставших крестьян, которые осаждали какой-то замок, но не могли его взять. В Бакунинѣ проснулся старый артиллерист, он осмотрѣл имѣвшуюся у крестьян пушку и ударом из нея разбил тяжелыя ворота. Побывал во Франкфуртѣ, в Мангеймѣ, Карлсруэ, Оффенбахѣ и рядѣ других пунктов, участвовал во всевозможных совѣщаніях, выступал на митингах...

Все это было очень интересно, — но к Мерославскому именно поэтому он опоздал: когда он пріѣхал в Берлин, с арміей Мерославскаго было покончено. Игра на анти-русскую карту, склонность к чему была кое у кого из либеральничавших прусских сановников, была слишком рискована для прусской монархіи. К тому же лагеря набранных Мерославским партизан становились революціонными центрами, опасными для помѣщиков не только русских. На собраніях косиньеров раздавались рѣчи о необходимости, — прежде, чѣм пускаться в путь для организаціи крестьянских возстаній в далекой Россіи, — заняться этим дѣлом в Познани, в Силезіи, у поморян... Уже имѣли мѣсто отдѣльныя столкновенія, — и извѣстія о них на столбцах газет встрѣчались с сообщеніями о крестьянских возстаніях в Саксоніи, в Гессенѣ и т. д. С Рейна уже писали о крестьянах, шедших походами на сосѣдніе города, — и в описаніи корреспондентов ночныя сцены таких осад, с таборами повозок, ржаніем коней, огнями уходящих в даль костров, рисовались, как зловѣщее напоминаніе о далеких временах крестьянских войн. А призрак послѣдних, с их таборитами и анабаптистами, с Томасом Мюнцером и Жижкой, пугал воображеніе не только консервативнаго юнкера с Эльбы, но и прогрессивнаго бюргера с Рейна. Прусскія власти тогда утверждали, что каплею, переполнившей чашу, были жалобы нѣсколькихъ польских же помѣщиков. Поляки это опровергали. Так или иначе, но связь внутриполитических соображеній с соображеніями внѣшне-политическими в данном случаѣ вполнѣ очевидна. Крестьянскія арміи Мерославскаго были разгромлены, — и этот разгром был сигналом к ликвидаціи крестьянскаго движенія во всей Германіи...

К моменту появленія Бакунина в Берлинѣ, на квартирѣ Зигмунда, брата жены Гервега и одного из дѣятельнѣйших членов берлинскаго комитета помощи Мерославскому, в Познани «усмиреніе» шло полным ходом. Сам Мерославскій только с большим трудом избѣжал новаго ареста. Поѣздка в Познань становилась безцѣльной. В этих условіях арест Бакунина в Берлинѣ был почти излишним. Он был проведен с осо-

быми мѣрами предосторожности, продолжался всего нѣсколько часов и сама полиція приняла мѣры, чтобы сообщенія о нем не дѣлали шума в печати. Почти все время своего нахожденія в полицей-президіумѣ Бакунин провел за бесѣдой с полицей-президентом Минутоли. О чем шла бесѣда, мы не знаем. В досье полицей-президіума о Бакунинѣ сохранилось только краткое и неправдивое его об'ясненіе... — и слѣды от ряда вырванных документов. Но мы знаем, что Бакунину были возвращены не только всѣ его рукописи, но и фальшивый паспорт на чужое имя, который Бакуниным был получен от французскаго правительства. Больше того: отобрав у него его настоящій паспорт на имя Бакунина, полицей-президент Берлина выдал ему от себя второй фальшивый паспорт, — на имя бреславльскаго купца Симона. Это было сдѣлано, — пытается иронизировать Бакунин в «Исповѣди», — «вѣроятно для того, чтобы я не разучился путешествовать с двумя паспортами».

Николай I, для котораго была написана «Исповѣдь», едва ли повѣрил этому объяснению: он хорошо разбирался в дипломатической игрѣ и был превосходно освѣдомлен о настроеніях, которыми были захвачены многіе из государственных дѣятелей Пруссіи в первые мѣсяцы «безумнаго года». Но біографов Бакунина этот эпизод в жизни послѣдняго приводит в смущеніе и они теряются в его объясненіях. Такое объясненіе возможно только при условіи пониманія общей международной обстановки, — как она складывалась в мартѣ-апрѣлѣ 1848 г.

Во главѣ прусскаго правительства в это время встал Людвиг Кампгаузен, либерал с Рейна и французофил, стремившійся вырвать Пруссію из сѣтей политики с Николаем I. В концепціи этой группы входила мысль о сближеніи с поляками и о возстановленіи Польши, как барьера против русской экспансіи. К планам революціоннаго вторженія в Польшу они относились с полным сочувствіем и готовы были помогать Франціи, Временное Правительство которой в тѣ мѣсяцы явно играло с идеей революціонной войны против Россіи. Этот вопрос был тогда основным, вокруг котораго шла борьба в окруженіи Фридриха-Вильгельма. Объединенная атака «юнкеров», перепуганных крестьянскими настроеніями в арміи Мерославскаго, привела к ликвидаціи игры с революціей в Познани, но от французской оріентаціи правительство еще не отказывалось, в орбиту старой политики союза с Николаем еще не возвращалось.

Минутоли принадлежал к тѣм прусским сановникам, которые были склонны вести игру против Россіи, — вмѣстѣ с по-

ляками и даже, при нуждѣ, вмѣстѣ с русским кандидатом в «Пугачевы из университета». Разрѣшать послѣднему поѣздку в Познань, конечно, не было уже ни возможности, ни смысла. Но ни сам Минутоли, ни его единомышленники в составѣ правительства не имѣли ничего против поѣздки Бакунина к русской границѣ, — откуда он будет имѣть возможность дѣлать свои попытки «возбужденія соціальной войны в Россіи», как писал в тѣ дни французскій посол в Берлинѣ, А. Сикур, который сам эти попытки считал величайшим преступленіем, но по предписанію своего правительства защищал интересы Бакунина перед прусским правительством.

Фальшивый паспорт Бакунину был выдан потому, что это помогало скрывать пребываніе Бакунина в Пруссіи от русскаго посольства. Послѣднее, — как мы знаем из документов, опубликованных в перепискѣ Несельроде, — очень интересовалось дѣятельностью Бакунина в эти дни, и, получив свѣдѣнія об его пріѣздѣ в Берлин, немедленно же сдѣлало соотвѣтствующія представленія прусскому правительству. Минутоли имѣл возможность формально совершенно правильно отписаться: по свѣдѣніям полиціи, Бакунин не значился ни в списках пріѣхавших, ни в списках уѣхавших из Берлина. В спискѣ пріѣхавших стоял Людв. Неглинскій, — таков был фальшивый паспорт, полученный Бакуниным от французскаго правительства; в спискѣ уѣхавших — бреславльскій купец Симон...

Из Бреславля этот «купец» сдѣлал попытку завязать сношенія с Варшавой. Им была совершена поѣздка на границу, — в Мысловиц, гдѣ была пограничная станція Варшаво-Вѣнской желѣзной дороги. Из документов прусскаго министерства внутр. дѣл видно, что в этом пунктѣ Бакунин имѣл встрѣчу с кѣм-то из пріѣхавших из русской Польши. Из дѣл архива варшавскаго намѣстника извѣстно, что Мысловиц в то время был центром для сношеній варшавских революціонеров с заграницей и что агентом, через котораго шли эти сношенія, была Лисовская, всю весну 1848 г. прожившая в Мысловицѣ: это была та самая Лисовская, имя которой мы встрѣчаем среди парижских знакомых Бакунина... Отправив Бакунина вмѣсто Познани в Бреславль, Минутоли, дѣйствительно, не помѣшал, а помог его сношеніям с Россіей. Но дѣло было совсѣм не в этих сношеніях. Осуществить свои большіе планы, — планы сыграть роль «Пугачева из университета», — Бакунин смог бы только при условіи войны, которую революціонная Европа начала бы против Россіи Николая I, как оплота международной реакціи. Эта война должна была развязать стихію новой пуга-

чевщины, — как русской формы «анархических крестьянских войн». Пламя этих войн, перебросившись затѣм на Запад, должно было поглотить весь старый мір...

Именно о такой войнѣ Бакунин мечтал в теченіе всего года своих скитаній по революціонной Германіи 1848-1849 г.г. О ней он говорит в своих «Воззваніях к славянам», о ней он пишет в «Дрезденской Газетѣ». Идея этой революціонной войны против офиціальной Россіи, — войны, задачей которой является разбудить тлѣющее в народных массах Россіи неофиціальной пламя соціальной революціи, — стоит в центрѣ всѣх его тактических построеній, — и только в свѣтѣ этой идеи можно понять не только его тогдашнія дѣйствія, но свести концы с концами в пониманіи его общей концепціи. Его концепція революціи, как абсолютнаго отрицанія, была неразрывно связана с концепціей в своем родѣ тоже абсолютной революціонной войны: ибо соединеніе войны с революціей, это и есть доведеніе войны, как фактора разрушенія, до ея абсолюта, в котором гибнет все существующее.

В этом мѣстѣ он смыкался с польскими революціонерами, которые в тѣ годы всѣ, — от умѣренных «аристократов» из лагеря кн. Чарторійскаго и до пламенных пропагандистов «коммунизма распредѣленія» из «Люда Польскаго», — засыпали и пробуждались, с молитвой Мицкевича на устах:

«Боже, пошли нам войну, которая освободит Польшу!

Но в этом же мѣстѣ он и расходится с ними до таких предѣлов, что именно из их кругов выходили всѣ наброшенныя на него подозрѣнія.

«1848 год», — этот «безумный год» старой Европы, — был годом предѣльнаго взлета революціонных надежд и революціонных концепцій. Среди них надежды и концепціи Бакунина занимают совсѣм особое мѣсто: он оказался вѣрен себѣ, — был самым крайним среди всѣх, кто стремился занять мѣста на краю. Но в построеніи этих концепцій на него огромное вліяніе оказала политическая мысль революціонной польской эмиграціи. Бакуниным 1848 года взаимовліянія русскаго и польскаго революціонных движеній далеко не закончились. Но они — уже совсѣм новыя главы этой исторіи...

Б. Николаевскій.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

(Из личных воспоминаній и архива б. редактора)

Скоро исполнится пять лѣт, как опустили в могилу Ходасевича — замѣчательнаго поэта, выдающагося пушкиниста, даровитѣйшаго литературнаго критика, автора «Державина», котораго спеціалисты-литературовѣды считают образцом біографическаго искусства на русском языкѣ.

Ходасевич еще не ушел в историческое забытье, — но уже достаточно далек от тѣх волненій и страстей, которыми сам жил и которыя не переставал возбуждать в других. Наконец, грандіозныя событія послѣдних лѣт затмили, приглушили, на время смели всѣ былые интересы и разногласія. К Ходасевичу — человѣку и писателю — можно подойти уже без гнѣва и пристрастія.

Предлагая вниманію читателей сохранившіяся у меня письма Владислава Фелиціановича, я не претендую на то, чтобы дать попутно представленіе о Ходасевичѣ-человѣкѣ или, тѣм менѣе, Ходасевичѣ-поэтѣ и писателѣ. Только в той мѣрѣ, в какой общепризнана взаимозависимость между жизнью писателя и его творчеством, — и сам Ходасевич рѣшительнѣе многих настаивал на такой взаимозависимости, — я коснусь и творчества Ходасевича в том, что запомнилось, или прочнѣе отложилось в памяти за 10 лѣт общенія. Эти личныя впечатлѣнія замѣнят формальный комментарій к письмам, и в то же время, может быть, облегчат пониманіе.

Как не выкинешь слова из пѣсни, так не выкинешь его и из публикуемых писем, — развѣ только слово оскорбительное. И в отрывочных своих воспоминаніях я руковожусь не личными симпатіями или духовной близостью, а лишь, — говоря словами Ходасевича: «Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из разсказа лицемѣріе мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображенія иконописнаго, хрестоматійнаго. Такія изображенія вредны для исторіи. Я увѣрен, что они и безнравственны»...

*
**

«Воспоминанье прихотливо.
Как сновидѣніе — оно
Как будто вѣщей правдой живо,
Но также дико и темно
И так же, вѣроятно, лживо»...

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ «Соррентинскія фотографіи», 1926.

Имя Ходасевича было извѣстно моим сверстникам по старшему брату Владислава — Михаилу Фелиціановичу, помощнику знаменитаго Плевако, выступавшему защитником в громкйх уголовных процессах начала столѣтія. И я, как и многіе мои сверстники, знал имя, видѣл и слышал Ходасевича Михаила, не подозрѣвая о существованіи Ходасевича-поэта.

В тѣх московских аудиторіях и кружках, гдѣ в тѣ годы почти еженедѣльно звучали голоса Брюсова, Бѣлаго, Эллиса, Гофмана и прочих піит и витій, громивших и обличавших, заклинавших и призывавших, голоса Ходасевича не было слышно ни раньше, ни позже. Это об'ясняется, конечно, и болѣе молодым возрастом Ходасевича. Но здѣсь сказывалась и его нелюбовь к публичным выступленіям, подсказанная отсутствіем природных данных для «экспозитуры» на трибунѣ или кафедрѣ: даже голос у него был слабый, глухой и, с годами, все болѣе прокуренный.

Печатая стихи, Ходасевич аккуратно посѣщал хорошо знакомый московской интеллигенціи Литературно-Художественный Кружок. Но в Кружкѣ он стал извѣстен не широкой публикѣ, заполнявшей неизмѣнно большой зал, в котором устраивались собранія с докладами на разнообразныя литературно-философскія и общественныя темы, — а тѣм, кто собирались во внутренних, «интимных» комнатах Кружка для игры в карты — в игры «коммерческія» и азартныя. К карточной игрѣ Ходасевич пристрастился с ранней молодости и постиг ее в совершенствѣ. Поскольку искусство игры могло быть осмыслено и техника ея освоена, Ходасевич овладѣл ею, как он полагал, в совершенствѣ: в теченіе ряда лѣт в дореволюціонную пору жил он, по его словом, от карточной игры, — в коммерческія игры — как от ремесла.

Этот интерес — или страсть — к картам Ходасевич сохра-

нил всю жизнь. Он не только любил играть в карты и, когда жизнь выбивала его из колеи, становился завсегдатаем игорных домов. Он и теоретически много размышлял над игрой, как разновидностью случая, вдумываясь в жизненную судьбу русских писателей, ставших жертвой карт и в своем творчествѣ отдавших дань этой непреодолимой страсти. В послѣдніе годы жизни Ходасевич задумал написать для «Совр. Записок» этюд «Игроки в литературѣ и жизни» (Пушкин, Некрасов, Толстой, Достоевскій). Я очень многаго ждал от этой работы, будучи убѣжден, что литературныя знанія и мастерство автора будут оплодотворены в данном случаѣ и его внутренним опытом.

О том, что могло получиться, дают нѣкоторое представленіе очерки Ходасевича о Брюсовѣ и Горьком, в которых он описывает, как эти писатели играли в карты. «Перед духами игры Брюсов пасовал. Ея мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игрѣ не было вдохновенія. Он всегда проигрывал и сердился, — не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лѣсу, там, гдѣ другіе что-то умѣли видѣть»... Или: — «Об игрѣ Горькій не имѣл и не мог имѣть никакого понятія: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти»... — Сколько раз, на протяженіи лѣт, я ни возвращался к уговорам, мнѣ увы, не удалось склонить Ходасевича вплотную заняться этой темой. Болѣе насущное и неотступно-злободневное постоянно оттѣсняло на второй план трудное заданіе.

В до-революціонное время я встрѣчал подпись Вл. Ходасевича в журналах и альманахах, но никогда не видал его в университетских кружках или литературных «салонах», в большом числѣ расплодившихся наканунѣ политической весны 1904-1905 годов.

Когда Ходасевич очутился в 1922 году в эмиграціи, он уже был поэт с именем без того, однако, чтобы быть в первых рядах или пользоваться общим признаніем. Бѣлый только что опубликовал о Ходасевичѣ лестную статью (в 5-ом выпускѣ «Записки Мечтателя»), проредактированную Блоком, но вышедшую уже послѣ смерти послѣдняго. Извѣстность и признаніе для Ходасевича пришли в эмиграціи : в Берлинѣ, гдѣ он, вмѣстѣ с Горьким, редактировал «Бесѣду», и в Парижѣ, гдѣ он провел послѣдніе 15 лѣт жизни, напряженно работая в «Днях» и «Современных Записках», а потом—в «Возрожденіи». От Горькаго к Гукасову — так схематически может быть обозначен мучительно-трудный эмигрантскій путь Ходасевича, с

той оговоркой, что Ходасевич никогда полностью не солидаризовался ни с Горьким, ни, тѣм менѣе, с Гукасовым.

Наши отношенія начались с заочнаго знакомства, на разстояніи. В цѣлях экономіи, «Совр. Записки» с 1922 по 1924 г.г. стали печататься в Берлинѣ, куда с этой цѣлью переѣхал один из редакторов — Александр Исаевич Гуковскій. Прочіе члены редакціи остались в Парижѣ, и за Парижем сохранялось рѣшающее слово в приглашеніи сотрудников, проектированіи номера, одобреніи матеріала. Письменную связь с Берлином держал я. Появившійся в 1922 году в Берлинѣ Ходасевич предложил журналу стихи, которые стали печататься на страницах «С. З.» из номера в номер, пріобрѣтая все большую внутреннюю убѣдительность и безспорность даже в глазах не-поэтов.

Мы встрѣтились с Владиславом Фелиціановичем впервые в 1924 году в Парижѣ. Поразил внѣшній его облик — крайняя моложавость, не шедшая к представленію, которое составилось по его стихам. Его отвѣтная реплика была как всегда, когда он хотѣл быть любезным, — полу-иронической:

— Я тоже представлял себѣ Вас с бородой, таким вот — Михайловским! — Михайловским! — и он покрутил в воздухѣ, на нѣкотором разстояніи от своего подбородка тремя пальцами, явно обнаруживая невѣрное представленіе о физическом обликѣ покойнаго Михайловскаго и его подлинной бородѣ.

Общеніе наше возникло на дѣловой почвѣ, обычной между сотрудниками журнала и членом редакціи, выполнявшим одновременно и функціи секретаря, бухгалтера, казначея и т. д. Но и при дѣловом общеніи, не могло, конечно, не происходить с самаго начала обмѣна мнѣніями о заданіях журнала, о его веденіи и конкретнѣе и уже, — о достоинствах напечатаннаго матеріала, о недостатках того и другого автора, писателя, политика, ученаго. Помѣщеніе редакціи и пріемные часы все рѣже стали удовлетворять потребности довести до конца начатый разговор или спор, и все чаще стал Владислав Фелицианович навѣдываться поздним вечером ко мнѣ на дом, — гдѣ этажом и двумя выше жили другіе его и мои пріятели и знакомые: М. А. Осоргин, Б. Зайцев, В. Ф. Зеелер.

Ходасевич был совершенно исключительный собесѣдник — умный, впечатлительный, с огромной памятью, ѣдкій и язвительный (излюбленный эпитет Ходасевича-поэта), — злой иногда до злопамятства. Хилый и тщедушный, постоянно понукаемый болѣзнями и нуждой, раздираемый самыми различными страстями, благими и дурными, безуспѣшно мечтавшій об элементарнѣйших условіях спокойнаго существованія, Хода-

севич мог без устали говорить часами, попыхивая папиросой и не замѣчая, что бесѣда давно уже превратилась в монолог. Он прерывал рѣчь лишь для того, чтобы глубоко затянуться и, зарядившись дымом и никотином, как бы набраться новых сил. Груда пепла и окурков, остававшихся послѣ его визита, служила вещественным доказательством или матеріальным выраженіем той радіаціи ума и страсти — «И злость, и скорбь моя кипит», — которыми бывал пресыщен и от которых по временам положительно изнемогал Ходасевич.

Владислав Фелиціанович с первых же наших встрѣч, что называется, зачастил — не проходило двух-трех дней, чтобы он не заглянул к нам вечером «на минутку», затягивавшуюся, как правило, на долгіе часы. Мнѣ было непонятно, а моих близких друзей даже интриговало, что влечет Ходасевича ко мнѣ, на чем покоится наша «дружба»? По всему нашему прошлому и жизненному складу, интересам, окруженію, симпатіям мы как будто мало подходили друг к другу.

Может быть, внутренне одинокій поэт оказывался часто в состояніи, описанном Мармеладовым, — «когда непремѣнно надо хоть куда-нибудь да пойти». Может быть, ему требовалась аудиторія, но не критика и оппозиція со стороны литераторов-профессіоналов. Может быть, извѣстную роль сыграла и общая нам, не связанная с той или иной профессіей, черта, о которой рѣчь будет ниже. Во всяком случаѣ мое общеніе с на рѣдкость умным и занимательным собесѣдником не требует поясненія. Здѣсь был и личный интерес, и общественный— забота о «Совр. Записах», дума о том, как склонить автора дать журналу наиболѣе нужное для журнала, а не автору; наконец, — элементарное вниманіе и человѣколюбіе: «Вѣдь надобно же чтобы у всякаго человѣка было хоть одно такое мѣсто, гдѣ бы и его пожалѣли»...

Физически немощный, Ходасевич часто и подолгу страдал от ряда болѣзней: жестокаго фурункулеза; прилипчивой экземы на руках и, что особенно мучило и раздражало, на лбу; от камней в желчном пузырѣ, которые и свели его в могилу. Физическая немощь отягчалась постоянным нищенством, неотвязчивыми думами о насущном пропитаніи и кровѣ, неотступным сознаніем незаслуженности и несправедливости выпавшей на его долю судьбы. Ходасевич был неприхотлив в ѣдѣ, пил рѣдко и мало, был почти равнодушен к комфорту. Только курильщик был он страстный: куреніе стоило ему «состоянія». И тѣм не менѣе ему приходилось порой туго и невыносимо — до безысходности.

Это было осенью 1925 года, в воскресный день. У меня собралось нѣсколько друзей. Неожиданно, без приглашенія, пришел Ходасевич, взволнованный и мрачный. С трагической подчеркнутостью он заявил, что у него неотложное ко мнѣ дѣло. Мы удалились в спальню, и Ходасевич сообщил, что, не будучи больше в силах существовать, он рѣшил покончить с собой!... Сейчас, задним числом, я не склонен думать, что свое рѣшеніе он принял обдуманно. Но тогда я отнесся к его словам со всей серьезностью и тревогой, которой они заслуживали. Я упросил Ходасевича отложить свое рѣшеніе во всяком случаѣ на 2-3 дня, пока я не попытаюсь пріискать ему постоянный заработок в «Днях», перекочевавших тогда из Берлина в Париж. Я встрѣтил полную готовность со стороны редактора «Дней» А. Ф. Керенскаго и завѣдовавшаго литературным отдѣлом газеты М. А. Алданова. Ходасевич на время — очень недолгое — был устроен: он сдѣлался помощником Алданова и стал вѣдать стихотворным отдѣлом.

Нѣсколько лѣт спустя Ходасевич тоже внезапно явился ко мнѣ уже не днем, а поздним вечером и по совершенно другому поводу. В итогѣ острой полемики с коллегой-пушкинистом М. Л. Гофманом, Ходасевич обвинил его в присвоеніи чужих литературных открытій. Гофман, естественно, вызвал Ходасевича на третейскій суд, и Ходасевич пришел просить меня быть судьей — с его стороны. Я отклонил предложеніе на том основаніи, что, редактируя журнал, в котором печатаются оба противника, я рискую очутиться в неловком положеніи в качествѣ представителя одной стороны. По моему совѣту Ходасевич обратился к генеральному секретарю Союза писателей и журналистов и практическому юристу В. Ф. Зеелеру, который и взялся отстоять его процессуальные права и интересы.

Суд кончился для Ходасевича болѣе чѣм плачевно. Ходасевич лишній раз оказался жертвой собственнаго темперамента и профессіональной страстности. Послѣ ряда засѣданій, в которых трем юристам, не литературовѣдам, приходилось разбираться в разночтеніи пушкинскаго текста, Ходасевич внезапно отказался от дальнѣйшаго судебнаго разбирательства, на которое сам же согласился. Сколько я ни убѣждал его и ни доказывал, что при всѣх обстоятельствах самый суровый судебный приговор будет все же мягче его «самоосужденія» путем бѣгства от суда, — Ходасевич остался непреклонен: «наплевать», «не хочу», «не могу» и т. д.

Даже сравнительно-гибкое и неформальное третейское

судопроизводство было не втерпеж его непокорной, обуреваемой страстями и пристрастіями натурѣ.

Привыкшій к методической и точной работѣ, на «фишках», любившій и цѣнившій точность и аккуратность — порядок на письменном столѣ, на книжной полкѣ и в рукописи, — Ходасевич бывал, как ребенок, капризен и упрям. На ирраціональных путях устанавливал он свою правду и, чтобы ее отстоять, закусывая удила, не глядя ни на кого и ни на что, мчался вперед, — обычно с ущербом для себя и своей правды. «Если из правды выходит обида, лучше, чтобы была обида, чѣм чтобы не было правды». Эти слова св. Іеронима передают хорошо жизнеощущеніе и взгляды Ходасевича.

Ходасевич от природы был существом недостаточно соціальным: в нем было нѣчто от «Человѣка из подполья». Он не без удовольствія высмѣивал всякую общественность. И в то же время сам он был правдолюбцем; того больше, — борцом за правду в искусствѣ и литературѣ, в личных отношеніях и общественных. Он искал и отстаивал обрѣтенную им правду фанатически и упорно, против всѣх и вопреки всему, не считаясь ни с какими послѣдствіями и отрицая всякую «ложь во спасеніе», «условную ложь общежитія» или, по Горькому, — «ложь утѣшительную, ложь примиряющую».

Ходасевич отрицал всякое оправданіе неправды — отрицал правду в неправдѣ, стоял за «возвышающую правду». Здѣсь он позволял себѣ оспаривать даже Пушкина — свой кумир: «Истина не может быть низкой, потому что нѣт ничего выше истины». С этой мѣркой подходил он к живым и к мертвым. «Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, — прямо в глаза», — характеризует Ходасевич своего любимца Гершензона; он «не сглаживал углов, не золотил пилюль». И к нелюбимому им Горькому подходит он с тѣм же мѣрилом, обличая за то, что «упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованію, ко всякой низкой истинѣ он относился, как к проявленію метафизически злого начала». В самом творчествѣ Горькаго Ходасевич считает главной темой противопоставленіе правды и лжи. Когда он пишет о Есенинѣ, он возвращается к той же проблемѣ взаимоотношенія правды и лжи. Он хочет примирить читателя с несчастным поэтом указаніем на то, что Есенин «был безконечно правдив в своем творчествѣ и перед своею совѣстью, во всем доходил до конца,

не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другіе».

И Ходасевич сам никак не соглашался с тѣм, что «мір» будто бы не выносит правды; он наотрѣз отказывался преклониться пред чьим-либо авторитетом или «геніем». Это было одной из наиболѣе характерных и ярких черт Ходасевича, мнѣ всего болѣе в нем «созвучных» и привлекательных.

Ходасевич бывал очень пристрастен — и лично, и профессіонально. У него были свои любимцы и свои литературныя антипатіи. По случайным обстоятельствам на коротком отрѣзкѣ времени он мѣнял и свои личныя отношенія, и — что было гораздо вреднѣе — свою литературную оцѣнку, от рѣзкоотрицательной к положительной (в отношеніи, напримѣр, к Маринѣ Цвѣтаевой) и обратно. Но такая несправедливость рѣдко осознавалась им самим. Тѣм самым, оставаясь об'ективно несправедливостью, заблужденіем или ошибкой, она не обращалась в «ложь». Как правило, Ходасевич бывал очень сдержан, осторожен и строг в своих сужденіях.

Он был требователен не только к другим — к нелюбимым им Брюсову и Горькому или к Бѣлому, о котором писал, что тот «повліял на меня сильнѣе кого бы то ни было из людей, которых я знал», и о котором он не забыл и на смертном одрѣ. Ходасевич был не менѣе требователен и к себѣ, как писателю и поэту. Он работал, буквально не покладая рук, методически и упорно, изо-дня в день, невзирая на здоровье и внутреннюю обиду. И работал он так не только по необходимости, но и по убѣжденію: в трудолюбіи Сальери Ходасевич видѣл не антитезу Моцартову вдохновенію, а восполненіе — или даже условіе — законченнаго творчества. И не надо принадлежать к «формалистической» школѣ в литературѣ, чтобы видѣть и оцѣнить строгость, сухость и собранность Ходасевичевскаго стиха и всего его писательскаго стиля, — классицизм.

Требовательность к себѣ привела Ходасевича к тому, что, начав в «великой тайнѣ» ото всѣх писать «нѣчто прозаическое», он кончил тѣм, что уничтожил написанное. Эта требовательность сказалась и в том, что Ходасевич так и не осмѣлился осуществить мечту своей жизни — написать біографію Пушкина — даже тогда, когда празднованіе столѣтія со дня рожденія поэта открывало перед Ходасевичем ряд практических возможностей к писанію и изданію книги. Была об'явлена — за подписью М. А. Алданова, И. А. Бунина, В. Н. Коковцева и В. А. Маклакова — предварительная подписка на біографію Пушкина; но Ходасевич этой книги так и не написал.

Требовательность же к другим создавала критику все возраставших в числѣ врагов и недоброжелателей — особенно среди своих же «братьев-писателей». Это не способствовало ни жизненным успѣхам, ни душевному покою. Все больше накоплялось раздраженія, мнительности и преувеличенной подозрительности, временами доводивших Ходасевича до отчаянія. Все чаще возникали конфликты и ссоры, все больше сторонился он и отходил от людей.

В такой обстановкѣ, когда исполнилось 25-лѣтіе литературной дѣятельности Владислава Фелиціановича, мнѣ пришлось оказаться едва ли не главным организатором его чествованія. С внѣшней стороны все обошлось 10 апрѣля 1930 года вполнѣ благопристойно: присутствовали и произнесли привѣтственныя рѣчи генералы от литературы — Бунин и Мережковскій; говорили и другіе. Но празднованіе все же вышло недостаточно ярким — много ниже творчества Ходасевича и его заслуг перед русской литературой.

В довершеніе, полностью провалилась запоздавшая попытка друзей и почитателей Ходасевича отмѣтить юбилей особым изданіем переведенной им с древне-еврейскаго языка поэмы недавно скончавшагося Саула Черниховскаго «Свадьба Эльки». Изданіе проектировалось «роскошное» — ручным способом набранное, in 8°, с спеціально изготовленными иллюстраціями Мане-Каца. Черниховскій дал свое согласіе. Мане-Кац сдѣлал 6 рисунков пером. Но книжка не вышла. Призыв к подпискѣ — И. А. Бунина, Р. Г. Винавер, М. В. Вишняка, Б. К. Зайцева, М. О. Цетлина — не был услышан, во всяком случаѣ встрѣтил недостаточный отклик со стороны болѣе состоятельной части русской эмиграціи. Новая неудача могла лишь усилить чувство горечи, обиды и раздраженія.

Ходасевич отталкивался от общественности и психологически, и идейно. И — заслуженно или незаслуженно — ему пришлось дважды поплатиться за свое отталкиваніе. Так случилось, что практически он ближе всего столкнулся с двумя крайними, наиболѣе нетерпимыми флангами русской общественности . Соблазнившись на время одним, а потом другим, Ходасевич в обоих разочаровался и еще сильнѣе укрѣпился в в своем отрицательном отношеніи ко всякой общественности, — к общенію вообще.

Вмѣстѣ с другими, готов он был увѣровать в возможность построенія новаго міра большевистскими руками. В блестящем этюдѣ «Бѣлый Корридор» Ходасевич разсказал о времени, когда и он, голодный и несчастный, засѣдал в Кремлѣ под

просвѣщенным руководством Ольги Давыдовны Троцкой-Каменевой, — что это было и чѣм все кончилось. В горечи и сарказмѣ разсказа чувствовалось воздаяніе не только врагам, соблазнившим и обманувшим, — здѣсь была и расплата с самим собой, с собственной наивностью и иллюзіей.

Ходасевич стал обличать и «эмигрантскій націонализм» справа, с которым он столкнулся, став сотрудником «Возрожденія». Он пошел в «Возрожденіе» поневолѣ, по тяжкой нуждѣ, выговорив себѣ «автономію» в своем литературном отдѣлѣ; тѣм не менѣе он отдал свой труд и талант на поддержку Гукасовскаго предпріятія. Чтобы передать настроеніе, в котором годами бывал Ходасевич и которое к концу его жизни только обострилось, приведу извлеченія из письма, написаннаго им сотоварищу по московской 3-ей гимназіи, Арк. Тумаркину.

Письмо датировано 23 октября 1936 года и в нем говорится: «Я увѣрен, что ты на меня в обидѣ за мое исчезновеніе с твоего горизонта. Но повѣрь, будь добр, что я окончательно и безповоротно выбит из колеи, потому что вдребезги переутомлен умственно и нервно. Прямо говорю: твое общество я бы предпочел всякому другому, еслибы вообще был еще способен к общенію. Но я могу дѣлать два дѣла: писать, чтобы не околѣть с голоду, и играть в бридж, чтобы не оставаться ни с своими, ни с чужими мыслями. За послѣдніе два года я случайно попал в гости к Апостолу, прійдя к нему за книгой, и случайно очутился у Фондаминскаго, когда и ты был у него. Это потому, что мы с Тэффи ходили по дѣлу к Зеелеру и не застали его дома. Больше ни разу не был и никого не звал к себѣ, кромѣ Сирина — ибо он пріѣзжій. У сестры не бываю по 2-3 мѣсяца, с Н. Н. встрѣчаюсь в кафе примѣрно раз в три недѣли. Молодых поэтов, ходивших ко мнѣ по воскресеньям, тоже «закрыл». Я — вродѣ контуженнаго. Просидѣть на мѣстѣ больше часу для меня истинная пытка. Я, понимаешь, стал неразговороспособен. Вот если бы я мог прекратить ужасающую профессію эмигрантскаго писателя, я бы опять стал человѣком. Но я ничего не умѣю дѣлать.

Слѣдственно, не сердись. Я тебя очень люблю и очень помню твое доброе, милое, безконечно дружеское отношеніе ко мнѣ. Бѣда в том, что я куда-то лечу вверх тормашками».

Ходасевичу суждено было прожить еще два с половиной года послѣ того, как было написано это потрясающее письмо. Он продолжал летѣть «куда-то» вверх тормашками, но «ужасающей профессіи эмигрантскаго писателя» так и не прекра-

тил, — может быть, потому, что «не умѣл», как все-таки сумѣла это сдѣлать не болѣе Ходасевича приспособленная к такой операціи Марина Цвѣтаева; а, может быть, потому что именно Ходасевичу не дали возможности ликвидировать его «эмигрантской» профессіи...

Ходасевич унес в могилу отвѣт на эти сомнѣнія. Но свою подверженность всякаго рода соблазнам он отлично сознавал — и описал:

«Когда б я долго жил на свѣтѣ,
Должно быть, на исходѣ дней
Упали бы соблазнов сѣти
С несчастной совѣсти моей»...

Смолоду «контуженный», он прожил недостаточно долго, чтобы «соблазнов сѣти» упали окончательно; но 53 года жизни были все же достаточным сроком для самых разнообразных соблазнов и увлеченій его встревоженной совѣсти. Ходасевич воспринимал свою жизнь, как тяжкую ношу, — чтобы не сказать: проклятіе, — несправедливо возложенную на него безжалостной судьбой. Он мужественно боролся с невзгодами; пытался преодолѣть их уходом в творчество, которое ему представлялось тоже не «священным даром» или «легкой забавой», а утомительным трудом и подвигом — ремеслом, «подножіем искусства». Но жизненныя невзгоды, как злыя фуріи, неотступно мчались вслѣд «контуженному», пока, настигнув, не положили конец его лету «вверх тормашками» и, заодно, — его страдальческой жизни и творчеству.

«Лучше спать, чѣм слушать рѣчи
Злобной жизни человѣчьей,
Малых правд пустую прю»...

Так думал и писал Ходасевич в 1921 году. То же повторил он и позднѣе в своей «Тяжелой Лирѣ».

Как и большинству крупных русских писателей, Ходасевичу был отпущен литературный дар, ему не было дано дара жить.

10.-XI.-43. **Марк Вишняк.**

ПИСЬМА В. Ф. ХОДАСЕВИЧА

Дорогой Марк Веньяминович,

поэма сія писана бойким ямбом, «легко», т. е. дешево. Отставные полковники и уѣздные предводители дворянства (большіе любители поэзіи) думают, что так писывал и «А. С. Пушкин». Но они ошибаются.

Это — рубленая проза, банальная по архитектоникѣ, грошевая по стилю, избитая по ходу дѣйствія и персонажам.

«Идея» высказана в начальных строках на стр. 23-й. Это — эмигрантско-уличное большевикоѣдство. Печатать сіе в «С. З.» было бы непристойно.

Вообще, если мнѣ позволено высказаться, я очень против Ч., L., Л. и всего подобнаго*). Впрочем, один мой родственник не может читать их без слез: он потерял фабрику.

27 іюня 924. Всего хорошаго. **В. Х.**

Дорогой Марк Веньяминович,

6 числа я послал Вам воспоминанія о Брюсовѣ. Отвѣтьте, пожалуйста, на два вопроса: 1) получили ли их, 2) — не слишком ли ужасно.

Я н е м о г послать стихов, потому что есть разрозненныя клочья, в отдѣльности ничего не стоющіе. А связать не могу, п. ч. — скажу Вам, т о л ь к о В а м, под великой тайной — я все это время обдумывал нѣчто прозаическое, первый раз в жизни, и теперь сѣл писать.

Пока — будьте здоровы.

Жму руку. Нина Николаевна кланяется.

Ваш **Влад. Ходасевич.**

Sorrento, 10 февр. 925.

Дорогой Марк Веньяминович,

очень рад, что «Брюсов» пришелся Вам по вкусу. Я боялся, что Вам все это покажется слишком ужасно. Меж тѣм, о гораздо болѣе жутких вещах я умолчал.

Теперь дѣло вот в чем. Нельзя ли мнѣ прислать корректуру? (Кажется, я Вам уже писал об этом). Я в е р н у е е б у к в а л ь н о в т о т ж е д е н ь.

---

*) Это — Демьяны Бѣдные для эмигрантов.

Если же **никак** невозможно это, то, пожалуйста, сдѣлайте хоть одно, важное, измѣненіе. В том мѣстѣ, гдѣ описываются проводы N. на вокзалѣ, а потом вечер у матери Брюсова, — у меня нѣт точной даты. Сказано — «осенью 1911 года» или что-то в этом родѣ, не знаю, ибо я Вам послал черновик (он же бѣловик). Так вот, нельзя ли мое неточное обозначеніе времени замѣнить вполнѣ точным: «9 ноября 1911 года». Мнѣ, по ряду обстоятельств, необходимо закрѣпить эту дату, которую возстановил только нѣсколько дней тому назад, получив письмо от самой N.

Черкните, пожалуйста. Но лучше всего — корректуру!

Ваш **В. Ходасевич.**

Sorrento, 5 марта 925.

Дорогой Марк Веньяминович,

хоть и лучше было бы для меня явиться не в одиночествѣ, а в сосѣдствѣ с Шестовым или, б. м., с Фед. Авг. (которому самый сердечный привѣт), — но будь по Вашему. О размѣрѣ статьи сейчас не могу поручиться ни за что, — но думаю, что листа с четвертью довольно. Если превышу — то, вѣроятно, на какой-нибудь пустяк. Выяснится это для меня одновременно с вопросом о срокѣ. Дѣло в том, что я написал в Россію, чтобы мнѣ выслали старыя письма Г-на ко мнѣ. Жду их числа 19-20. Слѣдовательно, числу к 1-му думаю статью написать. Кромѣ этих писем, жду еще отвѣта от Маріи Борисовны Гершензон, которую просил написать мнѣ о послѣдних днях М. О—ча.

Однако, возможно, что я ничего этого не получу*). Дѣло в том, что мои «отношенія» с Кремлем испортились вдребезги. Я уже получаю из Россіи шифрованныя просьбы не подписывать на конвертах своего имени, писать письма под псевдонимом и проч. Статья о Родовѣ в «Днях» подлила много масла в огонь, статья о Брюсовѣ в «Совзапах», как Вы изволите выражаться, подольет еще. Есть и ощутимые признаки: нѣкто по моему порученію должен был продлить мой совѣтскій паспорт в Римѣ; ему отказали, сказав, что по настоящему должны бы мнѣ предписать ѣхать в Россію. Все это пока между нами — но из этого возникает реальная просьба. Я в Россію не собираюсь, но собираюсь в Париж. Узнайте, пожа-

*) Что, конечно, отразится на составѣ статьи о Гершензонѣ, на ея размѣрах и проч.

луйста, не будет ли тут препятствій. Дѣло в том, что теперь у меня паспорта нѣт, но есть французская carte d'identité и есть certificat d'identité, сроком по 28 іюля, с обратной визой на в'ѣзд во Францію. Так вот не вышла ли в тираж эта виза в связи с новым декретом? Думаю, даже увѣрен, что не вышла, но хотѣл бы, чтобы Вы меня на сей счет успокоили. В Париж собираюсь в серединѣ апрѣля. Пожалуйста, отвѣтьте на сію тему, не на открыткѣ.

За предложеніе аванса — большое спасибо. Пожалуйста, положите его в конверт, но не посылайте, а храните на груди до моего пріѣзда.

О стихах всячески постараюсь.

Нина Николаевна шлет привѣт.

Ваш **В. Ходасевич.**

Дорогой Марк Веньяминович,

во-первых, спасибо за свѣдѣнія о визѣ;

во-вторых, статья о Гершензонѣ и стихи для 24 книги будут;

в-третьих, писомое в тайнѣ к 25 книжкѣ вряд ли будет кончено, — да и вообще неизвѣстно, «увидит ли свѣт»;

в-четвертых, — 6-го числа Вы писали, что статью Бѣлаго о Гершензонѣ (необходимо спѣшно!) Вы высылаете «завтра», т. е. 7-го; послѣ этого пришло от Вас еще письмо, от 9-го марта, — а статьи все нѣт; если пропала — умоляю выслать еще экз., обязательно заказной бандеролью, ибо все печатное пропадает, если не заказное; если просто еще не выслали — пожалуйста, пошлите, — без нея не могу сѣсть за статью;

в-пятых, пришлите, пожалуйста, 23 книжку, как только выйдет;

в-шестых — всего Вам хорошаго;

в-седьмых — Нина Ник. Вам кланяется;

в-восьмых — Владислав Ходасевич.

в-девятых — Сорренто, 12 марта 1925.

Дорогой Марк Веньяминович,

вот что. Во-первых, на этот раз я надѣюсь — Вы мнѣ дадите нѣсколько оттисков статьи о Пролетарских поэтах. Нужно. Не отдавайте другим, как в прошлый раз.

Во-вторых. В 26 книжкѣ «С. З.» вступительную свою

замѣтку к «Казакам» Хирьяков кончает такой фразой: «Сохранившіеся стихотворные отрывки не представляют интереса». Это, конечно, простите, — глупо. Но дѣло не в том. А дѣло вот в чем. Кромѣ севастопольской пѣсни (стилизаціи, в сущности) да еще одного шуточнаго письма к Фету (да и того никто не помнит), стихов Толстого донынѣ не существовало в печати. Они, разумѣется, представляют колоссальный интерес. Так не похлопочет ли ред. «Совр. Зап.», не добудет ли из-под Хирьякова этих отрывков, буде они у Хирьякова. Мы бы их напечатали с послѣсловіем Ходасевича, которому любопытно, как Толстой «вертит стихом». Ах, как бы я засѣл за такую штуку! Этому самому Хирьякову, которому царствіе небесное обезпечено, скажите иль напишите: что есть—давайте, хоть 10 строчек! Мы и в десяти разберемся. Ах, батюшки мои, до чего любопытно и до чего не терпится. Умоляю — отвѣтьте, можно ли это дѣло сварганить. Стихи Толстого! Да вѣдь это все равно, что... да нѣт, это и сравнить не с чѣм! «Не представляет интереса!» Ах!...

Но дѣло вот в чем: Вы это дѣло держите в тайнѣ, и даже самому Х-ву не говорите, что это так важно и интересно. А то он сам вздумает высказаться. Т. е. я ничего не имѣю, пусть выскажется, даже нужно: когда найдены, когда писаны и т. д. А по существу — я бы. А? Как думаете? Поклон Маріи Абрамовнѣ. Жму руку, падам до ног, заклинаю.

Неизвѣстный-из-Шавиля.

P. S. Это только письмо дурашное, а дѣло серьезное.

22 дек. 925.

P. P. S. Баба моя земно кланяется.

Carissimo e gentilissimo

Марк Веньяминович,

Вы угадали: и статью Бѣлаго, и 23-ю кн. «С. З.» я получил. Спасибо. Статью Шестова читать не хочу. Бог с ней. Смущает меня только то, что о Г-не-писателѣ будет, как Вы пишете, тысяч 15 букв, а я вряд ли умѣщусь (вмѣстѣ с письмами) меньше, чѣм на 50-55 тысячах. Ну, да в крайнем случаѣ не бѣда. Я постараюсь сократиться.

Теперь вот что. Вчера пріѣхал Муратов и разсказал, будто кто-то (не помню, кто) писал ему, что Зайцевы переѣзжают в Прагу. Правда ли это? Меня это очень тревожить, ибо переѣзд

в сію европейскую столицу означал бы, что они переживают крайній, предѣльный денежный кризис. А я хочу им добра. Сообщите, правда ли это.

Второе. Гдѣ Фед. Августович? Застану ли я его в Парижѣ, если пріѣду около 25 апрѣля? Это спрашиваю из чистаго гурманства: хотѣл бы с ним посидѣть вечерок-другой. Я его вообще очень люблю и цѣню (можете просплетничать), а его статья в 23 книжкѣ — просто чудесная, особенно первая, общая часть.

Вот рецензія на 23 книжку: хорошо 2-е стих. Гиппіус; Цвѣтаева; Бунин — хорош, при условіи, е с л и . . . ; Ремизов — Ремизов; Ходасевич — хорошо, но злобно. Прочаго еще не читал.

Жму Вашу руку **Владислав Ходасевич.**

Sorrento, 14 апрѣля 925.

Дорогой Марк Веньяминович,

вот статья.

Мы надѣемся, с Божьей помощью, выѣхать отсюда 15-го числа, в субботу. Дня 2-3 пробудем в Римѣ и числа, значит, 23-24 явимся в Париж.

Стихи привезу с собой: надѣюсь до тѣх пор что-нибудь написать или привести в порядок написанные, ибо они мнѣ крѣпко не нравятся.

Статью посылаю, так как ее набирать дольше. Корректуру непремѣнно должен прочитать сам.

Итак, до скораго, надѣюсь, свиданія.

Как видите, я все надѣюсь. Жму руку.

Неунывающій Дачник.

(На открыткѣ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЕ ВРАГУ

Будут ли ясно сіять небеса,
Иль вихорь подымется дикій, —
В среду, как только четыре часа
Пробьет на святом Доминикѣ, —

Бодро вступлю я в под'ѣзд «Родника»,
Двѣ пули запрятавши в дулѣ;
Мимо Коварскаго, в дверь Вишняка
Войду — и усядусь на стулѣ.

Если обѣщанных франков пятьсот
Тотчас из стола он не вынет,
Первая пуля — злодѣю в живот,
Меня же вторая не минет.

Чугунная Маска.

2 мая 1925.
Париж.

(Открытое письмо)
в Capbreton (Landes)

Милый Марк Веньяминович, я написал о Есенинѣ так бездарно, что не рѣшился печатать, особенно в журналѣ. За то написал очень хорошіе стихи, которые и пойдут в ближайшем номерѣ вмѣстѣ с Гиппіус и Берберовой. «То в Вышнем рѣшено Совѣтѣ», т. е. Фондаминским и мною, и Вы не рвите и не мечите. Я писал о Есенинѣ в Парижѣ, в жарѣ, в духотѣ, под уличный шум. Затѣм — сбѣжал и нынѣ проживаю: **28, Rue Alexandre Guilmant, Meudon (S. & O.).** Здѣсь тихо+2 комнаты.

Вчера поладил с «Днями» — Вашими молитвами так, как Вы говорили. Будьте здоровы. Сердечный привѣт Маріи Абрамовнѣ. Берберова тоже всячески кланяется.

Знаете что? Передайте-ка от меня поклон Вышеславцеву: он со мной нѣжен, даже весьма, а я — пень безчувственный. Так вот, хочу это компенсировать через Вас. Жму руку.

Ваш **В. Х.**

Chaville, 24 ноября 925.

Дорогой Марк Веньяминович,
два дѣла:

1) Нѣкто А. Д. Семенов-Тянь-Шанскій с мѣсяц тому назад послал в «Совр. Зап.» свои стихи. Пожалуйста, не возвращайте их полностью, — а что-нибудь отберите и напечатайте. Он человѣк не бездарный, чудовищно-голодный и нуждается в моральной поддержкѣ. Если хотите, я помогу Вам в выборѣ.

2) Посылаю ситхи Д. Кнута. На Вашем мѣстѣ, я бы их напечатал. Один отрывок я давно уже помѣстил в «Днях». Помѣстил бы и эти — но они связаны, их надо напечатать вмѣстѣ всѣ три — а в «Днях» это невозможно по техническим причинам.

Право, было бы хорошо, если бы «Совр. Зап.» пріоткрыли свои врата для молодежи.

Будьте здоровы. Ваш **Влад. Ходасевич.**

Привѣт Маріи Абрамовнѣ.

Получили ли № Дней с фельетоном Алданова? Я его послал вчера, но не вѣрю, чтобы бандероль могла дойти.

—— К—о—р—р—е—к—т—у—р—а ——

(Открытое письмо)

Robinson (Seine).

Не сердитесь, милый Марк Веньяминович, я н е напишу о «Кщхелѣ». Обыскав всю квартиру, вспомнил, что выбросил листок с замѣтками и цитатами, — а сызнова перечитывать 400 страниц нѣт сил. Да и понадобилось бы тащить из Парижа еще кой-какія книги, нужныя для этой работы. Ей-Богу, не могу. Хочу отдыхать. Я Вам напишу для слѣд. или через-слѣд. книги о романах Бѣлаго. Оставьте эту тему за мной (тут вышел его «Московскій чудак»). Привѣт Маріи Абрамовнѣ. Пошлите Берберовой мои оттиски.

Жму руку. Ваш **В. Х.**

9 сент. 926.

---

4 дек. 926.

Дорогой Марк Веньяминович,

вот Вам доказательство моей доброй воли: я придумал отнять у Новаго Дома статью «Глуповатость поэзіи» и отдать ее Вам. Ее легко будет набирать, ибо она не велика и будет представлена в видѣ гранок. Но ее лучше и желательнѣе тиснуть не в «Культ. и Жизни».

Пока — всего лучшаго. Жму руку.

Ваш **В. Ходасевич.**

---

8 декабря 927.

Дорогой Марк Веньяминович,

вот что я бы просил Вас довести до свѣдѣнія редакціи.

1) Меня не было в двух книжках «Совр. Зап.»: слѣдовательно — не год, а полгода.

2) Вы пишете, что статью о Сологубѣ нельзя откладывать на шесть мѣсяцев. Допустим. Но тут же прибавляете, что в крайнем случаѣ редакція удовлетворится статьей о Случевском. Тут — «невязка», которую мнѣ бы не хотѣлось об'яснять

ничѣм, кромѣ лестнаго для меня желанія редакціи получить л ю б у ю мою статью. Но — вот что я должен сказать, и в чем мнѣ бы хотѣлось быть, наконец, понятым.

Чтобы писать, писателю нужно быть сытым (хотя бы). Журнальная работа и впроголодь не кормит. Писатели вынуждены идти в газеты. Из всѣх писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ни откуда: ни от сербов, ни от чехов, ни от Розенталя, ни от большевиков, ни от французов и не устраиваю концертов, сборов и проч. (Не только не получаю, но имѣю офиціальное письменное сообщеніе о том, что чешской субсидіи мнѣ не дали ввиду доноса нѣкоего «писателя» о том, что я слишком много зарабатываю в «Возрожденіи»).

Так вот, чтобы не голодать, я должен писать в газетѣ всѣх больше. Газетная работа требует от меня:

1) Фельетона каждыя двѣ недѣли, — т. е. судорожной погони за темами (это труднѣе, чѣм само писаніе).

2) Еженедѣльнаго чтенія совѣт. журналов для составленія изводящей меня хроники.

3) Бываніе в редакціи и «консультацій» по литературным дѣлам (с голосом, увы, совѣщательным).

Писаніе газетных (т. е.: неизбѣжно «общественных») статей меня изматывает душевно. Чтобы написать серьезную, журнальную статью — я должен не только выкраивать «свободное» время, но и мучительно собираться с духовными силами. Не знаю, поймет ли меня редакція. Боюсь, что не поймут и болѣе благополучно устроившіеся писатели. Каторжники бы поняли это навѣрняка.

Поэтому — что я могу отвѣтить? Я приложу всѣ старанія к тому, чтобы написать о С о л о г у б ѣ как можно скорѣе. Но будет ли это к 5 янв., или февр., или марта — не знаю. Раз редакція не может поставить меня в человѣческія условія работы, то она и не может назначать мнѣ никаких сроков. Казалось бы — это логично и... человѣчно.

Наконец, буду откровенен и скажу вот что. В «Совр. Зап.» есть статья Вейдле обо мнѣ. Вы слишком знаете, что я за рекламой не гонюсь и в этом направленіи не прибѣгаю к мѣрам, которыя, увы, слишком часто примѣняются. Но я считаю, что о книгѣ, подводящей итог моей «взрослой» поэтической работѣ, «Совр. Запискам» было бы пристойно напечатать серьезную статью, которая и об'ективно у к р а с и л а бы журнал. И я хотѣл бы, чтоб эта статья появилась в бли-

жайшем номерѣ, а не лѣтом и не через год, — по многим причинам, хотя бы для того, чтобы литературное болотце не радовалось: Х-ч работает в «С. З.» из книжки в книжку, вцѣпляется за них в горло «Верст» — а «С. З.» приличной статьи о нем не хотят напечатать. Есть и другія причины. Между тѣм, дав сейчас статью о Сологубѣ, я рискую «выпереть» из ближайшей книжки статью Вейдле (кстати сказать — плод годичной работы, серьезной).

Вот на вопрос о статьѣ Вейдле я хотѣл бы получить отвѣт, прежде чѣм сяду писать о Сологубѣ. Я напишу о Сологрубѣ только в том случаѣ, если это н е помѣшает помѣстить в том же № и статью Вейдле. (О Сологубѣ, а не о Случевском, о котором сейчас писать не хочу).

С прискорбіем вижу, что научился здѣсь думать о вещах, самая мысль о которых раньше мнѣ показалась бы постыдной. Но — всему научишься в нашем болотѣ...

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич.

Искреннѣйшій привѣт Маріи Абрамовнѣ и благодарность от нас обоих за ея привѣт.

---

16 декабря 927.

Дорогой Марк Веньяминович,

Вы, к сожалѣнію, не отвѣтили на мое послѣднее письмо. Жаль, ибо ежели мнѣ писать о Сологубѣ, то, чтобы поспѣть, к 25 января, надо сейчас же (благо с понедѣльника на 2 недѣли свободен) садиться за чтеніе (а сперва заняться добываніем книг). «Факт присыла» Вашей открытки с указаніем на ближайшую книжку толкую скорѣе в смыслѣ того, что мое желаніе касательно статьи Вейдле будет исполнено (п е р в а я моя просьба за 5 лѣт!). Но все-таки жду яснаго подтвержденія. Если будете анонсировать статью — то просто: «Сологуб» (как было: «Брюсов», «Гершензон», «Есенин»: сдѣлаем, таким образом, «серію».

Статью об игроках: «И г р о к и в л и т е р а т у р ѣ и в ж и з н и»

Статья З. Н. очень интересна, но, к сожалѣнію, написана не вполнѣ обо мнѣ: одна половина лица — моя, а другая приставлена по волѣ автора, признающаго, что многим моим стихам он придал завѣдомо другой смысл, — не тот, что у меня.

Вашу статью не видѣл — мнѣ перестали присылать «Дни».

Статья Чебышева из рук вон плоха, но забавно, что к

«С. З.» она благожелательнѣе, чѣм статья «Посл Нов.». Когда я сказал, чтбы поручить статью Ант. Кр., — оказалось, что статья Чеб. уже написана.

Кажется, на всѣ пункты Вашего письма я отвѣтил. Жду отвѣта на свое предыдущее.

Всего Вам хорошаго

В. Ходасевич.

Привѣтствія по схемѣ:

М. Абр. Марк Вен.
Влад. Фел. Нина Ник.

Пролог:

I.

— Скоро ли ты, старый хрыч, перестанешь корпѣть над этой проклятой статьей! Пятый день от тебя слова не добьешься. Я хочу гулять по Шанзелизе в новой шубѣ! Идем в театр! В дансинг!

— Пойди к черту, Ниночка, не мѣшай.

— А, вот вы как? Хорошо же! Я пойду в театр с Бахрахом! Я поѣду в дансинг с Ладыженским! (Плачет).

— Отлично.

—О, изверг! Отдайте мое приданое! Я ухожу навсегда! Между нами все кончено! (Уходит).

Занавѣс.

II.

— Дорогой Марк Веньяминович, вот статья о Сологубѣ. Как видите — раньше срока.

— Благодарю Вас, дорогой Владислав Фелиціанович, от себя лично и от имени редакціи.

— Пожалуйста, уважаемый М. В., — я очень рад быть полезным уважаемой редакціи.

— Ай, почтеннѣйшій В. Ф., — тут 20 страница, да еще с приклейкой, — всего, значит, 21!

— Ничего, почтеннѣйшій М. В., — тут получится всего 15, ну — 16 страниц Вашего почтеннѣйшаго изданія.

— Ну, Бог с Вами, любезнѣйшій В. Ф., как нибудь устроимся!

— Конечно, любезнѣйшій М. В. Но — обязательно дайте мнѣ корректуру. Любезнѣйшая г-жа Недошивина может ея не читать, а только просмотрѣть в верстkѣ. Я же обязуюсь доставить корректуру в нашу милую типографію на протяженіи одних суток, не по почтѣ, а лично.

— А, ну, в таком случаѣ, обожаемый В. Ф., вы получите корректуру непремѣнно. Даю Вам мое честное слово.

— Я на него полагаюсь, обожаемый М. В.

— До свиданія, высокочтимый В. Ф.

— До свиданія, высокочтимый М. В.

— Прошу Вас передать привѣт обворожительной Нинѣ Николаевнѣ.

— Также прошу Вас передать привѣт очаровательной Маріи Абрамовнѣ. (Цѣлуются).

Занавѣс:

III.

— Маркуша, иди чай пить.

— Не мѣшай, Манечка, я читаю чудесную статью В. Ф. Ходасевича.

— Потом дочитаешь. Иди обѣдать.

— Брысь, Манечка. Я никогда не читал ничего подобнаго. Я весь, рѣшительно, во власти очарованія.

— Иди ужинать, окаянный.

— Нѣт. Не могу оторваться.

— Иди спать!

— Нѣт, я в шестой раз перечитываю статью нашего изумительнаго писателя.

— Чтобы вам лопнуть обоим с твоим поразительным писателем.

— А вот и не лопну!

— Лопнешь!

— Не лопну!

— О, моя страшная судьба! Прощайте! Я навсегда ухожу из этого дома.

— Уходи. Я смогу спокойно прочитать статью в седьмой раз!

— Все между нами кончено. Я не только ухожу, — я уѣзжаю. Я не беру с собой приданаго, потому что вы его уже растратили.

(Уходит. Вишняк погружается в чтеніе).

(Ночь).

Занавѣс.

(По всей вѣроятности, половина января 928 г. — **М. В.**

(Открытка) 26.1.28.

Четверг.

Милый Марк Веньяминович, корректуру я получил се-

годня и отвез ее обратно в типографію, о чем Вас извѣщаю. — Порядок статей я отнюдь не принимал к с е р д ц у, а лишь к р а з у м у, из чего слѣдует, что никаких и ничьих у м ы с л о в не усматривал. Вы меня на сей раз плохо поняли. Перед типографской диктатурой смиряюсь: типографіи не людьми, а богами управляются, это мнѣ, увы, извѣстно. — Замѣтку о «Совр. Зап.» в «Возр.» напечатали, против моих ожиданій, безропотно, — тѣм лучше. Привѣты.

Ваш **В. Х.**

P. S. Пусть Недошивина все же в верстк̀ѣ просмотрит мою статью. Я что-то стал разсѣян. —

29.II.928.

Дорогой Марк Веньяминович,

дайте передохнуть, дѣл по горло, — к 12 числу опомнюсь и тогда все соображу. Весь Ваш.

Спасибо за статью Бурцева. Он, м. б., и прав, но д о к а з а т е л ь с т в не приводит, кромѣ ничего не доказывающаго письма Долгорукаго. Об этом письмѣ Б. пишет, что на него никто не обращал вниманія, — а оно 12 лѣт тому назад приведено Щеголевым же в книгѣ «Дуэль и смерть П-на»...

Автор статьи в Monthly Criterion, конечно, не Святополк, — сужу по той же замѣткѣ «Дней». С-ку «идеологически» не подходит она, да ему и нѣт надобности подписываться «У. С.». Да и писал бы Свят. о ч.-нибудь п о с в ѣ ж ѣ е 3 1-й книги! А 32-33?

Кстати: Свят. и Сувчинскій с мѣсяц тому назад поѣхали к Горькому. Впрочем, они вряд ли поладят. Имѣю в виду л и ч н ы й контакт. А в смыслѣ связи с Москвой — возможно, что они чего-нибудь и добьются. Говорю это вполнѣ беззлобно. Как-то они меня сейчас не волнуют и даже не занимают По моему, это лимон выжатый. Меня даже мало занимает, какой трюк придумают на эту осень. В 1925 году было возвращенчество, в 1926 — евразійство, в 1927 — Сергій. Вѣроятно, что нибудь предпріймут и в 1928, к началу осенняго сезона. Только мнѣ стало все это по нѣкоторым причинам нелюбопытно. Ну, да это матерія длинная.

Поклонитесь Маріи Абрамовнѣ от нашего семейства. И себѣ. Ваш **В. Х.**

P. S. Виноват я перед Вами, прошу прощенія. В началѣ Вашей статьи, о столовкѣ: «Тѣсно и с у е т н о». Надо бы — с у е т л и в о. «Суетно» — это от «суета сует». Бейте меня!

Версаль, 2 апр. 928.

Милый Марк Веньяминович,

спасибо за статью Струве. Получил ее вчера, выходя из дому, чтобы ѣхать в Версаль. Она уже у меня была — но «не дорог твой подарок, дорога твоя любовь».

А для «С. З.» я все-таки не смогу написать статью. Я б ѣ ж а л из Парижа, чтобы очухаться и написать о Нинѣ Петровской для «Возр.» и для уплаты за квартиру.

Нина Ник. в Парижѣ. В экстренных случаях пишите ей, она тотчас даст мнѣ знать. Хотя случиться, кажется, нечему.

Вернувшись, начну «новую жизнь». Я думал — эмиграція хочет бороться с большевиками. Она не хочет. Быть так. Я не Дон-Кихот.

Я думал, эмиграція хочет д ѣ л а т ь литературу. Она не хочет — или не может. Опять же — я не Воронов. И не обезьяна, это главное.

Я возился с «молодежью». Но вижу, что эмигркульт не лучше пролеткульта.

Я думал, что Мережковскіе... А вижу, что Мережковскіе... Каюсь: другіе были прозорливѣе*).

Баста. Отнынѣ живу и пишу д л я с е б я, а на чужія дѣла сил и жизни не трачу. Ей-Богу, одно хорошее стихотвореніе н у ж н ѣ е и Господу угоднѣе, чѣм 365 (или 366) засѣданій «Зеленой Лампы».

Словом — Вы теперь меня не узнаете. Говорю это очень серьезно.

Я здѣсь пробуду с недѣлю. А пишу это Вам потому, что чувства мои к Вам неизмѣнно отличныя. Передайте выраженіе таких же Маріи Абрамовнѣ.

Ваш **В. Ходасевич.**

Спасибо за сочувствіе, дорогой Марк Веньяминович! Я дѣйствительно в нем нуждался и имѣл на него право: извелся вдребезги. Впрочем, сейчас мнѣ лучше. Это письмо пишу уже собственноручно. Но я очень слаб, на ногѣ нарыв и т. д. Словом, нахожусь в таком состояніи, при котором обычно людей отправляют на юг, на поправку. А я через двѣ недѣли должен ѣхать в Париж. Вот тебѣ и поправка!

Пока что — у меня к Вам просьба. Не может ли мнѣ дорогая редакція дать 300 франков? За мной уже имѣется

---

*) Хотя: Блок, Бѣлый, даже Бунин — сидѣли червяками на этой удочкѣ, как и я.

около 500. но, кажется, они покрываются моей грядущей статьей, разсказом Берберовой и еще чѣм-то, уже напечатанным в предыдущей книгѣ. Впрочем, если нельзя мнѣ дать аванс, то просто из собственных или казенных денег пришлите мнѣ, умоляю, эти триста франков. 15 сентября они будут возвращены полностью, завѣряю словом. Без них же мнѣ, кажется, отсюда не выбраться. В крайнем случаѣ, как уже бывало, — займите для меня у Коварскаго; но вышлите деньги как только пріѣдете в Париж, и не чеком, а почтовым переводом, по адресу: Hodassevitch. Mas Nicolas. Quartier Lauvert, Avenue Paradis. Antibes (A. M.).

Вчера получили первый кусок 36-й книги. Прочел пока только Алданова. Вчера же были у нас Бунины, они благополучны. А засим — будьте здоровы. До скораго сиданія. Простите, что утруждаю Вас. Привѣты обоим от обоих.

Ваш **В. Ходасевич.**

31 авг. 928.

Дорогой Марк Веньяминович,

вот конец «Державина». На первом листкѣ (ненумерованном) найдете Вы предисловіе, которое надо набрать другим шрифтом — лучше всего курсивом (а текст начнем с новой страницы — иначе выйдет некрасиво).

Нину Петровскую занесу в редакцію. Прочел ее до конца, много думал, прикидывал — и постепенно пришел к убѣжденію, что ее печатать не слѣдует. Причины об'ясню при свиданіи. Их много.

Привѣт М. А.

Ваш **В. Ходасевич.**

2 мая 929.

Милый Марк Веньяминович,

спасибо Вам и Маріи Абрамовнѣ за память. Когда мы получили Ваше письмо, мы оба были в трансѣ: Берберова писала разсказ, а я писал и рвал, писал и рвал — статью о N. Теперь с этим покончено. Полчаса тому назад статья отнесена в редакцію, я сижу в кафэ, чувствую, что гора свалилась с плеч и — как видите — первым дѣлом пишу Вам. Берегите это письмо: со временем Вы получите за него бѣшеныя деньги, когда человѣчество присудит мнѣ титул короля эвфе-

м и з м о в . Представьте себѣ, что Вам пришлось бы писать похвальное слово Струве. Это как раз была бы та ситуація, в какой находился я, пишучи о N. Результаты предвижу: стихотворцы меня проклянут за то, что я N. перехвалил; обыватели — за то, что недохвалил; Гиппіус — за то, что я припомнил, как она восхваляла N.... Сегодня ночью Истина прійдет ко мнѣ в пижамѣ (она больше не ходит голой), разбудит и скажет:

— Владислав Фелиціанович, вы сдѣлали все, чтобы против меня не погрѣшить — и чтобы не обидѣть почтеннаго старика. Он в своей жизни написал... с десяток хороших стихотвореній. Иные не написали и этого. Спите спокойно.

Я протяну руку, чтобы пощекотать красотку, но она исчезнет, — мнѣ останется безмятежно спать до утра.

А завтра я сяду за Державина, коего рукопись отнес в типографію двѣ недѣли тому назад. Послѣ этого, тьфу, тьфу, не сглазить, все пойдет обычным и нормальным порядком, которым вообще все течет и благодаря которому не могу Вам сообщить ничего любопытнаго.

Пріѣхал Муратов, и я заставил его написать в «Возр.» об «Аннѣ» Зайцева. Пишет.

На днях был у нас Илья Исидорович, пили чай, все по хорошему. Я сказал ему, что «Вишняк есть столп и утвержденіе истины» и «краеугольный камень» — э т о г о он Вам, вѣроятно, не передаст.

Дьявольство! Зачѣм я пишу в кафэ, раз у меня все равно нѣт Вашего адреса при себѣ? Конверт все равно придется надписывать дома, и письмо пойдет только завтра. Слѣдовательно, зову гарсона, но до его прихода успѣваю пожать руку Вам и поцѣловать — Маріи Абрамовнѣ.

12 авг. 929,
17 час. 45 мин.
Taverne Rayce.

Ваш **В. Ходасевич.**
Dernière heure: кофе обошлось в 2 франка, на чай полтинник.

Поздравляю Вас с новобрачными, дорогой Марк Веньяминович! Час тому назад Державин женился. Могу сказать, что изрядно похлопотал, чтобы устроить этот брак: в два дня отмахал 20.000 знаков. Вы, как редактор, конечно, предпочли бы, чтобы Гавріил Романович уже умер, но я доволен и тѣм, что он раздѣлался, наконец, с холостой жизнью: довольно ему шататься по ресторацiям; домашній стол — друг желудка, по себѣ знаю. — Оставив новобрачных наединѣ в зеленой папкѣ,

я отправился в кафэ, но не могу сразу остановиться, рука разгулялась, и я пишу Вам.

Надѣюсь, вернетесь же Вы в Париж, и мнѣ не прійдется писать Вам ни в Біарриц, ни в Довиль. Пока что особых событій нѣт, но люди начали появляться. Пріѣхал дон-Аминадо, — но я не видѣл его. У него отец снова был при смерти, воспаленіе легких. Кажется, сейчас ему лучше. Еще пріѣхал Добужинскій, сегодня у нас завтракал и разсказывал грустныя вещи о Станиславском. А вот Недошивиной нѣт, и нѣт корректуры. Кстати, прошу замѣтить: «Рукопись Державина» так же можно сказать, как «рукопись Обломова», «рукопись Рудина». Здѣсь Державин не Г. Р. Д-н, а лишь заглавіе книги. Поэтому, пожалуйста, в будущем хвалите меня до одуренія и даже «до слез напряженья».

Посылаю Вам в подарок страницу из Евразіи. Всѣ прелести Вы оцѣните сами. Но обратите вниманіе на то, что р е д а к т о р Верст разоблачает псевдонимы своего сотрудника! (Пусть всѣ это знают — никто не имѣет права это дѣлать печатно, а уж редактор...). Впрочем, я почти польщен: хоть и самым мертвым и трупным, но все же «и з в с ѣ х, к о г д а - н и б у д ь ж и в ш и х» писателей быть занятно. Четыре тысячи лѣт (на худой конец) человѣчество не производило ничего подобнаго мнѣ.

Ну-с, а за сим ничего мнѣ не остается, как пожелать Вашему семейству всяческаго благополучія. Пріѣзжайте — я по Вас соскучился. Жму руку. Берберова нынче в синематографѣ, но, разумѣется, послала бы Вам всякіе привѣты, если бы знала, что я буду Вам писать.

21 авг. 929.

(Открытка)

6 ноябр. 930.

Ничего, кромѣ скуки и Державина! А потому — ничего, кромѣ привѣта Вам и Маріи Абрамовнѣ.

Orthis. Ваш **В. Х.**

Тот, кто на дверь наклеил об'явленіе, что каждую среду
Он принимает от трех до пяти, — непремѣнно
Должен и каждую среду от трех до пяти находиться
Лично на славном посту, чтоб сотрудникам мудрым, но бѣдным
Чеки на триста монет раздавать благотворною дланью.

С почтеніем —

Дудкин.

Четверг. Вечер.

Милый Марк Веньяминович, вот статья. Простите за опозданіе — но я и так сократил ее до неузнаваемости.

Пожалуйста, скажите Недошивиной, что корректура мнѣ необходима и что она будет мною через сутки отвезена прямо в типографію.

Жму руку.

Ваш **В. Х.**

Милый Марк Веньяминович, пишу, потому что не надѣюсь Вас застать. Не браните меня за Державина и потерпите еще 3-4 дня! Повѣрьте, я угнетен, но нельзя же плохо сдѣлать и испортить важное и потенціально выигрышное мѣсто. Работаю до смѣшного много, но много рву.

Спасибо по части 4 числа!

Привѣт Маріи Абрамовнѣ.

Ваш **В. Х.**

Дорогой Марк Веньяминович, если Вы свободны в субботу вечером — не прійдете ли к нам с Маріей Абрамовной (если она не плохо себя чувствует; я не знаю, как ея здоровье)?

Помимо других изумительных радостей, гостям будут предложены: 1) рецензія на Андрея Бѣлаго; 2) — надѣюсь — стихи.

Так вот, что Вы обо всем этом думаете? Привѣт Вам обоим от нас обоих.

Среда.

Ваш **В. Ходасевич.**

(Пневматичка от 26.IV.29)

Милый Марк Веньяминович, я не пришел вчера в ред., п. ч. Зеелер наговорил мнѣ ужасов (и обѣщал пересказать Вам). Словом, пока я вынужден дѣло оставить в покоѣ. У меня есть еще план, к-рым подѣлюсь с Вами при свиданіи. Пока — еще и еще раз спасибо за Вашу заботу, такую дружескую. Сам не мог зайти еще потому, что прихворнул во вторник, а в среду и сегодня наверстывал Державина.

Изслѣдованіе Берберовскаго письма привело к тому, что она говорит, будто Вы «сами собой подразумѣвались». Она (и я) ждет Вас и М. А. в субботу не-

премѣнно, в 4, в 5, 6... А сейчас — пожалѣйте меня! — иду к Мережковским. Три мѣсяца не видались, пневматички, ужимки, — надо идти! Воображаю упреки в «предательствѣ», в забвеніи и т. д. Интересно только, чего им нужно? Не может быть, чтобы ничего. Ну — пора! Присядем на дорогу. Тронулись. Ваш В. Х.

Четверг.

(На визитной карточкѣ карандашом —
Wladislaw Hodassevitch).

Милый Марк Веньяминович,

я получил от Черниховскаго нѣжное письмо с согласіем, о чем и доношу Вам всеподданѣйше. Так что теперь надо дѣйствовать, дабы не опоздать.

Привѣт М. А.

Ваш **В. Х.**

Дорогой Марк Веньяминович,

вся исторія задѣла меня только потому, что перед нѣкот. людьми (как на зло — из «Возрожденія»!) вышел я чѣм-то вродѣ Хлестакова. Признаюсь — сперва я подумал, что тут не без чьих каверз. Но успокоило меня именно то, что Вы в ней технически замѣшаны. Раз список дѣйствительно переписывали Вы, то, конечно, я понимаю отлично, что просто черт толкнул Вас под руку. Слѣдственно, все в порядкѣ, и мнѣ остается только пожалѣть, что Вам пришлось ѣздить в Boulogne да еще не застать меня дома.

Как раз сегодня получил Вашего «Ленина» и очень благодарю. Всего хорошаго.

Ваш **В. Ходасевич.**

Кого я «хвалил».

1) Цвѣтаева 1, 2, 3, 4
2) Муратов 1, 2
3) Алданов 1, 2, 3, 4, 5
4) Оцуп 1, 2, 3, 4
5) Злобин
6) Божнев 1, 2
7) Бальмонт
8) Гингер
9) Блох 1, 2
10) Терапіано
11) Сухотин
12) Адамович
13) Гиппіус 1, 2
14) Мережковскій

15) Кожемякина
16) Шах
17) Айхенвальд
18) Ремизов
19) Бунин 1, 2, 3, 4
20) Бицилли 1, 2
21) Вейдле 1, 2
22) Кульман
23) Раевскій 1, 2
24) В. Познер
25) Зайцев 1, 2
26) Маклаков
27) Кузнецова
28) Вишняк
29) Осоргин (?)
30) Сирин
31) Кнут
32) Стоянов
33) Снѣсарева-Казакова
34) Поплавскій 1, 2, 3
35) Зензинов
36) Гансон
37) Софіев
38) Ир. Кнорринг
39) Смоленскій
40) Рощин
41) Лукаш
42) Присманова (?)

Кого я «бранил».

1) Куприн х
2) Рѣзников
3) Гр. Бобринскій х
4) Евангулов (без имени)
5) Святополк-Мирскій х
6) Купчинскій
7) Лурье
8) Талин х
9) Кнорринг (Н.)
10) Д-ская
11) В. Андреев 1, 2
12) Пронин
13) Щербаков (?)
14) Цвѣтаева 1, 2
15) Кускова
16) Гофман 1х, 2х (В отвѣт на 4)
17) Гингер
18) Мамченко, 2 (второй раз без имени)
19) Кобяков
20) Дряхлов
21) Очередин
22) Митрополит Антоній

Рѣчь идет только об эмигрантах и о живых.

х — означает лишь о т в ѣ т на полемику, начатую не мной и к кот. я не давал н и к а к о г о личнаго повода.

? — означает не полную похвалу или не полное осужденіе.

Само собой, Алданова я хвалю не так, как Снѣгареву-Казакову. Но с т е п е н и похвал и брани учету не поддаются.

Упоминанія в перечнях и т. д. не приняты во вниманіе, если без оцѣнок и эпитетов.

О с т а в л е н ы б е з о т в ѣ т а н е п р и с т о й н ы я л и ч н ы я н а п а д к и.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР КРАСИН*).

Леонид Борисович Красин был одной из самых ярких и талантливых фигур перваго періода совѣтской власти. Это был очень своеобразный человѣк, и он даже и внѣшностью выдѣлялся среди тогдашних коммунистов, соратников Ленина. Высокій, смуглый, с живыми и широкими жестами, он повсюду обращал на себя вниманіе. Аккуратно подстриженная бородка клином удлиняла его продолговатое лицо с высоким лбом и черными с просѣдью волосами, гладко причесанными в пробор. Когда он улыбался, рот его очень расширялся, обнажая прекрасные бѣлые зубы, а ямочка на щеках углублялась, дѣлая его лицо еще болѣе привлекательным. В его умных, хитровато сверкавших глазах, серьезность чередовалась с задорным весельем: посмотрѣв на Красина, можно было представить себѣ, что он, навѣрное, в дѣтствѣ был шалуном и проказником.

Он всегда был отлично одѣт, его галстук соотвѣтствовал цвѣту костюма и рубашки, и даже булавка в галстукѣ была воткнута как-то особенно ловко и щегольски. Он никогда не носил валенок, несмотря на лютые морозы, и не сидѣл в полушубкѣ, как всѣ его коллеги, в нетопленных помѣщеніях, в холодныя зимы гражданской войны.

Красин был активным большевиком еще до первой революціи и в 1905-6 г., когда он близко сошелся с Лениным**). В послѣдовавшіе затѣм годы реакціи он нѣсколько отошел от активной революціонной работы. Будучи вынужден покинуть Россію, он, начиная с 1908 г., служил в Берлинѣ в качествѣ инженера-электротехника в концернѣ Симменса-Шуккерта. В 1912 г. этот концерн, имѣвшій в Россіи свои заводы, послал его в Москву. Когда в 1914 г., в началѣ войны с Германіей, всѣ нѣмцы были устранены с руководящих постов в русской

---

*) Отрывки из X-й и XIV-й глав вскорѣ выходящей в свѣт книги воспоминаній С. И. Либермана.

**) Извѣстный в партіи также под кличкой Зимин или Никита, он был участником «Искры», и уже в 1903 году был избран в Ц. К.; одно время был «примиренцем» в отношеніи меньшевиков; затѣм, натретьем с'ѣздѣ партіи окончательно примкнул к большевикам.

промышленности, Красин сдѣлался в Петербургѣ управляющим всѣми заводами Симменс-Шуккерта в Россіи. Революція застала его в столицѣ на этом видном посту, обезпечивавшем ему блестящее матеріальное положеніе.

Вскорѣ послѣ февральской революціи 1917 г., я неоднократно встрѣчался с Красиным в Петербургѣ в домѣ наших общих друзей Незвановых. В ту пору Красин отзывался очень отрицательно о позиціи, занятой Лениным и его группой, хотя лично поддерживал с ними связь, тѣм болѣе, что он был старым другом Елизарова, мужа сестры Ленина, Анны Ильинишны. В то время — в період Временнаго Правительства — он считал политику Ленина «бредом утописта» и говорил, что она приведет большевиков к страшной катастрофѣ. В предвидѣніи ея он рѣшил отправить свою семью заграницу и, дѣйствительно, в іюлѣ 1917 г., устроил жену и дѣтей в Норвегіи.

Весной 1918 г. он посѣтил их в Скандинавіи и поѣхал обратно через Берлин. В этот момент Адольф Іоффе вел в Берлинѣ переговоры по разным экономическим вопросам, и привлек к ним Красина в качествѣ консультанта.

Перед отъѣздом из Германіи в Россію, Красину довелось — как он сам потом разсказывал — побывать в германской военной ставкѣ, куда его пригласил генерал Людендорф, желавшій побесѣдовать с ним. Красин описывал, как его, с завязанными глазами, отвезли на автомобилѣ за сотни километров от границы. Разговор с Людендорфом продолжался два часа, причем Красин излагал разныя претензіи совѣтскаго правительства. Людендорф был немногословен, и сущность его рѣчей сводилась к одному:

— Нам нужен ваш хлѣб, и если вы хотите просуществовать, вы должны заботиться о том, чтобы наша армія была сыта.

С возвращеніем в августѣ 1918 г. в Москву, началась очень активная работа Красина в правительственной верхушкѣ; большевики говорили тогда, что в лицѣ Красина они пріобрѣли крупнаго коммуниста и хорошаго экономическаго спеца. Он был сперва завѣдующим отдѣлом снабженія арміи, а затѣм был назначен наркомом путей сообщенія.

Красин был по натурѣ индустріалистом, считал, что главная бѣда Россіи в ея отсталости, и раздѣлял в этом вопросѣ взгляды М. Горькаго. Когда всплыла идея электрификаціи страны, увлекавшая Ленина, она пришлась по душѣ и Леониду Красину. В этом проектѣ он видѣл не только чисто-техническія возможности, но и средство для преодолѣнія политической и культурной отсталости крестьянской массы. В кулуарах

Съѣзда Совѣтов, гдѣ Ленин выступал с первым докладом о большом планѣ электрификаціи, мнѣ пришлось наткнуться на группу собесѣдников: Ленина, Милютина, Красина и нѣкоторых других. Ленин говорил:

— Электричество замѣнит крестьянину Бога. Пусть крестьянин молится электричеству, он будет больше чувствовать силу центральной власти — вмѣсто неба.

Вскорѣ по пріѣздѣ Красина в Москву, я был у него в гостинницѣ Метрополь. Он мнѣ говорил, что понимает, как трудно сейчас работать; но революція идет по своему пути, и для Россіи не может быть другого выхода.

— Страна нуждается в сильной власти, — говорил Красин. Необходимо очистить русскаго мужика от наросшей на нем коросты. Этого в перчатках сдѣлать нельзя. Приходится ломать и уламывать. Всѣ спецы должны нам в этом помогать. Всякій бойкот только на пользу реакціи.

В заключеніе он заявил, что его задача — привлечь к работѣ всѣх лойяльных спецов не-коммунистов, и пригласил и меня принять в ней участіе.

Многочисленныя связи Красина с самими различными общественными слоями, его близость к Ленину, его знакомство с бывшими капиталистическими тузами, его свобода в обращеніи и критическія замѣчанія о власть имущих, и, наконец, его необыкновенное умѣніе обращаться с людьми, создали ему очень скоро особое положеніе в Москвѣ. Он сдѣлался притягательным центром для групп и отдѣльных людей самых противоположных настроеній и направленій.

Ленин цѣнил в нем, прежде всего, синтез настоящаго большевика с хозяйственным спеціалистом: это было то, чего Ленин напряженно искал и долго не мог найти. Ленин считался и с тѣм, что капиталисты платили Красину большія деньги, и что с Красиным не стыдно было появиться в буржуазном свѣтѣ.

— Вот видите, — говорил Ленин в интимном кругу, — Красин будет заграницей лишним доказательством того, что мы не просто фантазеры, книжники и голоштанники.

Ленин стал постепенно направлять к Красину на разрѣшеніе всѣ вопросы внѣшней и внутренней экономики, а затѣм начал привлекать его и к обсужденію общеполитических проблем. Высокая оцѣнка Красина Лениным была очень скоро принята всей коммунистической верхушкой:

— Наш Леонид Борисович, — говорили руководители совѣтской власти — тоже спец; но спец не чужой, не буржуазный, а твердокаменный большевик.

Сам Красин всячески подчеркивал свой европеизм, и всѣм своим поведеніем давал понять, что он, мол, не безправный русскій спец-интеллигент, а один из тѣх, кто творил большевистскую революцію, когда «многіе из вас под стол пѣшком ходили». Он часто намекал, что добровольно вернулся из Германіи в Россію, пошел на матеріальныя лишенія и даже разстался с семьей, которая не хотѣла возвращаться на родину.

Большое вліяніе оказывал Красин на круги интеллигенціи за предѣлами коммунистической партіи. Он сдѣлался центром притяженія для тѣх инженеров и экономистов, которые нѣкогда, в молодости, сочувствовали большевистскому теченію, но впослѣдствіи от него отошли. Им гораздо легче было сойтись с Красиным, чѣм с Троцким и Лениным. Я часто встрѣчал у него Кржижановскаго, Старкова и др. Благодаря Красину, они постепенно возвращались к активному сотрудничеству с правящей партіей и выдвигались на очень видные посты.

К Красину,. кромѣ того, тянулись крупные безпартійные инженеры, люди не политическіе, но настроенные анти-коммунистически. Они были выброшены революціей за борт и ютились гдѣ-то на задворках хозяйственных учрежденій в качествѣ безмолвных консультантов и второстепенных сотрудников. Многіе из них знали Красина и раньше, встрѣчаясь с ним в банках, в пріемных у директоров разных предпріятій и пр. Теперь они приходили к Красину и начинали обычно с напоминанія:

— Помните, Леонид Борисович, как мы встрѣчались с Вами в Русско-Азіатском Банкѣ или у Путилова?...

Дѣло в том, что Красин был до революціи не только директором заводов Сименс-Шуккерта в Россіи, но также и директором крупнаго машиностроительнаго завода Общества «Барановскій», и через финансировавшій банк его связи и знакомства простирались очень далеко. Такіе тузы русской промышленности, как предсѣдатель Казанской желѣзной дороги, предсѣдатель Нижегородскаго Биржевого Комитета — очень яркая фигура на фонѣ русскаго купечества, главные инженеры Сормово-Коломенских заводов, наконец, вся головка петроградской тяжелой индустріи — всѣ они толпились в пріемной у Красина.

Наконец, там-же можно было встрѣтить и дѣльцов сомнительной репутаціи, спекулянтов военнаго времени, — людей, которые до революціи были в услуженіи у больших промышленных концернов для устройства всяких дѣл с военными и

другими вѣдомствами, для полученія заказов, закупки товаров и пр.

Вокруг Красина группировались и дѣятели артистическаго міра, тѣм болѣе, что брат его, Борис, был связан с театром, а русскіе художники и артисты того времени сильно мечтали о возобновленіи связи с Европой. Через Красина можно было познакомиться с разными европейцами, которые, по пріѣздѣ, являлись прежде всего к нему. Многіе художественные дѣятели театра и искусства носились в 1918-1919 г.г. с идеей показать Европѣ русское искусство. Это должно было, по их мнѣнію, служить одним из средств для прорыва блокады. Насколько мнѣ помнится, сама Гельцер, извѣстная русская прима-балерина, очень энергично работала в этом направленіи.

Впрочем, многіе артисты и артистки являлись и ко мнѣ с записками от Красина: они нуждались в топливѣ, а топливо было по моему вѣдомству. Поэтому и в моей пріемной часто сидѣли и народные артисты, и прима-балерины, и даже их очень аристократическіе в прошлом мужья. Они умоляли о дровах — и приглашали «на борщок». Немало было среди них и очень несчастных, которых Чека съумѣла завербовать в качествѣ служащих; и каждый раз, получая такое приглашеніе, я должен был думать про себя:

— Не ловушка-ли это?

Красин обладал особым свойством говорить с каждым человѣком так, как тому было пріятно, и многіе изливали ему свою душу, видя в нем не-большевика, а «своего человѣка». Он, дѣйствительно, оказывал немало услуг, особенно в отношеніях с Чека, которая тогда свирѣпствовала. По отношенію к этому вѣдомству он держал себя очень независимо, и мнѣ приходилось слышать, как он повелительно требовал по телефону:

— Освободите немедленно такого-то, он мнѣ необходим для работы. Я за него ручаюсь!

Бесѣдуя со своими безпартійными посѣтителями и сотрудниками, он говорил о коммунистической власти в третьем лицѣ: «они» и «мы». Конечно, в разговорѣ с Кремлем или с Чека, или с другими коммунистическими учрежденіями, он тѣ же слова употреблял в обратном смыслѣ. Но и в частных бесѣдах со спецами, он любил подчеркивать, что Ленин всегда занимает особое положеніе и что к Ленину можно относиться с полным довѣріем:

— Он не то, что прочіе коммунисты-головотяпы.

Популярность Красина среди не-коммунистов имѣла для

него неожиданныя послѣдствія. Однажды к нему явилась жена офицера, арестованнаго Чека по обвиненію в сотрудничествѣ с бѣлогвардейцами; она просила о заступничествѣ. Красину удалось вызволить арестованнаго, но знакомство с нею кончилось тѣм, что она покинула мужа и сблизилась с Красиным; этим объясняется, что Красин принадлежал к числу очень немногих наркомов, живших не в Кремлѣ. У себя на дому он не принимал никого, кромѣ Авелія Сафроновича Енукидзе, секретаря Центральнаго Исполнительнаго Комитета. С Енукидзе Красина связывала давнишняя тѣсная дружба, еще с тѣх пор, как Енукидзе работал у него в Баку в качествѣ электротехника, чуть ли не за пятнадцать лѣт до революціи.

*
**

В первый період работы, Красину приходилось оказывать немало покровительства частному капиталу, к которому приходилось тогда обращаться за помощью в самые трудные моменты.

Почти всѣ представители русскаго капиталистическаго класса разбрелись в разныя стороны, многіе из них бѣжали заграницу, другіе перешли на положеніе мелких служащих и стушевались. Среди тѣх частных предпринимателей, которые готовы были с нами работать не в качествѣ спецов, а в качествѣ капиталистов, — было не мало ловкачей, пройдох и даже просто мошенников. Они многим рисковали, обманывая и власть, и населеніе, и ставили себѣ цѣлью быстро нажить капиталец и исчезнуть с ним безслѣдно. Конечно, не всѣ были таковы, но на общей массѣ их лежала печать легкомысленнаго и беззастѣнчиваго авантюризма.

Но все-же их услугами приходилось пользоваться в нѣкоторые критическіе періоды. Я упоминал уже выше о спеціальном учрежденіи, созданном Красиным, в бытность его наркомом путей сообщенія, для заготовки дров — Центржелѣзкомѣ, во главѣ котораго он поставил бывшаго товарища министра Временнаго Правительства, Тахтамышева. К заготовкѣ дров пришлось привлечь частных предпринимателей, и здѣсь, в вѣдомствѣ Красина, им дали гораздо больше вóльностей и прав, чѣм, напримѣр, у меня в Главлѣскомѣ. Красин собрал в этом учрежденіи множество старых спецов желѣзнодорожнаго дѣла, которым он довѣрил это учрежденіе. Когда я дѣлал попытки регулировать работу этих частных заготовителей и

поставить ее под контроль, они всячески мнѣ противодѣйствовали и атаковали меня за мой «коммунизм».

Впослѣдствіи, впрочем, этому аппарату пришлось дорого поплатиться. Цѣлый ряд заготовителей разъѣзжал по желѣзным дорогам с карманами, набитыми спеціально для них заготовленными «керенками», с грузами продовольствія, в сопровожденіи спеціально приставленных к ним комиссаров. Нѣкоторые из них работали на дорогах, граничащих с Польшей, и они не удержались от того, чтобы вмѣстѣ с «керенками», грузами продовольствія и даже комиссарами, переѣхать навсегда на ту сторону границы и бѣжать из Россіи.

В 1918 году Леонид Красин был поставлен во главѣ новаго учрежденія — Внѣшторга. В то время о внѣшней торговлѣ можно было говорить с большой натяжкой; блокада совѣтской Россіи, объявленная союзниками, была еще в силѣ; никакія серьезныя сдѣлки ни с союзниками, ни со странами нейтральными, ни с Германіей не были возможны. А так как нужда в цѣлом рядѣ товаров, которых Россія не производила, была очень велика, то тѣ или иныя совѣтскія учрежденія, в особенности Чека, старались добывать их путем контрабандной торговли на границах. Предпріимчивые молодые люди отправлялись в пограничные районы, снабженные бумажными деньгами (болѣе надежные коммунисты получали для этих операцій драгоцѣнности), и, пользуясь услугами профессіональных контрабандистов, пріобрѣтали кое-какіе заграничные товары, напримѣр, краски и т. п. Конечно, все это носило очень случайный характер, вся работа была внѣ контроля, да и размѣры всей этой государственной «внѣшней торговли» были весьма мизерны.

Красину пришлось начать с централизаціи разнообразных отдѣлов всевозможных совѣтских учрежденій, занимавшихся этим дѣлом: он сдѣлался, так сказать, шефом государственной контрабанды. К группам молодых людей он приставил кой-кого из старых коммерческих дѣльцов, которых он знал по прежним временам, ибо ни опыта, ни знанія товаров у работников «внѣшней торговли» не было. Эти дѣльцы оказались весьма полезными и проявили немалыя способности на первых порах государственно-организованной борьбы с блокадой. Они скоро нашли пути и в вѣдомство финансов, в частности в его отдѣл храненія государственных цѣнностей, и в Чека, и вообще проявили большое рвеніе. Всегда-ли оно было безкорыстно — вопрос иной...

*
**

В 1921-22 году Красин пускал корни в Лондонѣ, пріобрѣтал все новыя знакомства и завоевывал симпатіи крупных англійских промышленных кругов. Он очень подходил к этой своей роли: практик, он легко находил общій язык с самыми практичными людьми в мірѣ — англичанами. Он добился расположенія Ллойд-Джорджа, с которым встрѣчался неоднократно. В частных разговорах с британским премьером он мог позволить себѣ жалобы на тѣ трудности, с которыми он постоянно сталкивался в своей работѣ. Мистер Вайсс, нѣкогда встрѣчавшій нас в Копенгагенѣ, стал теперь завсегдатаем в домѣ Красина. Секретарша Ллойд-Джорджа сдѣлалась другом семьи Красина, переѣхавшей тѣм временем в Лондон.

Дом Красина был центром, гдѣ встрѣчались и его ближайшіе сотрудники, и русскіе эмигранты, и англійскіе дѣльцы. Любовь Васильевна, жена Красина, была прекрасной хозяйкой: она умѣла принимать гостей, устраивать встрѣчи и представлять Красину людей, свиданіе с которыми было полезно или желательно. Дом был полон молодежи; Красин был третьим мужем Любови Васильевны, и у нея было шестеро дѣтей, из которых трое от брака с Красиным. Мой сын в это время был уже в Лондонѣ, и во время моих отъѣздов в Москву жил у Красиных. Я стал непремѣнным членом красинской семьи и часто имѣл возможность обсуждать с Красиным не только вопросы моего вѣдомства, но и общей политики.

Лица, желавшія повидать Красина, обращались обычно к Любови Васильевнѣ, которая их приглашала на чай. Когда вся семья и гости сидѣли уже за столом, из сосѣдней комнаты появлялся Красин, всегда с улыбкой на лицѣ, с характерными для него широкими жестами. Обходя всѣх присутствующих, он то похлопает по плечу одну дочку, то потянет другую за косу, мило пожурит третью за буржуазныя наклонности, потом сядет за стол и разскажет какую-нибудь забавную исторію, вродѣ того, как одна чопорная англичанка в высшем обществѣ хотѣла сдѣлать ему комплимент, и сказала:

— Вы совсѣм не похожи на большевика, вѣдь вы не носите ножа в зубах!

Среди гостей, которых ему представляла Любовь Васильевна, было не мало русских эмигрантов, ненавидѣвших совѣтскую власть и не скрывавших своих политических взглядов; но они хотѣли вступить в коммерческія отношенія с Россіей

и возобновить свою торговую дѣятельность. Они были очень полезны, почти необходимы в первый період дѣятельности Красина в Лондонѣ.

Хотя почти всѣ посѣтители Красинскаго дома были из кругов хозяйственных и являлись по дѣлам торговли и концессій, случались и гости, пріѣзжавшіе с чисто политическими цѣлями. К числу послѣдних надо отнести, напримѣр, французскаго соціалиста Лафона, посѣтившаго Красина в 1921 году.

Лондон был единственным западно-европейским центром, в котором Совѣтская власть имѣла настоящаго представителя, дипломата. Сюда со всѣх сторон стекались делегаты различных стран обоих полушарій, чтобы имѣть возможность говорить с оффиціальным, дѣловым представителем государства, которое окружено было китайской стѣной... Здѣсь приходилось мнѣ встрѣчать депутатов французскаго парламента, крупных промышленников Голландіи, Бельгіи, и стран двух американских континентов. Всѣм им казалось, что Красин — это большевик, с которым можно сговориться.

*
**

Положеніе Красина дѣлалось все болѣе трудным. На него была возложена поистинѣ нелегкая обязанность. Он должен был представлять богатую сырьем и продовольствіем страну, готовую торговать с внѣшним міром, соблюдая при этом всѣ традиціонныя нормы дипломатической осторожности, воздерживаясь от вмѣшательства во внутреннія дѣла Англіи и не прибѣгая к содѣйствію революціонных элементов. А в то же время, в противорѣчіе с этой цѣлью, он, в сущности, должен был добиваться, в первую очередь, политическаго признанія совѣтской власти и цѣлаго ряда других, связанных с этим, политических уступок совѣтскому правительству. Так смотрѣла Москва на дѣятельность Красина. Люди, близкіе к Ллойд-Джорджу, говорили Красину:

— Премьер знает, что вы и они (совѣтская Москва) это не одно и то же; он будет очень рад, если вы нам подскажете, как нам дѣйствовать для поддержки и укрѣпленія вашего авторитета в Москвѣ.

Это двойственное положеніе вызывало оппозицію к Красину и в Лондонѣ, и в Москвѣ. Среди англійских коммунистов, у нѣкоторых революціонных трейд-юніонистов и т. д.— он не пользовался доброй славой. Считая, что в кругах Красинской делегаціи воцарилось чистое «торгашество», они

протягивали свои нити в Москву, в Наркоминдѣл, гдѣ Литвинов дѣлался все болѣе вліятельной фигурой, и к руководителям русскаго коммунизма. А в Наркоминдѣлѣ и в Совнаркомѣ соображенія чисто политическія преобладали над коммерческими, как я однажды убѣдился из моего разговора с Лениным.

Начиная с 1922 года, обстоятельства начали складываться все менѣе и менѣе благопріятно для Красина.

Всѣ европейскія столицы внимательно присматривались к каждому его шагу в Лондонѣ. Общее мнѣніе европейских правительств и руководящих политических кругов сводилось к тому, что с Россіей слѣдует поддерживать коммерческія отношенія, но что политическое сближеніе с нею невозможно. Ни одна из больших держав оффиціально не признала совѣтскаго правительства, и главная цѣль Ленина — скорѣе политическая, чѣм экономическая — не была еще достигнута. В Наркоминдѣлѣ чувствовалось недовольство Красиным, даже прямая враждебность к нему, и он фактически превращался гораздо больше в дѣятеля Внѣшторга, чѣм Наркоминдѣла.

Тѣм временем и здоровье Ленина значительно ухудшилось, и надежды на его выздоровленіе все уменьшались; для Красина, вліяніе котораго в большой степени было основано на личном довѣріи Ленина, это усугубляло трудность положенія. В совѣтских кругах все чаще говорили, что Наркомвнѣшторг — это «лавочка Красина», которая при націонализаціи промышленности и в условіях «Нэп»-а вообще не нужна, что каждая промышленная организація совѣтской Россіи лучше справится с задачей закупки и продажи за-границей своих издѣлій, чѣм Внѣшторг, и что посредник излишен и даже вреден. Потом стали открыто заявлять, что Внѣшторг — паразитическое учрежденіе, живущее за счет других хозяйственных учрежденій страны, и что его, поэтому, слѣдует упразднить.

Кампанія была направлена также и лично против Красина, которому ставили в вину не только очень многое из его дѣятельности, но и его частную жизнь за-границей. Его дѣти подростали, получая европейское образованіе «буржуазнаго характера», жили в состоятельной англійской средѣ; его дочери мечтали о хороших женихах. Кругом сплетничали о личной жизни Красина, о его слабости к прекрасному полу; через этих близких к нему лиц, к нему подчас проникали не совсѣм чистоплотные, рваческіе элементы, с откровенной надеждой нажиться на связях с совѣтским послом. Красин все это отлично понимал, но оправдывался довольно убѣдительно:

— От того, что тот или иной спекулянт наживется на том или ином дѣлѣ, совѣтская Россія не погибнет, наоборот, она будет имѣть к своим услугам тѣх спеціалистов, которых этим путем удастся купить.

Наконец, в Москвѣ рѣшили, что Красин слишком «засидѣлся» за-границей, что ему полезно было бы подышать воздухом родины. Красину с женой и средней дочерью пришлось цѣлую зиму провести в Москвѣ. Когда я прибыл затѣм в Москву и посѣтил Красина, его дочь немедленно спросила меня:

— Как вы думаете, выпустят нас за-границу или нѣт?

Я выразил изумленіе по поводу этого вопроса, но она вполголоса прибавила:

— Авель (Енукидзе) говорит, что Коба (Сталин) органически не выносит отца, а фактически Коба сейчас хозяин положенія.

Единственной опорой Красина оставался Авель Сафронович Енукидзе, который пользовался в тѣ времена большим расположеніем Сталина. Зная отношеніе «верхушки» к Красину, Енукидзе очень совѣтовал ему не спѣшить с отъѣздом заграницу и держаться поближе к партійной головкѣ: он совѣтовал ему вмѣстѣ с тѣм не поддерживать дружбы с Троцким, с которым Красин нѣсколько сошелся в этот свой пріѣзд, в частности в виду общности их взглядов на внѣшнюю торговлю.

Между тѣм, взаимоотношенія совѣтской власти с Англіей дѣлались все болѣе натянутыми и завершились знаменитой нотой англійскаго правительства, так называемым ультиматумом Керзона от 9-го мая 1923 года. Одним из главных требованій Англіи было прекращеніе пропаганды коммунизма в других странах, в частности на Ближнем Востокѣ. В Москвѣ считали, что этот ультиматум стоял в связи с исторіей переговоров с Урквартом, договор с которым за восемь мѣсяцев так и не был утвержден.

В тот момент, когда в Москвѣ была получена эта англійская нота, Красин находился в Россіи. Ему было предложено немедленно отправиться в Англію. В этот вечер — это был чудесный весенній вечер — меня вызвали по телефону из Кремля и потребовали, чтобы в 7 часов утра я явился на аэродром. В назначенное время я встрѣтил там Красина и его неизмѣнных двух секретарей — Грожана и Гринфельда. Оказалось, что мы должны немедленно летѣть прямо в Лондон. Нам предоставлен был маленькій четырехмѣстный аэроплан;

пилотом его был, кажется, нѣмец. К вечеру мы добрались до Берлина, гдѣ переночевали, а утром отправились дальше — воздушным путем в Лондон.

По дорогѣ в Лондон, Красин объяснил мнѣ тайныя причины моей экстренной командировки вмѣстѣ с ним. В Кремлѣ считались с возможностью, что послѣ англійской ноты, если конфликт не будет улажен, всѣ совѣтскіе представители-коммунисты должны будут уѣхать из Англіи, — и в этом случаѣ я, как не член партіи, смогу остаться там во главѣ нашей торговой делегаціи. Как извѣстно, переговоры закончились благополучно, и мнѣ не пришлось взять на себя этой функціи.

По дорогѣ я с невольным восхищеніем смотрѣл на Красина, с легкостью переносившаго тяжелый перелет. В пути он выпил бутылку краснаго вина и начал диктовать своему секретарю большую статью о будущей роли авіаціи в борьбѣ с лѣсными пожарами. Между тѣм, наш самолет падал из одной воздушной ямы в другую, и я чувствовал себя совершенно больным.

Как только мы прибыли в Лондон, к нам стали приходить друзья Красина и люди, близко стоявшіе к англійскому правительству. Они всѣ говорили, что инцидент на этот раз будет улажен и что надо в этом дѣлѣ помочь Красину: если он добьется успѣха, это укрѣпит его позицію в Наркоминдѣлѣ, особенно в той его группѣ, которая была к нему в оппозиціи. А так как с англійской стороны главным требованіем являлся отказ совѣтской Россіи от коммунистической пропаганды, то Красину было нетрудно пойти тут на уступки, принимая во вниманіе его собственные взгляды. Но приходилось помнить, что Москва играла роль руководительницы революціоннаго движенія во всем мірѣ и не должна была с легкостью отказываться от этого исключительнаго положенія. Впрочем, в тот момент казалось, что в Германіи революціонная кривая идет вверх и что уступки, если их даже и придется сдѣлать Англіи, будут чисто словесными и недолговѣчными.

Недовольство Красиным в Москвѣ и нѣкоторыя личныя интриги привели к тому, что в концѣ 1924 г. он был переведен на пост посла в Париж. Это было для него большим ударом, ибо центром торговых и концессіонных переговоров являлся тогда Лондон. Во Франціи же перед совѣтским послом стоял, главным образом, вопрос о старых займах и французских кредиторах. Вся работа Красина сводилась теперь к тому, чтобы искать примиренія между держателями старых облигацій и совѣтским режимом. Это была задача рѣшенія квадратуры

круга, ибо в Москвѣ никто в сущности никогда серьезно и не думал идти на уступки в этом отношеніи. Красин отлично сознавал, что занимался толченіем воды в ступѣ.

Послом в Лондон был назначен Христіан Георгіевич Раковскій. К этому времени в Москвѣ начала образовываться коммунистическая оппозиція, и Кремль рѣшил снять с отвѣтственных постов видных ея представителей и отправить их в качествѣ послов в Европу. Одним из первых уѣхал за-границу Раковскій, самый близкій друг Троцкаго.

*
**

Чѣм труднѣе дѣлалось положеніе Красина, тѣм больше времени приходилось ему проводить в Россіи.

В один из моих пріѣздов в Москву, я, к моему великому огорченію, узнал, что Красин серьезно болен бѣлокровіем; передавали, что по постановленію Политбюро он должен был быть помѣщен для изслѣдованія в знаменитую совнаркомовскую больницу. В ней, по предписанію Политбюро, оперировали Фрунзе; впослѣдствіи, в 1937 г., на московских процессах заявляли, будто там, по приказу Ягоды, был отравлен Максим Горькій. Когда я позвонил Красину, он очень обрадовался и попросил меня навѣстить его. Я немедленно поѣхал в больницу.

Меня ввели в маленькую комнату, и я увидѣл перед собой обреченнаго человѣка. Красин сильно похудѣл, лицо его заострилось; он попытался шутить, но шутка его была горькая, и видно было, что не по своей волѣ он был устроен в этой больницѣ; он предпочел бы европейских врачей и близость своей семьи, остававшейся за-границей. Впервые я увидѣл, как прежняя его постоянная жизнерадостная улыбка смѣнилась желчной насмѣшливостью, озлобленным сарказмом — над другими, над самим собой, над московской властью, и над тѣм буржуазным міром, который окружал его за-границей и в котором он себя чувствовал, как рыба в водѣ.

Через нѣсколько недѣль он выписался из больницы и выѣхал в Париж, гдѣ он, однако, почти не занимался дѣлами. В это время, — в 1925 г. — Париж становился все болѣе и болѣе важным центром совѣтской дипломатіи. В октябрѣ 1925 года на парижскій пост был переведен из Лондона Раковскій, а Красин был отправлен обратно в Лондон.

В ноябрѣ 1926 года я получил в Париж телеграмму от жены Красина с просьбой немедленно пріѣхать в Лондон. Я тотчас же исполнил эту просьбу. Когда я вошел к Красину,

он уже фактически был при смерти, но однако, узнал меня; я не могу забыть его слов, которыя, быть может, были бредом умирающаго, а, быть может, имѣли для него очень глубокій смысл:

— Весь мір — маленькія коробочки, а люди спички. Каждый живет своими маленькими мыслями в своем маленьком міркѣ. Как я жалѣю всѣх их! Всѣ борются, грызутся, а на самом дѣлѣ это только игра для самозабвенія. Пора уходить!

На лицѣ его была еще какая-то улыбка, наряду с печатью смерти.

Он умер 24-го ноября 1926 года.

С Красиным ушел очень крупный и интересный человѣк. Меня часто спрашивали, каково было мое мнѣніе о нем. Я всегда отвѣчал, что с обычной, обывательской, точки зрѣнія, Красина слѣдовало бы назвать личностью «аморальной», ибо он не знал различія между понятіями добра и зла, считал их равноцѣнными и ни во что, в сущности, не вѣрил. Ему чужды были и догматизм, и нетерпимость, и ограниченность многих его товарищей по партіи, и если он и оправдывал жестокость совѣтскаго режима, то лишь потому, что полагал ее неизбѣжной в борьбѣ с косностью и отсталостью Россіи. Он часто говорил, что, начиная с Ивана Грознаго, каждый шаг Россіи по пути вперед сопровождался избіеніем и жертвоприношеніем тысяч и милліонов людей. Это тяжело, мучительно, но исторически необходимо. Несмотря на свой скептицизм и даже цинизм опытнаго дѣлового человѣка, Красин был несомнѣнным патріотом. Он искренне любил Россію, всегда был готов служить ей и содѣйствовать ея прогрессу. Интересы родины стояли у него всегда на первом планѣ, и в дѣятельности своей он неизмѣнно руководился тѣми высшими соображеніями, которыя уживались в его душѣ наряду с отрицательным отношеніем ко всякаго рода звонким фразам и ходячим лозунгам.

Лично для меня и в моей работѣ, и отчасти даже в моей личной жизни, Красин сыграл большую роль.

Меня с ним многое связывало, и долгое время, в особенности послѣ смерти Ленина, Л. Б. Красин был одним из немногих совѣтских дѣятелей, в которых я находил для себя опору. Со своей стороны и он — я в этом имѣл не раз случай убѣдиться — высоко цѣнил мою работу, и не раз давал этому доказательства; он знал тѣ препятствія, которыя чинились мнѣ со стороны нѣкоторых московских органов и не только осуждал их, но и страдал из-за этого. Под самый конец моей

московской службы, когда моя жена хотѣла выѣхать за-границу и повидать нашего единственнаго ребенка, ГПУ отказало ей в паспортѣ. Красин пришел ей на помощь, лично ѣздил по ея дѣлу в ГПУ и когда, наконец, она получила паспорт и возможность пріѣхать ко мнѣ, послал с ней слѣдующее письмо:

«Я надѣюсь, что Вас не огорчат и не разочаруют трудности, которыя встрѣтила Ваша жена. Вы дѣлаете большое дѣло. Если нѣкоторые этого и недооцѣнивают, то Вы вѣдь работаете не для отдѣльных людей, а для большой Россіи. Поэтому продолжайте спокойно свою работу».

Можно сказать, что, поскольку Ленин был в первую очередь революціонер и затѣм государственный человѣк, постольку Красин дѣйствовал только как государственный человѣк.

Красин начал свою дѣятельность совѣтскаго сановника в роли «Чуснабарма» (Чрезвычайнаго Уполномоченнаго Снабженія Арміи). Он вѣрил в свое дѣло и любил его, часто говорил об исторической миссіи возрождающейся Красной Арміи, и повсюду подчеркивал, что нужды арміи должны быть на первом планѣ. Он неоднократно говорил в кругу близких: «Они за Коминтерн, а я за Красную Армію». Как жаль, что он ушел во цвѣтѣ сил, еще молодым человѣком, и не было ему суждено увидѣть эту армію в процессѣ выполненія своей геройской миссіи не только в отношеніи своей родины и своего народа, но и в отношеніи всего цивилизованнаго человѣчества, в борьбѣ с общим врагом...

С. И. Либерман.

ИЗ МОЕГО ПРОШЛАГО

Мнѣ часто приходила мысль, что меня, в сущности говоря, надо считать счастливым человѣком. Несмотря на весь ужас жизни, нас окружающей — я счастлив тѣм, что видѣл другую жизнь — красивую! И видѣл людей замѣчательных, великих... Не только видѣл и встрѣчался с ними, а со многими из них и дружил.

Вот об этих встрѣчах мнѣ здѣсь и хочется поговорить. Может быть, старым людям будет пріятно вспомнить о тѣх, о ком я буду писать, а молодежь — может быть и молодежь заинтересуют мои разсказы.

Я уроженец города Таганрога. Отец мой был большим любителем музыки и близко знал многих артистов, а с нѣкоторыми из них и дружил, как, напр., с Г. Венявским. Мой отец был богатым человѣком, и дом его был широко для всѣх открыт, особенно для артистов.

Мнѣ было 10 лѣт — но я уже давно играл на скрипкѣ! — когда в 1881 году к нам пріѣхал Венявскій и пѣвица Desiré-Artot. Венявскій жил у нас. И я как сейчас помню их концерт, — он играл концерт Мендельсона и свои вещи. Этот концерт, между прочим, был его послѣдним или одним из послѣдних. Он играл на нем уже совершенно больным, а пріѣхав в Москву, слег и скоро скончался. Помню, как он у нас дома играл. И я ему играл—концерт Віотти. Какого он был мнѣнія о моей игрѣ, не знаю, — помню только его слова: "rappelle toi, ne deviens pas racleur de violon". Через нѣсколько лѣт пріѣхал в Таганрог другой знаменитый скрипач, Авг. Вильгельми. Меня повели к Вильгельми — он нашел у меня изрядныя способности и предложил моему отцу взять меня к себѣ; жил он у себя в имѣніи на Рейнѣ — в Bibrich-Mosbach. Я страшно обрадовался — мысль о возможности бросить гимназію и ненавистные мнѣ латынь и греческій привели меня в восторг... Но это оказалось не так просто. Семья наша греческая, патріархальная, главой семьи был дѣдушка и как раз тот из двоих моих дѣдушек, который ничего общаго с музыкой не имѣл; другой дѣдушка был не только большой любитель музыки, но и композитор. И

без разрѣшенія дѣдушки ничего нельзя было рѣшать. Вот отец миѣ и говорит: — «ну, иди к дѣдушкѣ разговаривать»... Я пошел. Дѣдушка меня любил, но я знал его взгляды, а потому начал под'ѣзжать издалека — вот, мол, знаменитый Вильгельми находит, что у меня талант и что мнѣ надо серьезно учиться... Дѣдушка на это резонно отвѣтил: — «а кто тебѣ мѣшает серьезно заниматься?» — И тогда пришлось сказать, что Вильгельми предлагает взять меня с собой в Германію. — «Это зачѣм же?» — «А потому что я хочу быть артистом!» — «Ах, артистом!?» — И тут дѣдушка перекрестился и сказал: «Слава Богу, до сих пор у нас в семьѣ такой дряни не было...» Дѣло было кончено, — Вильгельми уѣхал к себѣ на Рейн без меня.

И вот, через два года, когда дѣдушка уже умер, к нам в Таганрог в 1887 году пріѣхал Петр Ильич Чайковскій. Мнѣ было тогда 16 лѣт. Эта встрѣча рѣшила мою судьбу — я сдѣлался музыкантом. Я в это время играл уже порядочно и брал уроки у замѣчательнаго музыканта В. И. Сук. В. И. Сук был тогда очень молод — ему было, может быть, лѣт 20 — и дирижировал он симфоническим оркестром таганрогскаго Музыкальнаго Общества. Мы были с ним очень дружны, и эта дружба продолжалась до конца его жизни. Впослѣдствіи он сдѣлался дирижером московской императорской оперы и умер уже в совѣтское время, сравнительно недавно.

П. И. Чайковскій пріѣхал в Таганрог погостить к своему брату, Ипполиту Ильичу, который в это время был управляющим Общества Пароходства и Торговли. Его пріѣзд был для Таганрога, конечно, событіем. Мои родители, которые были в дружеских отношеніях с Ипполитом Ильичем и его супругой, просили позволенія показать меня Петру Ильичу и с ним посовѣтоваться, стоит ли мнѣ начинать карьеру музыканта. Я играл Петру Ильичу — он нашел у меня безусловное дарованіе и совѣтовал меня отправить либо в Пражскую Консерваторію, куда предлагал дать рекомендательное письмо, либо в Москву — и в сентябрѣ я явился на вступительный экзамен. Этот день был, конечно, для меня незабываемым. Когда меня вызвали, из за стола поднялся Петр Ильич и подвел меня к экзаменаціонной комиссіи. Что он говорил, я не помню, но чего я не забуду никогда — сѣл за фортепіано аккомпанировать мнѣ Концерт Шпора. Как я играл, тоже не помню—знаю, что был принят на старшій курс к профессору Гржимали. Вѣсть о том, что Петр Ильич сам мнѣ аккомпанировал, конечно, быстро разлетѣлась по Консерваторіи и, как я потом узнал,

говорили: «Петр Ильич привез откуда то какого-то мавра!» Эта кличка осталась потом за мной до конца моего пребыванія в Консерваторіи.

Поступив в Консерваторію, я сдѣлался протежэ Петра Ильича, и с этого момента мое общеніе с Петром Ильичем не прекращалось до самой его смерти.

Обстоятельства сложились так, что я скоро близко сошелся с семьей Н. Н. Мамонтова, у котораго воспитывалась крестная дочь Петра Ильича, дочь Г. А. Ларошa, самого большого друга Петра Ильича. В этом домѣ я часто встрѣчал не только Петра Ильича, но и его брата Модеста. Через год или два я сдѣлался негласным женихом Ольги Ларош — вскорѣ Петр Ильич и Модест Ильич превратились для меня в дядю Петю и дядю Модю. Модест Ильич стал крестным отцом моей дочери Ольги. Кромѣ того я постоянно встрѣчал Петра Ильича у профессора Звѣрева, у котораго воспитывались в это время мои новые друзья — Рахманинов и Прессман. Петр Ильич жил около Москвы, в Клину, но постоянно бывал в Москвѣ — он довольно часто дирижировал Симфоническими Концертами и, конечно, я всегда играл под его управленіем. Нигдѣ так не узнается музыкант, как в совмѣстной работѣ, а в особенности при дирижерствѣ: всѣ указанія, основные принципы интерпретаціи, всѣ завѣты этого геніальнаго музыканта до сих пор живут во мнѣ. Кромѣ концертов, мнѣ много пришлось музицировать с Петром Ильичем, особенно памятны репетиціи его тріо в его присутствіи, когда я, молодой скрипач, имѣл счастье играть с такими артистами, как Зилоти и Брандуков. Кромѣ того, я часто ѣздил в Клин к Петру Ильичу — просто повидать его, а иногда в чем-нибудь помочь, что-нибудь переписать. Описывать Петра Ильича не стану — о нем много писали. Скажу лишь, что не только я, но всѣ мы, обожали его: болѣе привѣтливаго, милаго и добраго человѣка я не могу себѣ представить. Таков же был и его брат Модест. Кого из них мы любили больше, сказать трудно. Когда я сдѣлался женихом любимой крестницы Петра Ильича, он сказал: — «Вот на свою голову привез я этого мавра, чтобы он похитил нашу Дездемону». — О Петрѣ Ильичѣ и его обаяніи кто-то сказал, что когда он входит в комнату, в комнатѣ становится свѣтлѣе.

Вспоминая Петра Ильича, невольно вспоминаешь забавные и характерные для него случаи. Помню такой. Спектакль «Пиковой Дамы» — мы в ложѣ у Н. С. Звѣрева. В антрактѣ к нашей ложѣ подошел какой-то молодой человѣк и отвел Петра Ильича в сторону. Пошептавшись с ним, Петр Ильич вернулся

к нам и спросил, у кого есть с собой деньги. Помню, Зилоти дал ему сто-рублевую бумажку. Когда он вернулся, Зилоти и Звѣрев спросили: кто этот господин?... — «Не знаю», — был отвѣт. — «А зачѣм тебѣ нужны были деньги?» — «Он просил». — «А зачѣм?» — «Раз просит, значит надо — я ему и дал». — Всѣ согласились, что это вполнѣ логично. Другой случай. Был у Петра Ильича в домѣ слуга, у котораго был сынишка Егорка, лѣт 4-х. Мальчишка, конечно, в домѣ пользовался полной свободой. И вот как-то пріѣзжаю я к Петру Ильичу — нужно было что-то ему спѣшно переписать. Я сѣл в столовой писать, а Петр Ильич — у себя в кабинетѣ. Через нѣкоторое время Петр Ильич входит ко мнѣ и дѣловым тоном говорит: — «Коля, придется нам с тобой сходить в Клин». — «Зачѣм?» — спрашиваю его. — «Егоркѣ надо купить мармеладу, а то он не дает мнѣ писать». — Вхожу в кабинет и вижу, что Егорка сидит на письменном столѣ. — «Петр Ильич, да сгоните его со стола — дайте ему шлепку!» — «Что ты!... да развѣ можно? — вѣдь он обидится!» — И это он говорил серьезно. И мы ходили в Клин за конфетами для Егорки. Таков был Петр Ильич. Еще один случай, для него характерный. Петр Ильич никогда не был на Волгѣ, и вот мы его уговорили проѣхаться от Нижняго до Астрахани. Весной при половодьи, чудесная погода, великолѣпные пароходы, комфорт, а главное — в началѣ мая мало народа ѣздит. А Петр Ильич был очень нелюдим. Вот мы его соблазнили, и он поѣхал — конечно, один. Пріѣхал в восторгѣ — захлебывался, описывая красоту Жигулей, величіе Волги и т. д. А под конец разсказал, что всю эту прелесть испортил непріятный случай. — «Гдѣ-то на остановкѣ входит на пароход веселая компанія: двѣ дамы, офицеры и еще кто-то... Я сидѣл в гостиной, читал книгу. Слышу, даму уговаривают спѣть, а она говорит: — «Как же я буду пѣть без аккомпанимента?» — «Ну, мы найдем», — отвѣчает офицер. Подходит ко мнѣ, галантно расшаркивается. — «Простите, — говорит, — не играете ли Вы случайно на фортепіано и не будете ли любезны проаккомпанировать Людмилѣ Львовнѣ» Я согласился и подошел к фортепіано. Эта Людмила Львовна уже достала пароходныя ноты и открыла мой романс «Средь шумнаго бала»... Милые мои, что она пѣла, разсказать не могу! Я старался и так и сяк — поймать ее не мог. Она же начала топать ногой и в серединѣ остановилась, закрыла ноты и заявила: — «Вы очень милый и любезный господин, но понятія не имѣете о музыкѣ — и пѣть с Вами невозможно!» — Вы понимаете, какой скандал!» Мы его спрашиваем: — «Неужели

не сказал, что ты Чайковскій!?» — «Что вы?... Да развѣ возможно!... Так было стыдно и неловко, что я ушел к себѣ и больше не выходил».

Вспоминаю другого большого музыканта и критика и большого друга Петра Ильича—Германа Августовича Лароша. Когда я сдѣлался женихом его дочери, мы вмѣстѣ с ней поѣхали на Рождество в Петербург представляться будущему моему тестю. И представлял меня ему опять же Петр Ильич с Модестом Ильичем. Я пробыл тогда в Петербургѣ недѣлю, и эта недѣля была для меня незабываемой: я познакомился тогда с большими людьми. Ларош устроил в честь дочери и меня обѣд, на котором были А. Г. Рубинштейн, Н. А. Римскій-Корсаков, Глазунов, Лядов, Блюменфельд, Соколов, оба Чайковских. За эту недѣлю я часто с ними встрѣчался и даже музицировал (на пятницах Бѣляева).

Особенно я сошелся с А. К. Глазуновым, дружбой с которым горжусь, и которая продолжалась до конца его жизни.

О Г. А. Ларошѣ мнѣ трудно что-либо сказать. Кто интересуется музыкой, конечно знаком с критическими статьями этого замѣчательнаго музыканта. Он был одноклассником Чайковскаго по классу композиціи в Петербургской Консерваторіи, и Рубинштейн считал Лароша восходящей звѣздой — но он был лѣнив, и композитора из него не вышло. Болѣе интереснаго человѣка, чѣм Ларош, я не встрѣчал за всю свою жизнь. Кромѣ того, что он знал в совершенствѣ языки — французскій, нѣмецкій, русскій, англійскій и итальянскій, он знал в с е ; мы его называли ходячей энциклопедіей. Моя невѣста кончила классическую гимназію Фишера в Москвѣ и отлично знала латынь и греческій язык. Ларош, узнав, что она увлекается классическими языками, взялся за них и через год переписывался с нею по латыни и по гречески.

Поступив в Московскую Консерваторію, я почувствовал, что, дѣйствительно, попал в храм искусств, — кругом меня были боги... Кому знакомы имена больших музыкантов того времени, поймут меня. Петр Ильич в то время уже не преподавал в Консерваторіи, но был членом Дирекціи и постоянно был с нами. Директором был С. И. Танѣев, один из самых замѣчательных в мірѣ ученых контрапункта и композитор; он был любимым учеником и другом Петра Ильича, первоклассным піанистом, учеником Н. Г. Рубинштейна. Профессорскій персонал Консерваторіи блистал такими именами, как профессор Пабст, Зилоти, Сафонов, Сапельников, Бузони, теорія — Аренскій, Ипполитов-Иванов, скрипка — Адольф Бродскій, Гржимали

и віолончель — Брандуков. Все это были знаменитости. А среди учеников росли Рахманинов, Скрябин, Гречанинов, піанист Левин, Медтнер, Гліэр. Консерваторія была маленькая — учеников в ней насчитывалось около 450 человѣк; такой я никогда не видал, да она долго и не просуществовала в таком видѣ. Это была большая музыкальная семья — всѣ знали друг друга, работа шла дружная, всѣ интересовались друг другом, учились друг у друга. Никто не относился к занятіям так, что пришел на урок, сыграл профессору и ушел — сидѣли в классѣ, слушали с интересом один другого, а уж про классы ансамбля — хоровой, оркестровый и оперный — и говорить нечего: это были любимыя занятія. На репетиціях Симфонических концертов мы опять учились музыкѣ — самым большим для нас наказаніем было, если нас на эти репетиціи не пускали. Ходили мы также обязательно и на репетиціи квартетных вечеров, гдѣ играли наши учителя.

Во главѣ этой музыкальной семьи стоял С. И. Танѣев. Сергѣя Ивановича никто не боялся, но всѣ глубоко его уважали и любили — не любить его было нельзя. Он строго относился к себѣ и к своим обязанностям и требовал того же от других. Человѣк правдивый, он говорил только то, что думал. О нем говорили, что, как в музыкѣ, он и в жизни ни разу не сфальшивил. Кто-то из нас назвал его нашей совѣстью. Он обладал очень ограниченным матеріальными средствами, но если бы давал уроки, мог бы быть богатым, — уроки он давал только даром. Москва обожала его, как піаниста, но он очень рѣдко выступал в концертах. Он подал в отставку, как директор, через два года послѣ моего поступленія в Консерваторію: директорство мѣшало его научным и композиторским трудам. Послѣ его отставки Консерваторія потеряла свой прежній облик.

Сергѣй Иванович приглашал к себѣ раз в недѣлю, и у него тогда можно было встрѣтить представителей разных кругов общества и не только музыкантов. Хозяйничала на этих вечерах его старушка нянюшка. Сергѣй Иванович не пил и не курил, и у него в домѣ курить не полагалось. Помню, что люди, которые не могли обойтись без куренія, выходили курить на кухню — здѣсь в кухнѣ я видѣл курящими А. Г. Рубинштейна и П. И. Чайковскаго. Помню два случая, хорошо характеризующіе Сергѣя Ивановича. Как то он должен был играть в концертѣ, и мы, его ученики — по иниціативѣ Рахманинова — рѣшили поднести ему в подарок рояль, так как его старый Шредер был совершенно разбит, а купить новый у него средств не было.

Быстро по подпискѣ было собрано 2.000 рублей, и послѣ концерта мы собрались в артистической комнатѣ, прочли ему адрес и просили принять рояль в подарок на память от друзей и учеников. Он выслушал адрес, поблагодарил за любовь — «ну, а вот подарков не надо!» Мы возразили, что это подарок коллективный, что инструмент уже куплен. — «Ну вот и верните обратно инструмент!» — Так он нашего подарка и не принял. Другой случай. Был я как то у него, и так вышло, что мнѣ первому он с радостью об'явил, что получил приглашѣніе от Чешскаго квартета ѣхать с ними в Европу в турнэ 12 концертов. Я обрадовался, так как мы всѣ гордились Сергѣем Ивановичем. Вот, наконец, думал я, он ѣдет с хорошими артистами! — «Да, но вы знаете, что они мнѣ предлагают, как гонорар? Тысячу рублей за концерт!» — Тогда это была очень высокая плата. Я обрадовался: — «Но вѣдь это отлично!» — «Что за вздор!... Что можно наиграть на тысячу рублей?...» — Он поѣхал с ними, но получал, согласно своему требованію, 250 рублей. Таков был Сергѣй Иванович!

К своим ученикам он был очень требователен. У него в это время было два любимых ученика по контрапункту — Скрябин и Рахманинов. Оба однолѣтки, уже тогда обѣщавшіе стать знаменитостями. И если кто-нибудь из них пропускал урок, на другой день обязательно к нему на дом приходила нянюшка Прасковья Васильевна с заявленіем: — «Что же это вы, батюшка, пропускаете уроки? Сергѣй Иванович обижаются».

При описаніи старой Консерваторіи нельзя не вспомнить удивительной фигуры Н. С. Звѣрева. Он был старше других, был другом Н. Г. Рубинштейна и П. И. Чайковскаго. По образованію он не был музыкантом — был большой барин, помѣщик... Как Н. Г. Рубинштейн угадал в нем педагогическій талант, не знаю, но факт тот, что с основанія Консерваторіи Н. С. преподавал в младших классах, и через его руки прошли всѣ наши лучшіе московскіе піанисты. Талантливых учеников он иногда брал к себѣ прямо на воспитаніе. Так он воспитывал Зилоти, Рахманинова, Скрябина, Максимова и других. Своих воспитанников он очень любил, баловал их и в обиду не давал, но в то же время был с ними очень строг! Н. С. всѣ в Консерваторіи любили и уважали. В мое время у него воспитывались Рахманинов, Максимов и Прессман, с которыми я сразу подружился. Я часто бывал по воскресеньям на завтраках у Н. С. Эти завтраки были извѣстны в Москвѣ — кого там только не было... Неизмѣнно присутствовал, конечно. П. И. Чайковскій,

бывал и А. Г. Рубинштейн... Какіе интересные и веселые были эти завтраки, чего-чего молодежь там не наслышалась, кого только мы там не видѣли!

Вспоминая наших профессоров, в первую очередь должен назвать вновь приглашеннаго Чайковским віолончелиста Брандукова и піанистов Зилоти и Сапельникова. Всѣ трое были блестящими артистами, уже с большими именами, всѣ они были любимыми учениками Петра Ильича и его большими друзьями. А нам были старшими товарищами — и несмотря на дружескія отношенія всѣ они были для нас огромными авторитетами. Моя дружба с Брандуковым и Аренским продолжалась у меня до самых послѣдних дней их жизни, а любовь к А. И. Зилоти и сейчас живет во мнѣ, и я счастлив, что он здѣсь со мной и здравствует. С остальными профессорами, Пабстом, Сафоновым, Ипполитовым-Ивановым — у меня тоже сохранились дружескія отношенія до конца.

С А. Г. Рубинштейном я познакомился в домѣ у Лароша, но уже раньше видѣл его и играл в оркестрѣ под его управленіем, когда он пріѣзжал в Москву. Об Антонѣ Григорьевичѣ я до сих пор не могу говорить без волненія. Я обожал Петра Ильича — это был мой дорогой, близкій мнѣ кумир. Антона Григорьевича я лично знал мало, но для меня это был Бог музыки. Такого піаниста, как Антон Григорьевич, я не слыхал и, очевидно, не услышу. Прошло 50 лѣт со дня его смерти, но и теперь говорить об его игрѣ я не могу — об'яснить ее невозможно, до сих пор я ничего подобнаго ей не слышал. В то время Антон Григорьевич в Европѣ занимал одно из первых мѣст, как композитор. Как композитора, его знали в Европѣ больше, чѣм у нас в Россіи. Он и его брат Николай Григорьевич, эти два колосса музыки, и создали русскую музыкальную школу; они одновременно основали первыя двѣ русскія консерваторіи — один в Москвѣ, другой — в Петербургѣ, и пригласили лучших профессоров из за границы, так как своих было мало. У меня на памяти за эти 50 лѣт произошел колоссальный рост этих двух консерваторій. При мнѣ в 1887 году в Москвѣ в императорской оперѣ оркестр был полон нѣмцев и чехов, но уже в 1900 году их там не было. Взгляните на чудесные оркестры Америки — вездѣ русскіе музыканты! А солисты-концертанты? Тоже множество русских. И этому успѣху мы обязаны братьям Рубинштейнам. Мнѣ не пришлось слышать Н. Г. Рубинштейна, — он умер в 1881 году и мало концертировал, хотя его знали и в Германіи, и во Франціи, и в Англіи. Когда я спрашивал наших старших — Чайковскаго, Лароша,

Аренскаго: кто же первый піанист в мірѣ (тогда Лист уже не играл), мнѣ говорили: братья Рубинштейны, но кто первый и кто второй из них, сказать нельзя. Антон Григорьевич часто пріѣзжал в Москву играть и дирижировать и, конечно, я и всѣ мои друзья не пропускали не только этих концертов, но и репетицій; особенно помню репетицію 9-ой симфоніи Бетховена. Его указанія и замѣчанія до сих пор слышу — и еще сейчас мысленно вижу этого необыкновеннаго человѣка с бетховенской головой. Не забуду никогда репетиціи бетховенскаго концерта, которой он дирижировал. Солистом должен был тогда выступить заграничный піанист — не помню кто. Оказалось в послѣднюю минуту, что піанист этот пріѣхать не может. Надо было замѣнить солиста, а в программѣ колоссальный 5-ый концерт Бетховена. И вот на репетиціи наш директор В. И. Сафонов приводит нашего товарища І. Левина. Всѣ мы волновались, а я больше всѣх — он был мой закадычный друг Ося! Репетиція кончилась... Антон Григорьевич обнял голову Левина и поцѣловал его. Думаю, что если бы спросили и теперь нынѣ здравствующаго І. Левина, какой момент в его 57-лѣтней карьерѣ виртуоза был для него самым дорогим по воспоминаніям, он сказал бы: — «поцѣлуй Рубинштейна!»

Музыкальное образованіе мы получали в Консерваторіи, а воспитаніе — в общеніи с этими необыкновенными музыкантами;—их завѣты и сейчас живут с нами и, надѣюсь, не умрут. Один из этих завѣтов: «бойтесь диллетантизма! Бойся диллетанта—опаснѣе его нѣт человѣка в музыкѣ!» Курьезно, что в послѣднія 20-25 лѣт это выраженіе и даже самое слово диллетант почти исчезло... Помню, как то недавно, разговаривая о музыкѣ и искусствѣ с одним видным музыкантом, я замѣтил ему это. А он говорит: — «Понятно — сейчас вѣдь диллетантов нѣт больше!» А присутствовавшій при этом (нынѣ покойный) художник А. Яковлев замѣтил: —«А по моему кругом всѣ почти сплошь диллетанты!» — Боюсь, что прав был А. Яковлев.

Переходя к товарищам, должен прежде всего отмѣтить Скрябина, Рахманинова, Левина, Максимова и братьев Конюс. В первый же день по поступленіи в Консерваторію я попал на ученическій вечер. Играл молодой человѣк в формѣ кадета Papillons Шумана — это был Скрябин. Его игра меня поразила техническим совершенством и артистической законченностью — для меня это был уже большой артист. Затѣм скрипач Конюс играл концерт Сен-Санса — он меня убил, я чувствовал, что никогда так не буду играть. Послѣ этого появился на эстрадѣ

молодой человѣк с необыкновенной шевелюрой — такой курчавой головы я больше никогда не видал. Он меня поразил своей легкой и блестящей техникой и красотой звука. Играл он этюд a moll Шопена, это был Іосиф Левин. Случилось так, что с Левиным и Скрябиным я сразу подружился. Мы стали неразлучны. Веселые и молодые, мы кромѣ музыки занимались флиртом и шалостями, несмотря на наш уже не дѣтскій возраст. Нас троих называли «Заводиловка». Главным «заводилой» был Скрябин. Каких только глупостей мы не выдумывали! Помню, шли мы как то раз по Дмитровкѣ, и Скрябин прочитал: «Доктор, лечит от заиканія». — «Идем!... Будем Николая лечить — он здорово заикается!» — И пошли — минут пятнадцать морочили доктора: Скрябин об'яснял, как я начал заикаться, и мнѣ пришлось изображать заику. Но самое непріятное случилось потом. Мы не учли того, что нас знали в Москвѣ, как артистов, часто выступавших на благотворительных концертах (кончающіе консерваторскіе ученики). На одном из таких концертов в артистическую комнату вошел господин, подошел к нам и поздравил с успѣхом. Обратясь к Скрябину, он сказал: — «Я страшно рад, что ваш друг Авьерино излѣчился от заиканія». — Это был тот доктор, котораго мы тогда морочили — нам было очень стыдно.

Был я также очень дружен с Максимовым. Это был блестящій піанист и страшно увлекающійся человѣк. Он увлек меня с собой в провинцію, убѣдив, что мы очень нужны там. Кончив Консерваторію, мы с ним отправились в Астрахань, гдѣ пробыли три года. Потом мы с ним опять встрѣтились уже профессорами Филармоніи. Он умер очень рано.

Я был дружен и с Рахманиновым — но он как то держался в сторонѣ. Любил нас, наши шалости и от души им смѣялся, но участія в них не принимал. Вскорѣ он ушел от Звѣрева и жил у своей тетушки В. А. Сатиной, гдѣ я часто бывал и гдѣ давал уроки ея сыну. Наша дружба с Рахманиновым выросла и окрѣпла позднѣе, в період 1905-1911 годов, когда я уже вернулся из провинціи, был профессором Филармоніи и членом Концертнаго комитета. В это время мы близко общались по музыкальным дѣлам и я часто бывал у него.

Со Скрябиным у меня сложились особыя отношенія. Он в то время жил у своих бабушки и тетушки. Я его уговорил переѣхать жить со мной. Для бабушки с тетушкой это было трагедіей, тѣм не менѣе он переѣхал ко мнѣ и мы с ним вмѣстѣ прожили до 1894 года. В 1895 году я женился и уѣхал из Москвы в Астрахань, дальше пошли Баку, Саратов, и вернулся

я в Москву только в 1903 году. Когда я снова встрѣтился со Скрябиным, это был уже другой человѣк. Внѣшностью Скрябин производил очень хорошее впечатлѣніе: привѣтливый, хорошо воспитанный, словом, что называется, шармер. Я его искренне полюбил, и он привязался ко мнѣ. Бабушка и тетушки обожали его и баловали, но ему нужен был друг и притом такой, которому бы он мог постоянно изливать все, что у него было на душѣ. Он обожал свое фортепіано и много занимался — кажется, это было единственное, чѣм он вообще серьезно занимался. Натура его была поразительно одаренная, ему все давалось шутя. Шутя он кончил кадетскій корпус, шутя кончил и Консерваторію с золотой медалью, как піанист. Но гдѣ нужна была усидчивость, там у него опускались руки. Он очень мало читал, но обо всем мог говорить — язык у него был «замѣчательно подвѣшен». По природѣ был озорник и для него не было большаго удовольствія, как спорить. — Спор для него был спортом. Спорить он любил, конечно, об искусствѣ, но также и на отвлеченныя темы. Помню, был такой забавный случай. У нас был наш старшій товарищ Розенов; у него мы часто собирались, музицировали и, конечно, спорили без конца. Бывал там и сын профессора Фохта, студент, тоже философ. С ним Скрябин любил спорить по философским вопросам, не имѣя о философіи никакого понятія. Однажды послѣ музыки Скрябин мнѣ говорит: — «страви меня с Фохтом!» — Я предложил тему: существует ли музыка в природѣ — помимо человѣка? Ну и пошла писать... Через нѣсколько минут спор от музыки ушел куда-то в сторону, Фохт злился, а Саша нес какую то ахинею. Хозяйка в эту минуту позвала нас пить чай. Фохт, взяв меня под руку, начал возмущенно говорить о Скрябинѣ: — «Нахал ваш Скрябин, чорт знает что врет и как уж извивается — вот сейчас сослался на какого то Вульдриджа... Откуда он его взял!?» Я его успокаивал: — «Охота вам волноваться — да может быть этого Вульдриджа никогда и не было». — «Да неужели? ... Вот нахал!» — А Саша торжествовал...

Сочинял Скрябин страшно быстро, прямо за инструментом, но заставить его записать было невозможно. Сколько его мелких вещей, прелюдій, мазурок так и не увидали никогда свѣта! В этот період его жизни его муза была только фортепіанной — ни вокальной, ни другой инструментальной музыкой он не интересовался. Однажды пришел к нам наш друг студен Николаев и принес поэму литовскую — Кейстут и Бейрута. Николаев отлично читал и увлек нас обоих. Тут же рѣшено

было, что надо на эту поэму писать оперу. Сказано — сдѣлано. Через нѣсколько дней Николаев принес либретто, а через 2-3 недѣли опера вчернѣ была уже готова. Труда было затрачено много, все надо было записать и зафиксировать... Гдѣ эта опера?... Скрябин умер в 1915 году, образовалось общество Скрябина, очевидно, разбирали его манускрипты, а про оперу эту я никогда больше не слыхал. Нѣкоторые аріи и хоры я и сейчас отлично помню. Возможно, впрочем, что Скрябин и не все тогда записал. Он был в это время в классѣ Танѣева вмѣстѣ с Рахманиновым по контрапункту. Рахманинов был прилежен, Скрябин — лѣнтяй. Характер Скрябина сказывался во всем. Инструментовкой он вовсе не занимался и, когда вздумал оркестровать свою оперу, обращался ко мнѣ с такими примитивными вопросами, что я начинал ругаться и стыдил его, но ничего не помогало. Как на примѣр укажу, что он очень плохо знал симфоніи Бетховена и его сонаты, за исключеніем тѣх трех-четырех, которыя проходили в классѣ. Вообще он не знал музыкальной литературы и ею не интересовался, а когда я его этим стыдил, он смѣялся и говорил: — «Чужая музыка мнѣ мѣшает сочинять и раздражает».

В эти годы он написал множество прелюдій и мазурок (излюбленная его форма) и три сонаты. Третья соната, по моему, кульминаціонный пункт его творчества, дальше он начал уклоняться в сторону и терять свой собственный облик.

Он был страшно влюбчив и, по моему, свое влюбленіе как то искусно сам устраивал — он сам себя должен был убѣдить, что он влюблен. Влюблялся очень легко. Мы бывали с ним чуть ли не каждый вечер у кого-нибудь в гостях. Вездѣ барышни и барыни таяли, когда он садился за фортепіано. И, придя домой, он чуть не всегда увѣрял меня, что уже влюблен. Как то раз я ему сказал: — «Слушай, пріятель, я слышал, как ты этой Лизочкѣ обѣщал какую-то несбыточную чепуху!» Он разсмѣялся: ему понравилось это выраженіе — «несбыточная чепуха» — и потом у нас с ним этот термин остался навсегда. Я часто спрашивал его: — «опять несбыточная чепуха?» — Он был фантазером и так фантазировал, что начинал сам вѣрить в свою фантазію и заражал ею своих друзей-слушателей. И только я отрезвлял его, напоминая о «несбыточной чепухѣ». Самым большим его увлеченіем в это время, увлеченіем, доходившим до обожанія, была очаровательная молоденькая барышня 16-ти лѣт, Н. Сѣкерина. Обожаніе Наташи дошло до того, что однажды ночью он меня разбудил и восторженным голосом продекламировал:

Хотѣл бы я мечтой прекрасной
Хоть миг в душѣ твоей побыть,
Хотѣл бы я порывом страстным
Покой душевный возмутить,
Великой мыслью в твореньи
Головку милую вскружить
И цѣлым міром наслажденья
Тебя, мой ангел, подарить!

Оказывается, ночью, пока я спал, он сочинял стихи и музыку. Я, как всегда, выругался — сказал, что стишки пошлые, а музыка — просто дрянь. Он страшно обидѣлся. На другой день я ему обѣщал написать музыку на его слова лучше. И написал ему на зло — конечно, дрянь!

Наташа Сѣкерина со своей старшей сестрой бывала на каткѣ, гдѣ мы ее и встрѣчали. Там же на каткѣ мы познакомились и с ея матерью. Мы начали бывать у них в домѣ. Строгая мамаша замѣтила, что дѣвочка не на шутку влюбилась в Сашу; сперва запретила ей с ним видѣться, а вскорѣ увезла ее заграницу.

Роман этот тянулся больше года, и все, что он в это время написал, было, конечно, посвящено Наташѣ. И по моему, он только в этот раз, дѣйствительно, серьезно был влюблен. Когда Наташу увезли, он очень страдал... Вскорѣ я уѣхал в Астрахань и там уже узнал, что он женился. Потом он уѣхал за-границу. Мы долго не видѣлись и встрѣтились в Петербургѣ, в 1906 году, когда я был профессором Филармоніи. В это время его творчество повернуло в другую сторону. Им были написаны уже три симфоніи, «Экстаз», «Прометей» и подготовка к «Мистеріи»... Мнѣ все это казалось чужим, выдуманным, и когда я ему сказал, что ничего не понимаю, он с горечью воскликнул: — «Как это ужасно!» — Я чувствовал, как он был огорчен, что его самый близкій и интимный друг от него отошел. В это время около него образовался уже кружок новых друзей, которые впослѣдствіи и образовали «Общество Скрябина». Об его «Мистеріи» и «Храмѣ в Индіи» я как-то шутя ему сказал: «Саша, я думаю, что это опять несбыточная чепуха!» Вскорѣ я был назначен директором в Ростов на Дону — это было уже в 1911 году, и больше моего Саши не видѣл: он внезапно скончался в 1915 году.

Когда я вспоминаю моих дорогих друзей, Рахманинова и Скрябина, которые на моих глазах росли и выросли, мнѣ всегда до конца ясно, что оба они — огромные таланты: Рахма-

нинов нормально работал, нормально развивался и выбранной им самим дорогой дошел до конца. Скрябин жил, творил, а потом свернул в сторону — он начал «и с к а т ь», и меня никто не убѣдит, что это был его нормальный путь. Это «исканіе» в искусствѣ мнѣ кажется ужасным! В искусствѣ дѣлает находки тот, кто не ищет. Прошло 28 лѣт со дня смерти Скрябина, одно время его прославляли, как новаго генія, открывшаго новую эру в музыкѣ, а теперь его, кажется, забыли... Да, искать не надо. Вспоминаю свою бабушку: как то потеряли ея ножницы, перерыли всю комнату — искали и не нашли, а она серьезно сказала: — «Пожалуйста, не ищите — хуже потеряете». — Как часто в жизни вспоминаю я это мудрое изрѣченіе.

Уѣхав из Москвы в 1895 году, я пробыл в Астрахани три с половиной года, там и овдовѣл. Моя дорогая жена, крестница и любимица Петра Ильича Чайковскаго, умерла, оставив мнѣ дочь Ольгу, крестницу Модеста Ильича. Неловко говорить о себѣ или своих, но о своей дочери должен сказать. Ольга Авьерино (теперь Федоровская) — извѣстная пѣвица в Америкѣ. Она много пѣла в симфонических концертах, в Нью-Іоркѣ, Бостонѣ, Вашингтонѣ, Чикаго и в других городах. Сейчас она отдалась педагогической дѣятельности в своей большой студіи в Бостонѣ. Для меня она не только пѣвица, но и замѣчательный артист. В молодости она меня очень безпокоила — что из нея выйдет? Блестяще кончила гимназію, с золотой медалью, поступила в университет на математическій факультет — не понравилось. Поступила в консерваторію піанисткой — с грѣхом пополам кончила, лѣнтяйка. Рисовала, лѣпила, потом поступила опять в консерваторію по классу контрапункта — и вдруг оказался голос. И вот теперь настоящая артистка — успокоилась. Способности у нея были большія. Думаю, что их она получила в наслѣдство от своего дѣда, Г. А. Ларош.

Послѣ Астрахани я прожил три года в Баку и четыре года в Саратовѣ. В Баку я женился на кн. Тумановой. Интересная встрѣча в Баку только одна — пріѣзд Шаляпина, уже имѣвшаго огромный успѣх в Москвѣ. Оказывается, и он обо мнѣ уже знал в Москвѣ от моих друзей, Рахманинова, Зилоти и Брандукова. Встрѣча с ним была кратковременной, так как он пріѣзжал в Баку на гастроли. Но потом, в 1900 году, я близко с ним сошелся и до самой его смерти у нас сохранилась с ним дружба.

Послѣ Баку я был приглашен преподавателем в Саратов, гдѣ интересных музыкальных встрѣч у меня не было, но гдѣ

интересных людей я все же встрѣтил. Впервые я там окунулся в полигическую среду и тѣсно сошелся с гр. Нессельроде, Балавинским, Кальмановичем и многими другими интересными людьми. Особенно интересен был гр. А. Д. Нессельроде — барин, богатѣйшій человѣк, предводитель дворянства, человѣк большой культуры, знаток искусства, литературы. Дом его был настоящим музеем — особенно был интересен его дом в имѣніи «Царевщина». Он был в то время предсѣдателем Общества Изящных Искусств, а я был директором музыкальнаго отдѣла этого Общества. У нас бывали очень интересные вечера, послѣ музыки, в клубѣ или у него ужины, споры об искусствѣ и о политикѣ. Из за одного такого ужина он и я попали в непріятную исторію. За ужином оказался офицер, который был возмущен чьей то рѣчью и собрался доложить о ней по начальству. Была непріятная возня, но как то все благополучно было кончено. И вдруг стряслась другая бѣда — выстрѣл Балмашова! На другой день граф и я были уже в жандармском управленіи — оказалось, что Балмашов незадолго до убійства был у нас в клубѣ и записан был мною, как дежурным директором. А я его и в глаза не видал... Граф и я были довольно долго под надзором полиціи, а наше чудесное Общество Изящных Искусств было закрыто навсегда. Граф, несмотря на свое придворное званіе (камергер) и на то, что был предводителем дворянства, был у начальства на плохом счету. Послѣ этой исторіи он был лишен камергерскаго званія. Мы его поздравили по этому поводу с монаршей милостью. Потом он эмигрировал во Францію, гдѣ и скончался — кажется, даже в нуждѣ. Граф удивлял меня тѣм, что не выносил музыки. Оказывается, он был дружен с Францем Листом, который, представляя его, говорил: — «Мой друг, граф Нессельроде, единственный человѣк на свѣтѣ, который выходит из комнаты, когда я подхожу к фортепіано».

Другого моего пріятеля, адвоката Кальмановича, я укорял: «Мы с вами друзья, а вы никогда не поинтересовались мною, как музыкантом». — «Да я, милый мой, ничего в музыкѣ не понимаю». — «Тѣм не менѣе приходите завтра послушать, я буду играть сонату Грига». — Он пришел на концерт, внимательно, как говорил послѣ, слушал. — «Ну что же, милый мой, я рад был вас слушать, но вот он не давал мнѣ!» — и он указал на піаниста, с которым я играл сонату.

Из Саратова я в 1904 году переѣхал в Москву, гдѣ пробыл до 1911-1912 года. Этот період моей жизни был самым замѣчательным. Я опять встрѣчал всѣх своих старых друзей: Рах-

манинова, Скрябина, Брандукова, Конюс, Григоровича и др. Вскорѣ я был приглашен профессором в Филармонію, гдѣ директором был Брандуков. Музыкальная жизнь кипѣла. У нас образовался профессорскій квартет: Григорович (один из самых замѣчательных скрипачей міра), Конюс — вторая скрипка, альт — я и Брандуков — віолончель. Работали мы добросовѣстно и играли, дѣйствительно, хорошо. В теченіе нѣскольких лѣт у нас были серіи квартетных концертов в Дворянском Собраніи, которые пользовались большим успѣхом у публики. Особенно памятен был мнѣ вечер, посвященный памяти Чайковскаго — играли его Второй квартет, Секстет и Тріо с С. И. Танѣевым. Помню, в первом ряду в публикѣ сидѣли Модест Чайковскій, Кашкин и Ларош и всѣ трое плакали, когда мы играли чудесное Andante из F dur квартета. Помню также концерт, на котором мы должны были играть 7-ой квартет Бетховена. Конюс вдруг почувствовал себя так плохо, что надо было отмѣнить квартет. Положеніе спас Изаіи, который взял скрипку Конюса и сѣл на его мѣсто (вторая скрипка). Сейчас, пожалуй, такого случая не могло бы быть...

Вспоминаются и симфоническіе концерты с знаменитыми солистами и дирижерами. Я не только играл с ними, но в качествѣ члена концертной комиссіи все время с ними встрѣчался. И кого только тогда не было у нас! Ежегодно пріѣзжал Никиш, Изаіи, Казальс, Крейслер, Менгельберг. В это время у нас на глазах вырос замѣчательный дирижер С. Рахманинов, — он тогда имѣл большій успѣх как дирижер, чѣм как піанист. В Москвѣ у нас он считался наравнѣ с Никишем.

К этому же времени относится дружба с Собиновым, возникновение «Летучей Мыши», дружба с Качаловым, Москвиным, Леонидовым. Незабываемы вечера у присяжнаго повѣреннаго Воскресенскаго, начинавшіеся неизмѣнно музыкой — затѣм ужин до утра, с анекдотами и «брехней». Гости: Шаляпин, Собинов, Танѣев, Брандуков, Конюс, Корещенко, Плевако... Федор Никифорович Плевако был непремѣнным гостем этих вечеров. Об его блестящем умѣ, о том, каким он был удивительным разсказчиком, говорить не приходится. Помню, когда он прошел в Государственную Думу от октябристской партіи, мы пили за его здоровье и поздравляли с тѣм, что он выходит на политическую арену, а он улыбаясь поправил: — «в политическую аренду»...

Жизнь била ключем. Какіе концерты, какое общество были... Я буквально не снимал фрака... Как не хотѣлось тогда уѣзжать из Москвы! Я не мог себѣ представить, как буду жить без

нея, не мог себѣ представить и Москвы без меня... Пугала меня и мысль об административной дѣятельности, ожидавшей меня в Ростовѣ. Ну, какой я директор?! А все между тѣм обошлось... Вспоминаю один блестящій концерт — Нѣмецкаго Общества "Maning Gesang Verein" . В нем, кромѣ нѣмецкаго хора, участвовал наш квартет и Скрябин. Послѣ концерта был ужин в «Славянском Базарѣ». За столом было человѣк сто блестящаго московскаго общества. За ужином я сидѣл рядом с очаровательной дамой, с одной стороны, и со Скрябиным, с другой. В этом обществѣ была традиція: предсѣдатель говорил вступительное слово, благодарил участников концерта и всѣ пѣли в честь них хоры — "Hoch solst du leben!" и т. д. Послѣ того как хор пропѣл в нашу честь, я обратился потихоньку к Брандукову, как к нашему старшему, сказав ему, что надо же и нам отвѣтить. Но ни он, ни Конюс не хотѣли говорить. Пришлось говорить мнѣ. Не будучи записным оратором, я отшучивался тѣм, что я грек и по русски плохо говорю. Раздались голоса — «Авьерино, говорите по гречески!» В обществѣ, конечно, никто по гречески не понимал, но требованія настойчиво продолжались. Скрябин опять созорничал и шепнул мнѣ: — «наговори им гадостей — будет забавно!» — Выпитое ли шампанское подѣйствовало или что другое, но я начал серьезным тоном нести по гречески всякій вздор и даже непристойности... Говорил, конечно, недолго. Когда я кончил, раздались апплодисменты, а затѣм предсѣдатель заявил, что слово принадлежит г-ну Кремзеру, дирижеру нѣмецкаго хора и отличному віолончелисту (я с ним не раз играл квартеты). И вот встает Кремзер и на чистом греческом языкѣ мнѣ говорит: — «Г. Авьерино, не безпокойтесь, я вас не выдам, но вот видите, как надо быть осторожным: я жил семь лѣт в Афинах»... Скрябин понял, в чем дѣло — и торжествовал. Другіе меня спрашивали, дѣйствительно ли Кремзер хорошо говорит по гречески? — «О да, много лучше меня!...»

Наша дружба с великим Шаляпиным в 1900 году, не прекращалась до самаго конца его дней. Мы всѣ его называли «Федор». Никому в голову не приходило называть его «Федя» или Федор Иванович. Я горжусь и счастлив, что был его другом. Хочется вспомнить наши незабываемые с ним концерты, которые я же и затѣял. Не помню сейчас, в каком это было году, но помню, что получил от кого то из друзей из провинціи письмо, в котором меня просили уговорить Федора Ивановича дать концерт. В то время имя Федора уже гремѣло, но его знали в Россіи только в Москвѣ и Петербургѣ, если еще не

считать коротких гастролей в Кіевской оперѣ и в Харьковѣ. Мнѣ удалось организовать концертную поѣздку по провинціи. Участниками были — Федор, композитор-піанист А. Корещенко и я. Успѣх был потрясающій. На слѣдующій год была устроена вторая поѣздка — 30 концертов по Россіи, Волга, Кавказ... Вмѣсто Корещенко на этот раз с нами ѣздил піанист-композитор Ф. Кенеман, автор извѣстнаго романса «Как король шел на войну». Этот тур имѣл еще большій успѣх. Федор был неподражаем. Программы концертов были выдержанныя — не помню, чтобы Федор вообще когда-либо пѣл на концертах что-либо из опер, всегда камерная музыка. Начинались концерты обычно европейскими классиками — Шуберт, Шуман, Бетховен, — затѣм шли русскіе классики, а кончали, как мы говорили, музыкальными анекдотами — «Семинарист» Мусоргскаго, «Червяк» и «Мельник» Даргомыжскаго и др. Федор невѣроятно волновался перед каждым концертом и меня это удивляло, — я думал, что артист, который выступает чуть ли не каждый день, должен же к этому привыкнуть! Волненіе начиналось с утра, а то и ночью наканунѣ. — «Надо отмѣнить концерт — голоса нѣт» и т. д. Продолжалось это у него до самаго выхода — руки холодныя, ноги дрожат... Но достаточно было ему пропѣть первые десять тактов, как все проходило. Он не выходил, как полагается, на бис, а обычно послѣ послѣдняго номера программы я выходил с ним вмѣстѣ и выносил кучу нот. И он пѣл и пѣл — приходилось часто его уговаривать: — «Довольно, Федор! Завтра — концерт!»

Особенно всѣ мы волновались перед его концертом в Варшавѣ: он в первый раз пѣл в Польшѣ и нас пугали, что поляки из политических соображеній не придут. Но был полный сбор — и огромный успѣх! Послѣ концерта к нам в артистическую вошел дирижер Фительберг и познакомил нас с молодым піанистом Артуром Рубинштейном. С Рубинштейном послѣ ужина мы просидѣли до 6 часов утра; он нам играл без конца и привел нас в восторг. Я подружился с ним, пригласил его в Москву и мы до сих пор дружны с этим замѣчательным піанистом, нынѣ — міровой знаменитостью.

Был и другой незабываемый концерт — в Кіевѣ, в день открытія Первой Государственной Думы. Настроеніе было приподнятое, боялись безпорядков. Но Федор взял на себя отвѣтственность за порядок и, дѣйствительно, порядок был образцовый. В концѣ концерта публика потребовала «Интернаціонал» и «Варшавянку». Федор заявил, что он русскій — этих пѣсен не знает, а споет русскую пѣсню «Дубинушку» и

просил аудиторію пѣть с ним. Эту «Дубинушку» я никогда не забуду — ее пѣла шести-тысячная толпа, но как!

Самое для меня незабываемое — это наш с ним пріѣзд в Казань. Оказалось, что он с дѣтства не был в Казани! Мы пріѣхали за два дня до концерта и сейчас же по пріѣздѣ отправились в Суконную Слободу (пригород Казани), гдѣ он родился. Никогда ни до этого, ни послѣ не видѣл Федора таким; он был разстроен, но разстроен не болѣзненно; когда мы ѣхали по улицам, он поминутно мнѣ говорил: «смотри — и этот дом цѣл... смотри — и старик сапожник жив»... — Зашли к старику, говорил с ним, но старик не узнал и не помнил его. А когда Федор сказал ему: — «А не помнишь ли Федьку, котораго бил колодкой по головѣ?» — отвѣтил: — «Мало ли кого я бил!»... — Нашли школу, гдѣ он учился и разыскали учителя, Н. В. Башмакова. Это была трогательная встрѣча, оба плакали; пили чай, просидѣли часа два, о чем только не говорили, чего только не вспомнили... На другой день — концерт. Тріумф. Послѣ концерта возвращались домой, и гдѣ то на темной площади наш экипаж остановила толпа оборванцев — я даже струхнул. Послышались возгласы — «Федя!» Оказались его старые друзья. Остановились. Федор вылѣз и с полчаса длились трогательныя воспоминанія. Удивительно было то, что Федор помнил их всѣх по именам. Один просил: «Хочется выпить, Федя!» Федор, конечно, дал. Другому отдал свое пальто... В гостинницѣ долго нам разсказывал и вспоминал былое житье в Слободѣ с этой компаніей, игру в бабки, школу. Он был в особенном настроеніи, таким я его больше никогда не видѣл.

Завязалась у меня дружба с Валентином Сѣровым, котораго мы почему то называли «Антоша». Виноградов, барон Клодт, Коровин, — всѣх их я всегда встрѣчал у Шаляпина.

Скажу еще о «скандалах Шаляпина». Да, у него был нелегкій характер — нервный, несдержанный, неуравновѣшенный. Но смѣло заявляю, что во всѣх его знаменитых скандалах не он был виноват — его доводили до такого состоянія, подчас и провоцировали, зная его несдержанность. Сколько раз я был свидѣтелем того, как разныя барыни приставали к нему с требованіями подчас в недопустимой формѣ — Федор, бывало, не выдержит, отсюда — скандал! Всѣ скандалы с хористами и другими артистами происходили не из за личных счетов, а всегда на почвѣ отношенія к искусству. Федор пошлости или халтуры не переносил. И когда на репетиціи ему мѣшал или начинал с ним спорить какой-нибудь пошляк или бездарный артист, он не мог сдержать себя, — опять скандал! Отлично я

знал во всѣх подробностях и несчастную исторію с колѣнопреклоненіем на сценѣ, за что его буквально затравили. Тут он, дѣйствительно, попал, как кур во щи...

Вспоминаю и время, проведенное в имѣніе Федора «Итларь». Народ там собирался веселый, молодой — Виноградов, бар. Клодт, Коровин, Сѣров... Всегда мы там кого-нибудь «разыгрывали».

В 1911 году я уѣхал директором в Ростов. Там я погрузился в чуждое для меня до тѣх пор административное дѣло — к счастью, оно тѣсно было связано с музыкой. В Ростовѣ я пробыл до 1920 года, когда эвакуировался в Константинополь, оттуда в Париж, а затѣм в Америку. Послѣдній раз я был в Москвѣ в 1916 году. Пріѣхал в Москву вѣнчаться. Свадьба моя была очень веселая — собрались всѣ мои старые друзья (кромѣ Скрябина, который за год до этого умер): Шаляпин, Собинов, Рахманинов, Качалов, Москвин, Клодт, Брандуков и другіе. Приглашая Рахманинова и зная, что он боится больших сборищ и рано ложится спать, дал ему слово, что в 11 часов вечера он будет дома... И вот было уже около 3 часов ночи: разгар веселья, Шаляпин и Москвин танцуют польку — вижу, около піаниста сидит Рахманинов и у него текут слезы от смѣха. Да и было над чѣм посмѣяться!... Это был мой послѣдній визит в Москву — больше я ея не видѣл.

Закончу свои воспоминанія забавным случаем в послѣдніе дни перед эвакуаціей. Это было в Новочеркасскѣ, гдѣ я остановился в Европейской гостинницѣ, старом зданіи с широкими корридорами и высокими комнатами. В моем корридорѣ жил М. В. Родзянко, котораго я уже знал по Ростову. В этом же корридорѣ жил раненый офицер Добровольческой Арміи — рана не серьезная, у него была забинтована ступня. Я его часто видѣл в корридорѣ катающимся на велосипедѣ. И вот как то утром, этот офицер, по обыкновенію катаясь по корридору, заѣхал вдруг к Михаилу Владиміровичу в номер — дверь была открыта. С М. В. он не был даже знаком. Когда вошедшій в это время в номер Родзянко замѣтил ему, что это безобразіе, офицер отвѣтил: — «Умолкни, крамольный старик!»

Через два дня мы вмѣстѣ с М. В. Родзянко эвакуировались в Константинополь, оттуда в Париж. Из Парижа я совершенно неожиданно выѣхал в Америку, гдѣ и встрѣтил своих старых дорогих друзей: А. Зилоти, С. Рахманинова и І. Левина.

Н. Авьерино.

А. П. ЧЕХОВ

(К сорокалѣтію его смерти).

На второе іюля текущаго года — по старому стилю — выпадает сорокалѣтіе со дня утраты нами Антона Павловича Чехова. Значеніе этой утраты переоцѣнить трудно. Лев Толстой — «сам» Лев Толстой! — говаривал, что Чехов — это наш «Пушкин в прозѣ». Думая о нем, я невольно ищу для него мѣсто в той портретной галлереѣ великих «скитальцев» русской литературы и жизни, которую я начал рисовать в предыдущих книгах «Новаго Журнала». Однако, право его на мѣсто в этой галлереѣ далеко не безспорно.

Для многих читателей Чехов до сих пор представляется художником-фотографом, безразлично направляющим то туда, то сюда об'ектив своей камеры. Он сам подал для этого повод. Куприну он внушал: «нужно стоять в н ѣ описываемых вещей, и хоть знать их хорошо, до мелочи, — но глядѣть на них как бы с презрѣніем, сверху вниз, и тогда выйдет вѣрно». А Бунина он убѣждал, что «садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя х о л о д н ы м, к а к л е д».

Мятущійся «страдалец-скиталец» Достоевскаго — и «холодный, как лед» художник-творец Чехова: это ли не два противоположных полюса?. Но несоединимые элементы чистой логики — в жизни мы находим часто слитыми воедино. Именно таким живым сплетеніем наглядных противорѣчій был Чехов.

С одной стороны, в Чеховѣ был необыкновенно силен инстинкт «осѣдлости». Обосноваться, пустить прочно корни в землю, осѣсть, врости в усадьбу — он пробовал это то в центральной Россіи (Мелехово), то выискивая землю для покупки в степях Самарской губ., куда он ѣздил на кумыс, то, наконец, в Крыму. Но как только это ему удавалось, в нем подымала бунт противоположная скитальческая, даже бродяжеская стихія.

Когда Горькій, завязывая с ним знакомство личным письмом, упомянул — кажется, нѣсколько бравируя, — что «до литераторства был бродягой» — Чехов откликнулся ему очень серьезно. «Теперь о бродяжествѣ. Это, т. е. бродяжество, о ч е н ь х о р о ш а я, з а м а н ч и в а я ш т у к а. Но с

годами как-то тяжелѣешь, присасываешься к мѣсту. За неудачами и разочарованіями быстро проходит время, не видишь настоящей жизни, и прошлое, когда я был так свободен, кажется не моим, а чьим-то чужим...» Так сам он замѣтил, что жизнь его, как маятник, колеблется между «присасываніем к мѣсту» и свободным полетом — прыжками в неизвѣстное.

«Уѣзжал он внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побужденію: оно было сильнѣе его» — разсказывал о нем И. Потапенко. Так, он как-то совершенно неожиданно «засуматошился, засобирался» — и двинулся в свою извѣстную экскурсію на Сахалин. В это время он как-то безотчетно волновался внѣевропейскими просторами. Так, Телешову он совѣтовал: «Поѣзжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за двѣ, ну, хоть в Азію, что ли. Перешагните непремѣнно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азіатскую землю, — послѣ скажете мнѣ спасибо». Обосновать свою тягу он не умѣл. Когда его однажды попробовал отговорить от какой-то поѣздки Суворин, Чехов ему отвѣтил полубезпомощно: «пусть поѣздка моя — пустяк, упрямство, блажь. Но неужели за всю поѣздку не случится таких двух-трех дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или горечью?» Значит, все равно, горечь ли, восторг ли, — «хоть гирше, та инше», чѣм обычное теченіе жизни. «Что-то новое в моем сознаніи, что я не обязан жить на такой-то улицѣ, в таком-то домѣ.... Весной уѣхать в Чикаго, оттуда через Америку и Великій океан в Японію и Индію». Иногда он мотивировал просто: «захотѣлось куда-нибудь подальше, *гдѣ горизонт видно*». Ликѣ Мизиновой он пишет: «Денег! Денег! Будь деньги, я уѣхал бы в южную Америку». Но Америка — только символ: «надо имѣть цѣль в жизни, а когда путешествуешь — то имѣешь цѣль». Итак, общее жизненное бездорожье требует суррогата — в физическом движеніи... Отсюда такое, напр., письмо: «Я ѣду в Ялту и положительно не знаю, зачѣм я туда ѣду. Надо ѣхать и в Тироль, и в Константинополь, и в Сумы; всѣ страны свѣта перепутались у меня в головѣ, фантазія кишит городами, и я не знаю, на чем остановить свой выбор». В самом дѣлѣ, Щеглову он пишет, что намѣтил Корфу и Мальту. Ковалевского он ждет — «поѣдем вмѣстѣ в Африку, постараюсь заѣхать как можно далѣе, и чтобы мое путешествіе хоть немного походило на труд, а то, право, становится уж совершенно совѣстно: препротивный эгоизм»... Лейкину о том же он пишет в искусственно залихватском тонѣ: «ах, будь у меня

лишних 200-300 руб., показал бы я кузькину мать! Я бы весь мір из'ѣздил!» И по большей части все это — «плѣнной мысли раздраженье», самообман и чистѣйшая символика: «вспомните, что писатели, которых мы называем вѣчными, имѣют один общій и весьма важный признак, они куда-то идут, и нас зовут туда же... А мы? Ни тпру, ни ну! Дальше хоть плетями нас стегайте... Политики у нас нѣт, в революцію мы не вѣрим, Бога нет, привидѣній мы не боимся...» Гдѣ же тут выход? Излѣчиться — не без загадочности говорит тут Чехов — возможно, конечно, и притом самым простым и крутым средством: «встань, возьми одр свой и пойди!».

Да, и Чехов не избѣг власти «скитальческой стихіи». Правда, из своих скитальческих порывов свершить удалось ему немного. Они были скованы, заморожены условіями жизни и литературной трагедіи Чехова. Это был не страстный скиталец типа Толстого или Бакунина. Это был скованный, застывшій, оледенѣлый скиталец... По его собственному опредѣленію, парализованный «присасываніем к землѣ»...

*
**

Не менѣе внутренно противорѣчив он и в других жизненных вопросах.

Он был и открыто заявлял себя чистым, послѣдовательным атеистом. Правда, атеизм его был не воинствующим, не бунтарским, не богоборческим, а устоявшимся, тихим и спокойным: если хотите, тоже «холодным, как лед». Когда ему предложили в одной редакціи работать вмѣстѣ с Мережковским, он отвѣчал, что даже и представить этого себѣ не может: «он вѣрует опредѣленно, вѣрует учительски, в то время, как я давно растерял свою вѣру и только с недоумѣніем поглядываю на каждого интеллигентного вѣрующаго».

А рядом с этим он много занимается церковными дѣлами. И не в том дѣло, что до конца жизни он любил церковное пѣніе, колокольный звон, пасхальную заутреню, разговѣнье. Это у невѣрующих не рѣдкость: со всѣм этим связаны воспоминанія «золотого дѣтства». Но Чехов не только издали любовался своеобразной эстетикой, присущей религіи и церкви. Он проявлял себя в жизни, то как усердный жертвователь на церковныя нужды; то как член епархіальнаго училищнаго совѣта; то как строитель колокольни; то как член попечительства о церкви.

Кто-то об'яснял это тѣм, что вообще Чехов был «виртуо-

зом безучастной вѣжливости». Правда, он говаривал с легкой усмѣшкой в углах рта: «лучше сказать человѣку м о й а н г е л, нежели пустить ему д у р а к а, хотя человѣк меньше похож на ангела, чѣм на дурака». Ему была свойственна и составляла один из элементов его личнаго очарованія мягкая, тихая, сконфуженная деликатность; но во власти над Чеховым церковных дѣл сказалось, как обнаружится дальше, нѣчто иное: своеобразная родовая и личная традиція, послушным рабом которой не быть он просто не мог: слишком уж «присосался к землѣ».

Думая о своем жизненном призваніи, о профессіи, Чехов остановил свой выбор на медицинѣ. Он считал выбор свой безповоротным, и серьезно пытался быть доктором. Но и тут двойственность и противорѣчивость его натуры дали о себѣ знать рѣзко и круто в надрывных признаніях:

«Ах, как мнѣ надоѣли больные! Больше всего надоѣли бабы с младенцами и порошки, которые скучно развѣшивать...

«Скучно! Не принадлежать себѣ, думать только о поносах, вздрагивать по ночам, не за мной ли пріѣхали... и в то же время быть совершенно равнодушным к очередной болѣзни и к тѣм людям, которым служишь...

«И страшно, и скучно, и противно... Дѣвочки с червями в ухѣ, поносы, рвота, сифилис, — тьфу!»

А Суворину в один из моментов такого настроенія он просто и кратко пишет: «Опять расклеился, раздражен чертовски. Не создан я для обязанностей и священнаго долга. Простите сей цинизм».

Надо ли прибавлять что ни грана цинизма в Чеховѣ не было, а если бы был, то не перед Сувориным же, циником до мозга костей, было бы за него извиняться? Чехов просто безстрашно вглядывается внутрь себя и говорит ту правду, которую обычно скрывают не только от других, но и от себя самого.

И еще один образец, безпощадной искренности, прикрытой, по чеховски, легкой насмѣшкой над всѣми и самим собою прежде всего.

В 1891 г. Чехов поѣхал «на голод». На него разсчитывали — да и сам он намѣревался — послужить своим пером энтузіастам помощи голодающим. И вот, неизвѣстно почему, по какой-то жизненной инерціи, он ѣдет вмѣстѣ с вдохновителем «Новаго Времени», А. С. Сувориным. Результат естественен, и сам Чехов описывает его с тонким юмором. Вездѣ — в Нижнем, в Воронежѣ — одно и то же: обѣды у

губернатора, поѣздки на осмотр заводов мѣстных промышленных магнатов, «блины, разговоры, очаровательныя улыбки, сценическія дарованія дочек владѣльцев», «затѣм чай, варенья, опять разговоры и, наконец, тройка с колокольцами». И стопроцентно-чеховское заключеніе: «одним словом, с голодающими дѣла идут недурно...»

Суворин, конечно, именно в поѣздках такого рода чувствовал себя в своей стихіи. Но Чехов? На обѣдѣ у губернатора приходится ему «много говорить и слышать о голодѣ». Общее впечатлѣніе: «правительство ведет себя недурно», и «частная иниціатива со стороны администраціи препятствій не встрѣчает, а наоборот: дѣлай, что хочешь».

Опять таки, если бы это писал Суворин для успокоенія читателей «Новаго Времени», все было бы просто и естественно. Но гдѣ тут Чехов? Его нѣт, он куда-то спрятался. Что его поѣздка по голодающим мѣстностям не ограничилась интервьюированіем губернаторских чиновников, и что он знал, до какой степени права человѣка в Россіи были далеки от «дѣлай, что хочешь», — всякій поймет без особых доказательств. Болѣе того, мы знаем, что краешек завѣсы с подлинной, кошмарной дѣйствительности голода 1891 года поднять он успѣл, — знаем по письму его к Кони: «Я видѣл голодных дѣтей, тринадцатилѣтних содержанок, пятнадцатилѣтних беременных, проституток с двѣнадцати лѣт, до наступленія менструаціи...»

Какими словами выразить то, что подымается в сердцѣ и умѣ от созерцанія таких кошмаров? Чехов предпочитал молчать или отдѣлываться шуткою над самим собой. Одному из лиц, заинтересованных в чеховской поѣздкѣ и ждущих от него таких же взволнованных и волнующих рѣчей, какія уже раздались из уст Льва Толстого и Короленко, он сознается: «принимался писать двадцать раз, но выходило так фальшиво, что всякій раз бросал. В статьѣ я не лгал, но был какой-то фальшивый, натянутый тон, какого я не выношу ни в своих, ни в чужих статьях».

И еще одно из многих, слишком многих противорѣчій. В домѣ Чехова часто наблюдалась какая-то «вакханалія гостепріимства». Он превращался в какой-то проходной двор для пестрой, случайной любопытствующей толпы. И это не было простым злоупотребленіем деликатностью хозяина. Один из его братьев (М. П.) как раз про «необыкновенные по душевному под'ему годы» писателя, 1888-89, говорит, что он «не мог обходиться без людей». А сам он Суворину признавался:

«Я положительно не могу жить без гостей: когда я один, мнѣ почему-то дѣлается страшно».

Перед нами, как будто, человѣк рѣдкой, широчайшей общительности. А между тѣм он носил кольцо с выгравированной на нем надписью: «Одинокому весь мір — пустыня». И в записной книжкѣ его прочли: «Как я буду лежать в могилѣ один, так, в сущности, я и умру одиноким».

Одиноким, в сознаніи его, он, как будто и умер — хотя у одра его болѣзни до самой смерти находилась его любящая и любимая жена. Лед одиночества был не внѣ, а внутри его. Она вопіяла: «Вѣдь у тебя любящее, нѣжное сердце, — зачѣм ты дѣлаешь его черствым?» Черствостью она называла чеховское не то неумѣнье, не то нежеланье выйти из твердой скорлупы замкнутости в себѣ самом. А он отвѣчал: «Зачѣм ты еще сердишься, что я с тобой ничѣм не дѣлюсь? Чѣм? У меня рѣшительно нѣт ничего»...

Такой большой почитатель Чехова, но вмѣстѣ зоркій наблюдатель, как Бунин, про него писал: «Того, что совершалось в глубинѣ его души, никогда не знали во всей полнотѣ даже самые близкіе к нему люди... Сдержанность не покидала его даже в самыя задушевныя минуты наших разговоров... Всегда со всѣми он был любезен, с нѣкоторыми даже ласков. Но и тѣх, и других неизмѣнно держал он на нѣкотором разстояніи от себя».

Отчего? Может быть, от того, что не хотѣл отвѣчать чужим так, как женѣ: «Пожалуй, барышня придет спрашивать, как жить надо, а я и сам не знаю... или гимназисты совѣтоваться насчет самоубійства...»

Так или иначе, но нѣчто подобное подмѣтил в Чеховѣ и Куприн: «Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполнѣ... но ко всѣм относился благодушно безразлично в смыслѣ дружбы...»

И еще он писал, — не без излишней театральности, но по существу необыкновенно мѣтко: «в своей удивительной об'ективности, стоя выше частных горестей и радостей, Чехов все знал и видѣл; но ничто личное не мѣшало его проникновенію; он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым без привязанности, благодѣтелем, но не разсчитывая на благодарность. И в этих его чертах, которыя всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности».

Предположим, что это так, что мы имѣем дѣло с человѣком, органически неспособным имѣть друзей и быть им другом.

Однако же, был и у него человѣк, котораго он рѣзко выдѣлял из рядов других — из рядов, в которых был и Бунин, и Куприн, и Левитан, и другіе крупные люди его времени. Но обрѣтеніе этого «избранника» — новая загадка. В 1893 году он писал А. С. Суворину: «кромѣ Вас, я ни с кѣм не переписываюсь и ни с кѣм долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всѣх моих знакомых, а значит, что я к вам привык и что только с вами я чувствую себя свободно».

Чехов как-то раз меланхолически замѣтил, что он — тот, кто по Гороховой шел и гороху не нашел, был свободен и не знал свободы, весь был в литературѣ и не жил с настоящими ея служителями. Суворин был от природы одарен и умен. Но у него не было ni foi, ni loi, единственным его богом был успѣх, и ради успѣха он, как флюгер, мѣнял свое направленіе. А Чехов упорно держался за этого величайшаго из политических циников Россіи 80-х—90-х гг. даже тогда, когда твердо сам себѣ сказал: ничего, кромѣ вреда, общеніе с «Новым Временем» мнѣ не принесло.

А, вот, постучавшійся в двери Чехова, чуткій и чистый человѣк, свящ. Щукин, ушел от него, словно холодной водой окаченный. «Вѣрно, я думал, его нѣт дома, и кто-то другой принимает меня. Разсказы Чехова были нѣжны и ласковы к людям; слова в них красивы и грустны, как в пѣснѣ тихой и печальной; а взгляд человѣка, который говорил со мною, был холоден, слова коротки, сухи и отрывочны. Мнѣ казалось: не мог этот человѣк написать тѣ разсказы....»

Так обдать другого холодом, будучи человѣком мягким, можно лишь в том случаѣ, если жизнь что-то жестоко заморозила в душѣ. Вопреки подозрѣніям жены, будто Чехов искусственно «черствит» свое «любящее, нѣжное сердце», надо в этом видѣть проявленіе какого-то болѣзненнаго душевнаго процесса. Его Чехов ощущал, как своего рода оцѣпененіе, замороженность, пустоту. Этой вгнѣздившейся в него стихіи он порою покорялся — и тогда он ее пытался реабилитировать, как что-то, дѣлающее художника — истинным художником, хотя бы цѣною умаленія, ущербленности в нем «человѣчного». Иногда же, присмотрѣвшись к той же чертѣ в другом — испытывал чувство отталкиванья. Так, перечитав в зрѣлом возрастѣ Гончарова, он «выбросил его из списка своих полубогов», потому что от гончаровских писаній на него дохнул «холод холод и холод». А между тѣм в нем шевельнулось опасеніе: «боюсь, что в этом отношеніи я очень похож на Гончарова...»

Своего апогея это трагическое чувство достигло в пред-

смертные дни. Когда жена прикладывала ему к сердцу лед, он вдруг с тихой и печальной усмѣшкой проговорил: «На пустое сердце льда не кладут...»

*
**

Так, перед читающей Россіей встала «загадка Чехова». Для разгадки ея нужно прежде всего возстановить «исторію болѣзни».

О родинѣ его, Таганрогѣ, один из его земляков Н. А. Тан говорит как об «удалом» Таганрогѣ, одном из тѣх окраинных городов, которые были основаны степными бѣглецами, людьми упрямыми и с размахом, своеобразными «печенѣгами». В городѣ сохранились отблески их «буйнаго быта и степного приволья».

Была и в семейной хроникѣ Чеховых не совсѣм обыкновенная фигура, много говорившая его ближним и дальним потомкам. То был дѣд писателя, крѣпостной крестьянин Черткова-отца, какими-то судьбами с'умѣвшій выкупиться на волю за 3.500 рублей. Это само по себѣ уже кое-что значило. Чтобы накопить такую сумму, тамошній крестьянин тѣх времен должен был либо превратиться сам и семью превратить в угрюмых страстотерпцев скопидомства и накопленія, либо стать «степным рыцарем» рвачества. Не колеблясь в выборѣ между молотом и наковальней, он на волѣ устроился прочно и крѣпко: стал служить управляющим в помѣщичьих имѣніях.

О нем А. П. писал: «Дѣд мой был по убѣжденіям ярый крѣпостник». К крестьянам он относился с тѣм же чувством, с каким ренегат — к народу, который был им предан: он был с ними в состояніи непрерывной войны.

Во втором поколѣніи — в сынѣ «печенѣга» — типичный мѣщанскій декаданс. Крѣпостником в большом масштабѣ быть уже мудрено: остается роль маленькаго крѣпостника в собственной семьѣ.

Отец Чехова — бакалейный торговец. В Таганрогѣ много негоціантов-греков, составляющих замкнутый круг, нѣчто вродѣ купеческой аристократіи. Навязчивой идеей отца становится — во что бы то ни стало пробиться в эту аристократію. Если не самому — то через одного из дѣтей. План созрѣл: греческіе купцы имѣют свою собственную приходскую школу. Там, правда, преподаваніе ведется на языкѣ их домашняго обихода — новогреческом; но при помощи процвѣтающих в школѣ тѣлесных наказаній, развѣ может это быть препятствіем? И вот, будущаго русскаго «Пушкина в

прозѣ» ухитряются затискать в школу, гдѣ у всѣх родным языком является какая-то невѣдомая ему тарабарщина, на ней же говорят, задают и спрашивают уроки учителя. Отец убѣдился, что из его плана ничего выйти не может. «Антоша» от нео-эллинизма был освобожден. Но домашній режим с оплеухами и порками был не слаще греческаго. Но не только от тѣлесных наказаній «отца в домѣ всѣ трепетали», а из-за той суровой и требовательной «мертвой хватки», с которою он своим недреманым оком каждаго ловил на «бездѣльничаньи» и моментально «опредѣлял к дѣлу». Свободной минутки сыну имѣть не полагалось — избалуется. В этом домѣ все принимало гомерическіе размѣры. Лавка была идолом, требующим человѣческих жертв. Дѣтство в этом домѣ было не «золотым», а желѣзным. Как жужжаніе неотвязной мухи, в дѣтских ушах гудѣли слова: «нечего баклуши бить во дворѣ, ступай в лавку, да смотри там хорошенько, пріучайся к торговлѣ». И сын «сидѣл за прилавком с утра до ночи, точно прикованный цѣпью».

Чуть ли не еще больше страдал «Антоша» от крайностей отцовскаго благочестія. Каждая суббота — всенощная, а послѣ нея, дома — семейное пѣніе канона. Между двумя и тремя часами ночи несчастных жертв неистоваго благочестія будили для воскресной ранней обѣдни, послѣ которой дома готовые заснуть на ходу ребята должны были благоговѣйно пропѣть хором акафист. А несчастнѣйшаго из всѣх, «Антошу», изводили еще частыя спѣвки: ему пришлось быть пѣвчим в церковном хорѣ мѣстнаго дворца. «Бывало — писал он — я с братьями пою в церкви «Да исправится» или же «Архангельскій глас», всѣх приводим в умиленіе, а сами себя чувствуем маленькими каторжниками». Позднѣе он писал: «Когда в дѣтствѣ мнѣ давали религіозное воспитаніе, и я читал на клиросѣ и пѣл в хорѣ, всѣ умилялись, я же чувствовал себя маленьким каторжником, а теперь у меня нѣт религіи. Вообще в т. н. религіозном воспитаніи не обходится дѣло без ширмочки, которая не доступна оку посторонних. За ширмочкой истязуют, а по сю сторону ея улыбаются и умиляются. Не даром из семинарій и духовных училищ вышло столько атеистов...».

Хуже всего маленьким каторжникам приходилось зимой, когда худенькія тѣла просили тепла, а неумолимый бог — Товар требовал для своего сохраненія холода; когда тут же, в лавкѣ, с красным от стужи лицом и посинѣвшими руками приходилось готовить уроки, тщетно пытаясь добыть из

чернильницы замерзшія чернила; невыученный урок нес за собою плохія отмѣтки, а онѣ вели за собою суровый нагоняй от отца. «Лавка эта с ея мелочною торговлей и уродливой односторонней жизнью взяла у него многое» — разсказывал об А. П. брат. Еще бы! Вѣдь он «был знаком в дѣтствѣ со всѣми пріемами обмѣриванія, обвѣшиванія и всякаго торговаго мелкаго плутовства... прошел из под палки эту безпощадную подневольную школу цѣликом и вспоминал о ней с горечью всю жизнь»... Один из чеховских біографов (Дерман) считает, что «даже дѣтство Горькаго, — в котором было столько несправедливаго и ужаснаго,—менѣе мрачно, чѣм чеховское». То озарялось лучем свѣта в темном царствѣ — заступничеством чудесной, изумительной бабушки, и оживлялось «своеобразной борьбой, своеобразным протестом: озорным уличным анархизмом». Это — не имѣло «ни одного атома борьбы и активности» и не знало «ни однаго атома лирической теплоты». Кажется самым настоящим чудом, что Чехов все же с'умѣл морально выжить, что душа его не замерзла совсѣм и сохранила способность оттаять.

Что же Чехова спасло? То, что, казалось, могло бы погубить. То была семейная катастрофа, разгром дѣдовскаго пепелища, разбросавшая членов семьи в разныя стороны. Бакалейная торговля отца не была спасена от банкротства ни акафистами, ни канонами, дом был продан с торгов, отец, а потом и мать перебрались в Москву. Мебель была забрана многочисленными кредиторами за долги. Для юноши это означало одиночество и нищету в том же Таганрогѣ, гдѣ ему оставалось — невѣдомо, на какія средства—кончать гимназію. А так как в двух классах он ранѣе оставался второгодником, то для окончанія курса требовалось еще три года. Он и принялся перебиваться грошевыми уроками, да скупыми подачками со стороны, оплаченными униженіем и низкопоклонством. Но за то — нѣт болѣе давящей чужой ферулы, уже являлись проблески досуга, уже он мог распоряжаться ими по собственной волѣ. Их он стал проводить в мѣстной библіотекѣ. Но не «проклятые вопросы» влекли его туда, хоть он и считал «стыдом не прочитать Бокля и Шопенгауэра». Замученный скукой вчерашняго торгашества и ханжества, он притягивался противоположною стихіей: легкаго, самодовлѣющаго смѣха. Он «открыл» наши юмористическіе — вѣрнѣе назвать, невинно-зубоскальные журнальчики той эпохи — Стрекозу, Развлеченіе, Осколки, Будильник. И в своей жизни он, у котораго по его собственным словам «в дѣтствѣ не было дѣтства» стал

ребячливым и проказливым «выдумщиком с вѣчно играющей селезенкой».

Разсказывали, как он мазал лицо сажей, сооружал на головѣ чалму ,облекался в бухарскій халат и с ружьем выходил в поле, пугая встрѣчных; гриммировался то дьячком, то прокурором, то нищим, и в видѣ нищаго посѣтил даже дом дяди, забавляясь тѣм, что тот не узнал его и щедро выдал — три копейки! Болѣе того, уже в 1888 г., послѣ того, как его уже осѣнила литературная слава, он писал Полонскому, в об'ясненіе своих экстравагантностей; «но что дѣлать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тра-ла-ла!» И поздніе рецидивы самаго забубеннаго ребячества поддерживали у многих тот же оптическій обман. Станиславскій говорил про него, что это «самый большой оптимист, какого он знал». Бунин говорил, что в основѣ его натуры лежала жизнерадостность; сам Чехов писал Авиловой: «я человѣк жизнерадостный»; но в другом письмѣ (к Хотяинцевой): «замѣчено, что мрачные люди, меланхолики, пишут всегда весело». Это кажется парадоксом; но развѣ не мѣтко было опредѣленіе, данное Гоголю Пушкиным: «веселый меланхолик»? И развѣ сам Чехов не признался себѣ однажды: «Мнѣ кажется, что я обманываю критику своими произведеніями, как обманываю многих своим серьезным или веселым не в мѣру лицом...» С. Елпатьевскій оказался зорче, когда сказал, что «Чехов — это сложный узорчатый рисунок с печальным колоритом...»

Исторія Чехова-литератора полна значительности. Но с чѣм он вошел из приазовских степей в литературу? Он был совершенно чужд «вѣяньям времени» — отголоскам начавшагося трагическаго поединка едва зародившейся революціи с многовѣковым самодержавіем. Свидѣтельства сверстников всѣ совпадают. «Не зачитывался Лавровым, Михайловским, Бакуниным». «Держался особняком от кружков, изучавших Писарева, Добролюбова, Герцена». «Не спорил о значеніи политическаго террора в Россіи, не одобрял и не порицал его». Был скрытен и замкнут. О чем-то одиноко думал, и одноклассники даже прозвали его «головастиком». Своего рода маніей была у него «ревнивая, мнительная самостоятельность». Семнадцатилѣтним подростком поклялся он — во что бы то ни стало «разбогатѣть», «властью денег» вознестись на высоты, на которых только и доступны два высших жизненных блага: свобода и господство над жизнью, а не рабство у нея. Какое сходство с «Подростком» Достоевского! В успѣхѣ был непоколебимо убѣжден: иначе как перенес бы он гнетущую

подневольность безпросвѣтнаго настоящаго? Двоюродному брату писал: «Разбогатѣю, а что разбогатѣю, так это вѣрно, как дважды два четыре». А пока — терпѣл, гнулся и повиновался; привыкал гнуться и терпѣть.

Человѣк другого, болѣе ранняго поколѣнія, так же, как и он «под гнетом роковым проведшій дѣтство, а молодость — в мучительной борьбѣ» — говорю о Некрасовѣ, — познал на собственном горьком опытѣ, что «недолгія нас бури укрѣпляют, но долгія — навѣки поселяют в душѣ привычки робкой тишины». Сравните же с этим горестным познаніем другое, выраженное в чеховских словах: «Я робок, я неувѣрен в себѣ: у меня трусливая совѣсть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ея господином. Иной говорит глупости и плутует, и так жизнерадостно: я же, случается, сознательно дѣлаю добро — и испытываю при этом только безпокойство или полнѣйшее равнодушіе. Все это, Гаврилыч, я об'ясняю тѣм, что я раб, внук крѣпостного...»

Формально все это говорит сам о себѣ не Чехов, а один из его персонажей; но развѣ заключительныя слова — «я раб, внук крѣпостного» не раскрывают скобок? У кого послѣ этого еще остаются сомнѣнія, пусть обратится к письму, гдѣ Чехов предлагает Суворину тему:

«Как молодой человѣк, сын крѣпостного, бывшій лавочник, пѣвчій, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитаніи, цѣлованіи поповских рук, поклоненіи чужим мыслям, благодарившій за всякій кусок хлѣба, много раз сѣченный, ходившій по урокам без калош, дравшійся, мучившій животных, любившій обѣдать у богатых родственников, лицемѣрившій и Богу и людям без всякой надобности, только из сознанія собственнаго ничтожества... — как этот человѣк выдавливает из себя по каплям раба, — и как, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человѣческая...»

Я не знаю другого примѣра, когда бы человѣк с'умѣл в таких немногих, простых, скупых словах сказать всю безпощадную правду о самом себѣ. Для этого надо быть тѣм несравненным мастером слова, каким был Чехов. «Сказано слово, и все об'яснилося», и нѣт болѣе «загадки Чехова»: ключ к разрѣшенію дан тѣм самым человѣком, который так долго и так тщательно держал сердце свое взаперти от других. Кто-то сказал, что «о Чеховѣ надо писать мелко и четко», потому что у него — «как на палубѣ военнаго корабля, нѣт

ничего лишняго». А обозрѣть оставленную им сокровищницу самоцвѣтных камней творчества мудрено «без самаго хозяина» — т. е. не имѣя все время перед собой образа самого художника с его двойственностью оледенѣнія и оттаиванія, приземленія и скитальчества — физическаго и духовнаго; со всѣми противорѣчіями обезкрыленности и взлетов, духовнаго рабства и духовной свободы, жизнерадостности и горечи. В этом мутном броженіи рождалось и отстаивалось чистое и прозрачное вино чеховскаго творчества.

Виктор Чернов.

ОБЗОР СОВѢТСКИХ ЖУРНАЛОВ ЗА 1943 ГОД

(«Новый Мір» январь-сентябрь, «Октябрь» январь-іюнь, «Знамя» январь-іюнь. «Звѣзда» январь).

Господствующія настроенія совѣтских толстых журналов кануна войны отражали происходившую в Совѣтском Союзѣ общественную консолидацію на новой основѣ, сочетавшей Октябрьскую революцію с историческим прошлым Россіи.

Первый военный год, сопровождавшійся отступленіем Красной Арміи и занятіем значительной части русской территоріи, в литературѣ и в публицистикѣ усилил и углубил тему патріотизма, общности судьбы. Эти чувства нашли свое наиболѣе яркое выраженіе как в поэзіи молодых. (К. Симонов, А. Яшин, Н. Рыленков), так и в стихах старых поэтов (А. Ахматова). Эти же чувства питали художественную прозу (разсказы А. Толстого, С. Сергѣева-Ценскаго, Ю. Слезкина, П. Нилина, В. Кожевникова, В. Ильенкова). Характерно для творчества этого перваго періода, что горечь утрат и пораженій компенсируется какой-то нетлѣнной радостью открытія в себѣ и в своих современниках вѣчной Россіи. Эта вѣчная Россія, незримо присутствующая в первых художественных откликах в журналах 1942 года, не устраняла ни революціи, ни совѣтскаго режима, ни коммунистической партіи, но всѣ они, словно переброшенные на луну, гдѣ иначе дѣйствует закон притяженія, потеряли часть своего прежняго вѣса, обнаружив скрытыя дотолѣ черты своей временности и относительности.

Очень удачный в военном отношеніи 1943-ій год в беллетристикѣ оказался менѣе счастливым, чѣм его предшественник. Правда, журналы выходят сейчас болѣе аккуратно, беллетристика — болѣе тщательно обработана. Но ни А. Суркову («Военная осень», «Ночной собесѣдник»), ни К. Симонову (цикл «Родина», пьеса «Жди меня»), ни Н. Рыленкову («Отец», «Возвращеніе») не удалось создать вещей, равных по эмоціональному звучанію их стихам прошлаго года. Зато появился ряд новых, впервые печатающихся поэтов, приходящих в литературу с фронта. Запоминаются стихи С. Гудзенко («Сталинградская тишина», баллада

«Солдатская судьба»), Ал. К у л е ш о в а (поэма «Знамя бригады»), А. С о ф р о н о в а («У каждаго из нас в странѣ родной Был точный адрес, город, номер дома...»), В. З а х а р ч е н к о («Нам отвѣчать»). Для большинства из них характерна тема возмужанія, отвѣтственности перед страной, привязанности к милым подробностям русской природы. Не менѣе характерна для поэзіи истекшаго года тяга от коротких стихов к поэмѣ и к балладам, замѣтная не только у пожилых, но и у молодых поэтов. Оборонѣ Ленинграда посвящены четыре поэмы: «Пулковскій меридіан» В ѣ р ы И н б е р, цикл «Ленинград» М а р г а р и т ы А л и г е р, «Ленинградская поэма» О л ь г и Б е р г г о л ь ц и «Блокада» З и н а и д ы Ш и ш о в о й. В них много волнующих подробностей из жизни героическаго населенія Ленинграда. Но эти произведенія волновали бы читателя еще больше, если бы их авторы меньше преклонялись перед собственным мужеством. Исключеніем является «Блокада» З. Шишовой:

«Я замѣчаю, как мы с каждым днем
Все больше сберегаем силы наши...
— — — — — — — — — — — —
Но экономя бережно движенья,
Мы говорим с особым выраженьем:
«Благодарю», «не безпокойся», «милый»,
«Ну, добрый путь тебѣ», «ну, будь здоров» —.
Так возвращается утраченное было
Первоначальное значенье слов».

Тяжкія испытанія компенсируются цѣнностями моральнаго порядка: хотя мір шероховат, грубо слажен, — «в этом мірѣ ходит слово «брат», и ходит обращеніе «товарищ» —

«Они совсѣм особая порода —
Товарищи сорок второго года!»

Очень знаменательно в поэмѣ искреннее признаніе поэтессы:

«О родина моя, прости меня!
Я до іюньскаго трагическаго дня
Не довѣряла нашей молодежи» —

по особому оттѣняющее то чувство отвѣтственности перед страной, которое характерно для творчества фронтовой молодежи.

Вклад писателей, посвященный о т о б р а ж е н і ю в о й-

н ы, в нынѣшнем году менѣе значителен. Журнал «Знамя» опубликовал 2-ю часть повѣсти Ю. Либединскаго «Гвардейцы». Время ея дѣйствія: конец 1941 года, связанный с памятным нѣмецким отступленіем под Москвой. В повѣсти много дѣйствующих, вѣрнѣе, говорящих молодых командиров и коммунистов, но эмоціонально вещь слаба и в ней нѣт внутренняго стержня. Либединскій хотѣл, повидимому, сдѣлать таким стержнем комиссара дивизіи Мировича и вообще выдѣлить руководящую роль коммунистов на фронтѣ. Но всѣ его командиры и комиссары расплывчаты, а фигура Мировича, до войны бывшаго отвѣтственным работником в одном из наркоматов тяжелой промышленности и вдруг обнаружившаго воинскій опыт, как то не убѣждает читателя и он даже не заинтересовывается Мировичем, как личностью. При всем том нѣкоторыя детали повѣсти интересны. Это особенно относится к характеристикѣ настроеній населенія Москвы в трудные дни ноября 1941 года.

Пьеса Л. Леонова «Ленушка» (в «Новом Мірѣ») обозначена автором как «народная трагедія». Трагическій элемент в ней несомнѣнен, хотя он и не там, гдѣ на него указывает писатель. Трагизм не в том, что умирает раненый командир танка Темников, с которым познакомилась и котораго успѣла полюбить Ленушка, пробираясь в село повидаться с родителями, а во всей обстановкѣ разоренія и обнищанія деревни, за которой чувствуешь разореніе огромной страны. На этом фонѣ как-то острѣе воспринимаешь старый конфликт между крестьянством и властью, который развернут в поведеніи «кулака» Стелана Дракина. В разсказах перваго года такіе писатели как А. Толстой, В. Ильенков и др. показывали, что под вліяніем войны крестьяне рѣшили «закрыть свой счет» против власти, а Леонов теперь опровергает это.

Лучше больших полотен и пьес разсказы и новеллы. Среди них запоминаются «Горы и ночь» В. Козина, писателя скупого на слова, но владѣющаго искусством разсказа («Новый Мір»), «Старуха» Б. Лавренева, «Тарасюк» В. Кожевникова и «Оборона Семидворья» А. Платонова (всѣ три в «Знамени»). Среди молодых прозаиков надо отмѣтить разсказы Г. Березко «Красная ракета» («Знамя»), «Дни Сергѣя Глушкова» А. Кононова («Октябрь»), маленькій разсказ Н. Атарова «Изба» («Новый Мір»). Разсказ Атарова запоминается, несмотря на то, что в нем почти нѣт никакой фабулы. С краю села на косогорѣ в Донской степи стоит изба. С тѣх пор как война вошла в среднюю полосу

Россіи, каждый вечер в избу заходят ночевать с дороги ослѣпшіе от вьюги военные люди. Двѣ женщины — старуха и невѣстка — лаской и вниманіем стараются обогрѣть случайных постояльцев. И кто только не перебывал в этой избѣ в тяжкую зиму — шлюзовой механик из Кимр и черкес из аула, казах из дальней степи и важный генерал, в чертах лица котораго оробѣвшая было старуха с радостью угадала бывшаго крестьянскаго мальчонку. Интересно задуман разсказ совсѣм молодого писателя Л. Успенскаго «Скобарь» («Знамя»): В воинскую полупартизанскую часть заявляется доброволец из псковичан, двадцать лѣт прожившій внѣ Совѣтской Россіи, в Эстоніи; человѣк он лѣсной, дремучій, носит натѣльный крест, начальства не признает, словом — «скобарь», «темная бутылка». При всем том командир Савич инстинктивно чует, что эта цѣльная, внутренно независимая натура — цѣнный человѣк, котораго нельзя потерять. И Савич не обманулся: «Скобарь» оказался замѣчательным развѣдчиком, вѣрным человѣком.

Лучше беллетристики войну передает очерк. Здѣсь на первом мѣстѣ надо поставить очерки Конст. Симонова «По дорогам войны» («Знамя»), описывающіе отступленіе в Донской степи, а затѣм и начавшееся наступленіе. Очень хорош в этой серіи очерк «Русская душа»: он описывает встрѣчу Новаго Года в зарытом в снѣгу убѣжищѣ на одном из перевалов через Кавказскій хребет. К командирам пріѣхала фронтовая бригада артистов, привезла баян. Баянист всю ночь играет русскія пѣсни, «Лучинушку», «Віют витры» и др. Каждый раз когда звонит полевой телефон, командир дает знак и баян смолкает. Вдруг раздается еще один звонок и связист в телефон просит, чтобы в убѣжищѣ не вѣшали телефона, тогда бойцы на линіи, хотя и слабо, все же будут слышать пѣсни. Так довелось услышать родныя пѣсни москвичам и кіевлянам, сибирякам и новгородцам, а ночь незамѣтно перешла в новый, 1943 год, «который в эту ночь всѣ уже связали в своих сердцах со словом 'побѣда'». Много цѣнных подробностей о жизни прифронтовой полосы и в освобожденных областях содержат очерки В. Гросмана «Сталинград» («Знамя»), Н. Тихонова «Ленинград-Волхов» (в «Звѣздѣ»), Б. Полевого «В наступленіе» и А. Бека «Панфиловцы на первом рубежѣ» (оба в «Знамени»).

Несмотря на часто высказываемыя совѣтскими критиками пожеланія, чтобы писатели откликались не только на войну, но и на жизнь тыла, на эту тему попрежнему почти нѣт охотников. И это опасный симптом. Пьеса А. Крона «Глубокая

развѣдка» (в «Новом Мірѣ») только косвенно может быть отнесена к тылу. Дѣйствіе ее развертывается в Азербейджанѣ лѣтом 1941 года и в основном продолжает еще линію довоенных пьес с обязательным выявленіем хороших и дурных руководителей промышленности.

«Люди Урала» Ф. Панферова («Новый Мір») посвящены встрѣчѣ работников, эвакуированных на Урал заводов с мѣстными людьми. Тема интересна. Но вещь Панферова не повѣсть и не разсказ, а только торопливый набросок для будущаго произведенія. Панферов талантлив и умѣет видѣть. Тема, на которую он набрел, в ближайшіе годы даст много произведеній. Над «Уралом в войнѣ» работает сейчас Маріэта Шагинян. В «Новом Мірѣ» она опубликовала отрывок «Академики на Уралѣ», в котором с большой теплотой обрисовала трех старых ученых — Д. И. Менделѣева, А. А. Байкова и В. А. Обручева.

Жизни в тылу посвящена повѣсть А. Дроздова «Зеленый сад» («Новый Мір»). У молодой еще, ленинградской піанистки Лизы убит на фронтѣ муж. Ее с дочерью отправляют в тыл, в поселок водников. Лиза оглушена событіями, растеряна. Совсѣм иначе дѣйствуют событія на ея дочь Катю: из подростка она как-то сразу становится взрослым человѣком и даже мать свою называет не «мамой», а Лизой. Хотя в повѣсти и много шаблона, нѣкоторыя детали об эвакуаціи дѣтей из Москвы интересны: «Все это были дѣти, выброшенныя неслыханным нашествіем врага из своих семейных гнѣзд, безнадзорныя. Одних пришибло горе, и глаза их как бы отвернулись от міра, перестали радоваться ему; другія сдѣлались удальцами, побродяжками, озорниками» — словом «народ трудный, ершистый». К сожалѣнію, автор справился с темой «зеленаго сада», выбрав самый легкій путь, сконцентрировав вниманіе и дѣйствіе вокруг Кати, а не вокруг этого «ершистаго народа».

Жизни в оккупированной части страны посвящена большая повѣсть Б. Горбатова «Семья Тараса» (в «Октябрѣ»). Она описывает переживанія стараго мастера Тараса во время отступленія Красной Арміи: «Все на восток, все на восток... Хоть бы одна машина на запад!» Но вмѣстѣ с тѣм, тянулась тоненькая ниточка обозов, Тарасу казалось, что еще не все потеряно, еще может с востока грянуть контр-удар. Потом все стихло. Началось самое страшное. Сильно передана в повѣсти встрѣча в «ночном русском полѣ» обитателей городка, ставших на старости лѣт «бродягами» и пытающихся вымѣнять в обобранных деревнях немножко продовольствія.

Картофель считается на штуки, мука измѣряется «ложечками». При всем том в населеніи есть люди, не теряющіе вѣры в грядущее наступленіе Красной Арміи.

Очень большое мѣсто в беллетристикѣ минувшаго года занимают романы и повѣсти на историческія темы. Самое значительное среди них «Жаркое лѣто» — 2-я часть романа «Брусиловскій прорыв» С. Сергѣева-Ценскаго («Новый мір»). «Брусиловскій прорыв» — только часть эпопеи «Преображеніе», над которой работает сейчас, живя в Альмѣ-Атѣ, старый писатель. Общій об'ем всего цикла «Преображеніе» по свѣдѣніям «Литературы и Искусства» — девять томов с эпилогом... В эпопеѣ фигурирует около тысячи дѣйствующих лиц.

«Брусиловскій прорыв» развивается в двух планах: тыла и фронта. Столица, двор, Государственная Дума зарисованы нѣсколько бѣгло, и все это не ново в своей трактовкѣ. Зато все, что касается войны, написано так, что трудно оторваться. И дѣло тут не только в талантѣ Сергѣева-Ценскаго. Войнѣ 1914-1917 года не повезло в художественной литературѣ. Всѣ писатели, бравшіеся за эту тему, не исключая даже таких, как А. Толстой и М. Шолохов, трактовали эту войну как прелюдію к революціи и поэтому о самой войнѣ писали какой-то сороговоркой. Сергѣев-Ценскій порвал с установившимся шаблоном. Он показывает, что в войну 14-го года были втянуты милліоны людей, этой войны хотя и не желавших, но чувствовавших, что вести ее надо, иначе рухнет не только царскій режим, но может погибнуть и вся страна. Носителем этого чувства является не только герой русскаго наступленія 1916 года генерал Брусилов, но многіе старые и молодые офицеры (вродѣ прапорщика Ливенцова). Очень выпукло это передано в разсказѣ унтер-офицера Милешкина, котораго Брусиловское наступленіе освободило из плѣна. Нѣмцы приказали Милешкину и другим плѣнным рыть окопы против своих, русских. Они отказались и большинство было разстрѣляно. «Раньше говорили и вы вѣдь тоже: 'Русскіе мы, русскіе! — заключает свой разсказ Милешкин. — А что такое «русскіе» никто толком даже не понимал... Даже воевать начали — все будто не наше дѣло, а начальство так приказывает. Только как в плѣн попали, вот когда мы начали понимать, гдѣ какіе русскіе, а гдѣ нѣмцы и что такое обозначает». Мысль Брусилова, что уже в этой войнѣ — «армія — это народ с оружіем» — вот основное чувство самого писателя, которым согрѣта вся эта эпопея.

Увлекательна, хотя излишне романтична и нарядна повѣсть С. Голубова «Багратіон». Один из критиков (А. Дерман), откликнувшійся в «Новом Мірѣ» на повѣсть, спрашивает: почему из плеяды героев Отечественной войны писатель выбрал именно Багратіона. Думается, что выбор опредѣлился желаніем откликнуться на успѣх Красной Арміи под Москвой в декабрѣ 1941 г. В исторической перспективѣ осторожная тактика Кутузова и Барклая, долго вообще не хотѣвших давать боя за Москву, оправдалась и Россія не погибла и послѣ сдачи Москвы. Но участники войны, особенно офицерская молодежь, отступив к Москвѣ, чувствовали, что Москву нельзя сдать. Так особенно чувствовал Багратіон, считая, что гибелью Москвы предрѣшалась гибель Россіи, и он внутренно связал свою жизнь с судьбой Москвы. Узнав послѣ тяжкаго раненія, полученнаго во время Бородинскаго сраженія, о сдачѣ Москвы, Багратіон, уже оправившійся от раны, бросил костыли и тѣм растравил еще незажившую рану и погиб от гангрены. В повѣсти хороши зарисовки офицеров-ад'ютантов Багратіона и солдат (Ворожейкин, Старынчук и др.). Патріотическая тема у Голубова не просто дань времени и модѣ. Еще до войны вышел его роман «Солдатская слава», в центрѣ котораго эпизод из Кавказской войны 30-х годов прошлаго вѣка и геройскій поступок солдата, добровольно вызвавшагося взорвать в окруженной крѣпости пороховой погреб. Для Голубова поступок этого «несгибучаго» солдата — иллюстрація, «как из наружнаго рабства глухого вѣка, в тяжких страданіях рождается внутренняя свобода человѣка».

Из произведеній, посвященных той же эпохѣ, отмѣтим интересный очерк Ю. Тынянова «Генерал Дорохов» («Знамя»), описывающій как Дорохов по порученію Кутузова освободил Верею. В воинском приказѣ к своим солдатам Дорохов тогда впервые употребил обращеніе «Товарищи».

В послѣдних трех книжках «Новаго Міра» за 1943 год напечатан в сокращенном видѣ роман Ивана Новикова «Пушкин на югѣ». В еще большей степени, чѣм в первом своем романѣ «Пушкин в Михайловском», вышедшем в 1937 году, Новиков много внимания удѣляет выясненію общественно-политическаго облика Пушкина... В романѣ подробно описано пребываніе Пушкина в Каменкѣ, в Кіевѣ, его встрѣчи с декабристами, жизнь в Кишиневѣ, в бытность там Пушкина лишь недавно ставшем русским городом. Описаны встрѣчи Пушкина с Липранди, его наблюденія над сербскими патріо-

тами, свиданіе с братьями Ипсиланти — героями греческаго возстанія. В свѣтѣ событій нынѣшней войны жизнь этой южной окраины Россіи, для которой Балканы были не отвлеченным географическим понятіем, а клубком горячих страстей и конфликтов — дѣлает роман как бы современным.

При всѣх достоинствах вкратцѣ разсказанных исторических произведеній им свойственна одна особенность; всѣ они могли бы появиться и в дореволюціонной литературѣ. Иными словами: величайшее потрясеніе, пережитое страной в революціи, хотя и углубило пониманіе прошлаго Россіи, но не внесло ничего принципіально-новаго в его трактовку. Это результат внутренней эволюціи совѣтскаго общества, продѣланной за послѣдніе 8—10 лѣт. Сказанное не относится, однако, к роману В я ч. Ш и ш к о в а «Емельян Пугачев», 2-ой том котораго начал печататься в «Октябрѣ». Над этим романом писатель работает свыше 10 лѣт. Первые отрывки появились в Ленинградской «Звѣздѣ» в 1935 году. Затѣм стал печататься в 1838 году в Ленинградском «Литературном Современникѣ» I-ый том, посвященный дѣтству Емельяна (это наиболѣе слабая часть), его военной службѣ, подробному описанію Прусской войны. 2-ой том начинается характеристикой широкаго строительства Петербурга руками крестьян, вербовавшихся с разрѣшенія помѣщиков всякими ловкими подрядчиками. Интересно и ново описаніе жизни этих артелей и жизни вообще того «пепельнаго» рязряда людей, который так интересовал молодого Гоголя. На противоположном полюсѣ изображена придворная жизнь, вечера в Эрмитажѣ. Затѣм дѣйствіе переносится в Яицкую слободу (позже переименованную в г. Уральск). Сейчас еще рано давать исчерпывающую характеристику этой незаконченной трилогіи. Но судя по тому, что уже напечатано, роман этот явится цѣнным и оригинальным вкладом в русскую литературу. Шишков использовал для него новыя историческія изслѣдованія.

Среди м е м у а р н о й литературы, примыкающей к исторической беллетристикѣ, надо выдѣлить воспоминанія покойнаго В. И. Н е м и р о в и ч а - Д а н ч е н к о в «Новом Мірѣ» — «Первыя театральныя воспоминанія», в которых описано дѣтство в Тифлисѣ и первое увлеченіе театром будущаго основателя Московскаго Художественнаго Театра. Интересны также воспоминанія М. Ш а г и н я н о С. Рахманиновѣ и «Письма Рахманинова к Ре», которыя опубликовала писательница («Новый Мір»). Слѣдует обратить вниманіе на отрывок «Егор Булычев», опубликованный К. Ф е д и н ы м

в «Октябрѣ» и являющійся частью интересной трилогіи «Горькій среди нас», 1-ый том которой «20-ые годы» вышел отдѣльно минувшим лѣтом.

К мемуарной литературѣ относятся воспоминанія и бывшаго совѣтскаго посла в Лондонѣ И. Майскаго «Перед бурей» (в «Новом Мірѣ»). Они рисуют 90-ые годы прошлаго вѣка в Омскѣ, гимназію, товарищескую среду (Майскій очень дружен был здѣсь с будущим писателем Н. Олигер); первые кружки, поиски смысла жизни, «теорію очищенія міра огнем», поѣздку в Москву, впечатлѣніе от книги Сиднея Уэбб «Исторія рабочаго движенія в Англіи», пріѣзд в Петербург в университет. Все это могло бы быть очень интересно, если бы автор как-то не обезличивал людей, о которых он разсказывает.

Дореволюціонной жизни посвящена вновь передѣланная старая пьеса А. Толстого «Нечистая сила» (в «Новом Мірѣ»). Ново в этой передѣлкѣ старой пьесы только разоблаченіе, выражаясь современным языком, «пятиколонной» дѣятельности нѣмцев в царской Россіи. Жизни дореволюціонной Одессы посвящен разсказ Вал. Катаева «Электрическая машина». Это только часть нѣсколько лѣт назад задуманной романизированной автобіографіи писателя, к которой автор періодически возвращается, когда ему, вѣроятно, хочется уйти в себя. Но «Электрическая машина» слабѣе всего предыдущаго.

В критическом отдѣлѣ журналов интересна попытка, начатая статьей В. Александрова (в «Знамени»), «Письма в Москву», разобраться в поэзіи періода войны; в центрѣ статьи — творчество наиболѣе популярнаго в арміи поэта Конст. Симонова. Почин Александрова встрѣтил отклик и в «Новом Мірѣ», гдѣ Е. Трошенко начал серію портретов молодых поэтов (К. Симонова и М. Алигер).

В заключеніе обзора слѣдует упомянуть, что в истекшем году журналы откликнулись на нѣсколько юбилеев: на 60-лѣтіе Ал. Толстого (среди откликов самым интересным является очерк самого Толстого «Мой путь», гдѣ он подѣлился воспоминаніями о дѣтствѣ в Заволжьѣ и дал портрет своей матери, урожденной Тургеневой, человѣка несомнѣнно незаурядаго), на 70-лѣтіе Ольги Форш, 60-лѣтіе Ф. Гладкова и 80-лѣтіе А. С. Серафимовича.

В. Александрова.

РОССІЯ И ЕЯ ЗАПАДНЫЕ СОЮЗНИКИ

Напечатанныя в этой книжкѣ нашего журнала статьи А. Ф. Керенскаго и Н. С. Тимашева снова касаются того воистину основного вопроса современности, который может быть обозначен как вопрос о взаимоотношеніях между Россіей и ея западными союзниками — не только в войнѣ, но и, в особенности, в эпоху послѣвоеннаго переустройства міра. Вопроса этого мы касались уже и раньше, несомнѣнно будем неоднократно возвращаться к нему и в будущем. Было бы странно, если бы это было иначе. Было бы одинаково странно, если бы при обсужденіи этого вопроса среди наших сотрудников не возникали нѣкоторыя разногласія. Мы не составляем в этом случаѣ какого то печальнаго исключенія. Вот уже много мѣсяцев как тот же вопрос не сходит со страниц печати союзных стран, и кромѣ неисправимых в своей наивности оптимистов или пропагандистов офиціальных точек зрѣнія никто не скрывает трудностей вопроса, не боится высказывать сомнѣнія и не пытается замалчивать разногласія или отрицать их наличность, когда она является самоочевидной.

Никто злонамѣренно не выдумывает ни самого вопроса, ни связанных с его рѣшеніем трудностей. Вопрос снова и снова повелительно ставится на очередь ходом событій, и в этом же ходѣ событій обнаруживаются всѣ его трудности. Даже факта военнаго сотрудничества Россіи и западных демократій в общей борьбѣ со страшным врагом, от побѣды над которым в одинаковой мѣрѣ зависит их существованіе, оказалось недостаточным для того, чтбы разом устранить всѣ трудности и снять всѣ разногласія. Понадобились совѣщанія в Москвѣ и в Тегеранѣ, но несмотря на их огромное положительное значеніе, котораго отнюдь не надо преуменьшать, многія трудности и разногласія все же остались и в нѣкоторых случаях даже пріобрѣли большую чѣм раньше остроту. Только поверхностный и потому вредный оптимизм может вселять надежду, что послѣднія заявленія Черчиля раз навсегда положат конец всѣм недоразумѣніям. Споры не кончились и не могут кончиться до тѣх пор, пока составляющія их предмет проблемы не найдут удовлетворительнаго по существу рѣшенія.

Повторяем, удивляться настоящему положенію вещей нечего. Разногласія неизбѣжны в рядах всякой коалиціи, как

бы она ни была спаяна единством основной непосредственной своей цѣли. В данном же случаѣ сила и серьезность разногласій увеличиваются и печальным наслѣдіем прошлых, далеко не дружеских, отношеній между сегодняшними союзниками и глубоким расхожденіем в идеологіи правящих ими сегодня сил — фактор, наличія котораго не слѣдует ни отрицать, ни замалчивать. Все это не значит, конечно, что соглашеніе не может быть достигнуто. Подобный безоговорочный пессимизм был бы столь же необоснован и столь же вреден как и противоположный ему безоговорочный оптимизм. За соглашеніе работают могущественные факторы: совмѣстное участіе в войнѣ и уже сейчас совершенно ясная взаимозависимость главных участников войны послѣ ея окончанія. Не надо забывать также, что все обсужденіе разногласій происходит в союзных странах в атмосферѣ всеобщаго признанія огромнаго международнаго значенія Россіи и горячей симпатіи к русскому народу со стороны широких кругов населенія.

Но соглашеніе не может быть достигнуто иначе как на пути общаго сговора и взаимных уступок, и именно поэтому особенно важно, чтобы всѣ спорные вопросы были теперь же всесторонне освѣщены и обсуждены.

2.

Какую позицію должны занимать в этом обсужденіи русскіе демократы?

В своей статьѣ А. Ф. Керенскій опредѣляет их первую задачу как выясненіе того, «в чем заключаются цѣли Россіи, которыя мы должны защищать, и гдѣ начинается партійная міровая политика, Россіи чуждая и вредная, против которой надо бороться». Скажем сразу, что мы не считаем возможным противопоставить интересы Россіи интересам других участников коалиціи. Мы убѣждены, что высшая, покрывающая всѣ остальныя, цѣль Россіи сейчас может заключаться только в одном — в обезпеченіи прочнаго международнаго мира, и это же одно только и может быть высшей цѣлью и всѣх других «об'единенных націй», больших и малых одинаково. Убѣждены мы и в том, что такой прочный мир может быть достигнут только путем международнаго соглашенія и добровольнаго самоограниченія всѣх его участников.

Мы знаем всѣ ходячія возраженія, которыя могут быть сдѣланы против такой постановки вопроса, и вперед отвергаем обвиненіе в утопичности. У нас нѣт никаких иллюзій насчет возможности немедленнаго осуществленія идеальнаго мірового

порядка. Мы отдаем себѣ полный отчет во всѣх трудностях, которыя стоят на пути возсозданія сейчас хотя бы даже Лиги Націй в ея прежнем видѣ, не говоря уже о болѣе совершенных формах международной организаціи. Считаемся мы и с вѣроятностью, что втеченіе какого то періода времени послѣ окончанія войны фактическое руководство судьбами міра будет находиться в руках трех сильнѣйших государств побѣдоносной коалиціи.

Но если мы не хотим предаваться необоснованным иллюзіям, то в такой же мѣрѣ далеки мы и от одинаково необоснованнаго пессимизма, заранѣе об'являющаго всѣ попытки созданія международной организаціи, построенной на ограниченіи національнаго суверенитета, безнадежными и обреченными на неудачу. Нам вообще чужд всякій фатализм, геополитической или любой иной формаціи. Мы сомнѣваемся и в существованіи «вѣчных и неизмѣнных интересов великих держав», потому что мы знаем, что эти интересы возникали и видоизмѣнялись в процессѣ исторіи и слѣдовательно могут мѣняться и в наши дни, и в будущем. Мы не можем игнорировать такіе факторы, как новые технологическіе процессы, новая степень экономической связанности міра и, наконец, и может быть в первую очередь, новое сознаніе народов міра, разбуженное одним из величайших в исторіи потрясеній.

Идеальной международной организаціи на другой день послѣ войны построить вѣроятно не удастся, но чѣм полнѣе будет осуществлена идея международнаго сотрудничества и чѣм рѣшительнѣе будет отход от устарѣвшаго принципа неограниченнаго національнаго суверенитета, тѣм прочнѣе будет мир и, слѣдовательно, тѣм глубже будут удовлетворены подлинные интересы и Россіи, и всѣх других больших и малых государств. Болѣе того, самое сотрудничество Россіи, Англіи и Америки только в той мѣрѣ сможет осуществить свою положительную творческую задачу, в какой члены «директората» сумѣют отойти от духа, пріемов и задач великодержавнаго п е р е д ѣ л а міра и приблизиться к духу, пріемам и задачам его п е р е у с т р о й с т в а, в соотвѣтствіи с новыми условіями міровой жизни, матеріальной и духовной.

Это и будет, с нашей точки зрѣнія, подлинная р е а л ь н а я политика. В ея торжествѣ полной увѣренности быть не может, но нѣт и никаких основаній предрекать ея неизбѣжное пораженіе. В послѣ-военном переустройствѣ міра еще ничто не предрѣшено. В демократических странах коалиціи еще идет борьба разных теченій, и было бы преждевременно считать

«идеалистическія цѣли войны» окончательно упраздненными. Перед Англіей и Америкой, как и перед Россіей, все еще стоит выбор. Но в то время как в демократических странах силы, противящіяся искушеніям «реальной политики» Бисмарковскаго типа, могут свободно высказываться, организовываться и оказывать давленіе на свои правительства, в Россіи этой возможности сейчас нѣт.

Тѣм повелительнѣе долг свободнаго русскаго журнала поставить эту проблему во всей ея широтѣ и, обсуждая ее в мѣру совѣсти и разумѣнія, указывать на то, что является истинной «цѣлью Россіи» и гдѣ начинается политика «Россіи чуждая и вредная» — все равно продиктована ли она задачами мірового коммунизма или интересами испытывающего націоналистическое перерожденіе партійнаго режима.

3.

Несмотря на подлинно міровой характер настоящей войны и независимо от того, каков будет в дальнѣйшем удѣльный вѣс в мірѣ внѣ-европейских сил, для нас несомнѣнно, что для ближайшаго будущаго коренным остается вопрос о послѣвоенном переустройствѣ Европы. Может быть, мы приближаемся к концу «европейскаго періода» міровой исторіи и к началу ея «океанической эры» — пока это все еще область историко-философских прогнозов, в сознаніи же милліонов людей, в том числѣ и живущих далеко за предѣлами европейскаго континента, Европа продолжает оставаться одним из самых важных нервных центров міровой политики.

И это ощущеніе ни в коем случаѣ нельзя считать простой иллюзіей. И первая, и вторая міровая война — обѣ начались в Европѣ. Судьба первой войны была рѣшена в Европѣ, и там же будет рѣшена судьба и второй. В Европѣ возникла величайшая опасность для мира всего міра, и хотя в разрушеніи очага этой опасности главную роль будут играть внѣ-европейскія страны, от этого борьба не перестанет быть борьбой за Европу. Быть может, рано еще и ставить крест на будущем Европы, как бы она сейчас ни была обезсилена и разгромлена. Никто не может учесть, с какой бы то ни было долей вѣроятности, способность Европы к возрожденію и сохранившійся в ней запас творческих сил. И уже во всяком случаѣ одно несомнѣнно: в первый період послѣ окончанія войны именно Европа явится тѣм «опытным полем», на котором державам-побѣдительницам придется пробовать избранные ими методы послѣ-военной реконструкціи. От того, как будут рѣшены

европейскіе вопросы, будет в значительной мѣрѣ зависѣть и рѣшеніе вопросов внѣ-европейских.

И именно к Европѣ в особенной мѣрѣ относится высказанное выше положеніе о необходимости переустройства міра на началах международнаго соглашенія со взаимным самоограниченіем его участников. Ни в одной другой части міра нѣт так много народностей, каждая со своей прочно укорененной національной культурой, долгой исторической традиціей, сильно-развитым національным чувством.

Нигдѣ поэтому, в попытках «передѣла міра», не пришлось бы так безпощадно рѣзать по живому тѣлу, и нигдѣ эта попытка не являлась-бы в такой же мѣрѣ отрицаніем «реальностей», как в Европѣ.

Вот почему для Европы в особенности слѣдует желать, чтобы главныя державы коалиціи проявили и максимальную сдержанность в настаиваніи на своих великодержавных правах, и максимальное вниманіе к правам и интересам малых или временно ослабленных стран. По существу у них может быть только одна задача: в кратчайшій срок помочь Европѣ стать на ноги и дать ей возможность снова зажить нормальной и самостоятельной жизнью.

Такого рода задача, конечно, иначе как на путях международнаго сговора успѣшно рѣшена быть не может. Все равно, идет ли рѣчь о западной или о восточной Европѣ, при такой постановкѣ вопроса для односторонняго дѣйствія Россіи не остается мѣста. Как можно ожидать от Англіи или Америки равнодушія к судьбам восточной Европы, когда пожар первой міровой войны вспыхнул на Балканах, а пожар второй — в Польшѣ? И как можно ожидать готовности со стороны любой из восточно-европейских народностей пассивно принять рѣшеніе своей судьбы из чьих бы то ни было рук?

В нашем представленіи постановка этих вопросов ровно ничего враждебнаго Россіи в себѣ не заключает. Нам не нужно доказывать, что мы рѣшительно отвергаем всякіе помыслы, откуда бы они ни исходили, о «крестовом походѣ» против Россіи или вообще о каких либо направленных против нея «исправительных и карательных мѣрах». Не видим мы и никаких фактических основаній опасаться проведенія «политики окруженія» Россіи со стороны ея союзников. Рѣчь может идти только о настаиваніи на совмѣстном международном рѣшеніи всѣх европейских вопросов, и осуществленіе этого законнаго требованія, по нашему глубокому убѣжденію, было бы в интересах не только Европы, но и самой Россіи.

М. К.

ИЗ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Акад. А. Н. Крылов: Мои воспоминанія. Академія Наук СССР, Москва-Ленинград, 1942 г.

Memoirs of Jeremiah Curtin, edited with notes and introduction of Joseph Schafer. Madison: State Historical Society of Wisconsin.

Автору первой из этих книг за восемьдесят лѣт. «Воспоминанія» были написаны им за время от 20-го августа по 15-ое сентября 1941 года в Казани, куда он повидимому был эвакуирован из Ленинграда.

Старые петербуржцы, вѣроятно, помнят характерную фигуру А. Н. Крылова — большого роста, с длинной бородой, росшей чуть ли не прямо из под морской фуражки с огромным козырьком, ровным шагом идущаго утром по линіи Васильевскаго Острова в Морскую Академію. Сын обѣднѣвшаго симбирскаго помѣщика, А . Н. Крылов пронес через всю свою длинную и ярко прожитую жизнь черты индивидуализма и, пожалуй, самодурства, унаслѣдованныя от предков-дворян, среди которых было много лихих псовых охотников. Выдающійся ученый, много поработавшій над вопросами девіаціи компаса и теоріей килевой качки корабля, втеченіе многих лѣт профессор Морской Академіи и с 1916 года дѣйствительный член Академіи Наук, А. Н. вмѣстѣ с тѣм был и крупным практическим работником и оказал большое вліяніе на судьбы россійскаго военнаго судостроенія в період между Русско-Японской войной и Первой Міровой Войной: в 1912 году он своей докладной запиской помог провести через Государственную Думу законопроэкт о пятисотмилліонном ассигнованіи на усиленіе флота.

При совѣтском правительствѣ А. Н. продолжал и свою практическую дѣятельность и свою научную работу, несмотря на преклонный возраст. Не оставил он и преподаванія, читая лекціи в Морской Академіи еще в 30-х годах. В 1938 году, когда ему исполнилось 75 лѣт, он был награжден орденом Ленина.

Воспоминанія А. Н. Крылова написаны живо, простым и ясным языком. К сожалѣнію, автор ограничивается описаніем событій, в которых он участвовал, или своей научной работы. О внутренних его переживаніях читатель узнает очень мало. Как воспринял он революцію? Как и во имя чего пошел на службу Совѣтскому Правительству? Как пережил он желѣзные тридцатые годы, когда столько

его коллег и однокашников жестоко пострадали во время «чисток»? Вѣроятно, условія писательской работы в Совѣтской Россіи наложили суровыя ограниченія на «Воспоминанія», но как-то невольно напрашивается вопрос: не эгоцентризм ли автора, его привязанность к жизни и научной работѣ и значительная доля самовлюбленности создали прочную раковину, укрывшую психику талантливаго ученаго от бурных волн революціи?

Но то, что дано автором, имѣет большую цѣнность, и прежде всего для интересующихся русской морской исторіей и дѣятелями россійскаго флота. Вереница моряков, начальников и ровесников автора, проходящая перед читателем, изобилует сильными характерами, людьми самостоятельнаго склада мыслей, проносившими свою духовную независимость через нелегкія условія службы во флотѣ. Тут и извѣстный адмирал В. П. Верховскій, который «особенно цѣнил то, что я ему не поддакивал», и самоучка корабельный инженер П. А. Титов, не заглядывавшій ни в какіе справочники и учившій рабочих показом, и острый на язык адмирал А. А. Бирилев; умница К. П. Пилкин, талантливый адмирал С. О. Макаров, энергичный и властный морской министр И. К. Григорович, адмирал Н. О. Эссен.

С точки зрѣнія историка наиболѣе цѣнными являются страницы, касающіяся возсозданія флота перед Первой Міровой Войной. Но и для читателя не-спеціалиста в книгѣ А. Н. Крылова много интереснаго, и не только в области морской исторіи. В первой части «Воспоминаній» мастерской рукой набросана картина помѣщичьей жизни. Экзотическій интерес имѣют страницы, посвященныя пресловутому сэру Базилю Захарову, который, по словам автора, был сыном профессора астрономіи Московскаго Университета, Василія Захарова. Из особо красочных эпизодов слѣдует отмѣтить переписку автора «Воспоминаній» с морским министром, адмиралом С. А. Воеводским, вѣроятно единственную в своем родѣ в архивах морскаго министерства, и резолюцію А. Н. Крылова на проектѣ убранства адмиральской каюты одного из броненосцев, которая стоит того, чтобы ее процитировать: «Полагаю, что убранству адмиральской каюты болѣе подобает величавая скромность келіи благочестиваго архіерея, нежели показная роскошь спальни развратной лицедѣйки».

Воспоминанія Еремѣя Давыдовича Куртина (как звали автора его друзья в Россіи) представляют значительный интерес для русскаго читателя.

Жизнь этого незауряднаго человѣка сложилась необычно для питомца Харвардскаго Университета времен американской гражданской войны. Католик, сын ирландскаго эмигранта, Куртин рано

увлекся изученіем славянских языков. Польским Куртин занимался еще самоучкой в Харвардѣ. Самоучкой же он начал учиться русскому. Приход эскадры Лесовскаго в Нью Іорк дал ему возможность познакомиться и подружиться с одним из русских морских офицеров, и, забросив всѣ другіе языки, Куртин погрузился в занятія русской разговорной рѣчью.

Встрѣчи с русскими дали молодому лингвисту мысль посвятить себя дипломатической службѣ в Россіи с цѣлью изученія русской исторіи, литературы и народнаго эпоса. Уже в это время он ставил себѣ задачу перебросить культурный мост между своей родиной и Россіей. «Крайне важно, чтобы Россія и Соединенные Штаты хорошо знали друг друга. Мы теперь знаем, кто наши враги, и нам надо по крайней мѣрѣ завести знакомство с нашими друзьями», писал Куртин Гесударственному Секретарю Сюарду.

Получив назначеніе секретарем миссіи Соединенных Штатов в Петербургѣ, Куртин, зачастую пренебрегая своими служебными обязанностями, с головой ушел в жизнь столицы. Круг знакомых его быстро ширился. Тут и московскій генерал-губернатор и Катков; адмирал Шестаков и купец Громов; сын Карамзина и молодой Сергѣй Витте; Лорис-Меликов и казачій атаман Потапов; генерал Черняев и Шамиль; позже Побѣдоносцев, Хилков и Лев Толстой. Дипломатическая карьера Куртина рано прервалась, но это не повело к оставленію Россіи навсегда. Сперва он взялся за постройку желѣзных дорог, позже занялся лѣсным промыслом на Кавказѣ.

Том «Воспоминаний» состоит из пятидесяти четырех глав. Одиннадцать из них посвящены Россіи и перипетіям дипломатической карьеры автора, четыре описывают встрѣчи с Сенкевичем и другими польскими писателями, а также поѣздки по Польшѣ. Эти то пятнадцать глав и являются наиболѣе интересными для русскаго читателя. Онѣ имѣют особую цѣнность благодаря серьезной освѣдомленности Куртина в вопросах культуры и быта обѣих славянских стран, к каждой из которых он относился с равной симпатіей, несмотря на их часто взаимно-исключающія стремленія и политическія тенденціи. Куртин повидимому чувствовал себя одинаково дома и в польском помѣстьѣ, и в гостиной московскаго купца.

Четко проходит через весь том отраженіе настойчивых усилій Куртина добиться сближенія между Россіей и Америкой и поднять интерес к Россіи среди американцев. В этом отношеніи его можно считать одним из первых серьезных работников в дѣлѣ установленія взаимнаго пониманія и дружбы между Россійской Имперіей и Соединенными Штатами.

Во время Русско-Японской войны Куртин рѣзко осуждал политических дѣятелей Англіи и Америки, привѣтствовавших успѣхи

Японіи. Перед началом переговоров в Портсмутѣ, Куртин, по просьбѣ Витте, ѣздил в Ойстер Бэй к президенту Рузвельту, гдѣ имѣл с ним продолжительный разговор о Россіи и о Витте лично. К сожалѣнію, часть воспоминаній, относящаяся к Портсмутским мирным переговорам, опущена в изданном томѣ. Слѣдует надѣяться, что эта глава появится в печати в недалеком будущем.

Рукопись «Воспоминаній» вышла из под пера его жены. Автор диктовал черновик, по которому послѣдняя сама уже составляла окончательную редакцію. Повидимому г-жа Куртин не была достаточно знакома с лицами, упоминаемыми в записках, так как онѣ содержат много ошибок в правописаніи имен (не только русских, но и англійских). Эти мелкіе недостатки, однако, не мѣшают книгѣ быть интересным и значительным явленіем в области американской литературы о Россіи.

Д. Федотов Уайт.

A History of Russia by George Vernadsky and Michael Karpovich. Vol. I. Ancient Russia, by George Vernadsky. Yale University Press, New Haven 1943. XIV+425 pp.

Не без волненія берешь в руки первый том обширнаго труда Г. В. Вернадскаго по древней русской исторіи, подводящаго итоги нѣскольким десятилѣтіям подготовительных изысканій в областях подсобных и смежных наук, из которых нѣкоторыя, как, напримѣр, византологія, за передышку между двумя войнами разрослись до исполинских размѣров. За недолгій ренессанс, послѣ многолѣтней спячки, исторических изученій в Сов. Россіи там появился ряд хороших монографій, старательно обработаны и изданы нѣсколько исторических источников, возобновлены или заново возникли нѣсколько повременных изданій, напечатаны нѣсколько новых курсов по отечественной исторіи и источниковѣдѣнію (Прѣснякова, Приселкова, Любавскаго и др.), вообще произведен сбор и смотр уцѣлѣвших от разгрома и заново подросших кадров изслѣдователей, надлежаще вооруженных методом, начитанностью в литературѣ и владѣніем современными и классическими языками. Все же остается в силѣ одновременно и грустный, и радостный факт, что первый послѣ революціи — и вообще ѣервый за добрых полвѣка — опыт систематическаго и научно разработаннаго изложенія русской исторіи, стоящій на уровнѣ огромных достиженій современной науки и достойно продолжающій линію твореній Соловьева, Ключевскаго и Милюкова — чтобы назвать только наиболѣе современныя и без-

спорныя имена — производится за границами Россіи и не на русском языкѣ.

Г. В. Вернадскій едва ли не самый плодовитый писатель и научный работник эмиграціи. К грандіозной задачѣ составленія первых, «древнѣйших» шести томов из задуманнаго им совмѣстно с М. М. Карповичем десятитомнаго труда он подходит послѣ длительнаго и многосторонняго искуса, будучи автором не только длиннаго ряда монографій по исторіи варваров и кочевников, по byzantino- и mongoloslavica и т. д., но и больших, в сотни страниц, книг по цѣлым отраслям русской исторіи, — политической, дипломатической, юридической и культурной, — теоретических работ идеологическаго (евразійскаго) характера и общих обзоров исторіи Россіи и ея частей. Огромное количество номеров спеціальной литературы, обработанной им для разбираемаго труда, перечислено в рядѣ обширных указателей авторов, источников и періодических изданій, приложенных к книгѣ вмѣстѣ с отличным общим указателем и подробной хронологической таблицей.

Основная идея Г. В. Вернадскаго о происхожденіи древнѣйшей соціально-этнической организаціи восточнаго славянства и Руси, которую он болѣе или менѣе пространно излагал в рядѣ печатных и устных выступленій, по нашему мнѣнію, все еще не созрѣла для органическаго включенія в труд столь огромной отвѣтственности. Постараемся изложить ея суть. Г. В. Вернадскій приписывает длительную и важную роль, в качествѣ ядра первоначальнаго сгущенія восточнаго славянства, значительному иранскому племени асов, или аланов, которых собственная исторія, весьма бурная и долгая — вплоть до XIV-го вѣка по крайней мѣрѣ —, разыгрывалась на огромном пространствѣ, на котором они соприкасались со многими народами — германскими, тюркскими и славянскими. Наш автор простирает область разселенія асов-алан далеко на восток — до самой Средней Азіи, гдѣ, напр., во II-ом в. до Р. Х. встрѣчается племя арсов, по имени близко напоминающее аланских аорсов; китайскія лѣтописи называют этот народ ан-т'цай; в Джунгаріи в тѣ же, примѣрно, времена встрѣчается народ осун, напоминающій осов, асов. На языкѣ тохаров, древняго арійскаго племени Средней Азіи, слово «ант» означает равнину, поле — отсюда сопоставленіе с позднѣйшими антами и полянами. В этих же полубасновных краях Помпоній Мела и Плиній Старшій знают каких-то антов; греки называли тот же, будто бы, народ асіями и асеями; отсюда уже совсѣм недалеко до асов и ясов русской лѣтописи, предков нынѣшних осетин. Особенность отношенія аланов-асов к русской исторіи состоит в том, что из двух вѣтвей славянства, впервые упомянутых под своими туземными именами в VI-ом вѣкѣ, только одна названа

собственно славянами, другая же, не отличающаяся от первой, по свидѣтельству Кассіодора-Іордана и Прокопія, ни языком ни нравами, носила как раз неславянское и вообще необ'яснимое имя антов. Г. В. Вернадскій и приписывает возникновеніе этого имени тому обстоятельству, что соотвѣтствующая половина славянства находилась в подчиненіи у причерноморских асов-алан, как соціально господствующаго класса, и восприняла их племенное имя; переход этого имени — ас — в «ант» он об'ясняет аналогіей из греческой грамматики, в которой гигас, напр., при склоненіи переходит в гигант-, атлас в атлант-, и т. п.

Не менѣе важную роль, чѣм в вопросѣ анто-славянском, приписывает наш автор иранскому элементу или, вѣрнѣе, окруженію в вопросѣ о происхожденіи Руси. Старая и вѣчно острая норманская проблема получает освѣщеніе если не совсѣм новое, то все же показывающее старые элементы в новом сочетаніи — новом, во всяком случаѣ, в большой русской научной литературѣ. Трудами Томсена, Куника, Васильевскаго, Шахматова факт призванія восточными славянами правителей-варягов из Скандинавіи поставлен на позиціи совершенно неоспоримыя. Г. В. Вернадскій и не собирается заняться безплодным дѣлом потрясанія устоев, возвращая нас ко временам Гедеонова и Иловайскаго, а привносит в пріемлемую им, в общем, норманскую теорію значительныя модификаціи. Еще І. Марквардт в своей классической книгѣ Osteuropaische und Ostasiatische Streifzüge (1903) высказал мысль о возможности и нескандинавских корней происхожденія имени Руси и опредѣленно указал на нынѣшній русскій юговосток (Приазовье, устье Дона, Керченскій пролив), издавна связанный со Скандинавіей оживленными торговыми сношеніями. Упомянутый у Іордана народ росомонов Марквардт пытался отождествить с германским народом герулов, который до великаго переселенія народов обитал в Пріазовьѣ, но исчез оттуда послѣ 375 г. (так думают спеціалисты, но пишущему эти строки удалось найти указаніе на присутствіе части герулов в Крыму, и притом под их настоящим именем, а не постулируемым у Марквардта псевдонимом, еще через двѣсти без малаго лѣт послѣ этой даты; к нему отсылает Г. В. Вернадскій в отчетном трудѣ, р. 168, прим. 183). Марквардт обратил вниманіе также на народ «рос», который знает в тѣх же, повидимому, мѣстах сирійскій писатель VI-го вѣка, извѣстный под не совсѣм подлинным именем Захарія Ритора. Наш автор идет еще далѣе, отождествляя росомонов с общеизвѣстным аланским племенем роксолан в южн. Скифіи, над которыми много потрудился еще Иловайскій, и, выдѣляя из их имени алан, представляет остаток в видѣ «рух-ас», т. е. «свѣтлых (свѣтловолосых?) асов» (по-англ. «light As»), и в этом словѣ видит

фонетическую форму, из которой впослѣдствіи развилось имя Русь. В VIII и IX вв. с ним ознакомились и примѣнили его к себѣ предпріимчивые выходцы из Скандинавіи и потом занесли его на свой дальній сѣвер, а по дорогѣ — и в область дальняго славянскаго сѣверозапада.

Мы сомнѣваемся в том, удастся ли Г. В. Вернадскому расположить в пользу правильности своих построеній мнѣніе компетентной среды, так как, за отсутствіем положительных подтвержденій в источниках, они основаны на оперированіи рядом словесных сближеній и аналогій над мало благодарным матеріалом географических и этнических имен, из которых нѣкоторыя, в родѣ «ас» или «рос», трагически односложны, а другія встрѣчаются в памятниках только один раз. С другой стороны, вслѣдствіе крайней скудости и сбивчивости источников, едва ли возможно покамѣст составить сводку мѣст, опредѣленно опровергающих нашего автора. Укажем, однако, уже здѣсь на полное отсутствіе указаній на тѣсную связь с аланами-асами в «fontes domestici» русской исторіи, в которых никогда не встрѣчается, в видѣ пережитка из отдаленнаго прошлаго, имя алан и лишь очень мимолетно — имя асов (от которых, между прочим, пошло имя стариннаго русскаго города Асскій Торг, нынѣ Яссы в румынской Молдавіи). Далѣе, при прикосновеніи славян с массой довольно культурнаго аланскаго народа, вѣками прожившаго в причерноморских степях (не в примѣр малочисленной варяжской кастѣ, ославянившейся уже во втором или третьем поколѣніи), слѣдовало бы ожидать гораздо болѣе глубокаго и обильнаго проникновенія иранских элементов в общеславянскій язык, чѣм выводимое из немногочисленных вокабул на стр. 96 и 98 у нашего автора.

Можно, далѣе, уже сейчас показать, что нѣкоторыя из доказательств, приводимых Г. В. Вернадским в защиту аланской теоріи, основаны на недоразумѣніи. Один примѣр: имя г. Астрахани естественно привлекло к себѣ его вниманіе, и он предается по его поводу довольно сложным размышленіям о разных іерархических отношеніях и наименованіях («тархан») у восточных народов — в примѣненіи к асам. Между тѣм, в источниках имя Астрахани встрѣчается только в формѣ Хаджторокан и ей подобных, ничего общаго с асами, конечно, не имѣющих. Не так давно нам лично приходилось, по совершенно аналогичному случаю, указывать в печати истинную традицію имени знаменитаго города в устьѣ Волги (Finnisch-ugrische Forschungen, XXVI, 1940, Anzeiger, p. 67); до нас им занимался Маркварт в прекрасной статьѣ, не раз цитируемой Г. В. Вернадским, а задолго до него наш соотечественник Б. А. Дорн в своем заслуженном трудѣ «Каспій» (см. указатель, p. 541 русск.

или р. 315 нѣм. изд.), почему-то нигдѣ у нашего автора не использованном. — Отмѣтим, кстати, другія необ'яснимыя умолчанія: остались внѣ поля зрѣнія автора «доисторическія» главы «Очерков» П. Н. Милюкова (его имя вообще ни разу не упомянуто в книгѣ), не подвергнуты систематической обработкѣ данныя древних географов (хотя бы главнѣйших: Страбона, Плинія, Птолемея) о территоріи Россіи; удобная сводка имѣющагося обширнаго матеріала этого рода имѣется в литературѣ уже свыше сорока лѣт трудами покойнаго В. В. Латышева.

Поставим в пассив автору еще нѣкоторое легковѣріе, с которым он иногда вводит в свое изложеніе, даже без особо настоятельной нужды для поддержки его собственных воззрѣній, мнѣнія устарѣлыя и некритическія или совершенно несостоятельныя.

Всѣ эти недостатки легко устранимы в послѣдующих изданіях (крѣпко надѣемся, что со временем послѣдует и русское изданіе монументальнаго труда — ауспиціи как будто начинают складываться благопріятно!). Сознаніе значенія своего обширнаго сочиненія, как крупной вѣхи на пути развитія русской исторіографіи, должно побуждать автора включать в его основную ткань по возможности только твердо обоснованное и установленное, поддаваясь соблазну теорій по вопросам спорным и невыясненным только в особо выдѣленных экскурсах или даже отдѣльных монографіях.

Вышеприведенныя замѣчанія, по необходимости слишком общія и недостаточно обоснованныя, имѣют цѣлью подчеркнуть крупное научное значеніе предпринятаго Г. В. Вернадским обширнаго труда. Мы в особенности привѣтствуем такія новшества автора, как включеніе в желѣзный инвентарь русской и славянской исторіографіи прошлаго многих народов, нѣкогда обитавших в областях позднѣйшаго русскаго и славянскаго «мѣсторазвитій», в том числѣ хотя бы тѣх же сармат и аланов, разныя вѣтви которых — язиги, роксоланы, карпы, собственно сарматы и болѣе мелкія — в разное время — занимали обширныя части славянской или русской территоріи — Новороссію, Бессарабію, Молдавію, Валахію — или смежныя с нею — нынѣшнюю Бачку, Банат, вост. Венгрію и т. д. При этом Г. В. Вернадскій тщательно воздерживается от насильственной славяниза ціи этих народов, которыми так повредил своему научному имени Д. И. Иловайскій, при всей его обширной учености. Безкорыстіе и широту научных интересов нашего автора и смѣлость многих его взглядов мы считаем здравой реакціей против так долго практиковавшагося недопустимаго, поистинѣ домостроевскаго суженія вмѣстилища русской исторіи до крайних предѣлов, не обнимавших даже всей Великороссіи. Даже в предѣлах тем чисто славянских, Г. В. Вернадскій в сущности впервые вводит в русскую исторіографію

столь важное племя антов, давно, между прочим, облюбованное тенденціозным украйнофильством, использовавшим молчаніе русских историков для созданія иллюзіи, будто имѣется и какая-то предметная разница между его утвержденіями и общерусской наукой. Также первым среди работников «большой» русской исторіи Г. В. Вернадскій посвящает должное вниманіе роли нижне-дунайских областей, особенно Бессарабіи и Молдавіи, как весьма старинных славянских и русских земель.

Оскудѣніе предмета русской исторіи за послѣднее столѣтіе недаром шло параллельно неуклонному паденію общей кривой исторических судеб Россіи послѣ ея фантастическаго взлета в началѣ XIX-го вѣка. Но кривая, послѣ наиглубочайшаго паденія своего в столь недавніе и памятные нам годы, в наши дни опять стремительно поднимается. Надо признать, что труд Г. В. Вернадскаго, в общем стилѣ своего замысла и в ставимых им себѣ новых и важных задачах, появляется как нельзя болѣе кстати.

По недостатку мѣста и из опасенія переоцѣнить ёмкость вниманія общей читающей публики к темам спеціальнаго характера мы ни в настоящем обзорѣ, ни в другой замѣткѣ о книгѣ Г. В. Вернадскаго, помѣщенной в Journal of Central European Affairs, не могли удѣлить мѣсто ни одному из многочисленных замѣчаній критическаго характера, напрашивающихся по поводу различных деталей этого труда. Ограничимся общим признаніем, что во многих из них автор обнаруживает большую находчивость и комбинаціонную сноровку — качество, незамѣнимое для самостоятельнаго изслѣдователя древностей —, уже не говоря об обширной начитанности и доскональном знаніи источников. Мы не теряем надежды, что еще представится случай и возможность вернуться к этим интересным предметам; пока мѣст мы должны были ограничиться общей характеристикой новаго труда Г. В. Вернадскаго, как крупнаго научнаго и общественнаго явленія.

Я. А. Бромберг.

Нью Іорк.

ДВѢ НОВЫЯ КНИГИ О РОССІИ

Chamberlin, W. H. **The Russian Enigma: An Interpretation.** N. Y., Scribner, 1943.

Dallin, D. J. **Russia and Postwar Europe.** New Haven, Yale University Press, 1943.

Имя Уильяма Чемберлина хорошо извѣстно русским читателям по его двухтомной исторіи русской революціи — одной из самых

серьезных работ на эту тему, появившихся в иностранной литературѣ и по его предыдущим книгам о Совѣтской Россіи, выдѣлявшимся и богатством фактическаго матеріала и незаурядным критическим чутьем. Его послѣдняя книга о современной Россіи отличается от двух предыдущих тѣм, что она написана не на основаніи личных впечатлѣній, а на основаніи внимательнаго изученія всей доступной литературы — русской и иностранной. Вмѣстѣ с тѣм она носит и болѣе обобщающій характер. Как это видно уже из заглавія, автор сдѣлал в ней попытку подвести итог своим многолѣтним наблюденіям над эволюціей совѣтскаго режима и дать истолкованіе основному ея смыслу.

По содержанію, книга распадается на три неравных по размѣру части: первыя главы представляют собой историческое введеніе; большая часть дальнѣйших глав посвящена систематической характеристикѣ различных сторон совѣтскаго режима за послѣднее десятилѣтіе; и наконец, в заключеніи идет рѣчь о роли Россіи в войнѣ и в послѣвоенном мірѣ. Средняя часть книги представляется мнѣ наиболѣе удачной и цѣнной. В ней дана превосходная сводка различных данных о бытовых, психологических и соціально-экономических измѣненіях в жизни совѣтской Россіи в період, предшествовавшій настоящей войнѣ. Вопреки мнѣнію, отстаиваемому в помѣщенной в настоящей книжкѣ статьѣ Ю. П. Денике, Чемберлин пользуется при этом понятіем термидоріанскаго перерожденія русской революціи. Если явленіе русскаго термидора не представляется для внѣшняго міра окончательно ясным, то происходит это, по мнѣнію автора, потому, что Сталину удалось, благодаря его исключительной «политической ловкости», сохранить за собой «роли и Робеспьера, и Барраса и Наполеона». Написана эта часть книги с максимально возможной долей объективности. Чемберлин одинаково далек и от ультра-оптимистических представленій о якобы уже осуществленной в Россіи «національной демократіи» (по его характеристикѣ, наканунѣ войны Совѣтскій Союз являлся «сильнѣйшим, наиболѣе закаленным и наиболѣе послѣдовательным типом тоталитарнаго государства» в мірѣ), и от огульнаго отрицанія наличности каких-либо положительных достиженій в прошлом и возможностей иного развитія в будущем.

С той же уравновѣшенностью подходит автор и к проблемѣ вѣроятной роли Россіи в послѣвоенном мірѣ. Говоря о совѣтской внѣшней политикѣ, он, по его собственному выраженію, не присоединяется ни к «ангельской», ни к «демонической» ея интерпретаціи. Далекій от иллюзій, он вмѣстѣ с тѣм подчеркивает и факторы, позволяющіе надѣяться на возможность сотрудничества между Совѣтской Россіей и западными демократіями. По его убѣжденію,

американская политика по отношенію к Россіи должна быть основана на трезвом учетѣ и трудностей, и положительных возможностей. «Отталкиваніе от коммунистических идей и от совѣтской политической практики не должно затемнять в наших глазах необходимости сотрудничества с Россіей и в войнѣ и в обезпеченіи мира». Но добиваясь этого сотрудничества, «вовсе не обязательно дѣйствовать так, как если бы Америка была двѣнадцатой (теперь надо было бы сказать, семнадцатой! **М. К.**) Совѣтской Республикой».

Спорной, на мой взгляд, является историческая часть книги Чемберлина. Лейтмотивом ея служит идея о преобладающей роли «государственнаго принужденія» в исторіи Россіи. Конечно, в утвержденіях об огромной роли государства в русском историческом процессѣ есть большая доля истины, и Чемберлин может опереться здѣсь на высказыванія многих русских историков. Но в том категорическом видѣ, в котором он эти утвержденія высказывает, они вызывают на возраженія. Почему самодержавіе и крѣпостное право являются «типично-русскими учрежденіями», для которых «нѣт эквивалента в западном опытѣ»? И можно ли сказать про русских царей, по крайней мѣрѣ новаго времени, что они были «абсолютными владыками над жизнью и собственностью их подданных»? Как бы ни была велика роль государственнаго вмѣшательства в различныя стороны русской народной жизни, я бы все-таки затруднился назвать до-революціонную Россію, в любой період ея исторіи, «примитивным тоталитарным государством». Болѣе чѣм вѣроятно, что в значительной мѣрѣ категоричность всѣх этих утвержденій вызвана стремленіем автора изобразить сущность русскаго историческаго процесса на немногих страницах, в кратких характеристиках, не оставляющих мѣста для оговорок (я не сомнѣваюсь, напримѣр, что автор знает не хуже меня, что абсолютизм и крѣпостная зависимость существовали и на западѣ!). Но как бы то ни было, впечатлѣніе односторонности остается, и оно усиливается еще тѣм, что об элементах народной самодѣятельности и народнаго сопротивленія говорится очень мало, что исторія русскаго свободолюбія не дана с той же яркостью, как исторія русскаго государственнаго принужденія, что автор не доучитывает положительных достиженій конституціоннаго періода, и что февральскій період русской революціи упоминается в его книгѣ лишь мимоходом.

Новая книга Д. Ю. Далина тѣсно примыкает к его предыдущей книгѣ, покрывавшей період 1939-1941 годов. С одной стороны, она является как бы введеніем к этой болѣе ранней работѣ автора, поскольку она дает очерки внѣшней политики совѣтскаго правитель-

ства от первых лѣт революціи до начала настоящей войны. С другой стороны, она продолжает исторію совѣтской внѣшней политики во время войны, доводя ее до настоящаго времени, и вмѣстѣ с тѣм пытается дать нѣкоторыя основанія для прогнозов насчет будущаго. Автор исходит из представленія о существенном единствѣ международной политики совѣтскаго правительства, которая, «несмотря на нѣкоторыя значительныя измѣненія», всегда была и остается «русским примѣненіем принципов коммунизма». Мѣнялась тактика, но не мѣнялась основная внѣшне-политическая стратегія. В ранніе годы постоянным элементом этой политики были враждебность к Англіи, стремленіе к союзу со всѣми анти-англійскими элементами в мірѣ, такая же враждебность к Франціи и к ея восточно-европейским союзникам, а с другой стороны — стремленіе к дружбѣ с Германіей, связанное с надеждами на скорое наступленіе нѣмецкой революціи. Когда эти надежды не оправдались и когда одновременно начались попытки сближенія Германіи с ея вчерашними врагами, на первый план выдвинулась идея «третьей силы», основанная на убѣжденіи в невозможности для капиталистических держав сговориться и в неизбѣжности новаго взрыва, от котораго Совѣтская Россія могла только выиграть. Новое измѣреніе в совѣтскую внѣшнюю политику было внесено ростом непосредственной опасности, начавшей грозить Россіи с начала 30-х годов одновременно на западѣ и на востокѣ (впрочем, как убѣдительно показывает автор, опасность эта была осознана руководителями совѣтской политики далеко не сразу). Но даже и в эпоху проповѣди «коллективной безопасности» (1935-1938) политика Кремля не представляла собой «разрыва со старыми принципами». Автор доказывает, что «в эти годы совѣтское правительство, высказываясь за коалицію против Германіи, одновременно было готово и на соглашеніе с Германіей». «Коллективная безопасность» была нужна ему лишь на случай нападенія Германіи на Россію и являлась своего рода псевдонимом для «второго фронта». С тѣм же скептицизмом Д. Ю. Далин относится и к измѣненіям в совѣтской внѣшней политикѣ за послѣдніе годы. Призыв к національному чувству был политическим маневром, вызванным военной необходимостью, и не исключена возможность, что в будущем это же національное чувство будет снова объявлено «реакціонным шовинизмом». Роспуск Коминтерна был только тактическим ходом и не имѣет особаго практическаго значенія. Основной цѣлью политика Кремля является распространеніе «совѣтской системы» на возможно болѣе обширныя новыя территоріи. По убѣжденію автора, совѣтское правительство в этом видит единственную гарантію безопасности, продолжая не вѣрить в прочность и дѣйствительность союзов с капиталистическими государствами,

хотя бы даже либеральными и демократическими. Отсюда — его краснорѣчивое молчаніе по вопросу о международной организаціи мира, его отрицательное отношеніе ко всѣм проектам европейской федераціи и его явное стремленіе к созданію совѣтской «сферы безопасности» в восточной Европѣ.

Таково вкратцѣ содержаніе интересно написанной и обильно документированной книги Д. Ю. Далина, в этом отношеніи оставляющей далеко за собой большинство вышедших по данному вопросу книг. Я не нахожу возможным присоединиться к тѣм критикам Д. Ю. Далина, которые обвиняют его в «анти-національной» тенденціи. Критика Д. Ю. Далина направлена против политики совѣтскаго режима, и вопрос о тождествѣ интересов этого режима с національными интересами Россіи едва ли может считаться окончательно рѣшенным. Д. Ю. Далин убѣжден, что именно національные интересы Россіи не требуют присоединенія новых обширных и населенных не-русским населеніем территорій, «все равно, путем ли формальной аннексіи или путем включенія в совѣтскую сферу безопасности». Напротив, подобная экспансія для Россіи может быть только вредна и опасна, так как она неизбѣжно вызовет враждебное сопротивленіе и со стороны присоединяемых народностей, и со стороны других великих держав. Единственный правильный путь к безопасности для Россіи заключается «в демилитаризаціи Германіи и в прочном союзѣ с великими странами запада». С этой точкой зрѣнія можно соглашаться или не соглашаться, но объявлять ее «анти-національной», думается, нѣт никаких основаній.

Меня смущает в книгѣ Д. Ю. Далина другое. И она, как историческая часть книги Чемберлина, производит впечатлѣніе односторонности, в результатѣ, с одной стороны, литературной манеры автора, а с другой — своеобразнаго распредѣленія свѣта и тѣни (с рѣшительным преобладаніем тѣни над свѣтом) в нарисованной им картинѣ. Значительная часть матеріала, которым пользуется Д. Ю. Далин, по неизбѣжности не носит вполнѣ достовѣрнаго документальнаго характера. О многом можно только догадываться и умозаключать, пользуясь, в числѣ прочих данных, слухами и намеками. Между тѣм нашему автору свойственна категорическая форма утвержденій: во многих случаях, гдѣ я бы написал «повидимому, в Москвѣ считают...» или «насколько можно судить, Кремль стремится...», Д. Ю. Далин пишет прямо — «в Москвѣ считают, Кремль стремится» и т. д. Другое мое замѣчаніе — болѣе существеннаго характера. Д. Ю. Далин пишет о тенденціях политики совѣтскаго правительства, и даже если с ним вполнѣ насчет этих тенденцій согласиться (а в нѣкоторых случаях он, как мнѣ кажется, рисует их болѣе опредѣленными, чѣм они есть на самом дѣлѣ), то

все же остается вопрос, в какой мѣрѣ эти тенденціи имѣют шансы на осуществленіе. В концѣ концов, совѣтское правительство не дѣйствует в безвоздушном пространствѣ и перед ним не лежит лист бѣлой бумаги, на котором оно может писать, что ему угодно. Есть и многомилліонный русскій народ, переживающій сейчас величайшее в своей исторіи испытаніе; есть взаимозависимость между Россіей и ея союзниками, которая с войной не кончится; есть потрясающій факт разоренія европейской Россіи и связанная с ним проблема послѣ-военнаго возстановленія. Опять же спѣшу оговориться: я знаю, что Д. Ю. Далин все это знает и без моих напоминаній. Но в книгѣ его об этом почти ничего не говорится, а между тѣм едва ли можно игнорировать роль этих факторов в опредѣленіи послѣ-военной международной политики Россіи. В одной из первых глав своей книги, упоминая о призывѣ совѣтской власти к національному чувству, автор вскользь говорит об этом чувствѣ, как о «духѣ которым тѣ, кто его вызвали, были не в состояніи управлять». Не согласится ли Д. Ю. Далин с предположеніем, что на пути осуществленія своих внѣшне-политических замыслов совѣтская власть может встрѣтиться не с одним, а со многими такими духами —и в Россіи, и за ея предѣлами?

М. Карпович

HAROLD J. LASKI: "Reflections on the Revolution of Our Time." — New York. 1943. 419 pages.

Гарольд Ласки — один из наиболѣе выдающихся государствовѣдов нашего времени. Он не только ученый юрист, историк и теоретик, он и практическій политик. Он только что избран товарищем предсѣдателя британской рабочей партіи. По положенію—если не по роли—в британской рабочей партіи Ласки можно назвать «британским Отто Бауэром»: он возглавляет лѣвое крыло партіи и является одним из наиболѣе ярких свѣтил британскаго соціализма. Разносторонне образованный, Ласки чужд предвзятости и провинціализма. У него живой и острый ум. Он интересуется многим и разным и не довольствуется «конюнктурной» аргументаціей. Он старается выйти за предѣлы непосредственных нужд и эмпирических вопросов — ставит и изслѣдует проблемы, ищет общих рѣшеній.

Свою послѣднюю работу Ласки посвятил размышленіям о революціи нашего времени. Как все, что пишет Ласки, и эта работа интересна и заслуживает вниманія. Однако, она далеко не лучшая его работа. Не слишком оригинальны исходныя положенія; сбивчив и мѣстами противорѣчив ход аргументаціи; довольно скудны, чтобы не сказать элементарны, заключительные выводы.

Ласки исходит из высказаннаго еще Аристотелем положенія, что психологическим основаніем всяких переворотов и тираническаго управленія является страх и неувѣренность. Слѣдует ли отсюда, что для предотвращенія насильственных переворотов и деспотизма необходимо во что бы то ни стало устранять и всѣ угрозы, внѣшнія и внутреннія, которыя возникают пред тираническим управленіем? Во всяком случаѣ, на наше поколѣніе выпала доля быть свидѣтелем того, как насыщеніе «крокодила» (политика Мюнхена») мотивировалось и оправдывалось как раз тѣм, что стоит успокоить звѣря, и он станет ручным. Умиротвореніе насильника путем подчиненія ему не разрѣшает проблемы, а снимает ее.

В итогѣ своих размышленій Ласки приходит к утвержденію необходимости плановой экономики, как условія самаго существованія демократіи в наше время. Для опредѣленных кругов прогрессивнаго общественнаго мнѣнія это давно уже очевидно. И для того, чтобы признать, что капиталистическая система, покоющаяся на личной прибыли, должна быть коренным образом реорганизована, вовсе нѣт необходимости раздѣлять всѣ, в том числѣ и болѣе чѣм спорныя разсужденія и размышленія Ласки. У русскаго читателя-демократа и соціалиста имѣются и спеціальныя основанія не согласиться с Ласки, — в частности с его впечатлѣніями от русской революціи и размышленіями по поводу нея, которыя образуют одно из краеугольных основаній всего его построенія.

Автор размышляет о революціи, но не дает опредѣленія того, что есть революція. Тѣм самым он освобождает себя от труда, потраченнаго не одним историком, юристом и соціологом на обоих полушаріях. Можно напомнить, как в дни свободы в Германіи собрался в 1923-м году спеціальный с'ѣзд соціологов для заслушанія и обсужденія докладов о «сущности революціи». Можно считать всѣ труды в этом направленіи не слишком плодотворными или даже совсѣм безплодными. Это надо было бы оговорить и, во всяком случаѣ, пояснить, почему автор считает возможным одним понятіем охватить и стихійно-массовыя явленія, и индивидуально-волевыя; и насильственные процессы, и идеологическое творчество. Только это дало Ласки возможность назвать революціей и дѣло религіозных реформаторов, Магомета, Лютера, Кальвина; и дѣло Ленина, Гитлера и Муссолини; и измѣненіе экономическаго строя, и измѣненіе «формы цивилизаціи».

На отношеніи Ласки к русской революціи лучше всего видно его некритическое отношеніе к тому, что есть революція и что под нею надлежит разумѣть.

Ласки давно и пристально слѣдит за русскими событіями. Он считает русскую революцію «наиболѣе колоссальным событіем послѣ

реформаціи»; больше того — попыткой «создать как бы новый уклад цивилизаціи». При столь высокой оцѣнкѣ русской революціи Ласки довольно низко оцѣнивает главное дѣйствующее в ней лицо — русскій народ. Ласки смотрит на него сверху вниз — глазами бритта, гордаго своей политической культурой. Русскій народ для Ласки «народ с примитивным политическим воспитаніем». Да и как может быть иначе, раз «городской пролетаріат составлял только частицу населенія; огромное, по преимуществу безграмотное, крестьянство было глубоко индивидуалистично; а аггрегат полудиких народностей в массѣ своей суевѣрен»? Для такого народа самая «напряженность диктатуры, ея безжалостность менѣе чувствительна, чѣм та же диктатура в примѣненіи к народу вродѣ нашего с глубоко укоренённой традиціей политической демократіи».

Ласки далек от утвержденія, что русскій карась «любит», чтобы его жарили в сметанѣ, но его сопоставленія и противопоставленія близко подходят к тому, что для русскаго здорово именно то, что для благовоспитаннаго бритта было бы смертоносным...

В своих размышленіях автор пробует укрыться за об'ективизмом ученаго, описывающаго событія и ищущаго причиннаго об'ясненія, а не осужденія или одобренія. Эту линію Ласки, конечно, выдержать не удается, и вся его книга полна всяких сужденій, положительных и отрицательных, порою весьма даже суровых. Ласки не одобряет диктатуры, в частности, совѣтской. В отличіе от широко нынѣ распространеннаго, даже среди русских эмигрантов-демократов, обыкновенія, Ласки отнюдь не считает необходимым кадить совѣтской диктатурѣ или щадить и не критиковать «отца народов». Он проводит параллель между различными видами тоталитарной власти; не стѣсняется полным голосом называть преступленія преступленіями; называет сталинскую конституцію лицемѣріем, и самому Ленину ставит в вину созданіе Коминтерна, без котораго «никогда бы не пришел к власти Гитлер, а, может быть, не добился ея и Муссолини»; и т. д. Но в поисках об'ясненія совѣтской диктатуры Ласки сплошь да рядом сбивается на оправданіе отдѣльных ея актов или даже на оправданіе диктатуры в цѣлом. Это об'ясненіе-оправданіе Ласки, подобно нашим евразійцам, видит чаще всего в «особой стати» Россіи — «обширной страны, населенной по преимуществу безграмотными крестьянами» и т. д. В такой странѣ нельзя было «дисциплинировать» населеніе без диктатуры; тѣм болѣе нельзя было провести «индустріализацію без иностраннаго капитала»; наконец, и послѣ НЭП-а — «без диктатуры произошел бы возврат к капитализму». Так демократ и гуманист вообще и для Англіи, в особенности, примиряет свое сознаніе и сознаніе своих читателей с жестокостью диктатуры: в концѣ концов соціализм в некультурной странѣ стоит диктатуры!...

Не будем останавливаться на отдѣльных пробѣлах и ошибках Ласки, вродѣ того, что весь демократическій період русской революціи для него вовсе не существует: за «полу-варварским и совершенно реакціонным деспотизмом» у Ласки слѣдует непосредственно спасительный Октябрь, «впервые принесшій надежду простому народу»; самая диктатура в Россіи установилась, по Ласки, лишь послѣ покушенія на Ленина; русскій народ «лояльно» поддерживал режим, — хотя для чего в таком случаѣ нужна была не ослабѣвающая в теченіе четверти вѣка диктатура, остается непонятным; и т. д.

Если русскій народ не самоцѣнен для Ласки, а является второстепенной цѣнностью по сравненію с русской революціей и ея достиженіями, — не приходится удивляться, что сама русская революція расцѣнивается примѣнительно к нуждам болѣе передовых народов. Этих послѣдних Ласки не только не призывает к революціи, наоборот,—он предостерегает их против насильственных революцій, рекомендуя, взамѣн, надуманную им «революцію по соглашенію». В этом сказывается отвѣтственное отношеніе к собственным словам и к своим согражданам, столь выгодно отличающее англичанина-соціалиста от его русских единомышленников-эмигрантов, утративших вмѣстѣ с революціей самую родину и все же не перестающих взывать: «европейская революція — единственное спасеніе», «без соціалистической революціи уже немыслимо не то, что умноженіе, но и сохраненіе тѣх огромных цѣнностей, которыя созданы и накоплены всѣм предшествующим развитіем Европы» («Нов. Путь от 16 янв. 1944 г.).

Нашему поколѣнію дано было на опытѣ убѣдиться, что революція — огромное зло и варварство, по количеству жертв и жестокости часто превосходящее даже войны. С точки зрѣнія послѣдующих поколѣній — или грядущей исторіи — варварство не раз оборачивалось прогрессом. Это не отнимает у революціи ея «варварской формы», — по выраженію Жореса. Всякое поколѣніе самоцѣнно и ни одно не может быть обречено на роль трамплина или удобренія для благополучія послѣдующих. И нападеніе на Перл Харбор или на Россію имѣло благотворныя послѣдствія для жертв нападенія. Из этого не слѣдует, однако, что такого рода нападеніе надлежало бы привѣтствовать. И революціи могут быть неизбѣжны и могут нести с собой положительное. Онѣ не могут быть, однако, привѣтствуемы, как нѣчто желательное. И даже пытаясь революцію об'яснить, не слѣдует ее оправдывать, подставляя исторію на мѣсто творящаго и страдающаго поколѣнія.

М. Вишняк

D. Fedotoff White. The Growth of the Red Army. Princeton University Press. 1944. $3.75.

Продукт большого и серьезнаго труда, книга г. Федотова-Уайта представляет одну из лучших работ по исторіи Красной Арміи. Автор поставил себѣ задачей объективное и добросовѣстное изученіе всѣх имѣющихся матеріалов и остался вѣрен этой задачѣ до конца. Он избѣгает больших обобщеній, широких концепцій и предсказаній; за то он дает в своей книгѣ очень много фактических данных.

Из десяти глав этой книги первыя девять глав посвящены исторіи арміи от начала революціи 1917 г. до 1930 года, и лишь послѣдняя, правда довольно большая глава дает исторію Красной Арміи в 30-ых годах. Что же касается періода войны 1941-44 года, то он почти не затронут. Эта непропорціональность объясняется без сомнѣнія систематическим сокращеніем публикуемых с совѣтской стороны матеріалов в послѣдніе 10-15 лѣт по главным вопросам военной жизни. В частности, статистика соціальнаго состава арміи имѣется лишь до 1930 г.; статистика о командном составѣ дѣлается все бѣднѣе с того же времени. Но особенно страдает матеріал о политических теченіях внутри и вокруг Красной Арміи, почему и исторія большой чистки, напримѣр, остается во многих отношеніях еще неразъясненной.

Через всю книгу проходит ясное представленіе автора, во-первых, о значеніи крестьянской политики для исторіи арміи, и, во-вторых, о борьбѣ арміи за свои права, за своего рода правопорядок и независимость арміи от власти и от политической полиціи. Автор напоминает Устав 1935 г., который он справедливо называет habeas corpus командnаго состава. Согласно параграфу 50 Устава, всѣ офицера (кромѣ младших) были обезпечены от арестов «гражданскими властями», т. е. НКВД, без спеціальнаго разрѣшенія самого Наркома Обороны на каждый отдѣльный арест: «Это был своеобразный habeas corpus — пишет г. Федотов-Уайт, — который отдѣлял командный состав от остального населенія».

Полемизируя с бывшим послом Джозефом Дейвисом (который писал, как извѣстно, что послѣ большой чистки в Красной Арміи каждый рядовой почувствовал себя спокойнѣе, ибо его судьба была ввѣрена отнынѣ болѣе лояльным и заслуживающим довѣрія командирам, а не предателям-троцкистам), г. Федотов-Уайт справедливо замѣчает, что никакія данныя и никакіе матеріалы не подтверждают, будто такого рода опасенія и страхи вообще существовали в военной средѣ. Наличность военных комиссаров в арміи и их функціи автор не старается, как это часто теперь дѣлается,

перекрасить в высоко-патріотическое дѣло; он констатирует объективно, быть может даже слишком объективно: «Если имѣется партійная диктатура, политическіе органы в арміи дѣлаются неизбѣжными... Вредныя послѣдствія дѣятельности политических органов с чисто-военной точки зрѣнія уравновѣшиваются выигрышем на политической сторонѣ».

Об идеях, которыя должны по заданіям власти одушевлять Красную Армію, автор дает много интереснаго матеріла. К самому послѣднему періоду, относится, напримѣр, рѣчь Л. Мехлиса на партійном съѣздѣ 1939 г., вскорѣ послѣ того, как Мехлис был назначен главой Политическаго Управленія Красной Арміи: «Если вторая имперіалистическая война обратит свое остріе против перваго соціалистическаго государства в мірѣ, Красная Армія исполнит свои международныя обязательства и увеличит число совѣтских республик. (Апплодисменты съѣзда)». «Недалеко то время, — говорил далѣе Мехлис, — когда наша армія поможет рабочим агрессорских государств освободить себя самих от ига фашизма, от ига капиталистическаго рабства и ликвидирует капиталистическое окруженіе».

Как медленно прогрессировало коммунистическое мышленіе в вопросах как красноармейской организаціи, так и военных цѣлей, видно из того, что ровно за десять лѣт до этой рѣчи Мехлиса, при совершенно иной международной обстановкѣ. «Красная Звѣзда» писала почти то же, как о значеніи военных комиссаров, так и о роли коммунистическаго сознанія в арміи. «Окончательная побѣда арміи пролетарской диктатуры возможна только сочетаніем обоих элементов: военно-технической умѣлости и высокаго уровня классового сознанія». Главными цѣлями военных операцій оффиціальный орган Красной Арміи считал и тогда не только дезорганизацію военной силы противника, но и «перенесеніе пролетарской революціи в среду рабочих и крестьянских масс в ряды непріятельской арміи».

Вообще автор умѣет видѣть обѣ стороны оффиціальнаго военнаго кредо послѣдних лѣт; за націоналистическими фразами, лозунгами и гимнами, он умѣет различать также и старыя идеи, цѣли и задачи. Конечно, говорит он, «армія восприняла принцип защиты отечества с большой охотой. На нынѣшней стадіи военных операцій элемент патріотизма играет рѣшающую роль». Однако, если арміи суждены успѣхи, соотношеніе обоих элементов оффиціальной идеологіи может измѣниться, и это скажется также и на официальной идеологіи Красной Арміи. Автор приходит в результатѣ своего изслѣдованія к слѣдующим выводам в концѣ книги:

«В случаѣ побѣды над германской арміей и передвиженія

фронта на запад, Красная Армія сможет почерпнуть значительную силу из интернаціоналистских элементов своей доктрины, из перспективы освобожденія рабочих и бѣднѣйших крестьян от фашистской диктатуры. На Балканах и в Центральной Европѣ эта концепція стоит многих дивизій.

«Вся система военной организаціи тѣснѣйшим образом связана с принципом и практическим примѣненіем партійной диктатуры. Если этот принцип будет оставлен, сохраненіе нынѣшней структуры арміи дѣлается невѣроятным, ибо с чисто военной точки зрѣнія она имѣет недостатки».

Этот осторожный вывод имѣет большое значеніе. В настоящее время пресса американская и англійская не перестают писать о так называемом «реализмѣ» совѣтскаго правительства, способнаго во имя военной побѣды на любыя реформы, радикальные повороты и перестройки. Выводы г. Федотов-Уайта указывают на тѣ предѣлы, до которых совѣтское правительство может идти в своей реформаторской работѣ, и на тѣ принципы, которые лежат в основѣ его дѣятельности вообще, и в основѣ его внутри-армейской и военной политики в частности; и на тѣ принципы, от которых оно во имя трезваго «реализма» не отказывается даже тогда, когда это приносит вред и арміи, и военному дѣлу.

Д. Далин.

Helen Iswolsky. Soul of Russia. New York, 1943. Sheed and Ward.

Автор этой небольшой книги ставит себѣ задачей ознакомить американских католиков с особенностями религіозной жизни их «отдѣленных братьев» на востокѣ, русских православных людей. За пятью главами, в которых вкратцѣ излагается исторія русской церкви и духовной мысли до семнадцатаго вѣка, идет серія глав, в которых даются портреты властителей дум русскаго народа за два послѣдніе вѣка. Красной нитью через книгу проходит мысль, что дух смиренія во Христѣ (кенозис) с самаго начала стал и до наших дней остался наиболѣе яркой отличительной чертой русскаго православія. С другой стороны, автора интересует вопрос, как об'яснить упорное отталкиванье Россіи от римскаго католицизма; вопрос рѣшается в том смыслѣ, что враждебность имѣет скорѣе политическую, нежели чисто религіозную основу: с ранних пор, католики были отождествлены с врагами Россіи, нѣмцами, шведами, поляками, и ассоціація идей оказалась весьма прочной. В заключительной главѣ книги, кратко, но точно и ясно передается исторія изумительнаго сопротивленія

русскаго народа оффиціальному богоборчеству. «Бог не в силѣ,а в правдѣ», — эти слова Александра Невскаго вновь повторяются на Руси в наши дни, и в возстановленіи почитанія произнесшаго их національнаго вождя автор не без основанія видит символ того, что, несмотря на большевизм, русская исторія не оборвалась.

Н. С. Тимашев

АЛЕКСАНДР БРАИЛОВСКІЙ. ИЗ КЛАССИКОВ (Переводы). Изд. «Об'единенія Русск. Писат. в Нью Іоркѣ.

В небольшой, но очень содержательной вводной замѣткѣ «Перевод, как искусство», проф. Г. П. Федотов показывает, какая это трудная и неблагодарная задача! Стихотворный перевод, который соединяет словесную точность с вѣрностью ритму и музыкѣ оригинала — может быть дѣлом только рѣдкой и вдохновенной удачи. Переводчик должен лишь посильно стремиться передать хотя бы одну сторону переводимаго стихотворенія.

Александр Браиловскій показал себя талантливым переводчиком и отнесся к своей задачѣ с большою добросовѣстностью. Не все удалось ему одинаково. Напрасно он дал, напримѣр, три не слишком удачных попытки перевода одного и того же стихотворенія Верлена, которыя не заставят забыть переводы Сологуба.

Нам кажется, что книга выиграла бы в цѣльности, если бы переводчик ограничился классиками и не включил бы в свою и без того небольшую книгу Уитмана и Сэндберга и мало значительных современников и даже зачѣм-то интересный только как курьез — уложившійся в стихи дословный перевод историческаго очерка, написаннаго в прозѣ.

Лучше всего удались А. Браиловскому переводы в бѣлых стихах из Марлоу, Шекспира и Леопарди. Насколько удачны переводы из Леопарди видно, если сравнить их с переводами из того же поэта, сдѣланными таким выдающимся переводчиком, как Плещеев. Но очевидно, Леопарди был «несозвучен» — бодрому и оптимистическому поэту. Но его горькая лирика чрезвычайно «созвучна» нашему времени. Было бы желательно, чтобы переводчик продолжал свою работу над передачей творчества Леопарди.

Напоминаніе о классиках, о «вѣчном» в наше время, когда, казалось бы, «довлѣет дневи злоба его»—само по себѣ очень отрадно. Книга стихотворных переводов — является как бы культурной роскошью и напоминает о том времени, когда такая роскошь не была столь рѣдка.

М. Цетлин.

JOURNAL OF LEGAL AND POLITICAL SOCIOLOGY.

Vol. I, No. 1-2 (October 1942), No. 3-4 (April 1943). Vol. II, No. 1-2 (October 1943). Georges Gurvitch, Editor (Philosophical Library, New York). Цѣна отдѣльнаго выпуска $2.00; годовая подписка $3.50.

«Журнал соціологіи права и политики» — для непривычнаго уха это названіе звучит, как абракадабра. Но во вступительных замѣчаніях к первому выпуску журнала редакція дает четкое опредѣленіе предмета, которому он посвящен. Научная разработка вопросов права и политики, — говорят редакторы новаго органа, — достигла той точки, гдѣ уже необходим соціологическій анализ этих проблем. Соціологія и антропологія в своем новѣйшем развитіи уже включили право и политику в свое поле зрѣнія. Но практическая юриспруденція и тѣ учрежденія, которыя призваны разрабатывать вопросы дѣйствующаго права (т. е. в первую очередь суды), все еще не имѣют надлежащаго контакта с соціальными науками.

Это создает для права нездоровую атмосферу изоляціи. Между тѣм, право — один из важнѣйших элементов жизни человѣка в обществѣ. Его необходимо изучать в его отношеніях ко всей совокупности проблем соціальной жизни. Журнал ставит себѣ задачей именно такое изученіе права. Он обѣщает выступить во всеоружіи «технической компетентности», но в то же время говорить «нетехническим языком». Первое обѣщаніе выполнено им в полной мѣрѣ, второе — лишь отчасти.

Редактором новаго органа является проф. Г. Д. Гурвич, который в бытность свою во Франціи основал и редактировал аналогичный орган под названіем "Archive de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique". С 1931-го по 1940 годы вышло двадцать-пять томов этого журнала. Послѣдній выпуск, вышедшій из печати в іюнѣ 1940 года, был конфискован нѣмцами.

Теперь удалось наладить выпуск журнала в новой обстановкѣ и на другом языкѣ. Членами «Редакціоннаго Комитета» журнала являются профессора соціологіи и философіи права в лучших американских университетах: Karl Llewellyn (Колумбійскій университет), Robert MacIver (там-же), Roscoe Pound (Гарвардскій университет), Robert Lowie (Калифорнійскій университет) и др. Предполагается выпускать по двѣ книжки в год. Каждый выпуск будет посвящен разработкѣ какой либо одной актуальной проблемы.

Большинство статей перваго выпуска журнала посвящено соціологическому анализу проблем демократіи. Профессор MacIver разбирает идею международнаго демократическаго правопорядка. Проф. Karl Llewellyn в чрезвычайно содержательной

статьѣ говорит о взаимодѣйствіи политической демократіи и англосаксонскаго обычнаго права. Статья Г. Д. Гурвича «Демократія как соціологическая проблема» дает анализ понятія демократіи с точки зрѣнія соціологических теорій автора.

Второй выпуск посвящен проблемѣ собственности. Проф. Herbert Schneider говорит о собственности с точки зрѣнія философіи прагматизма. Статьи W. Hamilton'a, W. Moore, C. Noyes и A. Hallowell'я посвящены новѣйшим теоретическим концепціям понятія собственности. Извѣстный антрополог Robert Lowie говорит о формах собственности у нѣкоторых индѣйских племен Сѣверной Америки.

Недавно вышедшій третій выпуск носит подзаголовок: «Суверенитет и федерація в послѣвоенном мірѣ». Max Radin дает в нем очень интересный историческій анализ понятія суверенитета и приходит к выводу, что связанныя с этой проблемой трудности были сравнительно удачно разрѣшены уже в старых греческих «лигах» (Ахейской, Этолійской и др.), а также в конституціи Соединенных Штатов. Hans Kelsen (автор австрійской конституціи 1920 г.) дает любопытный, разработанный постатейно проэкт «Устава постоянной лиги для сохраненія мира», а М. Лазерсон разрабатывает вопрос о «регіональных федераціях». Этот выпуск, посвященный одному из острых вопросов грядущаго международнаго уклада, является особенно цѣнным вкладом в обширную литературу по «послѣвоенным проблемам*).

Всѣ три выпуска заканчиваются отзывами о новых книгах из области соціологіи, политики и права.

А. А. Г—ер.

Raïssa Maritain: Marc Chagall. Editions de la Maison Française. New York. 1943.

Марк Шагал — чародѣй фантастических образов. Несмотря на свой космополитизм, на долгую жизнь внѣ родной страны, он остался

---

*) Наряду с первоклассным научным матеріалом, третій выпуск журнала содержит статью J. L. Brown "Deutschtum and Amerika", появленіе которой на страницах научнаго журнала является по меньшей мѣрѣ неумѣстным. Статья содержит огульныя обвиненія против нѣмецких бѣженцев в Америкѣ, «насыщенных предосудительной и опасной германской философіей» (стр. 119), и заканчивается подробным меморандумом о том, что нѣмецких профессоров-эмигрантов не слѣдует допускать к преподаванію на университетских курсах для американских солдат (стр. 127—132).

евреем и русским, тонко чувствующим родной фолклор и его поэзію. Сквозь призму его искусства евреи, нищіе, музыканты, раввины, являют волнующую картину вѣчнаго и негибнущаго Израиля.

В своей небольшой французской монографіи госпожа Маритэн восторжено склоняется перед этими качествами художника. Заимствуем из ея стихотворенія, предпосланнаго тексту, эти строки:

Большими шагами придя из суровой Россіи,
В котомкѣ принес он скрипку и розы;
Влюбленных, что ангелов легче, и нищих во фраках,
Музыкантов, архангелов и синагоги...

Госпожа Маритэн, может быть, недостаточно говорит о мистицизмѣ Шагала, столь сильно выраженном, напримѣр, в образѣ «Вѣчнаго Жида», неизмѣнно появляющемся в его произведеніях («В окрестностях Витебска», 1941 г., «Христос» 1939 р., «Революція»). Она считает Шагала художником радости, и сравнивает его воспріятіе жизни с творчеством Ренуара и Рубенса. Правда, она признает, что эта «радость, нѣжная и духовная, родилась в еврейском Витебскѣ, и поэтому она меланхолична, ностальгична и безнадежна. Она трагична, так как проникает в сущность бытія».

Книжка изящно издана, читается легко, снабжена хорошими воспроизведеніями картин Шагала. В ней нѣт новых данных или новаго освѣщенія творчества художника, это не работа историка или теоретика, но дар восхищенія сильно чувствующаго искусство зрителя.

Вѣра К.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ЗАМѢТКИ

Когда перелистываешь каталоги больших ретроспективных выставок послѣдних лѣт под разными болѣе или менѣе пышными названіями — «Американцы 1942 г.», «Романтическая живопись в Америкѣ» (Музей Современнаго Искусства: Зимній сезон 1943-44 г., Нью-Іорк), — с удовлетвореніем, смѣшанным с огорченіем, замѣчаешь, как много русских стали украшеніем американской живописи. Они родились в Россіи и пріѣхали сюда дѣтьми или юношами.

К наиболѣе значительным из этих художников надо отнести Макса Вебера, родившагося в 1881 г. в Бѣлостокѣ и пріѣхавшаго в Нью-Іорк десятилѣтним мальчиком. Окончивши "Cooper Union" в 1900 г., он начал свою художественную карьеру с преподаванія

живописи. В 1905 г. он уѣхал на три года в Европу, гдѣ сблизился с Дуанье Руссо, учился у Матисса, и откуда привез искреннюю и чуждую погонѣ за модой любовь к новѣйшим исканіям в искусствѣ.

«Піонер модернизма», как его часто называли критики, Вебер был вначалѣ совершенно не понят. Его произведенія в ту пору были к тому же еще мало интересны; американская критика находила, что в них замѣтна склонность к чисто русским сочетаніям красок.

В 1909 году, когда в Америкѣ еще почти не слыхали о Сезаннѣ, Вебер устраивает в Нью-Іоркѣ выставку его произведеній. Необычное творчество и пластика Сезанна привели в ярость американских критиков. Отрицательное отношеніе к Сезанну было так велико, что преподавательская карьера Вебера была окончательно подорвана.

Увлеченіе Сезанном длилось у Вебера многіе годы. Еще в 1934 году он пишет «Удовольствія лѣта» в темнозеленых сезанновских тонах, подражая его аналитическому расчлененію видимаго міра на основные элементы об'ема, массы и цвѣта. Это произведеніе было недавно показано на небольшой ретроспективной выставкѣ творчества Вебера, в галлереѣ Розенберга в Нью-Іоркѣ.

Около 1910 года происходит перемѣна в творчествѣ Вебера. Художник увлекается кубизмом, подражая в своих произведеніях, главным образом, Браку. Таковы «Нью-Іорк», весь из небольших пестрых квадратиков (1912 г.), «Комната с музыкальным инструментом» (1915 г.), «Русскій балет» (1916 г.).

С 1915 года Вебер постепенно отходит от кубизма в сторону сюжетной живописи, болѣе понятной американцам, которые были и остались, пожалуй, единственными ея поборниками. К концу двадцатых годов кончается и эта полоса.

Художественная дѣятельность Вебера в послѣдніе пятнадцать лѣт протекает в орбитѣ экспрессіонизма, хотя по-прежнему он продолжает интересоваться проблемами формы. Пишет он теперь почти исключительно на темы, заимствованныя из еврейскаго быта («Манускрипт», «Танец хассидов»). Должно быть, долго заглушенныя чуждыми вліяніями, всплыли наружу воспоминанія и впечатлѣнія далекаго дѣтства в Бѣлостокѣ. На туманном фонѣ выступают невполнѣ ясныя нервныя фигуры, очерченныя прерывчатыми рѣзкими черными линіями. Смѣсь религіознаго настроенія с современной трактовкой придает его произведеніям своеобразный и волнующій характер. Настоящая слава пришла к нему в 1941 году, когда оказалось, что на его выставкѣ в Нью-Іоркѣ перебывало двадцать двѣ тысячи человѣк.

Другим заслуженным, хотя, пожалуй, и менѣе оригинальным ветераном американской живописи является Морис Штерн, родившійся в 1877 г. в Либавѣ и пріѣхавшій в Соединенные Штаты, когда

ему было одинадцать лѣт. Русскаго в нем ничего не осталось, и ничѣм русским он никогда не интересовался. Он, как и Вебер, учился сначала в Cooper Union, потом в Національной Академіи, гдѣ учителем его был извѣстный американскій портретист 19 вѣка Экинс. Его первыя произведенія, цѣликом пропитанныя академическими вліяніями, слишком подражательно реалистичны и потому мало интересны. В 1908 году он уѣзжает на нѣсколько лѣт в Европу. Европейская живопись увлекает его. Он, пожалуй, единственный из современных американских художников, который серьезно увлекается кваттроченто. Особенное вліяніе оказал на него Пьеро делла Франческа, четкій и слегка холодный рисунок котораго наложил отпечаток на все послѣдующее творчество Штерна (такова его «Вьющаяся дорога», напоминающая падуанскую школу 15 вѣка). Во Франціи он увлекается Сезанном, от котораго заимствует нѣкоторые пріемы разложенія формы. Смѣсь кваттраченто с Сезанном, главным образом, и опредѣляет творчество Штерна. На одной из лучших его картин: — «Женщины мѣсящія тѣсто» — трактовка композиціи и рисунка даны в итальянской манерѣ, краски же и форма взяты у Сезанна. В картинѣ «Послѣобѣденное время», на фонѣ «сезанновских» гор, мечтает итальянская женщина эпохи кваттроченто.

Штерн побывал также в Бали и в Мексикѣ, гдѣ родилась его любовь к характерному и національному в искусствѣ. Бытовая и сюжетная живопись дѣлает его болѣе понятным широкой американской публикѣ (за картину «Завтрак» он получил в 1930 году Кларковскую премію в 2000 долларов). Очень хороши его портреты — строгой композиціи и большой простоты. От глубоко продуманных произведеній Штерна вѣет большим спокойствіем, величавостью, которыя приковывают вниманіе зрителя. В 1933 году Музей Современнаго Искусства в Нью-Іоркѣ устроил большую выставку произведеній этого художника, который единогласно был признан критикой лучшим стилистом и рисовальщиком Америки.

Три брата Сойер принадлежат к той категоріи американских художников, которые оставили Россію в дѣтскіе годы. В своем творчествѣ они очень немногим обязаны Европѣ; русское же в них сказалось, пожалуй, только в любви к соціальным темам. Художники-братья, да еще трое, — явленіе рѣдкое; но, когда двое из этих братьев к тому же близнецы (Моисей и Рафаэль), это, пожалуй, граничит с чудом. Не менѣе удивительно, что всѣ три брата очень хорошіе художники, и что всѣ сумѣли добиться признанія.

Их біографія очень интересна. Всѣ братья родились в Россіи, в Тамбовской губерніи, старшіе — близнецы в 1899 г., а младшій, Исаак, в 1907 г. В 1912 г. отцу Сойеру было отказано в правѣ на жительство в родных мѣстах, и вся семья перекочевала в Америку,

без всяких средств и совершенно не зная языка. Началась жизнь полная лишеній. Пришлось бросить школу. Дѣти продавали газеты, подрабатывали на заводах. Эта полоса жизни нашла отраженіе в их творчествѣ. Они часто пишут впослѣдствіи убогія улочки, сцены из жизни рабочаго люда. Несмотря на безденежье, всѣм трем братьям удалось поступить в Академію, из которой они, однако, вскорѣ ушли, не найдя там удовлетворенія своим художественным запросам. Впослѣдствіи на всѣх трех братьев оказало вліяніе творчество Дегаса. Их живопись реалистична, как у всѣх художников современной Америки их творчество исключительно сюжетно, и человѣк интересует их больше всего. Наиболѣе талантливый из братьев Рафаэль. В 1926 году его картина «Уличная сцена в Бронксѣ», заинтересовала критику не только своим содержаніем, но и импрессіонистической трактовкой сюжета. Его замѣтил извѣстный тогда портретист Александр Брук (кстати, тоже сын русских, родившійся в Нью-Іоркѣ) и помог ему «выйти в люди». Творчество Рафаэля Сойера было признано раньше, чѣм творчество двух его братьев, и он пользуется большей популярностью и сейчас. Его творчество легче, интимнѣе, проще, чѣм у Исаака и Моисея. Он пишет ровным и простым мазком. Картины Рафаэля Сойера находятся теперь почти во всѣх больших музеях Америки.

Близнец Рафаэля, Моисей также тяготѣет к соціальным темам, предпочитает болѣе яркія краски, пишет в чуть-чуть абстрактной манерѣ и любит жирное импасто. Он часто рисует картины на балетныя темы (его жена — балерина). Композиція и построеніе его картин болѣе оригинальны, чѣм у Рафаэля, он лучше знает анатомію и любит пробовать свои силы в стѣнной живописи. К лучшим его вещам надо отнести картину «Испанскіе бѣженцы»; отклик уже не только на свою, но и на всеобщую человѣческую боль и страданье.

Младшій из трех братьев, Исаак, учился живописи в эпоху депрессіи, и он дитя этой печальной полосы американской исторіи. Его волнуют соціальные вопросы, мучащіе молодежь его поколѣнія. Картина «Что дальше» изображает испанскую войну; «Биржа труда» печальных дѣвушек с испуганными лицами. Он любит писать негров. Его картины часто загромождены, почти отсутствует фон. Краски его жижже, чѣм у братьев, но тона болѣе мягки.

Всѣ три брата еще молоды и перед ними еще большой жизненный путь. Но можно, кажется, предсказать, что они навсегда останутся реалистами — не очень глубокими, но и не поверхностными, не очень яркими, но и далеко не безцвѣтными.

Из молодых художников, сравнительно недавно пріѣхавших в Соединенные Штаты, значительное мѣсто в художественном мірѣ занял Реймонд Брейнин. Он родился в Витебскѣ, в 1910 году, в семьѣ

табачнаго торговца, иммигрировал сюда в 1923 году; учился живописи в Чикаго, и первая выставка его картин в Нью-Іоркѣ состоялась в 1939 году. Критики встрѣтили его очень благосклонно. В 1942 году, когда Музей Современнаго Искусства в Нью-Іоркѣ рѣшил показать работы выдающихся американских художников, среди них был и Брейнин. Критики считают его «истинным» американцем; он и сам, повидимому, думает так же. Но что же может быть американскаго в человѣкѣ, который как-то сказал: «Мнѣ иногда хочется, чтобы нынѣшніе артисты вѣрили и в чертей, и в ангелов, и чтобы волшебство природы дѣйствовало на них больше...» И, дѣйствительно, когда смотришь на его проникновенных, длиннокрылых ангелов, в свѣтлых одѣяніях, вспоминаешь старинныя иконы и видишь, сколь рѣзко творчество Брейнина отличается от творчества его современников своим молитвенным мистическим настроеніем. В свои измышленные нереальные ландшафты романтическаго характера он вводит средневѣковыя статуи и постройки. Из клубящихся облаков встают нѣжнорозовыя и голубыя зданія и темные шпицы церквей, над которыми мечтают каменные святые и трубят в длинныя трубы архангелы. (Город 1940 г. — Город 1942 г.). Его воображеніе всегда парит гдѣ-то в небесах, как в его чудесной картинѣ «Ночь» (1941 г.), гдѣ над уснувшим таинственным городом на быстром конѣ мчится всадник-ангел. Брейнин несомнѣнно один из немногих американских современных художников, картины котораго были заслуженно включены на недавную нью-іоркскую выставку романтическаго искусства.

Брейнин предпочитает писать гуашью, которая придает его картинам слегка неясный, туманно молочный оттѣнок, подходящій к его темам.

Зимній сезон в Нью-Іоркѣ отмѣчен, между прочим, выставками трех русских скульпторов: Архипенко, Мѣщанинова и Цадкина.

Выставка Архипенко у Нирендорфа была его 50-ая по счету в Америкѣ и представляла собой чрезвычайно удачный подбор скульптур. Архипенко умный, интересный и оригинальный скульптор-кубист, а его послѣднія, совсѣм абстрактныя произведенія из терракоты в два или три цвѣта очень пластичны и полны большого ритма. («Діагональ», «Углубленіе», 1942 г.).

Выставлявшійся у Вильденштейна Мѣщанинов, строгій, честный и выдержанный скульптор. Несмотря на то, что он учился и работал во Франціи, гдѣ он был ученикомъ Жозефа Бернара, его творчество сохранило в себѣ русскія черты («Дѣвушка с цвѣтами» была пріобрѣтена в 1938 году Третьяковской галлереей). Но портретная

скульптура, величавая и спокойная, составляющая основную часть произведеній Мѣщанинова, зрителя не волнует.

Цадкин, мастер вдохновенных геометрических конструкцій, выставил у Биньо довольно необычную для него вещь — шестифутовую реалистической трактовки «Плѣнницу», томящуюся в клѣткѣ. Скульптура символизирует собой современную Европу. Тѣм, кто привык к его примитивно-абстрактной манерѣ, это произведеніе может показаться менѣе оригинальным, чѣм его обычныя вещи, но зато оно доступнѣе для непосвященнаго зрителя. Один из американских критиков нашел даже, что «Плѣнницу» слѣдовало бы поставить на больших площадях освобожденных европейских столиц, как дань преклоненія перед страданіями всѣх порабощенных.

Вѣра Коварская

Опечатка: В прошлой книгѣ, в статьѣ И. Яссера вкралась ошибка. На страницѣ 331 в четвертой строкѣ снизу вмѣсто слова с т а р а г о скѣдует читать с а м а г о.

ИЗДЬТЕЛЬСТВО «НОВАГО ЖУРНАЛА»

«ПЯТЕРО И ДРУГІЕ»

(Могучая Кучка)

КНИГА М. О. ЦЕТЛИНА

Принимается подписка на книгу М. О. Цетлина, выходящую в апрѣлѣ 1944 года в изданіи «Новаго Журнала» **«Пятеро и другіе»** (Могучая Кучка), посвященную жизни великих русских композиторов. Только нѣсколько отдѣльных глав было напечатано в журналѣ.

Цѣна книги по предварительной подпискѣ $1.75, в переплетѣ $2.25. В книгѣ около 400 страниц.

50 экземпляров нумерованы и парафированы автором. Цѣна в переплетѣ $5.00.

Деньги (чеком или моней ордер) просят направлять по адресу редакціи «Новаго Журнала»:

Mrs. M. E. Zetlin, 112 West 72nd Street, New York, N. Y. Tel.: EN 2-9893.

СОДЕРЖАНІЕ ПОСЛѢДНИХ ТРЕХ КНИГ

«НОВАГО ЖУРНАЛА»

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

М. А. Осоргин.—Времена. И. А. Бунин.—Таня. Г. Д. Гребенщиков.—В просторах Америки. М. О. Цетлин.—Конец Мусоргского. М. А. Алданов.—Истоки.

СТИХИ — Феодора Сологуба, А. Биска, Леонида Опалова, Софіи Прегель, Юрія Терапіано, Маріи Толстой, Ксеніи Успенской.

ВОПРОСЫ ДНЯ: Г. П. Федотова.—Новое отечество. Ст. Иванович.—За что кровь проливаем. Я. Д. Робинзон.—Судьба европейских евреев.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. М. Чернов.—Стихія скитальчества у корифеев русской литературы. С. Л. Поляков-Литовцев.—З. Шнеур. Артур Лурье.—О Шостаковичѣ.

РОССІЯ И ВОЙНА: В. А. Александрова.—Первая военная зима в Россіи. Д. Ю. Далин.—Красная Армія. Г. Я. Аронсон.—Отраженіе войны.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Внѣшняя политика Москвы.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: И. Н. Альтшулер.—Еще о Чеховѣ. Проф. А. Васильев.——Г. Л. Лозовскій. В. М. Зензинов.—В. Л. Бурцев.

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ: Проф. М. М. Карпович.—Книга С. и Б. Уэббов. Д. Н. Шуб.—Германскій вопрос и нѣмецкіе соціалисты. Ю. П. Денике.—Книги Д. Далина и Джона Скотта. Z.—Юбилей В. Н. Ипатьева. А.—Три мѣсяца. Ц.—За желѣзным занавѣсом. В. И. Коварская.—Выставки в Нью-Іоркѣ.

ПЯТАЯ КНИГА

М. А. Осоргин.—Времена. М. В. Добужинскій.—О Художественном Театрѣ. Нина Федорова.—Талант. Г. Д. Гребенщиков.—В просторах Америки. Н. В. Кодрянская.—Марія Безрадостная. Андрей Сѣдых.—«Гидра», Керчь. Е. Рубисова.—Мѣрка масштаба. Мих. Цетлин.—Стасов и Могучая Кучка. «Замерзаніе» Балакирева.

СТИХИ — Л. Гребнева, М. Желѣзнова, Е. Крыленко, Т. Остроумовой, Ю. Терапіано.

ВОПРОСЫ ДНЯ: Ю. П. Денике.—Размышленія о власти. Г. П. Федотов.—Загадка Россіи.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Совѣтско-японское соглашеніе 1925 года. М. В. Вишняк.—На Родинѣ. На Чужбинѣ.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. М. Чернов.—Два полюса духовнаго скитальчества. І. С. Яссер.—Мысли об искусствѣ. Ю. Л. Сазонова.—Письма Райнер Марія Рильке.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: В. Н. Ипатьев.—Наука в современной Россіи. А. Т. Гречанинов.—Добрыня Никитич. І. В. Гессен.—Из воспоминаній. А. Ф. Керенскій.—П. Н. Милюков. М. А. Алданов.—Памяти П. Н. Милюкова. М. М. Карпович.—Памяти Н. Д. Авксентьева. В. М. Чернов.—Н. Д. Авксентьев в молодости. М. А. Алданов.—С. В. Рахманинов. М. О. Цетлин.—К. Д. Бальмонт.

БИБЛІОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ: Б. Н—скаго, Д. Шуба, Е. Извольской, Д. Д., Х. Кротковой, Ц., В. Александровой, В. Коварской.

ШЕСТАЯ КНИГА

М. А. Осоргин.—Субботній поѣзд. М. А. Алданов.—Истоки. Г. Д. Гребенщиков.—Страшнѣе смерти. В. С. Яновскій.—Портативное безсмертіе. М. О. Цетлин.—Глинка.

СТИХИ — К. П. Кротковой, Леонида Опалова, Юрія Софіева, Ю. К. Терапіано, М. А. Толстой.

ВОПРОСЫ ДНЯ: М. В. Вишняк.—Американскія затрудненія. Г. П. Федотов.—Как бороться с фашизмом.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. В. Добужинскій.—О творчествѣ Фокина. С. Л. Бертенсон.—На стражѣ искусства старины. І. С. Яссер. —Прогрессивныя тенденціи в творчествѣ Рахманинова.

РОССІЯ И ВОЙНА: В. А. Александрова.—Командиры Красной Арміи. Г. Я. Аронсон.—В совѣтском тылу.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: П. Н. Милюков.—Положеніе наканунѣ войны. Н. С. Тимашев.—О цѣлях войны. А. А. Гольденвейзер.— Три программы американской внѣшней политики. Б. И. Николаевскій. —Революція в Китаѣ, Японія и Сталин. Д. Ю. Далин.—Совѣтская сфера безопасности.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: М. М. Карпович.—П. Н. Милюков, как историк. Н. П. Вакар.—П. Н. Милюков в изгнаньи. С. В. Панина. —Памяти д-ра И. Н. Альтшулера. М. О. Цетлин.—Н. А. Теффи. М. М. Карпович.—І. В. Гессен. Ред.—Памяти М. С. Кефали. Г. П. Федотов.—Ирина Кнорринг. В. И. Коварская.—Замѣтки о выставках. Ред.—О Московской Конференціи.

В каждой книгѣ 400 страниц.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое изданіе, выходящее раз в **три мѣсяца.**

●

Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 доллар 75 сентов; цѣна двух книг 3 долл. 50 сентов; трех кни — 4 долл. 50 сентов. В розничной продажѣ книга стои 2 доллара.

●

Адрес редакціи:

Mrs. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel: ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка.